1 р. 90 к.

Индекс 73293

ISSN 0132-0637. Октябрь. 1991. № 2. 1—208.

ISSN 0132-0637



2

1991



ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

2

1991

ФЕВРАЛЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

ПО СТРАНИЦАМ КНИГ И ЖУРНАЛОВ

ОТКЛИК

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (зав. отд. поэзии), **И. А. БРЯНСКАЯ** (зав. отд. публицистики), **Н. Д. КРЮЧКОВА** (зав. отд. прозы), **В. М. ЛИТВИНОВ** (зав. отд. критики), **Н. К. ЛОШКАРЕВА** (первый заместитель главного редактора), **В. Н. МАЛУХИН** (заместитель главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь).

Коммерческий директор **Ю. В. ГРИНЬКО**

Технический редактор С. И. Суровцева.

Сдано в набор 11.01.91. Подписано к печати 29.01.91. Формат 70×108 1/16. Высокая печать. Усл. печ. л. 18,20. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24. Тираж 242 000 экз. Заказ № 82. Цена 1 р. 90 к.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Вячеслав ПЬЕЦУХ

Александр Креститель

РАССКАЗ

В 1920 году, как раз накануне смятения на Тамбовщине, в старинном городе Спас-Василькове, что на Цне, было совершено ужасное преступление. Мало того что преступление это отличалось беспримерной жестокостью даже по тем героическим временам, оно еще и такую имело туманную классовую подоплеку, что за дело взялось здешнее губчека. Именно в ночь с 14-го на 15 октября в Спас-Василькове заживо сожгли на Базарной площади некоего Александра Саратова, по одним сведеньям — рабочего мыловаренного завода, по другим сведеньям — скорняка.

Непонятное какое-то было дело; с одной стороны, имела место зверская расправа с представителем уездного пролетариата, но, с другой стороны, материалы дела показывали, что убиенный вел среди горожан чуть ли не анархистскую пропаганду, то есть он вроде бы был человек с душком. Председатель губернской чрезвычайной комиссии Семен Давыдович Волкер сидел у себя в кабинете за непомерным столом черного дерева, столешница которого была заново обита шинельным сукном, и кусал химический карандаш. Пока, собственно, имелся один-единственный документ — рапорт начальника уездной милиции Пахитонова о диком происшествии в ночь на 15 октября, и Волкер его перечитывал в пятый раз.

Некоторое время спустя после того, как в Ефимьевском монастыре часовой колокол пробил полдень, в кабинет вошел следователь Брыксин, вяло козырнул и уселся на край стола.

— Слушай, Брыксин,— сказал ему Волкер, не вынимая изо рта химический карандаш, отчего в его голосе прорезался акцент чуждый, — как у нас вообще в Спас-Василькове обстановка?

— Нормальная обстановка,— ответил Брыксин.— Классово вредный элемент там у нас тише воды, ниже травы — а что?

— Да вот, понимаешь, какое дело: притаившиеся враги устроили аутодафе местному пролетарию. Ты ничего про такого Саратова не слыхал?

Брыксин возвел глаза к потолку, точно ища подсказку среди лепнины, и минуту спустя сказал:

— Ну как же! Статья была в «Красной газете», дескать, в то время как рабочий класс и беднейшее крестьянство разворачивают атеистическую борьбу,— тут речь про то, что ребята в Василькове показательно высекли на Троицу тамошнего попа...

— Это они хватили,— в сомнении вставил Волкер.

— А что же ты хочешь?! Идет сражение, не на жизнь, а на смерть идет сражение! И я очень даже понимаю ярость народных масс против всяческих эксплуататоров и сеятелей дурмана!

— Ладно, давай дальше.

— Ну так вот: дескать, в то время как рабочий класс и беднейшее крестьянство разворачивает атеистическую борьбу, некоторые слюнявые интеллигенты, вроде скорняка Саратова, пытаются протащить свои затхлые идейки, от которых за версту смердит пораженчеством и изменой...

— Погоди: так он скорняк или все же интеллигент?

— Вроде бы скорняк. Но по газете выходит, что платформа у него чуждая.

— Что за платформа-то?

— Слушай дальше. Но трудящиеся знают, порукой чему неизменное классовое чутье, где пролетарская правда, а где поповская кривда, в какие

бы одежды она ни рядилась, и железной рукой отметают белогвардейщину под видом проповеди добра...

— Ничего не понятно! Кто подписался-то под статьей?

— Зеница класса. То бишь Аким Звонарев, который пишет под псевдонимом — Зеница класса.

— Ты вот что, Брыксин: пригласи-ка его сюда.

Хотя губернский город и тогда был немаленький, следователь Брыксин невероятно скоро разыскал и доставил рабкора Звонарева в здание губчека что-нибудь минут через двадцать, Волкер даже не успел на скорую руку перекусить. Звонарев оказался тощим человеком в черном докторском пальто с бархатными лацканами, в смушковой папахе и в солдатских заношенных сапогах; при нем был узелок, из которого торчал хвост какой-то сушеной рыбки.

— Узелок-то вам зачем? — поморщившись, спросил Волкер.

— На всякий случай,— скорбно сказал ему Звонарев.— Я ваши повадки знаю.

— Смотри, накаркаешь,— постерег его Брыксин.

Волкер задумчиво погладил себя по правой щеке и поинтересовался:

— Так чем же гражданин Саратов обидел рабочий класс и крестьянскую бедноту?

Звонарев в ответ:

— По-моему, он в своем Спас-Васильковe пропагандирует идеалистическое мировоззрение и сбивает народ с истинного пути. Я, честно говоря, сам не слышал его речей. Вообще мне один активист дал информацию про Саратова. Клейменов его фамилия. Но ход атеистической работы в Спас-Васильковe меня принципиально не устраивает, хотя ребята и высекли тамошнего попа.

— Да ты садись, Звонарев,— предложил Брыксин рабкору.— Чего ты стоишь, как столб?

И Звонарев осторожно присел на край венского стула, как если бы он не доверял прочности его ножек.

— Ну так вот: с прохладцей они там борются с сеятелями дурмана. Одна часть населения, безусловно, идет за воинствующими безбожниками. Но какая-то часть идет на поводу у Саратова. И этот факт не может не настораживать опытного бойца. Совершилась, понимаете ли, социальная революция, победоносно заканчивается гражданская война с наймитами всемирной буржуазии, а тут под носом какой-то хрен снижает накал борьбы против религиозного мракобесия! Ведь он, босяк такой, препятствует линии РКП!

Волкер поинтересовался:

— Чем же он конкретно препятствует линии РКП?

— Это нужно у Клеймена спрашивать,— ответил Звонарев и почему-то сердито посмотрел в пол.

— Не нравишься ты мне, Звонарев,— откровенно сознался Брыксин.— То ли ты темнишь, то ли налицо сознательная фальшь на товарища из уезда. Ведь ты же слышал звон, а не знаешь, где он, и в результате, может быть, наклепал на верного человека! Хорошо, если ты еще по глупости наклепал, а если это задание вражеской агентуры? В общем, правильно ты сделал, что прихватил с собой узелок.

— Да вы чего, товарищи, белены объелись?! — сказал Звонарев и примечательно побледнел.

— Степан! — крикнул в дверь Брыксин, и на его призыв явился конвойный в кавалерийской шинели и с мосинской винтовкой в руках, взятой наискосок.— Степан, отведи-ка этого субчика в изолятор.

Конвойный приблизился к Звонареву, по-прежнему сидевшему на стуле посреди волкеровского кабинета, и тронул его штыком; Звонарев покорно поднялся и ровным шагом вышел из кабинета, точно он и на самом деле был изначально уверен в том, что именно этим закончится его визитация в губчека.

— А ты не погорячился? — спросил председатель Волкер у следователя Брыксина, когда конвойный Степан притворил за собою дверь.

— Ничего, — сказал Брыксин, — пускай его посидит. Тем более что подозрительный он какой-то, этот рабкор, ну и пускай его посидит! Вот ты рассуди: высекли огольцы-комсомольцы в Спас-Васильковe тамошнего попа, в связи с этим приключением выступил интеллигентный скорняк Саратов, потом появляется в «Красной газете» против него разоблачительная статья, и на сладкое мы получаем от Пахитонова рапорт, в котором он сообщает о факте зверской расправы над представителем уездного пролетариата... О чем это говорит?

— Ни о чем это не говорит,— с чувством заявил Волкер.

— Нет, говорит! Это говорит нам о том, что кому-то была на руку... как это?

— Дискредитация.

— ...кому-то была на руку дискредитация товарища из уезда, перед тем как его казнить. Дескать, спокойно, православные и граждане из чека, теракт совершен против вредного элемента. Тебе не кажется, что Клейменов — Звонарев — это уже звено?

— Мне вот что кажется, если подойти к этому делу не горячась... Комсомольцы высекли контрреволюционно настроенного попа, Саратов выступил с критикой такого оголтелого атеизма, и воинствующие безбожники сожгли его на костре как приспешника капитала. А рабкор Звонарев тут, по-моему, ни при чем, ведь он даже не знает, что Саратова больше нет.

— Это какая-то мягкотелая точка зрения, отказывает тебе, товарищ Волкер, классовое чутье.

— Есть еще и такая версия: расправа над васильковским попом — это одно, а расправа над Саратовым — это совсем другое.

— Я не пойму: а чего мы с тобой гадаем?! Надо ехать в Спас-Васильков и на месте разобраться, какая кошка чье мясо съела!

— Правильно! Вот ты и поезжай. Бери с собой Степана и поезжай.

На следователе Брыксине и без того висело немало дел, и он, как бы в мучительном раздумье, вперился в потолок. Впрочем, кроме него, действительно некого было послать на столь ответственное задание, и он смирился с этой командировкой. Выйдя от Волкера, он отдал Степану необходимые распоряжения, и утром другого дня они уже катили в старорежимной «эгоистке», держа направление на Васильков; Степан правил, сидя на облучке, а Брыксин развалился на сиденье малинового бархата, обняв правой рукой пулемет системы «Бофорс», который был намертво привинчен к задку их потешного экипажа.

Как это устроилось почти со всеми нашими уездными городами, во внешности Спас-Василькова было что-то уныло-симпатичное, жалкое, заброшенное, то есть провинциальное по-русски, глубоко и как бы бесповоротно. Впрочем, на Базарной площади стояла приятная церковь семнадцатого столетия, сдобная, как кулич, Московская улица, мощенная чуть ли не гранитной брусчаткой, была сплошь застроена барскими особняками, выдержанными в правилах русского классицизма, а на пересечении Московской и Скотопрогонной улиц даже торчали чугунные фонари. Но по периферии этой цивилизации, конечно, водились и огороды, и ни по какой погоде не проезжие переулки, и избушки на курьих ножках, и прочие буколические приметы, на которые тароваты наши малые города.

Брыксин со Степаном подъехали к Спас-Василькову со стороны так называемой Кукушкиной слободы. Было три часа дня; городок, стоявший на кособоком пригорке, точно нехотя, через душу, показывался белеными колокольнями, облезлыми крышами, фабричной трубой ярко-красного кирпича, темной паутиной обнажившихся садов и классическими фронтонами; общий вид у города был какой-то скукожившийся, словно он озяб и ждет не дождется снега; было настолько тихо, что мерный копытный стук, который производила пара кобыл, впряженных в старорежимную «эгоистку», казался единственным звуком на окрестную тысячу километров.

Не встретив ни одного горожанина, чекисты миновали Кукушкину слободу, проехали несколько переулков — то же самое: ни души,— и только когда вывернули на Московскую улицу, увидели мужика в романовском полушубке, который беспричинно стоял посреди мостовой и курил толстенную самокрутку.

Брыксин его спросил:

— Ну как вы тут живете-можете, гражданин?

Мужик не нашелся, что ответить на этот вопрос, и опасливо промолчал;

видимо, его и провокационный вопрос насторожил, и кожанка Брыксина, и особенно пулемет.

— А по-моему, хреново вы тут живете. Вон скорняка зачем-то сожгли пятнадцатого числа... Ну зачем вы его сожгли?!

Мужик заскорузлыми пальцами почесал себе шею и сказал:

— Никого у нас не сжигали. Что мы, турки какие, чтобы людей сжигать?

Брыксин, удивленный таким ответом, приподнял брови, но ничего не сказал, и экипаж покатился дальше.

Уездная милиция помещалась в двухэтажном особняке, прежде принадлежавшем мыльному фабриканту Крутову-Маклакову. Брыксин оставил «эгоистку» под присмотром Степана, который немедленно задремал, сидя на облучке, а сам поднялся по мраморной лестнице, пришедшей за два года в безобразное состояние, взял направо по коридору и толкнул дверь в кабинет начальника васильковской милиции Пахитонова; Пахитонов сидел на подоконнике и с наслаждением курил ароматную папиросу.

— Вот, экспроприировали вчерась одного недорезанного буржуя,— сообщил он Брыксину.— Так у него, понимаешь, оказался целый табачный склад! Нет, все-таки умели пожить разные кровососы!

Брыксин ему сказал:

— Ты мне давай зубы не заговаривай! Ты лучше объясни, почему у тебя в городе происходит такое средневековье?!

Пахитонов ему в ответ:

— Кто бы мне самому рассказал, почему у нас в городе происходит такое средневековье. Темное какое-то это дело. Мы ведь даже труп потерпевшего Саратова не нашли.

— Как так не нашли?!

— А вот так: не нашли — и все! Утром пятнадцатого числа мне через десятые руки сообщают, что, дескать, ночью на площади неизвестные бандиты заживо сожгли какого-то Саратова, то ли скорняка, то ли рабочего мыловаренного завода... Да ты угощайся!

И Пахитонов протянул Брыксину початую пачку «Солнышка».

Брыксин прикурил папиросу от зажигалки, сделанной из винтовочного патрона, выпустил в потолок ароматный дым и задумчиво произнес:

— А может, его и не сжигали вовсе, этого скорняка?

— Ты слушай дальше. Значит, сообщают мне через десятые руки об этой бандитской вылазке, но свидетеля, конечно, ни одного...

— Чудеса да и только,— иронически сказал Брыксин.

— Нет, это как раз не чудеса, а даже обыкновенно. У нас в городе четыре раза менялась власть, и все первым делом что-нибудь на площади вытворяли. Разве что еще никому голову не рубали, а так было все, вплоть до массовой порки баб. Ну и конечно, как только у нас что-нибудь на площади происходит, народ сразу хоронится по подвалам. Стало быть, свидетеля по делу ни одного. Тогда я решил зайти с тылу, то есть с личности этого самого скорняка. Ох, непростая это была личность, я тебе доложу, просто я бы не удивился, если бы его разрезали на куски...

Брыксин сказал:

— Ты давай напирай на факты.

— Вот тебе факты, товарищ Брыксин. Потерпевший был мужик холостой, жил на улице Робеспьера с матерью да с отцом, причем, со слов соседей, не пьянствовал, не безобразничал, не приторговывал ничем, а это, как ты хочешь, довольно чудно в положении скорняка. Факт второй: есть сведения, что Саратов несколько раз выступал перед народом с причудливыми речами.

— Содержание выступлений тебе известно?

— В общих чертах известно, только туманное это какое-то содержание, никто ничего не понял. Поэтому и пересказывают его все через пень колоду. Смысл в общих чертах такой: бога нет, и в связи с этим явлением светлое завтра не за горами.

— Это называется: в огороде бузина, а в Киеве дядька.

— Совершенно с тобой согласен. Но похоже, что Саратов пропагандировал население в духе пролетарской идеологии, за что его и зверски казнили классовые враги.

— Значит, угадал я со Звонаревым! — задумчиво сказал Брыксин.

— Чего? — тупо спросил его Пахитонов.

— Да так, ничего. Я говорю, и мне сдается, что тут имела место вылазка классового врага.

— Ты погоди, не такое это простое дело. Третий факт: по имеющимся сведениям, на квартире у Саратова время от времени происходили подозрительные собрания. Что они там делали, я не знаю, но вроде бы они там умствовали против советской власти. И последний факт: сразу после гибели скорняка по городу пошли прокламации контрреволюционного содержания.

— Вот и возьми тебя за руб двадцать! — с сердцем произнес Брыксин.— То у тебя Саратов красный агитатор, а то чуть ли не руководитель окопавшейся контрреволюции!.. Я гляжу, ты совсем, Пахитонов, потерял ориентировку в текущем моменте, совсем тебе не ясна расстановка сил!

— А что я могу поделать?! Тут сам черт ногу сломит — вот какая у нас расстановка сил! И вообще я тебе честно, Брыксин, скажу: «Капитал» я, конечно, читал, но — не до конца.

— Оно и видно! Вообще, товарищ Пахитонов, я тебя не особенно одобряю, вон и табак ты монархический куришь, ведь «Солнышко» — это Николашки Кровавого любимые папироски! Ну да ладно, не до этого нам сейчас. Ты вот что, друг ситный: найди-ка ты на скорой ноге одного тутошнего активиста по фамилии Клейменов и представь-ка его сюда. А я пока пообедаю тут у вас. Где обедают тут у вас?

— Мы харчуемся при укоме.

— Значит, пошел в уком.

В течение двух с лишним часов следователь Брыксин обедал в укомовской столовой, где в тот день подавали суп из воблы, вареный горох и чай, повидал кое-кого из знакомых, прежде работавших в губернии, а затем брошенных на уезд, и немного прошелся по городу, имея в виду своего рода рекогносцировку. Народу на улицах было мало, да и те из прохожих, к кому Брыксин приставал с каверзными вопросами, отвечали ему уклончиво, неохотно, а, впрочем, один отчаянный старикан сделал прямо контрреволюционное заявление, которое только потому не повлекло за собой ареста, что на следователя напала послеобеденная истома; повстречались они в том месте, где из Базарной площади вытекала Московская улица,— старик конвоировал корову, держа ее за ухо, и время от времени шпынял животное валяным сапогом.

Брыксин его спросил:

— Ты случаем ничего про такого Саратова не слыхал?

— Не слыхал,— сурово ответил ему старик.

— Ну а вообще что ты думаешь про текущий момент?

— Я вот что думаю: безобразная какая-то у нас получается революция.

— Как тебя величают-то, возмутительный старичок?

Прохожий ничего Брыксину не ответил и, дернув корову за ухо, пошел дальше.

Воротившись в особняк мыльного фабриканта, Брыксин засел у Пахитонова в кабинете, и через минуту перед ним уже сидел активист Клейменов, этакий задумчивый уездный интеллигент.

— Ну, как живете-можете, гражданин? — издалека начал Брыксин, и Клейменов со страху завел настолько невразумительную и нудную речь про то, как он живет-может, что Брыксин его прервал:— А теперь расскажите об Александре Саратове. Что вам известно насчет его политической платформы? В силу чего, по-вашему, его погубили классовые враги? Какую информацию вы передали в губернию Звонареву? Ну и вообще.

Однако Клейменов снова понес такую неразбериху, что Брыксин положил перед ним несколько листов тетрадной бумаги, карандаш и велел писать. Активист строчил, приладившись у торца пахитоновского стола, а Брыксин смотрел в окно на компанию беспризорников, которые дулись в карты, усевшись вокруг миниатюрного костерка, и думал о том, что через каких-нибудь десять лет жизнь в этом городе расцветет невиданными цветами.

Это удивительно, но на бумаге у Клейменова получились самые толковые показания. «Я, Клейменов Иван Макарович,— писал он почерком завзятого канцеляриста,— по партийной принадлежности сочувствующий, предоставляю губчека следующий материал на Александра Саратова, по социаль-

ному происхождению из низов. Насколько мне известно, родился Саратов в нашем городе, в семье обывателей, причем отец его тоже был скорняком и даже построил заячью шубу лично моей тетке со стороны матери. Точно знаю, что Саратов учился в реальном училище, а потом в духовной семинарии, из который был изгнан за революционную пропаганду. Первоначально его платформа заключалась в отрицании государственной власти как в центре, так и на местах, политических партий, индивидуального террора, рабочего движения, конституционной монархии и капиталистического способа производства. Кроме того, он порицал церковь от Никейского собора до наших дней, хулил православное вероисповедание, причем каждый из пяти ее символов охаивал он отдельно, нападал на эсеров, Учредительное собрание, большевиков и персонально на товарища Троцкого, призванного вождя мирового пролетариата. Полагаю, что он был анархо-синдикалистом.

Но до одна тысяча девятьсот восемнадцатого года в нашем городе было о Саратове не слыхать, то есть он не шибко афишировал свои анархические настроения. Его даже считали городским дурачком, потому что он любил торчать на паперти и ходил по улицам оборванцем. Только уже в ходе гражданской войны, после того как у нас в городе несколько раз поменялась власть, означенный Саратов точно с цепи сорвался и начал повсюду выступать со своими зажигательными речами. Он то критиковал линию партии на активную борьбу с религиозными предрассудками, то обличал линию церкви в лице патриарха Тихона на пассивную борьбу против Советской власти, то на чем свет стоит клял чекистов за их беззаветные меры, направленные на искоренение контрреволюции и мелкобуржуазного элемента, то проклинал белогвардейцев за союз с известными врагами Русской земли, то порочил политику товарища Луначарского в смысле строительства пролетарской культуры в центре и на местах. Истины ради хочется подчеркнуть, что с оратором у нас почти никто в пререкания не вступал. Единственно священник Богоявленского прихода, о. Николай Рождественский, однажды сказал против Саратова проповедь прихожанам, а Саратов, в свою очередь, против священника сказал проповедь, и была между ними сцена...»

Дочитав до этого места, Брыксин прервался и задал активисту такой вопрос:

— Это не тот ли самый поп, которого высекли потом?

— Тот самый,— сказал Клейменов.

— И что же он поделывает теперь?

— Да то же самое и поделывает: сеет религиозный дурман в народе. Ему плюй в глаза, все божья роса. Он сейчас из себя святого мученика представляет. А Саратов, дурында, еще за него вступился, когда ему всыпали горячих на Светлое Воскресенье. Говорит, революция освободила вас, дураков...

— Прямо он так и выразился — дураков?

— Прямо так и выразился — дураков. Революция, говорит, освободила вас, дураков, не для того, чтобы поменялись местами жертвы и палачи, а для того, чтобы каждый ищущий истины мог стать богом в самом себе. Это я слышал собственными ушами.

— Я вот чего не пойму,— сказал Брыксин,— он был за революцию или против?!

— А черт его разберет! То он вроде «против», а то вроде «за». Какой-то этот Саратов был двусмысленный человек.

Брыксин внимательно посмотрел на Клейменова, длительно и пристально посмотрел, а затем снова прильнул к бумаге.

«Также я слышал, что Саратов ходил агитировать рабочих мыловаренного завода. Там он, по непроверенным сведениям, внушал фабричным религиозные мысли, ратовал за скорейшее построение коммунистического общества, хаял власть рабочих и беднейшего крестьянства, нес толстовскую ахинею насчет непротивления злу насилием. Это было, безусловно, вредное выступление, тем не менее некоторые несознательные пролетарии пошли на поводу у означенного Саратова в прямом и переносном смысле, именно с некоторых пор за ним по городу постоянно таскалось человек двадцать обывателей нашего города, подозрительных в смысле социального происхождения и платформы...»

— А поименно вы мне этих граждан можете указать? — снова прервался Брыксин.

— Не всех, конечно, но кое-кого могу. Финтяева, например, Левкина, Фомина...

Брыксин кивнул и продолжил чтение.

«Эти обыватели со слов Александра Саратова тоже где ни попадя распространяли разную вредную чепуху, сея нездоровые настроения и пороча нашу героическую эпоху. Был в городе слух, что время от времени они собирались на нелегальные сходки, где, небось, вырабатывали тактику оболванивания народа. Однако не исключено, что они на этих сходках и какую-то иную тактику вырабатывали, поскольку они, с одной стороны, распространяли чуждое мировоззрение, а с другой стороны, Саратов, по-моему, пропагандировал идеи освобождения трудящихся от оков монопольного капитала, но только человеческими словами, за что его, так надо полагать, и погубили классовые враги. Хотя у Саратова и были завиральные понятия о текущем моменте, в действительности он стоял за мировую революцию, однако в церковно-славянской редакции и с уклоном в анархо-синдикализм.

Каковую информацию я и передал в губернию товарищу Звонареву».

— За что этот Звонарев теперь и сидит в кутузке,— подытожил Брыксин.

— Не понял? — сказал Клейменов.

— За искажение информации с далеко идущими целями,— объяснил Брыксин, но Клейменов его все равно не понял.

На этом допрос закончился, задержанный был отпущен с наказом «пока то да се — из города ни ногой», затем Брыксин разыскал на этаже Пахитонова, которому дал распоряжение к утру представить единомышленников Саратова, указанных активистом, и отправился отдыхать. Для ночлега отвели Брыксину флигелек, стоявший глубоко во дворе милицейского особняка и в свое время служивший мыльному фабриканту банькой, а с восемнадцатого года он был отведен под хранение экспроприированного добра. Пока Брыксин с внутренней укоризной разглядывал предметы роскоши вроде мебели редких пород деревьев, бронзовых ламп под фонарями матового стекла, письменных приборов с позолоченными фигурками, картин, китайских ваз, наборов столового серебра, Степан принес ведерный самовар, немедленно распространивший приятное, какое-то малиновое тепло, и чекисты уселись пить чай за ломберный столик, который был инкрустирован бивнем морского зверя. Чаевничали они по-народному долго, с шелковыми платенцами для утирания пота, выпили стаканов по десяти и завалились спать на белоснежные фланелевые матрасы. И вот только Брыксин закрыл глаза, сразу растворившись в пленительной бездне сна, как в крайнее окно флигеля настойчиво постучали. Брыксин вскочил с матраса, точно он именно этого стука и дожидался, вытащил свой наган, встал в простенке и осторожно заглянул в незанавешенное окно. Вроде бы на дворе не было никого, а впрочем, стояла такая темень, что казалось, стекло было замазано черной краской. Брыксин выждал некоторое время, держа свой шпалер на изготовке и как бы требовательно прислушиваясь к внешним звукам, потом на цыпочках прошел в сени, беззвучно отчинил задвижку и толкнул ногой дверь. Та отворилась с противным скрипом, впустив во флигелек студено-пахучий осенний воздух: на дворе не было ни души и стояла — вот даже не глубокая, не мертвая, а именно уездная — тишина. И тут, как по заказу, взошла Селена; она осветила бездушным светом крышу милицейского особняка, штабель дров, голые ветлы, стоявшие вдоль забора, и тогда Брыксин увидел у себя под ногами аккуратный пакет, который был подброшен на крыльцо исчезнувшим визитером.

Воротившись в комнату, где беспробудно храпел Степан и во сне почему-то изредка дергал правой ногой, точно отбрыкивался от кого-то, следователь уселся за ломберный столик, зажег керосиновую лампу и вскрыл пакет. В нем оказался большой обрывок так называемой сахарной бумаги, исписанный микроскопическим почерком с обеих сторон, причем текст был исполнен в правилах дореформенной орфографии. Неизвестный писал:

«Сим имею честь информировать товарищей из чека о контрреволюционной деятельности скорняка Саратова и прочих бесовских его проделках. Этот Саратов родился у нас в Спас-Васильково и жил в собственном до-

ме с глухонемыми родителями по бывшей Коровьей улице, ныне имени Робеспьера. После окончания уездного училища он поступил в духовную семинарию, но вскоре был изгнан из нее за неблаговидные повадки, именно у него под подушкой были найдены фотографические карточки непристойного содержания. Во время империалистической войны он был призван в действующую армию, дезертировал и вплоть до Октябрьского переворота скорняжничал на дому. Летом 1918 года Саратов с коварными намерениями вступил в Красную гвардию, чтобы разложить ее изнутри. Однако контрреволюционные козни его были раскрыты и он только чудом избежал заслуженного расстрела. После этого вернулся он в Спас-Васильков и под видом проповедника-обновленца начал повсюду сеять ненависть к рабоче-крестьянской власти, стремясь нанести ей удар в спину, из каковых видов он собирал толпы обывателей и обращался к ним с неистовыми речами. Так, на мыловаренном заводе, бывшем Крутова-Маклакова, он при большом стечении публики чернил пролетарскую революцию и призывал не оказывать никакой поддержки Советской власти. Также во время литургии в Богоявленском храме он внушал клиру и прихожанам фальшивые мысли о политике большевистской партии вообще и в отношении православной церкви в частности, стремясь вызвать ненависть к линии Ленина — Троцкого, в чем, впрочем, не преуспел. За такие свои отъявленные поступки Саратов был публично разоблачен священником Рождественским и, по слухам, соборно бит фабричными с мыловаренного завода.

Между тем Саратов создал в нашем городе строго законспирированную контрреволюционную организацию, каковая ставила своей целью свержение Советской власти, конечное упразднение православной церкви и торжество анархического устройства. В видах этой цели в доме Саратова по бывшей Коровьей улице, ныне имени Робеспьера, происходили нелегальные собрания, на которых обсуждались планы переворота, зачитывались богопротивные сочинения и еще члены подпольной организации обучались стрельбе из ружей. Также Саратов создал отряд боевиков, которые в публичных местах охраняли его от ярости народной, да не тут-то было. В порыве праведного классового чувства обыватели города Спас-Василькова из сознательных пролетариев положили предел его контрреволюционной деятельности, именно убили вражину в ночь с 14-го на 15-е октября сего года, руководствуясь революционным правосознанием.

В последних строках сего сообщения призываю вас, товарищи из чека, не верить, будто на третий день Саратов воскрес и вознесся на небеса. Это некоторые из членов его контрреволюционной организации, продолжающие коснеть в преступных заблуждениях, вырыли его тело, погребенное в балочке, что сразу за кузней выкреста Аксельрода, и тайно перехоронили в неведомом месте, чтобы ввести в смущение горожан».

— Нет, с этими бродягами не соскучишься! — в голос произнес Брыксин и спрятал донос в карман.

— А? Что? — вскинулся спросонья Степан и схватился за свою мосинскую винтовку.

— Ничего. Я говорю, завтра с утра запрягай, поедем.

Степан улегся, приютно накрылся шинелью и сразу же дернул правой погой, точно отбрыкнулся от кого-то, мешавшего ему спать.

«Вот тут и гадай, какая собака чье мясо съела,— подумал Брыксин,— вот тут и наводи революционную законность, когда, по одним сведениям, убиенный был пламенный революционер, а по другим — контра и провокатор!..»

И тут он опять произнес в голос:

— Нет, Иисус Христос — точно вымышленная фигура!

— А? Что? — снова вскинулся Степан, схватившись за винтовку.

— Я говорю, что если бы Иисус Христос был реальная фигура, мы бы о нем ничего не знали.

Степан недовольно посмотрел в глаза следователю и повернулся на другой бок.

Утром следующего дня, как только развиднелось до такой степени, что можно было отличить чересседельник от хомута, Степан запряг кобыл в экипаж, и чекисты отправились на поиски кузни, которая принадлежала выкресту Аксельроду. Как это было ни удивительно для столь раннего часа,

на улицах частенько попадались прохожие, вероятно, спешившие к первой обедне, поскольку над городом негромко, как-то опасливо, что ли, звонили колокола и стоял повсеместный вороний грай.

На Базарной площади выяснили у продавцов каленых подсолнухов верное направление и минут через десять были уже за городом. Миновали пространную свалку, где, кроме всего прочего, не выходящего за рамки обыкновенного, увидели разбитый броневик, покалеченные статуи и многочисленные конские костяки, а сразу за свалкой им открылось покосившееся, как бы прокопченное строение, которое и было кузней выкреста Аксельрода. Когда подъехали к ней вплотную, Брыксин велел Степану остаться при лошадях и своим ходом пошел искать балочку, где, по сведениям давешнего анонима, был захоронен искомый труп. Примерно в полукилометре стоял голый лес, тихий и какой-то глухой, точно погрузившийся в сомнамбулическое состояние, палые листья, источавшие острый запах, шелестели под ногами, как веленевая бумага, воздух был стылый, свежий, прозрачный, вроде ключевой воды, от которой немеют скулы. Вскоре Брыксин, и правда, наткнулся на неглубокую балочку, заросшую по дну ржавыми лопухами, и тронулся по-над ней, внимательно глядя вниз, чтобы не пропустить ненароком следов могилы. Ее мудрено было даже при желании пропустить: в том месте, где балочка забирала вправо под довольно тупым углом, зияло нечто похожее на воронку, отороченную песком; на дне воронки лежал пустой гроб, рядом с ним, в головах, какие-то скукожившиеся тряпки, а крышка гроба почему-то валялась на поверхности земли, метрах так в пятнадцати от могилы. Брыксин постоял-постоял, в задумчивости глядя на пустой гроб, и пошел назад к кузне. Дорогой он думал о том, что дело это не просто темное, а таинственное, жутковатое, как рассказы Эдгара По.

На обратном пути ехали мимо Богоявленской церкви, где служил высеченный священник, и Брыксин велел Степану остановить; обедня уже отошла, последние прихожане разбредались по переулкам, и Брыксин решил допросить попа. В храме чувствительно пахло ладаном и влажной уборкой — то старушки-просвирни мыли каменный пол, гремя жестяными ведрами,— стояли особенные, церковные сумерки, приятно украшенные мрачным сиянием позолоты, язычками множества восковых свечей и разноцветно тлеющими лампадками, которые, отражаясь в застекленных иконах, давали эффект россыпи самоцветов; Брыксин, с нежных лет не бывавший в церкви, немного оторопел, так как в нем нежданно-негаданно всколыхнулось забытое чувство этакого торжественного ужаса перед Богом, памятное с тех пор, как родители по воскресеньям водили его к обедне.

— Фуражку снимите,— вдруг услышал он откуда-то из-под купола и увидел священника Рождественского, которого сначала не углядел; это был молодой еще человек с неприятным взглядом и неприлично реденькой бородой; Брыксин деланно ухмыльнулся и пренебрежительным движением снял фуражку.

— У меня к вам, гражданин Рождественский, будет такой вопрос,— в меру угрозливо сказал он,— за что вы на покойного Саратова ополчились?

— Ополчаться на кого бы то ни было мне сан не дозволяет,— ответил священник и прикрыл левой рукой бороду, точно ее стеснялся.— Я все больше внушением пытался его спасти, ибо он был еретик, законченный еретик. Постоянно он паству вводил в соблазн, а мне, видите ли, как бы это сказать... профессия не позволяет терпеть такое надругательство над религией. Ведь он, нечестивец, Христа хулил, святую равноапостольскую церковь поносил непотребными словами, надсмехался над вечной жизнью!

— Ну, это, положим, все из арсенала обыкновенного атеизма. Между тем вы, гражданин Рождественский, слова худого про атеистов не обронили, хотя они... это... и нанесли вам оскорбление действием, обидели, одним словом.

— Бог простит.

— Бог-то простит, только вы против безбожников ни гу-гу, а Саратова, который, между прочим, за вас вступился, распатронили в пух и прах. Это, спрашивается, почему?

— Атеисты ваши ровно котята слепые, не ведают, что творят. А Саратов этот во всеоружии теософического знания покусился на учение Иисуса

Христа, в безумии своем намереваясь затмить его имя своей сатанинской ересью.

— Ведь он, кажется, в семинарии обучался?

— Был такой грех.

— И выгнали его, кажется, за революционную пропаганду?

— Я слышал, что будто бы за курение табаку.

— Стало быть, темна вода в облацех?

— Это как водится.

— Послушайте, батюшка, а может быть, у всего этого дела чисто политическая загвоздка? Может быть, товарищ пропагандировал в храме линию партии большевиков, за что вы его и обложили божественными словами?

— А вот это чистой воды навет! Вам же известно, что православная церковь лояльна к коммунистическому режиму, ибо в Писании сказано: «Несть власти, кроме как от Бога». А потом: ну какой из Саратова большевистский агитатор, когда он был по-своему религиозный человек, но в самом преступном смысле? Ведь он, анафема такая, себя Богом-внуком провозгласил! Наш пономарь для его учения даже название придумал — «саратовская ересь», а вы говорите о какой-то политической подоплеке.

— Хорошо,— медленно и строго проговорил Брыксин.— За что же тогда его убили, по-вашему, и, главное, кто убил?

— Мне, извините, строить такие предположения сан опять же не дозволяет. Одно только скажу: Бог его покарал.

— Уж не руками ли ваших преподобных прихожан?

— Еще раз прошу меня извинить,— нарочито смиренно сказал священник и слегка поклонился Брыксину, давая понять, что он более разговаривать не намерен.

Брыксин надел фуражку и, шумно ступая, покинул церковь.

— Куда теперь? — спросил его Степан, строго сидевший на облучке.

— Давай, что ли, на площадь. Поглядим, не осталось ли каких следов преступления. Может, они нам тут мозги вправляют, может, и не было никакого этого... аутодафе, может, мужик помер своим чередом, а они от скукоты выдумывают баллады.

Доскакав до Базарной площади, они оставили «эгоистку» возле керосиновой лавки и разошлись: Степан пошел купить себе семечек, а Брыксин стал внимательным шагом прогуливаться по площади, то тут, то там поддевая носком сапога разную чепуху. Когда минут через пятнадцать Брыксин вернулся к керосиновой лавке, Степан, уже лузгавший семечки из фунтика белой бумаги, мелко исписанной фиолетовыми чернилами, равнодушно его спросил:

— Доискался до чего?

Брыксин ответил:

— Обязательно доискался, это вам не у Пронькиных. Прямо по центру площади, в округе примерно сажен пяти, весь булыжник потрескался, как будто кувалдой его долбили. Они, поди, заливали костер водой, вот булыжник и потрескался от нее. Значит, все-таки было аутодафе!

— Ничего,— спокойно сказал Степан и стер со своих губ налипшую шелуху.— Мы их сделаем, товарищ Брыксин, эти контрики от нас с тобой не уйдут.

— А то нет! — с лихостью в голосе подтвердил Брыксин, но на лице у него значились растерянность и печаль.

Степан по-разбойничьи гикнул, и «эгоистка» понесла их к особняку мыльного фабриканта.

Войдя в пахитоновский кабинет, Брыксин уселся на венский стул, вытер лицо руками и рассеянно пошутил.

— Привет,— сказал он,— монархист табачный!

— Ты давай не наводи тень на плетень,— обиделся Пахитонов.— Ты лучше расскажи, как следствие происходит.

— Ну, во-первых, сожжение гражданина Саратова точно имело место, следы от костра я на площади обнаружил. И захоронение я нашел, но трупа, и правда, нет — так надо полагать, что враг заметал следы. Поп, которого высекла ваша васильковская комса, утверждает, что Саратов был просто-напросто сектант, вроде пятидесятников там, баптистов... И последнее: сегодня ночью подбросили мне донос — пишут, что якобы Саратов возглавлял в городе контрреволюционную организацию и вообще был ярый противник Советской власти. Вот пойди в этой каше и разберись!

— Да,— согласился Пахитонов,— щепетильное какое-то происшествие, это свихнуться можно, думая про него! Да еще мне вчера рассказал один наш милиционер, что он своими ушами слышал, как этот скорняк провозгласил себя царем, так прямо и заявил: дескать, я царь, а вы передо мной черви!

— Ну вот, час от часу не легче! Бога-внука ему показалось мало, так теперь подавай в цари! Кстати, ты нашел тех гавриков, которых назвал Клейменов?

— Нету.

— Что нету?

— Нету их в городе, как сквозь землю все провалились. Я поспрашивал кой-кого, говорят: взяли они в руки по посошку и разбрелись в разных направлениях, кто куда.

— А вот это мне совсем не нравится,— задумчиво сказал Брыксин.— Похоже на то, что саратовская компания передрейфила и с концами ушла в подполье. Что-то у меня ум за разум заходит, товарищ Пахитонов, я этого не скрою перед тобой. Ну ладно, предположим, имела место контрреволюционная организация, которая маскировалась под секту пятидесятников, но тогда кто и зачем, и, главное, посреди города-то зачем, сжег на костре ихнего главаря?! У тебя какие будут соображения?

— У меня, честно говоря, никаких нету соображений.

— И всем-то этот скорняк мешал! Кого ни возьми, от сочувствующего до попа, всем он мешал, вот что меня особенно беспокоит!

— А может быть, Саратов под конец разочаровался в своих контрреволюционных заблуждениях и дружки решили его убрать?

— Но с такой помпой-то зачем?

— Чтобы нагнать страху на мирное население.

— Наше мирное население уже ничем на свете не напугаешь.

— Ну, тогда он, наоборот, был левый коммунист с религиозным уклоном, и его уничтожили классовые враги.

— С другой стороны, скажем, на предисполкома классовым врагам начхать с высокой колокольни, а какой-то несчастный толстовец встал им посреди горла. Нет, брат, и тут что-то не связываются концы.

— Значит, он вел такую идеологическую линию, которая будет пострашнее линии РКП.

— Уж куда страшнее,— сказал Брыксин и вперился в потолок.— Ладно: ты тут сиди думай, а я чай пить пойду.

Во флигельке вовсю шумел самовар, и от него запотели стекла, а Степан сидел в реквизированном вольтеровском кресле и лузгал семечки с таким видом, с каким делаются только самые основательные дела. Следователь уселся за ломберный столик и стал смотреть на свое отражение в самоваре.

— Угощайся,— сказал ему Степан и протянул кулек с семечками.— У них тут две вещи ядреные — подсолнухи и клопы.

Брыксин автоматически принял фунтик, повертел его в руках и вдруг точно окаменел.

— Ты у кого эти семечки покупал?! — со страшным выражением спросил он.

— Да у бабки одной,— ответил Степан и заранее ужаснулся.

— А ну-ка дуй на Базарную площадь и реквизируй всю бумагу, которую там найдешь. По пути заскочи к Пахитонову и скажи, чтобы он со своими ребятами площадь наглухо оцепил. И чтобы всех, кто с фунтиками, за шиворот и сюда!

Степан подхватил винтовку и был таков.

Оставшись один, Брыксин зажег лампу старинной бронзы, так как на дворе уже собирались сумерки, аккуратно расправил бумажку, из которой был сделан фунтик, разгладил ее ладонями и, прищурившись, стал читать.

«...Некоторый фабричный спросил Крестителя: «Скажи, какие твои заповеди, чтобы мы знали, чему споспешествовать для бога, чего бежать». И ответил ему Креститель: «Христос завещал: кто ударит тебя по левой щеке, подставь и правую, а я говорю вам: ни ту, ни другую не подставляйте, но

избегайте зловредных людей, как избегаете зачумленных. Ибо нет на зловредного человека закона, кормчего слова и страха божия, как на зверя лесного, не имеющего души. Но если веруете беззаветно, то не коснется вас рука зловредного человека, как стеной, вы будете защищены беззаветной верой, разве что богу через пополнзновение понадобится что-то вам передать. Также Первоучитель завещал: возлюби врага своего, как самого себя, а я говорю — свободны. Но знайте, что и во враге одичалом столько же неопознанного бога, сколько в вас опознанного...»

На этом месте Брыксин оторвался от бумажки и призадумался. Некоторое время у него в голове возникали и таяли какие-то нестрогие, размягченные мысли, а потом он приладился о ломберный столик и прикорнул.

Разбудил его Степан, который вернулся с операции возбужденным; он вывалил из солдатского сидора на пол целую кипу бумажек, исписанных фиолетовыми чернилами, и сказал:

— Шестнадцать человек на площади с этими фунтиками захватили! Покуда ты, товарищ Брыксин, тут отдыхал, Пахитонов допросил эту шатию до последнего человека. Никто ничего не знает. Все твердят, что, дескать, бумажки эти третьего, что ли, дня кто-то по городу разбросал, а они их приспособили для торговли. Чего теперь делать-то с этим отчаянным элементом?!

— А ничего,— сказал Брыксин и потянулся.— Пускай Пахитонов их подержит пока вроде заложников, а там посмотрим по обстановке.

Когда Степан ушел передать начальнику уездной милиции это распоряжение, Брыксин сел на корточки и стал перебирать доставленные бумаги. Он провозился с ними не меньше часа, и в результате у него сложилось несколько экземпляров одной и той же продолжительной прокламации, каждая из которых была писана с обеих сторон на пяти листах. Брыксин выбрал себе экземпляр почище и сел читать.

«А вот благая весть из сердца России о пришествии Крестителя в новую веру, веру истинную.

В лето 1887 от рождения Первоучителя, по весне, произошел в неком древнем российском городе человек, которому от рождения было откровение божие, ибо взошла тогда на востоке чистая звезда подобная Вифлеемской. Произошел сей человек от честных отца с матерью, рожденных глухонемыми, а имя ему нарекли Александр по наущению божию, чтобы до времени сохранить его от дурного глаза. Истинное же имя ему было Креститель, ибо явился он крестить людей в новую веру через правду о них самих. Оттого сызмальства не знал он ни иродовых козней, ни бегства египетского, никаких иных бед, выпавших на долю Первоучителя в дни молодости его. Отроком Александр мирно проживал в своем городе, прилежно обучаясь наукам в уездном училище, где пользовался от товарищей предивным почтением за разум не по годам и благонравное поведение. Также и в духовной семинарии, куда привело его искание веры, показал он редкие способности к разным наукам, но не нашел там правды и вышед вон. До поры Креститель занимался в доме родителей скорняжным ремеслом, как Первоучитель плотницким, в поте лица своего добывая ежедневное пропитание.

В лето 1916 года, когда шел уже третий год Великой войны, Креститель был призван в действующую армию, где вынес все бранные тяготы наравне с прочим российским простонародьем. Когда же православное воинство расточилось, то и он вернулся под отчий кров. Малое время он скорняжничал, как и прежде, а после, возжелав до конца разделить судьбу своего народа, записался в Красную Армию добровольцем, однако скоро воротился к мирному житию, ибо то была братоубийственная война.

А в лето 1920, когда пришел тому срок, стал он проповедовать в городе новую веру, веру истинную. И было так. На третий день по прошествии Троицы собрался на городской площади большой торг. В то время явился на торг Креститель и тако рек: «Истинно говорю вам, братья и сестры, уже шествует по земле нашей апокалипсис, обетованный блаженным Иоанном Богословом, уже несколько лет как четыре всадника сеют смерть, раздор и всякое ненавистничество. Смиримся, братья и сестры, с этим испытанием и возрадуемся тому, что избрана Русь пройти через очистительное пожарище, как народ Израиля на рассеянье по миру и многие надругательства. Ибо не напрасно обречены мы на грозный опыт, а с тем, чтобы явилось из того пламени Царство божие на земле под видом благоустроенного Российского государства, знающего бога и законы его, как чадо знает отца и как даже безумный знает дорогу к дому. Но прежде претерпит народ многие бедствия и печали. И срок тому апокалипсису сто семьдесят лет и еще семь лет».

Тогда спросил Крестителя некий горожанин: «За что же нам, неизвестный человек, такая злая доля, чем мы хуже какого персиянина али немца?» Креститель так ему отвечал: «Не хуже, не лучше, но угоднее в рассуждении горней господней воли, ибо нет на земле иного такого рода, который был бы столь терпелив и свычен с несчастьем, как русский люд. И немцы вымрут, и персияне перережут друг друга до последнего человека, если определить их на этот подвиг, да еще ему срок сто семьдесят лет и еще семь лет, а с вас все, как с гуся вода, вы и через лютый голод пройдете, и через резню, и через всякие издевательства властей предержащих — и ничего. Неимоверной вы крепости духа, братья и сестры, и выживаемости чрезвычайной, вот в чем источник зла». Но не поняли его слов.

И спросил Крестителя горожанин иной: «Раз мы столь богоугодные, то за какие же грехи опять это татарское нашествие, да еще на такой оголтелый срок?» «За любопытство»,— ответил Креститель, и снова не поняли его слов.

По прошествии времени явился он проповедовать в храм Богоявления, что на выезде из Кукушкиной слободы. Выстояв раннюю литургию, он тако рек пастве: «Не ведаете вы бога, братья и сестры, хотя и воображаете себя истово верующими людьми. Идолопоклонники вы, язычники, ибо исповедуете трех богов, не считая дьявола. Да еще вера ваша — одно, а дела — иное. Да еще имя господне пишете с большой буквы. Имя человеческое надлежит писать с большой буквы, но не божие, ибо человек есть атом тела господня и каждый отмечен своим прозванием. Бог же имени не имеет, ибо он есть совокупность дыханий мира. Я — бог, пономарь Василий Петрович — бог, последний нищий на паперти — и то бог, и все мы суть божества вкупе с мыслью благолепной, добродетельным поступком и словом проникновенным, иначе говоря, бог всевышний настолько же творит нас, насколько каждый из нас по мере возможности творит бога. Истинно говорю вам: когда бог изваял человечество, то растворился в нем без остатка, и если созидаем добро, то созидаем и бога, если же пускаемся во все тяжкие, то несть бога ни под каким видом, и господин всякому злодею — диалектический материализм, который и под расстрел тебя подведет ни за понюх табаку, и хлеба насущного не пошлет днесь, и от татя в нощи не подаст защиты.

Также и о смерти помышляете вы превратно. Первоучитель завещал вам гнушаться жизнью временной ради Эдемовых кущ только из сострадания к слабостям человеческим, потому что иначе чем же еще смирить буйные ваши повадки и дикий нрав, а я говорю: мужайтесь. Мужайтесь, братья и сестры, ибо все как один помрем смертью окончательной и бесповоротной, посему лелейте бесценный дар жизни, наслаждайтесь каждой вашей минутой, которые даже не из благих, памятуя об избранничестве своем в боге. Истинно говорю вам: жизнь не проходной двор, а пир счастливейших из счастливых, на который кто зван, тот и призван, а незваным несть имени и числа». Но не поняли его слов, и лжесвященнослужитель Богоявленского храма всячески шельмовал Крестителя и срамил.

За то лжесвященнослужителя оставил господь без попечения и покрова. По прошествии времени взяли его некие злонамеренные юнцы и истязали на площади при стечении множества горожан. И Креститель стоял меж ними, и вот стал он увещевать истязателей, говоря: «Трудящиеся города и деревни не для того освободили Россию от власти нечестивого кесаря, чтобы поменялись местами жертвы и палачи, а для того, чтобы, просвятясь пришествием апокалипсиса и познав в себе господа живого, каждый предался бы строительству Царствия божия на земле. Ибо господь по бесконечной милости своей в который раз доверил человечеству устроение жизни истинной, уповая на духовные его силы и, я чаю, на этот раз избрал русский люд на исполнение своей задушевной воли. Итак, оправдаем надежды господа и будем истинно дети божьи, а не оправдаем — опять зальем землю кровью да слезами по грехам нашим, как это идет от начала мира. Теперь вы видите, братья и сестры, что вам за великая честь от бога, так не посрамим же име-

ни человеческого и всеконечно воздвигнем Царствие божие на земле, где богатым не в радость их сокровища, и бедные не тяготятся своей убогостью, и правит миром закон любви. И столп всему тому делу — вера. Вы же, злонамеренные юнцы, не столько истязаете тело, сколько оскорбляете веру в лице несчастного этого попа, а того не ведаете, что без веры жизнь мертва, как тело без дыхания, что неверующий есть то же, что неслышащий и незрячий». И прекословил некоторый юнец Крестителю, говоря, мы-де верим в мировую революцию и III Интернационал. И тако рек Креститель тому злонамеренному юнцу: «Бессмысленны эти твои слова, ибо свидетельствуют о том, что слышишь петуха, возглашающего восход солнца, а самого солнца зреть тебе не дано, и тьма кромешная твой удел». «Что же есть вера?» — тогда послышались из толпы многие голоса. И сказал Креститель: «Вера есть знание о взаиморастворении бога и человека. Вера есть вручение себя господу, который в тебе самом. Вера есть обретение уз с миллионами твоих ближних через бога единого и живого. Оттого-то истинно верующий не ведает одиночества и печали, и зла от истинно верующего не жди, и не один волос не падет с его головы, если покорны господу, как матери и отцу». Но не поверили ему и потребовали явить чудо.

И сказал Креститель: «Истинно вы как дети. Какого же вам еще чуда, если нечувствительные мои мысли сами собой обращаются в физическое явление, проникают в ваши умы и даже способны подвигнуть на величественные дела? Какого же вам еще чуда, если я есть одновременно и царь и червь, как сказано у поэта? Какого же вам еще чуда, если в течение многих тысячелетий история вытравляет в человечестве человеческое, а добро все же есть и пребудет вечно? Уж куда чудесней». И тогда некоторые уверовали в его слова и последовали за ним.

И спросил Крестителя один из последовавших за ним: «Как же молиться твоему богу?» Креститель же тако рек: «Молитесь, как завещал Первоучитель, поведавший народам о боге кротости и добра. «Отче наш, иже еси на небеси...» — и тем же порядком далее. Ибо вера истинная не в слове, а в благорасположении от зла и всяческой суеты». И, сказав так, пошел Креститель в дом родителей своих, и многие последовали за ним. Придя же, читал обращенным некие великие писания, которым те внимали с трепетом и любовью.

В один из дней явился Креститель на мыловаренный завод, который был в городе, и, когда собрались послушать его фабричные, сказал им так: «Бог доверил вам, господа трудящиеся, исполнение великого завета — учреждение такого общественного устройства, где справедливость была бы возведена в чин государственной необходимости. Но знайте, что несчастна будет и гибельна ваша доля, если в простоте душевной вознамеритесь поровну обездолить всех, думая, что в этом и заключается справедливость. Не то угодно господу, ибо дело ни в бедности, ни в богатстве, а в освобождении человека от него самого. Когда же сбросите с себя путы материалистических интересов, которым подвержены и бедные и богатые, то истинно исполните волю господа, и тогда учредится вожделенное человеческое общежитие, зовите его хоть социализмом, хоть Царствием божиим на земле. Посему призываю вас: господа пролетарии, соединяйтесь в боге кротости и добра, благо сами божественны суть по своей природе, и да будет мир на земле и ныне, и присно, и во веки веков — аминь».

Некоторый фабричный спросил Крестителя: «Скажи, какие твои заповеди, чтобы мы знали, чему споспешествовать для бога, чего бежать». И ответил ему Креститель: «Христос завещал: кто ударит тебя по левой щеке, подставь и правую,— а я говорю вам: ни ту, ни другую не подставляйте, но избегайте зловредных людей, как избегаете зачумленных. Ибо нет на зловредного человека закона, кормчего слова и страха божия, как на зверя лесного, не имеющего души. Но если веруете беззаветно, то не коснется вас рука зловредного человека, как стеной, вы будете защищены беззаветной верой, разве что богу через поползновение понадобится что-то вам передать. Также Первоучитель завещал: возлюби врага своего, как самого себя, а я говорю — свободны. Но знайте, что и во враге одичалом столько же неопознанного бога, сколько в вас опознанного. Первоучитель завещал: не прелюбодействуй, а я говорю — люби. Ибо любовь человеческая, какого рода она ни будь, есть вторая ипостась господа, первая — человек. Христос наставлял: богу богово, кесарю кесарево, а я говорю вам: и богу богово, и кесарю богово же. Если просветитесь этой заповедью, тогда прекратится владычество истории над личностью человека и власть имущий вынужден будет жить по закону бога. Также призываю вас: не столпотворяйтесь. Ни в дурном, ни в добром не столпотворяйтесь, ибо несть в толпе бога, а только зло и всякое ненавистничество. И вот еще что: не призываю вас творить добро, ибо это не всегда в силах человеческих, но избегайте зла».

И усомнились слушавшие его и потребовали явить чудо. И сказал Креститель: «Чудеса будет вам являть партия большевиков, а я укажу на такую магию: если будете избегать зла, то найдете от господа попечение и защиту».

И, сказав так, Креститель пошел в дом родителей своих, и многие последовали за ним. Придя же, повечеряли, и после Креститель тако рек обращенным: «Вижу, что пришли мои последние дни, ибо за правду мою, которой внимает трудовой люд, должно мне принять от властей предержащих кару». Тогда спросил его некоторый обращенный: «Кто же посмеет предать тебя на заклание?» И сказал Креститель: «Вы же и предадите. Но не хочу того, чтобы вы взяли на себя грех, а желаю погибнуть по доброй воле и не вводить никого в зловредное искушение. Распните меня, как распяли Первоучителя, а затем идите во все концы Русской земли и сейте истину о боге среди народа».

Через малое время так и сделали последовавшие ему. Но не нашли во всем городе гвоздей, чтобы распять его, и на третьей неделе октября месяца, в ночь, привели Крестителя на торговую площадь, привязали его к столбу, обложили дровами и подожгли. Останки же Крестителя поместили в гроб, который отнесли за городскую черту и там предали его земле. И место то со временем будет открыто для поклонения всякому человеку. После того, как и было завещано, обращенные в истину разошлись во все концы Русской земли, чтобы сеять правду о боге среди народа.

А служения его было шесть месяцев и двенадцать дней.

Все, что изложено в этом известии, записано в неукоснительной точности одним из сопутствовавших Крестителю, а именем он Сергей, а фамилию называть не такая теперь эпоха. Аминь».

Закончив чтение, Брыксин протер глаза, откинулся в вольтеровском кресле и закурил.

Громко хлопнула в сенцах дверь — это Степан вернулся от Пахитонова.

— Полночь-заполночь на дворе,— недовольным голосом сказал он.— Давай, что ли, товарищ Брыксин, на боковую...

— Пахитонов-то что поделывает? — рассеянно спросил Брыксин.

— Маракует что-то,— сказал Степан.

— Ты давай, брат, ложись, а я пойду заложников допрошу.

— Наплюй. И завтра день будет.

— Нет, я не успокоюсь, пока до конца эту историю не пойму! Вот гляди сюда: если бы эти сектанты Саратова не сожгли, то нам все равно пришлось бы его брать, потому что непонятно! А что непонятно, то против нас!

Степан сострoил непростую гримасу, в которой соединились согласие, тупое удивление, стремление вникнуть в смысл, сонливость,— и стал стелиться.

Следователь Брыксин вышел на двор и поплотнее запахнулся в свою кожаную тужурку, потому что на ночь глядя резко похолодало. Темно было и тихо в Спас-Василькове, как до сотворения мира, только изморозь, словно толченое стекло, похрустывала у Брыксина под ногами, а в воздухе отчетливо пахло ладаном. Нехорошо было, как-то муторно на душе.

Пахитонов сидел за столом у себя в кабинете и что-то писал, по-простонародному низко склонясь над листом бумаги. Когда вошел Брыксин, он поднял на него замученные глаза, в которых отражалось пламя от лампы-молнии, и спросил:

— Ты чего не спишь?

— Заснешь тут у вас, как же! — ответил Брыксин.— Ты тоже хорош, товарищ Пахитонов, как я погляжу: тут у него под носом религии сочиняют, людей заживо жгут, свободно продают на базаре поповскую литературу, а он себе знай строчит!

Пахитонов строго сказал:

— Как учит товарищ Ленин, социализм — это прежде всего учет.

На это Брыксину было нечего возразить, и он сразу перешел к делу.

— Слушай,— сказал он,— надо бы мне заложников допросить.

— Если насчет тех бумажек, то дело дохлое. Я уже их шерстил — никто ничего не знает про те бумажки. Да и откуда им знать: народ-то все неграмотный, главным образом — темнота.

— А я их все-таки допрошу. Кто там у тебя первым идет по списку?

Пахитонов порылся в своих бумагах, вытащил какой-то ржавый листок, прищурился и сказал:

— Варвара Крючкова, крестьянка деревни Гожево.

— Вот и давай сюда Варвару, рабу божию, на разбор.

Крестьянка Крючкова оказалась огромной молодой бабой в опорках, повытершейся плюшевой кацавейке, в толстом платке нефабричной выделки и с таким внимательно-тупым выражением на лице, какое разве что встретишь у лошадей. На все вопросы она отвечала невразумительно, кажется, даже и не совершенно чтобы по-русски, и Брыксин ее вскорости отпустил. Вторым предстал крестьянин же из какой-то дальней деревни, чрезвычайно нудное существо, который то и дело сбивался на продолжительный рассказ о неладах по семейной части. Уже было позвали третьего, как дежурный милиционер объявил, что один из задержанных вне очереди просится на допрос.

Доброволец был горожанином средних лет, одетый как-то особенно отвлеченно; войдя в кабинет, он назвался Дмитрием Финтяевым, сторожем с мыловаренного завода, и вдруг пал на колени с неприятным, как бы костяным стуком.

— Граждане! — сказал он.— Честное благородное слово, ну точно просветление на меня нашло! Такого я ужаса натерпелся, сидя у вас в темнице и ежечасно ожидая заслуженного расстрела, что точно просветление на меня нашло: да здравствует власть Советов!

— А конкретно? — строго потребовал Пахитонов.

— Конкретно я желаю разоружиться перед победившим пролетариатом и покаяться в злостной контрреволюционной деятельности, которую проклинаю!

— Так,— сказал Брыксин, как-то лихорадочно оживясь,— ты давай записывай, товарищ Пахитонов, а ты,— это уже Финтяеву,— а ты встань.

Финтяев вздохнул и встал.

— Отвечай как на духу: эти бумажки религиозного содержания, что мы сегодня на базаре взяли, распространял?

— Как на духу отвечаю: распространял.

— А кто их тебе давал?

— Так я их сам переписывал и после распространял.

Тут в ход дела вмешался Пахитонов, который с раздражением задал Финтяеву следующий вопрос:

— А чего ты сразу-то не признался, чего ты вола тянул?

— Это я еще у вас в подвале не успел как следует посидеть. А как посидел с полдня на каменном-то полу да раскинул умом, что меня ожидает, так сразу встал на истинную платформу.

— Хорошо,— продолжал Брыксин,— а переписывать кто велел?

— Да сам Саратов переписывать и велел. Говорит: бери листки, что Сережка Разносчиков за мной строчит, переписывай и в народе распространяй. Ведь я у этого Саратова в его шайке был, таскался как чумовой за ним по городу там и сям. Я честно скажу: околдовал он меня, контра такая, своими проникновенными выступлениями, прямо он мне стал дороже матери и отца! Наверное, он знал какой-нибудь приворот, потому что народу с полсотни за ним ходило...

— А как этот Саратов выглядел из себя?

— Да так как-то... в общем, обыкновенно. Роста среднего, волосом рус, физиономия бритая, национального образца, только у нее всегда было точно мальчиковое выражение — более вроде бы ничего.

— А на конспиративных сходках ты у него бывал?

— Бывал, чего уж тут лицемерить.

— Ну и что вы на них поделывали?

— Да разговоры всякие разговаривали, книжки он нам читал...

— Интересно, это какие же книжки он вам читал?

— Обыкновенные тоже книжки, про сумасшедшего чиновника Башмачкина, «Записки из мертвого дома», там, «Бежин луг». Только я фамилии писателей позабыл.

— «Записки из мертвого дома» — это Достоевского сочинение. Товарищ Ленин учит, что он писатель контрреволюционный, хуже Деникина с Врангелем, вместе взятых.

— В писателях я не шибко соображаю, но если товарищ Ленин так выразился, то конечно. Я, сидючи в вашем подвале, окончательно поменял свою политическую платформу и бесконечно верю во всемирный пролетариат.

— Ну а характером этот Саратов что был за человек?

— Характер у него был, я бы так выразился, разнообразный. То плачет, то смеется, то кобенится, то командует, то руки у всех целует, то вопросы непонятные задает...

— Кобенится — это как?

— Например, Сережка Разносчиков про его похождения написал, а он прочитал и говорит: «Все не так. Это,— говорит,— не евангелие, а пролеткульт. Ты,— говорит,— пиши позаковыристее, поветхозаветнее, со всякими там «дабы» и «поелику». Сережка ему отвечает, что «поелику» — это уже будет перебор. А он говорит: «Много ты понимаешь...»

— Ну, а теперь расскажи, за что вы его сожгли?

— Да ни за что, он нам сам велел. «Все равно,— говорит,— мне чеки не миновать, так уж лучше принять смерть мученическую, исторического характера». Главное, эти остолопы его подначивают: «Всенепременно,— говорят,— тебе надо принять смерть на кресте, как Иисус Христос, иначе какая же это будет религия, это уже будет не религия, а контрреволюционная пропаганда». А Саратов соглашается: «Я голову,— говорит,— даю на отсечение, если бы Христос не был распят, мы бы про него ничего не знали». Ну и порешили мы совместно распять его на кресте. Только вот гвоздей мы во всем городе не нашли, всего-то четыре гвоздя и надо было, да только мы ни одного гвоздика завалящего не нашли. Ну и тогда порешили его спалить... Как он дергался в пламени да метался, это я передать без ужаса не могу!

— А что потом?

— Потом сложили его кости в гроб и похоронили за городом, там, где кузня выкреста Аксельрода. А на третью ночь гроб-то мы вырыли и кости отдельно закопали в лесу — так мы за эти двое суток решили, чтобы сделать видимость, будто бы он воскрес. Теперь я, конечно, всесторонне признаю свою вину перед трудящимися республики и готов как угодно ее загладить. Кого еще надо разоблачить?

Брыксин не отозвался. Он подпер голову кулаком и стал грустно смотреть в окно, через которое было видно черное небо, похожее на закопченные потолки; в восточной стороне заходила четырехкрылая звезда, подобная Вифлеемской, словно обещая продолжительный Судный день.

1990 г.

Владимир КОРНИЛОВ

Лихолетье

* * *

Л. Ж.

Вся ниоткуда, вся из небытья,
Вся из-под спуда,
Вышла, вернулась на круги своя
Русская смута.

И, окунаясь в холодную тьму,
Мается город:
Слабое горло сжимают ему
Зависть и голод.

Знает: для разума и для жилья
Будет погублен —
Уж порезвятся за други своя
Любер и люмпен.

И от бессилья, хотя и твердят:
Ради культуры! —
Вновь подморозить Россию хотят
Старые дуры.

Думают: выручит их, как зима,
Лютый Малюта
И заскулит и утихнет сама
Русская смута.

...Что ж, будем делать работу свою
Детям в наследье,
Наперекор дурачью, и зверью,
И лихолетью.

1990

Ностальгия

Как Февральская революция
С кондачка прогнала царя,
Не раздумывая, вернуться ли,
А свободу боготворя,

Через Швецию, через Азию,
Во хмелю позабыв испуг,
Сразу кинулась эмиграция
В голодающий Петербург.

...Мы свободою дышим сызнова,
Как в семнадцатом феврале...
Почему же тогда неистово,
Прикипев не к своей земле,

Предрекая беду заранее,
Ни в Москву и ни в Ленинград
Не торопится из изгнания
Обстоятельный эмигрант?

По какой же такой иронии
Ностальгия отменена,
Объясни мне, Россия-родина,
Слаборазвитая страна?

1990

Распад

Постигается изнутри
И великое, и убогое...
Потому-то душой гори,
Достигая судьбы с эпохою

Уравнения в скоростях.
(Поглядите, если не видели,
Как на небе, баки срастя,
Заправляются истребители.)

Обороты набрал распад,
Оттого и нельзя запаздывать...
И зазря мудрецы сидят
По архивам да по запасникам

И не чувствуют ни хрена
В пропыленном цитатном логове...
А на улице времена,
Не подвластные аналогии.

1990

Антабус

Еще не в твоем кабинете,
Где вечно за дверью толпа,
А прежде на четверть столетья
В шалмане я встретил тебя.

Несчастный, пропахший мочою,
Читал о погибшей любви,
И как полыхали мечтою
Глаза голубые твои!

Казалось, недолго осталось:
Проводим тебя на погост...
Но принял, как постриг, антабус
И стал сразу важен и толст.

О, яростный культ государства,
Изрядно похожий на бред...
От этого мрака лекарства,
Антабусу равного нет.

И поздно из этого рая
Рвануть, принимая хулу,
Уйти в «голубые Дунаи»
И брызгать на каждом углу.

И поздно с беспутным задором
Стихом позвенеть под вино,
И даже, как псу под забором,
Уже помереть не дано.

1972

Константину Богатыреву (30 октября)

Я пронес тебя по Лубянке
Между башен вражды и лжи,
И следили, как в лихоманке,
Окна все и все этажи.

Угадать им была охота,
Чем грозит скорбный ход внизу...
Ну а ты хохотал на фото,
Знать не знал, что тебя несу.

Кто до этого дня не помер
Из отчаянных каторжан,
Пришпандорил на ватник номер
И показывал этажам.

А тебе, острослову, через
Четверть века — тюремный срок! —
Проломили в подъезде череп,
Чтобы номер надеть не мог.

Тех кромешников-невидимок
Не искали — о чем и речь...
Вот и вышло нести твой снимок
И свечу на ветру зажечь.

1990

Старикан

Ветхий и согбенный,
Видел, слышал худо,
Но томился, бедный,
Ожиданьем чуда.

Доля безутешна,
Вот и подвернулась
Вздорная надежда
На вторую юность.

Вдруг за той рекою,
Что пошире моря,
Радости с лихвою,
Воля вместо хвори...

И порой казалось:
За спиной Харона
Легион красавиц
Смотрит благосклонно...

Вот и жил, уверясь,
Что еще не поздно
Просочиться через
Тернии аж к звездам...

Сильны страсть и жажда,
Силы слишком жалки...
И не встал однажды
Со своей лежанки,

И не смог на муки
Выйти, подбоченясь:
Спеленали руки,
Подвязали челюсть.

1990

Александр ЗИНОВЬЕВ

Зияющие высоты

ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ

Видение Шизофреника

Где я, спросил Шизофреник у молодцеватого красивого парня, одетого в жутко знакомую форму, которую он никак не мог вспомнить. Вы, дорогой товарищ, находитесь в столице нашей родины — в лагерь-сарае Чингисхана, ответил парень, и свистком вызвал сотрудников в штатском. Посредине лагеря, видит Шизофреник, возвышается синхрофазотрон. На нем на корточках сидит Правдец и играет на балалайке. Мазила из конского навоза лепит бюст передовика монгола, который перевыполнил норму вырезки славян втрое. В сторонке Болтун, аккуратно посаженный на кол, читает лекцию об ибанском искусстве. Около него с автоматом стоит Мыслитель и внимательно наблюдает за тем, чтобы Болтун сидел симметрично. Вокруг, скрестив по-турецки лапки, расселись полчища крыс. Искусство, говорит Болтун, занимая более правильное положение, разделяется на официальное и неофициальное. Официальное искусство допускает возможность массового обучения ему. В принципе любой крысо-монгол при наличии достаточно способных родителей может стать заслуженным художником, лауреатом, академиком, депутатом. Образы официального искусства привычны и общедоступны. Они доступны самому Чингисхану, Батыю, Мамаю. Оно не отвергает гиперболу, но только правдивую. Так, если художник изобразит ноги монгола кривее, чем они есть на самом деле, а лошадь его еще мохнатее, то это будет революционный романтизм, зовущий вперед. Прямоногий же монгол на английской кобыле есть абстракционизм чистой воды. Верно, закричали проснувшиеся для этой цели крысо-монголы и выпустили тучу стрел в синхрофазотрон. Официальное искусство, продолжал польщенный Болтун, жизнеутверждающе. Но оно возможно и как обличающее. Не допустим, заорали крысо-монголы. Разумеется, в меру и под контролем, поправился Болтун. При этом к нему предъявляются такие требования. Оно должно быть столь же бездарно, как и жизнеутверждающее искусство. Недостатки, обличаемые им, должны выглядеть как отдельные и преходящие. Из него должно быть видно, что мы боремся с недостатками и делаем это весьма успешно. Неофициальное искусство разделяется на разрешенное, безразличное и неразрешенное. Безразличное долго в этом качестве оставаться не может, если оно становится заметным. Так что остаются лишь две рубрики. Разрешено может быть любое неофициальное искусство, если только оно удовлетворяет таким требованиям. По уровню таланта оно не превосходит официальное. Не имеет широкого общественного резонанса. Не ставит художников в привилегированное или исключительное положение сравнительно с официально признанными. Бессодержательно или не выходит с этой точки зрения за рамки дозволенного. Остается лишь неофициальное неразрешенное искусство. С ним общество ведет борьбу всеми доступными средствами. И, разумеется, побеждает. Вот таких художников, продолжал Болтун, указывая на Мазилу, в принципе не должно было бы быть, если бы не два из ряда вон выходящих обстоятельства: эпоха растерянности после битвы на Куликовом поле и заигрывания

Продолжение. Начало см. «Октябрь» № 1 с. г.

с Западом. Благодаря первому обстоятельству Мазила сохранил шкуру, благодаря второму стал знаменитым.

Болтун окончил лекцию, поправил кол и спросил, какие будут вопросы. Руку поднял отличник Батый. Скажите, профессор, а мог бы появиться Мазила там, у них на Западе, спросил он, кокетничая французским произношением и американскими джинсами. Мазила появился в своем месте и в свое время, сказал Болтун. Там он не мог быть, так как если бы там он мог быть, так уж давно бы там и появился, поскольку всякий, кто может, там непременно появляется. Там на это смотрят сквозь пальцы. У нас он раньше появиться не мог. Задушили бы. Верно, заорали крысо-монголы, задушили бы. И позже не может быть, сказал Болтун. Задушат. Верно, заорали крысо-монголы, задушим. Они бросились к Болтуну и потянули его за ноги так, что кол вылез из глотки. Аудитория разразилась бурными аплодисментами. Мыслитель презрительно пожал плечами. А что я мог сделать, сказал он Мазиле. Батый поблагодарил лектора за интересное сообщение и скомандовал поход на Ибанск. А ты, сказал он Мазиле, можешь отсюда катиться на все четыре стороны. Держать не будем. Рррота, с места песню, шагыыым арррш, скомандовал Старшина.

Ена-бена-труанатер,
Мадмазеляжуравατер,

— заблеял Мыслитель. И, взяв на изготовку облезлые хвосты, крысы двинулись на Ибанск.

Заметки Клеветника

Только официальная идеология может стать полноценной и даже великой идеологией. Неофициальные идеологические образования, как правило, несамостоятельны, уродливы, неустойчивы. В дальнейшем я буду иметь в виду только официальную идеологию. Я не собираюсь при этом строить целостную теорию идеологии. Я лишь хочу обратить внимание на некоторые стороны дела, важные с точки зрения перспективы социальных преобразований.

Официальная идеология — это идеологическое учение и идеологическая организация людей. Задачи последней общеизвестны: поддерживать учение, следить за его чистотой (охранять от ревизий и ересей), следить за единством (охранять от сект и расколов), пропагандировать его людям, следить, чтобы к нему относились с почтением, искоренять тех, кто выражает к нему недоверие, и т. д. Идеологическая организация не есть просто одна из организаций общества наряду с другими (аналогичная, например, министерству какой-то отрасли промышленности или даже армии). Она есть организация общества в целом с этой точки зрения. Она пронизывает все сферы общественной жизни. Помимо многочисленных специальных учреждений различных рангов (Отделы, Институты, Школы, Группы), профилей и функций, идеологической работой занимается многомиллионная армия агитаторов, пропагандистов, корреспондентов, журналистов, писателей, художников, ученых. От мала до велика. Газеты, журналы, радио, телевидение, книги, кино, концерты, театры. Почти каждый начальник отчасти есть идеологический работник. И огромная армия добровольцев. Особенно — пенсионеры. Особенно — отставные полковники. Почти каждый гражданин, достигший определенного возраста и имеющий маломальски терпимое образование, потенциально есть идеологический работник. И способен быть им на самом деле в силу особенностей отправления идеологических функций в нашем обществе и грандиозной организации идеологического просвещения (если можно так выразиться). И лишь благодаря этой системе идеологическое учение становится могучим фактором общественной жизни. Оно немыслимо вне этой системы как явление социальное. Вне этой системы оно есть лишь совокупность текстов, которые можно рассматривать с самых различных точек зрения — с исторической, физической, логической, эстетической. Однако если мы хотим их рассматривать именно как идеологические тексты, мы ни на минуту не должны забывать о деятельности могущественной организации людей. И тот, кто намерен посягнуть на идеологическое учение, без учета этого обстоятельства, будет выглядеть как наивный младенец или безумец. Но это еще не все. Это еще только начало.

Прошедший период растерянности был в высшей степени поучителен со многих точек зрения. Поучителен он и в плане рассматриваемой темы. До наступления этого периода казалось, что стоит сбросить идеологические оковы, превращающие способных писателей, художников, ученых в бездарных лгунов, холуев и кретинов, как наступит расцвет всего и вся. В этот период перед людьми открылись огромные возможности. А много ли сделалось? Кое-что. И дело тут не в том, что не успели или не дали. Другого и не было. Отсутствие давления со стороны этого другого было одной из причин того, что возможности оказались неиспользованными. Все, что смогли, сделали. Сделали все то, что смогли. Дело в том, что подавляющая масса людей не смогла сделать ничего другого потому, что ей это и не нужно было делать. Как выяснилось с полной очевидностью, подавляющая масса людей, так или иначе причастных к идеологии (кстати сказать, аналогичное явление имело место и в других сферах общественной жизни), оказалась заинтересованной именно в той форме официальной идеологии, какую они имели, представляли и потребляли. Она оказалась удобной почти для всех. Я не утверждаю ничего о том, какой она оказалась с точки зрения экономических, политических и других последствий. Я не утверждаю, что она оказалась хорошей. Я не утверждаю, что она оказалась плохой. Я лишь утверждаю, что она оказалась подходящей. И думать, будто она держится только на насилии, ошибочно. Она принимается также и добровольно. Не берусь высчитывать проценты добровольности, безразличности и принудительности. Я не апологет этой идеологии. Но я считаю своим долгом констатировать следующий факт. Если даже по каким-то причинам аппарат идеологического принуждения перестанет действовать (например, будет физически разрушен), какие-то элементы официального идеологического учения сохранят свое значение в качестве добровольных элементов той или иной (официальной или неофициальной) идеологии. Мы здесь имеем дело все-таки с великой идеологией. Если бы это было не так, то не было бы проблемы. И, кстати сказать, всеобщее презрение и пренебрежение к официальной идеологии ничуть не лишает ее статуса великой.

Крысы

Мы установили, что специальные крысы-эксперты по одним им понятным признакам производят отбор среди молодых крыс. Эксперты некоторое время наблюдают за крысиной молодежью, затем выделяют избранника, окружают его и обнюхивают. Затем собирается сборище из ранее отобранных крыс. Крыса-избранница выбегает в середину и что-то пищит (писки крыс были записаны и классифицированы; об этом в следующей главе). Затем выбегают по очереди еще две-три крысы и тоже пищат. Затем крысы поднимают хвосты. Как правило, поднимают почти все. Некоторые воздерживаются. За все время наблюдений было лишь два случая, когда подняло хвосты меньшинство крыс. И тогда избранница тут же была разорвана на куски и съедена. По всей вероятности, это — ритуальное пожирание, так как все собравшиеся обычно до этого нажирались досыта. После процедуры поднятия хвостов крыса-избранница тут же смешивается с массой других и выделить ее потом из массы практически невозможно. Из отобранных таким образом крыс затем избираются лидеры всех рангов. Система отбора построена настолько безукоризненно, что ошибок мы почти не наблюдали. Отобранных крыс мы называем отмеченными.

Да, сказал Болтун. Ошибок тут не может быть. Но не потому, что система разумна. А потому, что она абсолютно иррациональна. Ошибка всегда есть ошибка раздумья. Когда не думают, ошибок не делают.

Мы установили также, читал далее Болтун, что в сложной системе управления колонией регулярно производится смена крыс, реализующих управление, сопровождаемая мероприятиями, которые нам на первый взгляд показались нелепыми, но в разумности которых неоднократно убеждались в дальнейшем. Это осуществляется в такой последовательности: 1) стадия продвижения отмеченных крыс в круг особей, являющихся кан-

дидатами в лидеры; 2) стадия вживания (ее результат — снюхивание с определенным кругом крыс); 3) выталкивание в лидеры (захват поста); 4) замена чужих своими, обычно при этом происходит массовое уничтожение чужих; 5) массовый террор, имеющий целью устрашить всех и сделать покорными; 6) некоторые преобразования крысария, имеющие целью завоевание популярности и оправдание сделанного ранее. Разумность систематически проводимых при этом массовых уничтожений не подлежит сомнению. Мы предприняли однажды попытку воспрепятствовать им, но результат получился плачевный. Находящиеся в системе управления старые крысы устроили такой погром, что потребовалось несколько лет, чтобы крысарий восстановил нормальный вид.

Только в этом пункте Болтун допустил неточность. Предсказанные им величины оказались вдвое меньше тех, которые получились в опыте. Но он объяснил несовпадение внешним вмешательством в ход процесса, которое было с научной точки зрения неправомерным отклонением от типа эксперимента.

Записки Клеветника

Идеологическое учение содержит в себе учение о мире вообще, учение о человеке и учение о человеческом обществе. Подчеркиваю, учение, а не науку, если под наукой иметь в виду научность в указанном выше смысле. Если кратко и ориентировочно сформулировать суть идеологического учения, то она сводится к следующему. Мир, человек (т. е. ты) и общество (т. е. система большого числа таких «ты» со всеми их орудиями, средствами существования и т. д.) устроены так (или существуют по таким законам; или подчиняются таким законам; заметьте, подчиняются!), что общество, в котором ты живешь, есть наилучшее изо всех мыслимых. Твое начальство глубоко (глубже, чем кто бы то ни было) постигает законы мира, человека и общества и строит твою жизнь в полном соответствии с ними. Оно делает максимально лучшее для тебя. Оно живет и тяжко трудится во имя тебя. И жизнь твоя прекрасна. Прекрасна только благодаря твоему мудрому начальству, которое руководствуется самой правильной теорией. Короче говоря, тут мы найдем все атрибуты божественной премудрости, доброты, провидения и прочая, и прочая, и прочая. Но тут есть одна особенность, на которую стоит обратить внимание. Особенность эта — двадцатый век, несколько отличный по условиям существования человека от тех времен, когда создавались такие великие идеологии, как буддизм, мусульманство, христианство.

Учение о мире? Есть мощное естествознание. Есть физика, которая недвусмысленно заявила свои претензии на многое такое, что считалось неотъемлемой сферой философии (а философия стала частью идеологии; «стала», если не хотим сказать «есть»). Учение о человеке? Есть антропология, физиология, медицина, психология, педагогика, генетика, логика, лингвистика. Учение об обществе? Есть история, социология, политэкономия, социальная литература, социальная журналистика. Причем человек сведения всякого рода на этот счет получает в любом количестве и регулярно. В результате перед идеологией возникает задача: занять определенную позицию по отношению ко всему этому (а позиция эта общеизвестна — контроль, надзор, опека, цензура) и отвоевать у науки, литературы и прочих областей культуры свою собственную вотчину, в которой идеология являлась бы не только надсмотрщиком, но хозяином, исполнителем, созидателем, хранителем. Такую вотчину, которая стала бы неотъемлемой частью тела идеологии. И такую вотчину она имеет. Это — некое общее учение о мире в целом (мировоззрение), некое учение о познании и мышлении и вся область общественных наук. Недавний печальный опыт социологии обрести если уж не автономию, то хотя бы право на отдельное название, красноречиво говорит о том, что сферу наук об обществе идеология никому без боя не уступит. Повторяю, захватив сферу общественных наук, сама идеология от этого не становится наукой. В отношении мира в целом и познания (и мышления) идеология имеет конкурента, с которым не так-то просто справиться, — логику. И даже не столько конкурента, сколько постоянную угрозу быть уличенной в мошенничестве.

Высшая власть

У нас, говорит Карьерист, самая высшая власть — это самая низшая власть. Имя Р. тебе, конечно, известно. Так вот, его окончательно выперли с кафедры. Р. много лет заведовал кафедрой. Целую школу создал! Превосходная кафедра была. Кстати, я был у него аспирантом. Помнишь эти истории с письмами? Подсунули и ему. Он человек порядочный, не смог отказаться, хотя к политике совершенно равнодушен. Ему предложили выступить публично и заявить, что его обманули. Он, разумеется, отказался. На другой же день освободили от заведования. Чтобы сохранить кафедру, назначили заведующим некоего Нолика. Абсолютное ничтожество. Непременный член всех делегаций за границу. Его просто присоединяли к делегациям, минуя все те сложные процедуры, через которые должен пройти наш брат. Назначая Нолика, говорили, что это для виду, что фактически руководить будет Р. Вроде бы так и оставалось некоторое время. Но лишь по видимости. А фактически началось совсем другое. Жизнь кафедры — это миллион мелких дел. И результат руководства сказывается лишь в итоге. Курсовые и дипломные работы студентов, отбор в аспирантуру, рекомендация для печати, обсуждения докладов, введение или исключение спецкурсов, назначение руководителей студентам и аспирантам, отметки на экзаменах, распределение на работу, допуск к защите диссертаций, отзывы... И почти в каждом конкретном случае есть выбор. Причем взятый по отдельности акт выбора не принципиален. Его можно обосновать так, что не придерешься. А в целом постепенно, но неотвратимо складывается вполне определенная тенденция. Допустим, есть две темы: для научной работы: А и В. Разницы между ними на первый взгляд нет. Тема В вроде даже звучит как более передовая. Но Р. знает, что тема А перспективнее. Правда, она труднее, нужно более сильное руководство и более настойчивый и способный исполнитель. Нолик знает, что Р. об этом знает, и поступает наоборот. Он — заведующий. Вопрос не принципиален. Р. деликатен и не спорит. Он просто теряется, когда соприкасается с людьми такого типа — типа Нолика. Проходит тема В. Два студента, допустим, есть: А и В. Примерно одинаковы. У В даже какие-то показатели предпочтительнее. Но Р. предпочитает А, значит, Нолик предпочитает В. Нолика поддерживают общественные организации. В аспирантуру оставляют В. Все это идет на глазах у всех. Все видят. Все понимают. Но никто не может противостоять. Декан? Да он всю жизнь завидовал Р. Он спит и видит, как бы его зажать. Притом зачем поднимать шум из-за пустяка? Начинается пока еле заметная деморализация общей среды кафедры. Обсуждается дипломник или аспирант Р. Придирки, замечания, затягивание. И все это под самыми благородными предлогами и корректно. В общем, опять не придерешься. Обсуждаются дипломники или аспиранты Нолика. Все прекрасно. Мелкие дефекты. Легко исправить. Рекомендовать. Вроде и те и другие проходят. Но люди есть люди. И они понемногу начинают отдавать предпочтение Нолику. Так им жить спокойнее. Самые интересные идут пока к Р. Но их мало. А то и совсем нет. А Р. разборчив, не всякого желающего берет. Освободилась ставка на кафедре. Претендуют двое: А и В. Один тяготеет к Р. или хотя бы не тяготеет к Нолику. Другой готов на что угодно. По формальным показателям вроде бы одинаковы. Берется В. На кафедре начинают накапливаться сначала люди, лишь незначительно превосходящие Нолика, затем — почти равные ему, наконец — уступающие даже ему. И все это в рамках законности, с одобрения начальства, на виду. Люди Нолика более профессиональны в устройстве своих личных делишек, люди Р. — ученые, не способные оказать сопротивление. Вынужден покинуть кафедру ближайший ученик Р. Тем более был повод — ошибочное выступление. Изменил другой. Как-то незаметно стушевался третий. Ушел на более выгодную и спокойную работу Л. Да, тот самый. Р. оказался в итоге в полной изоляции. И почти без нагрузки. Разумеется, остаться на кафедре он уже не мог по собственному состоянию. Но ведь по результатам работы кафедры можно же судить, кто чего стоит, возмутился Мазила. Как? Студенты нормально учатся и выполняют прочие обязанности, кончают, устраиваются на работу, поступают в аспирантуру, пишут диссертации. Курсы лекций читаются. Экзамены сдаются. Заседания проводятся.

Жизнь идет нормально. Даже немного лучше, чем у других. Повысилась воспитательная работа. Провели ряд эффектных мероприятий. Сотрудники кафедры довольны. Недовольные выглядят смешно или уходят. Кроме того, повсюду трубят, что Р. и его группа работают на кафедре. Почет. Результат, конечно, сказывается. Но так, что связь с истоками обрывается и ответственных не найдешь. Он сказывается в масштабах страны, в состоянии каких-то отраслей науки или хозяйства. Например, обнаруживается отставание в такой-то области. Где-то не полетела или взорвалась какая-то штучка. Виновные находятся, но не те и не там. Нолики неуязвимы. Кстати, его выдвинули в Корреспонденты. Не пройдет, конечно. Но сам факт выдвижения тоже есть признание заслуг. Хотя может и пройти, чем черт не шутит. Я все это в общей форме читал у Шизофреника, сказал Мазила. Но я, откровенно говоря, не очень-то верил в это, что это именно в такой форме реализуется в вашей среде. А где же выход? О каком выходе ты говоришь, спросил Карьерист. Люди Нолика какие-то дела делают не хуже, чем люди Р. Люди Р. социально неудобны. У них есть достоинство, гордость, даже честь. Люди Нолика послушны и способны на все. Люди Р. укрепляются, если чувствуется в них общественная потребность. Например, надо догонять, обгонять, в общем — конкурировать с сильным противником. Уничтожь такого противника — вот тебе и выход. Надобность в людях Р. отпадет. И никаких проблем. Правда, тогда начнется другое. Люди Нолика держатся на каком-то уровне из-за людей Р., а те терпятся из-за общей ситуации. Отпадут люди Р., придет новый Суперполик, сожрет Нолика и вытеснит его людей своими или заставит их опуститься еще на уровень ниже. Страшно, сказал Мазила. Ничего особенного, сказал Карьерист. Это норма. Это устраивает большинство или даже почти всех. Страдают лишь единицы. В перспективе страдают все, но люди Нолика — в меньшей степени. И им на это наплевать. В глубине души даже приличные люди довольны, что Р. пал. Это дает им возможность испытывать благородный гнев и притом чувствовать себя немного значительнее. Ну а ты сам как реагируешь на эту историю, спросил Мазила. Как все, сказал Карьерист. Видишь, жалуюсь тебе. Кстати, мы давали отзыв на работы Нолика. Разумеется, положительный. И я голосовал «за». А что я сделаю? Я ведь не ты и не Р. Я всего лишь простой смертный. Я люблю удобства. У меня семья. Хочу поехать Туда на пару месяцев. Есть такая возможность. Проголосуй я против, поездка немедленно отпала бы. И потом у меня сын поступает на этот факультет. А Нолик там — сила. Я слушал тебя, сказал Мазила, и у меня все время было такое ощущение, будто я через какой-то мощный прибор наблюдаю, как медленно и неуклонно образуется раковая опухоль у близкого мне существа, но не могу предпринять ничего, чтобы помешать этому. Страшно не то, что все это происходит. Наверно, так было и будет всегда и везде. Страшно то, что это происходит без какого бы то ни было прикрытия. Без психологии. Без нравственной драмы. Не будем сгущать краски, сказал Карьерист. Мы же живем. Работаем. Даже смеемся. И ведем умные, содержательные беседы. Чего же еще? Сегодняшний день и есть сама жизнь, а не подготовка к жизни.

Выживает среднейший

У нас в искусстве посредственность имеет больше шансов на успех, говорит Мазила. Я это знаю по опыту. Неврастеник утверждает, что так обстоит дело и в науке. Но неужели и в производстве так? Там же есть какие-то законы дела. Они же навязывают какой-то уровень и стиль работы. Во всяком деле, говорит Неврастеник, есть свои правила, свой уровень и стиль работы. И в твоем тоже. И в науке тоже. Какая разница? Притом я говорю о посредственности как о среднем. И не об успехе в данном деле, а о социальном успехе. Это все разные вещи. В искусстве, очевидно, посредственность не может добиться больших успехов в творчестве, но может добиться больших успехов в смысле званий, почета, денег, выставок. Посредственность может стать знаменитостью и почитаться всеми за выдающийся талант. Это — социальный успех. Тебе все это хорошо известно. Причем посредственность — это не обязательно плохо. Я оценочные категории вообще не употребляю как многосмысленные. Все это касается и различного рода учреждений, раз они тоже суть социальные индивиды. Судя по моим наблюдениям, прав Неврастеник, говорит Карьерист. Понимаешь, если учреждение начинает работать заметно лучше других, на него обращают внимание. Если оно официально признается в качестве такового, оно скоро превращается в липу или в показной образец, который тоже со временем вырождается в среднюю липу. Если это не происходит, другие учреждения, которые задевает его успех, принимают меры. Возможности тут неограниченные. Например, не только для хорошей работы, но и вообще для любой нормальной работы приходится нарушать какие-то законы, инструкции, правила и т. п. Их столько, и составлены они так, что не нарушить их нельзя. Так что всегда можно прицепиться. Раскол и склоки в руководстве. Зависть и желание кого-то спихнуть директора. Доносы. Одним словом, время идет, и так или иначе успех либо оказывается незаконным, либо дутым, либо временным и ненормальным. Наиболее выгодный вариант — золотая середина и для видимости некоторое превышение ее, не раздражающее других. В общем, как все. А это в целом дает тенденцию к снижению уровня деятельности ниже реальных технических возможностей. Законы дела, конечно, навязывают какой-то уровень и стиль работы. Но тут возможны варианты. Есть учреждения, в которых действует технический принцип: если дело делается, то оно делается хорошо; если дело делается плохо, то оно не делается вообще. Например, на плохо сделанном космическом корабле не полетишь на Венеру. Но есть учреждения, где действует другой технический принцип: даже плохо сделанное дело является сделанным. За примерами тут ходить не приходится. Подсчитать, какой вид имеет с этой точки зрения наше производство, невозможно практически. Так что трудно сказать, как фактически сказываются общие социальные тенденции на функционировании производства страны в целом. Это очень интересная и сложная проблема. Но, насколько мне известно, этим никто не занимается. Официально ведь считается, что у нас действуют соревнование за лучшие показатели и взаимопомощь.

Из рукописей Болтуна

Сначала я никак не мог понять, почему люди, создающие видимость (имитацию) дела, добиваются бо́льших успехов, чем люди, делающие настоящее дело. Почему имитация дела жизнеспособнее самого дела. Не могу сказать, что я разобрался в этой проблеме до конца. Но кое-что теперь я понимать начал.

Проблема на первый взгляд представляется ошеломляюще парадоксальной. Для дела часто нужно совсем мало людей (иногда буквально два или три или от силы пять человек). В имитацию дела оказываются втянутыми большие массы людей. В десятки и даже сотни раз больше. Сначала я думал, что есть какой-то закон, согласно которому для осуществления дела нужна какая-то людская оболочка, подобно тому как кости и мускулы обрастают жиром. Потом я убедился в том, что в большинстве случаев имитация дела возникает без самого дела, независимо от дела или уничтожает само дело, но при этом процветает еще успешнее. Дело часто можно сделать за несколько дней, месяцев. Имитация дела может тянуться годами и десятилетиями. Я искал некий общий механизм, объясняющий эти явления. И не нашел. Не то что не сумел найти. А убедился в том, что в каждом случае работают разные обстоятельства. Из анализа их можно получить лишь некоторые, общие суждения, не имеющие доказательной силы, но и не оставляющие места для сомнений. Вот некоторые из них. Для дела требуется ограниченное количество людей. Число людей, вовлекаемых в имитацию дела, в принципе не ограничено. Один мой знакомый, превосходный имитатор науки (как текстов науки, так и организации исследований), ухитрился создать исследовательскую организацию из нескольких сот человек и истратить не один миллион на проблему, которая не стоит выеденного яйца и решается в течение нескольких минут, причем — отрицательно. Попытка разоблачить его не удалась, ибо в деле оказались заинтересованными высокие организации, а разоблачители сами были проходимцы. В деле нужны конечный результат, отчуждение его, беспощадная проверка по независимым от создателей принципам, внешняя

оценка. В имитации дела достаточна лишь видимость результата, точнее — лишь возможность отчитаться за прожитое время; проверка и оценка результатов производится лицами, участвующими в имитации, связанными с нею, заинтересованными в сохранении имитации. Ход дела — незаметная, обыденная, скучная работа. Труд. Имитация — житейская суета. Ход имитации может быть представлен как грандиозное театральное представление. Совещания, симпозиумы, отчеты, поездки, борьба групп, смена руководства, комиссии. Для дела нужен профессиональный отбор наиболее способных. Дело отсекает неотобранных, не заботясь об их судьбе. Участие в имитации доступно для многих. Здесь происходит какой-то отбор, устанавливающий некоторую профессиональную градацию. Но он не отсекает неотобранных. Последние остаются в имитации. Короче говоря, как сказал бы Шизофреник, имитация дела есть чисто социальное явление, защищенное всеми средствами социальной защиты. Для нее дело — лишь повод, средство, форма. Дело же есть антисоциальное явление. Оно беззащитно само по себе. Оно нуждается в покровительстве. Его терпят лишь в той мере, в какой отсутствие или плохое состояние его угрожает существованию имитации. Для осуществления дела нужны ум, способности, трудолюбие, добросовестность, самокритичность и другие редкие человеческие качества. Требуется, таким образом, социально наименее приспособленный индивид. Для имитации дела достаточен средний социальный индивид с социально средней профессиональной подготовкой.

Обычно имитацию дела и дело не разделяют и первую воспринимают как второе. Она часто содержит дело и позволяет ему как-то делаться. Она кормит большое число людей. Некоторые из них благодаря ей могут делать какое-то полезное дело. Однако иногда имитация дела становится причиной или сопричиной тяжких последствий. В особенности — когда объектом дела являются массы людей. Например, во время войны на дело руководства ведением войны наложилась мощная имитация системы руководства. Последствия этого общеизвестны. И вряд ли можно отрицать то, что имитация дела обеспечения государственной безопасности от врагов внесла свой существенный вклад в дело по уничтожению огромных масс людей, не представлявших никакой опасности для существования государства.

Заметки Клеветника

Идея бесклассового общества в качестве идеи науки чудовищно безграмотна с чисто логической точки зрения. И потому она неопровержима. Она просто бессмысленна с чисто научной точки зрения. И потому она приобретает лишь тот смысл, какой прикажет соответствующее начальство. Вот вам пример чистой идеологии. Одного того, что я сейчас вам сказал, достаточно, чтобы меня выгнать с работы, а то и похуже что-нибудь сделать. И попробуй потом устроиться на работу по специальности! А грузчиком не возьмут, образование не позволяет. Иди, куда прикажут. И выслушивать тебя никто не будет. И тем более вдумываться в твои аргументы. Эта идея — икона, один из божков нашей религии. Сам факт сомнения в ней есть ересь. Все это так, говорит Ученый. Но ведь в этой идее был же какой-то здравый смысл! Не идиоты же ее выдумывали! Имелись в виду определенные различия людей в определенном обществе и их определенные отношения. Ну, скажем, есть же что-то разумное в идее, что со временем исчезнет эксплуатация человека человеком. Я говорю не о происхождении данного языкового феномена, а о его теперешней роли, сказал я. Идея дуализма волны и частицы вообще пришла явно из физики, но в рамках идеологии она обрела все атрибуты иконки и божка. Второстепенного и временного божка, но божка. И потом, разберем языковые выражения, фигурирующие здесь. Слово «эксплуатация». Что оно означает? Использование. Скажите вместо выражения «эксплуатация человека человеком» выражение «использование человека человеком», и сразу увидите жуткую бессмыслицу всей трепотни на этот счет. Может человек жить, не используя другого человека в каких-то целях, в том числе — в личных? Вот Карьериста возит шофер на казенной машине. Что, разве он не использовал шофера в своих личных интересах? И работает Карьерист в личных интересах. И вы тоже. Разве не так?

А какие вообще мыслимы интересы, которые не были бы личными? Неличные интересы — абсурд! Даже когда говорят об общественных интересах, хотят, чтобы человек сделал их своими личными. Только мертвец или психически больной человек не имеет личных интересов. Хорошо, сказал Ученый. Но деление людей на классы — факт. Как с ним быть? Я не отрицаю это, сказал я. Только что такое общественный класс? Или вы заранее в определение понятия «общественный класс» включаете строгое перечисление групп людей, считаемых классами, или не делаете этого. В первом случае получим: общественные классы суть такие-то и только эти группы людей (рабы, рабовладельцы, крепостные крестьяне, феодалы, пролетарии, капиталисты и т. д.). И тогда идея построения бесклассового общества будет выглядеть так: построим общество, в котором этих групп не будет. А будет ли при этом что-то другое? Во втором случае получим: общественные классы суть группы людей, обладающих сходными социальными признаками. Если укажем определенные признаки, вернемся неявно к первому случаю, а если не укажем, получим следующее. Классификация индивидов любого множества из двух и более эмпирических индивидов всегда возможна, если только по крайней мере два индивида этого множества различимы. В любом обществе людей можно разделять, например, на исключенных из активной социальной деятельности (те, кто доволен и не рыпается; изолированные) и вовлеченных в нее. Последние разделяются на людей «за» и людей «против». Группа «за» делится на приспособленцев, хапуг и карьеристов. Карьеристы делятся на активных и пассивных. И, во всяком случае, разделение людей на начальников и рядовых есть факт. В обществе, в котором подавляющее большинство населения получает средства существования по форме как плату за труд, а по сути — как плату за социальную позицию, в котором армия начальников достигает астрономических размеров, а группа с отношением социального господства и подчинения становится основной ячейкой, эти деления приобретают не менее важное значение, чем деление людей на капиталистов, помещиков, рабочих, крестьян в традиционно классовых обществах.

На овощной базе

Всех, кто не сумел отвертеться под каким-либо соусом, погнали на овощную базу. Наряду с отрядами, посылаемыми во время уборки урожая в деревню, и с молодежными строительными отрядами, посылаемыми во время студенческих каникул во все уголки страны, это одна из принудительных и отчасти принудительных форм труда. Не берусь судить, насколько эти формы труда устойчивы и какова их доля в экономике страны, сказал Неврастеник. Но то, что довелось увидеть мне самому, производит кошмарное впечатление. Табуны отъевшихся пьяных и полупьяных начальников и каких-то странных лиц, слоняющихся без видимой цели по грязным помещениям. Гниющие овощи. Толпы оторванных редко от важного дела и чаще от другого вида безделья людей, как правило, с высшим образованием и даже с учеными степенями. Использовать их должным образом нет никакой возможности. Дни за днями проходят в полном безделье. Мужчины скидываются и устраивают небольшие выпивки. Рассказывают анекдоты. Поносят эту идиотскую систему разбазаривания человеческого времени. Болтун загадочно молчит, и это раздражает Неврастеника. О чем ты думаешь, спрашивает он. О том, что ответил бы тебе Шизофреник, говорит Болтун. А он ответил бы, по всей вероятности, так. Если какой-то факт нашей жизни поражает тебя своим несоответствием здравому смыслу, ищи в нем закономерную социальную основу. В конце концов таких безобразий, как мы видим здесь, может и не быть. Но будет что-то другое. А общее имя этому — острый дефицит рабочей силы там, где она нужна дозарезу, и избыток там, где без нее можно обойтись. И, шире говоря, дефицит важного и нужного и избыток пустякового и ненужного. Но почему ты думаешь, что это нормально, спрашивает Неврастеник. Читай Шизофреника, у него на этот счет все разъяснения есть, говорит Болтун. Да я читал, кричит Неврастеник. Что ты носишься со своим Шизофреником? Младенец он! Младенец, говорит Болтун. Но его устами говорил Бог. Представь себе, только после разговоров с ним я понял, почему у нас легче построить атомный реактор, чем хорошее храни-

лище для картошки. Легче подготовить десять тысяч докторов наук по теории картошки, чем десяток толковых кладовщиков по этой самой реальной картошке.

Проблемы управления

Теория Шизофреника в той части, в какой она затрагивает проблемы управления, любопытна, говорит Карьерист. Но чувствуется, что он сам не работал в системе управления и не знаком с ней в деталях. Впрочем, может быть, это даже к лучшему. Почему, спросил Неврастеник. Знание материала никогда не вредит построению теории. Как сказать, заметил Болтун. Какая-то мера, должно быть, имеется и тут. Я имел в виду не это, сказал Карьерист. При более близком знакомстве с практикой управления Шизофреник пришел бы в неописуемый ужас и не смог бы вообще писать. Мне кажется, что наша реальность не может быть описана ни в какой теории. Попробуйте, например, решите такой парадокс. У нас все до мелочей фактически планируемо и контролируемо. Официально же даем людям свободу действий. И при этом даже сравнительно небольшие по идее управляемые системы становятся фактически неуправляемыми. Они управляемы лишь с точки зрения официальных отчетов. Ничего загадочного тут нет, сказал Болтун. Как раз по теории Шизофреника это легко объяснимо. Стремление к мелочной опеке есть следствие одних социальных законов, а стремление к неуправляемости — других. Безответственность, отсутствие личной заинтересованности, дезинформация, очковтирательство, стремление к безделью — все это имеет неизбежным следствием фактическую неподвластность достаточно крупных групп людей руководству. А что касается обилия фактов и их устрашающего вида, для настоящего ученого это не помеха. Наука не совпадает с житейским отношением к фактам. Может быть великое множество потрясающих воображение фактов некоторого рода, а наука ограничивается в отношении этих фактов парой малозначащих формул. И могут иметь место отдельные факты, почти не затрагивающие сознания людей, но представляющие огромную важность с научной точки зрения. Карьерист сказал, что он не специалист в этих делах и не настаивает на своих суждениях. По его наблюдениям в организации системы управления (а его такая проблема весьма интересует) решающими являются два момента. Первый — выбор небольшого числа точек (параметров, как модно говорить) управления, которые действительно контролируются и владение которыми позволяет контролировать наиболее существенные стороны жизни. Второй — выбор небольшого числа случаев, когда вмешательство управляющего органа необходимо. Вы знаете, чем, в частности, отличается опытный летчик от начинающего? Начинающий считает, что за самолетом надо ежесекундно смотреть в оба, иначе он выкинет какой-нибудь фортель, и непрерывно дергает самолет без надобности. Опытный знает, что если самолет летит более или менее правильно, пусть себе летит, не надо ему мешать. Вмешиваться в управление нужно лишь тогда, когда без этого режим полета будет нарушен сверх допустимой нормы. Но общество — не самолет, сказал Болтун. Кто определяет эти точки управления и время вмешательства в ход процесса? Это зависит не от каких-то чисто кибернетических идей улучшения, нахождения оптимальных вариантов. Это зависит от природы, интересов и целей управляющих, от их взаимоотношений с управляемыми и других социальных факторов. Общество не есть только машина для выпуска метров ситца, тонн картошки и стали, тысяч врачей, кандидатов и докторов наук и прочей дешевой продукции.

Тут вмешался Ученый и стал объяснять, насколько важно построение теорий, позволяющих прогнозировать и объяснять общественные явления. Насчет объяснения — очевидный вздор, сказал Неврастеник. Насчет прогнозов — тоже, сказал Болтун. Как добиться того, чтобы теория давала наилучшие прогнозы? Теоретики исходят из предпосылки, что сам предмет не зависит от них, и конструируют необычайно сложные математизированные системы, не имеющие никакой практической ценности. Не потому, что теоретики дураки. А потому, что предмет сам дурак, т. е. «неправилен» и исключает возможность «правильной» теории. Где выход? Кажется естественным сам предмет приспособить к теории — упростить и стандартизировать. Прекрасная идея, сказал Карьерист. Так и делается фактически. Не сразу, конечно, а постепенно. На это нужно время и большие усилия. Государство вольно или невольно стремится усовершенствовать общество так, чтобы им было удобно управлять научно. Если бы я не знал, что вы иронизируете, я бы подумал о вас плохо, сказал Болтун. Теория Шизофреника при всей ее кажущейся наивности поразительно верна и эффективна. По его теории, всякие попытки государства усовершенствовать общественную жизнь, если таковые предпринимаются, реализуются людьми и организациями, погруженными в поле действия социальных законов со всеми вытекающими из них последствиями. Вам разве не известны попытки в последнее десятилетие усовершенствовать и упростить аппарат управления. Чем они кончились? Усложнением и запутыванием. В результате совокупности действий миллионов людей и организаций в течение длительного времени, действительно, складывается некоторое устойчивое состояние. Но лишь как равнодействующая всех сил и в полном соответствии с их социальной природой, а не как реализация некоего кибернетического идеала управления. А где же выход, спросил Ученый. Зачем выход, сказал Карьерист, не надо выхода. Нужна хоть какая-то стабильность.

О потреблении

Мы тут обо всем переспорили, сказал Неврастеник. Не спорили только об одном: о потреблении. А что об этом спорить, сказал Карьерист. Здесь все ясно. Безусловно, сказал Ученый. Очевидно, сказал Мазила. Не так уж очевидно, сказал Неврастеник. Вот я кандидат, а получаю меньше, чем водитель автобуса. Болтун — доктор. И Социолог — доктор. Как ученый Болтун на тысячу голов выше Социолога. А получает только в деньгах по крайней мере в два раза меньше. Я не считаю служебную машину, даровую квартиру, дачу, оплачиваемые командировки, закрытый буфет, гонорары. Социолог был у меня недавно, сказал Мазила. Хотел купить гравюру. Я назвал минимальную сумму. Вы бы посмотрели на его физиономию! Он тут же начал жаловаться на свою тяжкую жизнь. Говорил, что ученый в его положении на Западе имеет коттедж, по крайней мере пару машин, путешествия по миру, первоклассные отели, яхту. Я сомневаюсь, сказал Неврастеник, что ученый на Западе живет лучше Социолога. Я там бывал и видел. А какую сумму ты назвал за гравюру, спросил Болтун. Ты же знаешь, сказал Мазила. Думаешь, дорого? Вот я тебе скажу... Не надо, сказал Болтун. Я и так все знаю. Моя жена работала за сто рублей в месяц. Кончила вечерний институт. Стала получать девяносто. Успокойся, я не сравниваю ваши творческие способности. Я не вижу в этом несправедливости. Я констатирую факт: ты запросил за гравюру больше, чем ее месячная зарплата. Поднялся гвалт. Как обычно. Замелькали имена. Пошли в ход безымянные начальники, имеющие надбавки и берущие взятки. Модные портные и парикмахеры. Фотографы. Через час вопрос запутали окончательно, исчерпали сплетни и эффектные новости. Исчерпали свой справедливый гнев по поводу несправедливостей оплаты труда. Так вот, сказал Болтун, к вопросу о потреблении. Я не посягаю на то, что вы имеете. Я готов допустить, что вы имеете несправедливо мало и по справедливости должны иметь больше. И не хочу сравнивать нас и Запад. Я хочу обратить ваше внимание на то, что мы все время обходим молчанием фундаментальнейший вопрос нашего бытия. Его как будто нет. Он как будто не играет роли. За границу не пускают? Безобразие! Слово сказать не дают, хватают? Безобразие! Книгу не печатают? Безобразие! А ведь, уважаемые мыслители, есть такая вещь, как зарплата. Есть официальная основная зарплата. И есть случаи, когда разница огромна. Бывает, что А получает раз в двадцать больше, чем В. Есть официальная дополнительная зарплата (надбавки, премии, гонорары). Есть скрытая дополнительная зарплата (машины, квартиры, дачи, распределители, командировки, путевки). Есть законный и незаконный продукт личной изворотливости (базар, взятки, блат). Да что об этом говорить! В нашей официальной и неофициальной торговле постоянно продаются и покупаются вещи, предполагающие весьма зажиточные слои населения. За мебельными гарнитурами ценой в четыре тысячи рублей (более сорока месячных зарплат моей жены!) была оче-

редь. Загляните в ювелирные магазины. В меховые. А какие деньги платят в кооперативах! А какая масса людей с удивительной легкостью может оплатить любую туристическую путевку за границу! Что это? Трудовые сбережения? Ладно, оставим эту сторону дела для Правдеца. Признаем очевидный факт: общество расслаивается на группы людей, располагающих так или иначе различным уровнем потребления. Важно оценить место этого факта в нашей жизни. И среди множества вопросов, возникающих в связи с этим, не мешало бы выяснить такие: как к этому факту относится наша либеральная интеллигенция и наше консервативное руководство. А тут мы имеем весьма любопытиую ситуацию. Наше руководство всех рангов и типов не сомневается в справедливости своих привилегий, всячески их укрепляет и увеличивает. Народ по сему поводу слегка ропщет, но в принципе не считает это несправедливостью: начальство, ему положено! Интеллигенция в массе чувствует себя ущемленной и недовольна своим положением. Но не настолько, чтобы бунтовать. Стремятся найти какие-то законные и незаконные (но боже упаси, социальные!) способы компенсации. Часть интеллигенции (кстати сказать, не так уж плохо по нашим критериям обеспеченная) более явно чувствует себя несправедливо обиженной. Руководство стремится прижать эту часть интеллигенции. Оно не хочет, чтобы эта часть интеллигеиции жила лучше, чем живет оио само, руководство. И оно действует в соответствии со своими представлениями о справедливости: они хозяева, и по идее должны жить лучше. Кроме того, оно постоянно указывает народу на зажравшуюся интеллигенцию, создавая видимость борьбы за справедливость, отвлекая внимание от себя, находя виновных. Сложность ситуации состоит в том, что либеральная интеллигенция печется о своих личных интересах и попадает в ловушку. С точки зрения оплаты за дело и за способности она жаждет справедливости. Но это желание не есть справедливость с социальной точки зрения, ибо по идее распределение должно отвечать социальной структуре общества. Интеллигенция в данном случае выступает как антисоциальная сила. Ее борьба за свою справедливость выступает по форме как борьба за неравенство. Это дает мощный козырь в руки начальства и начисто отрывает интеллигенцию от того, что называют народом. Добавьте к этому стремление создать свою культуру и возможность выработать свой стиль жизни. И вы получите полную изоляцию определенной части интеллигенции от прочей части населения, хотя пространственно у нас все перемешаны. Более того, поскольку основиая масса интеллигенции предпочитает обделывать свои делишки потихоньку, а по культуре и образу жизни еще ие очень-то далека от прочей части населения, поскольку наиболее ловкие ее представители пользуются благами по высшим нормам (и хотят при этом еще большего!), то лучшие представители интеллигенции оказываются в полной изоляции и в своей среде. И Социолог — интеллигенция, и Шизофреник — интеллигенция. Один — проходимец, другой — настоящий ученый. Один процветает, шляется по миру, представляет ибанскую интеллигенцию, постоянно жалуется на свою горькую судьбу и поносит наш образ жизни. И, заметьте, совершенно безнаказанно. Даже за вознаграждение. А Шизофреник? Слышали вы когда-нибудь, чтобы он жаловался и поносил? А где он? Кто знает о нем?

Конец крысиного рая

И все же Крысиный рай (как мы для себя назвали экспериментальный крысарий) прекратил существование в тот момент, когда мы меньше всего ожидали это, читал Болтун. В крысарий проникли каким-то образом вши, расплодились с поразительной быстротой и создали свою социальность в точности по крысиным образцам. И тогда началось...

Притчи о себе

Я расскажу тебе одну притчу, сказал Болтун. В армию я попал еще до войны. Приехали в полк. Привели иас в столовую. Посадили по восемь человек за стол. Принесли буханку хлеба. Делить взялся интеллигентный по виду парень. Разделил так. Один кусок — самый большой. Другой — чуть поменьше. Остальные как попало. Воткнул нож в самый большой кусок, крикнул «хватай!», подвинул второй по величине кусок здоровому парню, своему соседу, который ему покровительствовал. Для меня наступил момент, один из самых важных в моей жизни. Или я подчинюсь общим законам социального бытия и постараюсь схватить кусок по возможности побольше, или я иду против этих законов, т. е. не участвую в борьбе. За долю секунды сработал весь мой прошлый жизненный опыт. Я взял тот кусок, который остался лежать на столе. Самый маленький. Эта доля секунды решила всю мою последующую жизнь. Я заставил себя уклониться от борьбы.

Сообщение из будущего

Тайное рано или поздно становится явным, говорит Мазила. Наши дотошные потомки все равно докопаются до правды. Это — оптимистическая гробокомедия, говорит Болтун. Хочешь знать, до чего докопаются наши потомки? Вот тебе примерная информация, допустим из 8974 года. При раскопках пустыря на окраине Ибанска геологи ошибочно обнаружили более десяти миллионов кубометров человеческих костей. По современным масштабам эта цифра незначительна. Но поскольку население Ибанска в ту эпоху было в несколько раз меньше, такое массовое захоронение, естественно, не вызвало никакого интереса в кругах специалистов. Благодаря усилиям большого коллектива исследователей и общественности удалось не найти объяснения тому факту, что во многих черепах в затылочной части имеется круглое отверстие, а лобные доли забиты трухой оптимизма и иллюзий. Были предприняты попытки возродить реакционную теорию реального существования Хозяина-Хряка. Но они были заблаговременно пресечены. Методом мученых атомов было установлено, что если бы такое захоронение и было на самом деле, то оно относилось бы к более позднему, постхряковскому периоду. С помощью первоисточников ученые доказали, что такого захоронения на территории Ибанска вообще быть не могло. Осуществленные затем новейшими методами закопки пустыря лишний раз подтвердили правильность нашей теории. Ну как? Рассчитывать на потомков просто глупо. Правда о прошлом возможна только тогда, когда она не вызывает эмоций. Если прошлое вызывает эмоции, оно непознаваемо. Живи сейчас.

Иначе нельзя

Несколько десятков штрафников из нескольких тысяч случайно уцелели и добрели до брошенного противником Н. Остальные остались лежать в грязи. За каким чертом мы брали этот Н, ворчит Уклонист. Явная бессмыслица. Откуда тебе знать, что бессмысленно и что нет, говорит Паникер. Может, иначе нельзя. Что ты этим хочешь сказать, спрашивает Юморист. То, что они там поступили наилучшим образом в не зависящих от них обстоятельствах? Или что они поступили так в силу своей натуры? Это далеко не одно и то же. В первом случае предполагаются разум и целесообразность дела. Во втором — нет. Но ведь где-то решали, брать или нет этот Н, говорит Паникер. Кто-то обдумывал это! Кто и где обдумывал это, установить невозможно, говорит Уклонист. Раз мы взяли Н, значит они думали правильно. За это кому следует дадут ордена, звания, должности. Оставим мы Н — одно из двух. Либо так надо из тактических или даже стратегических соображений. А может, это нужно для того, чтобы ввести всех в заблуждение. И тогда опять кому следует дадут ордена, звания, должности. Либо так не надо. И тогда тем, кто решит, что так не надо, дадут ордена, звания, должности. Наступила тишина. Состояние обреченности сменилось надеждой. И потому вернулись тревога и страх. С той стороны, откуда они вечность тому назад пошли в атаку, донеслась песня. У нас даже песни и те доносятся, говорит Юморист. Песня становилась громче и ближе. Стал слышен топот сапог и скрежет гусениц-цитат. Смотрите, сказал Юморист. Они идут. С авторучками наизготовку к ним стройными рядами направлялись сытые и тепло одетые ребята из Заградотряда — Троглодит, Мыслитель, Секретарь, Социолог, Претендент, Кис, Сотрудник. Директор, Супруга, Карьерист, Академик. Инструктор. Сослуживец. Ученый. Художник. Литератор. За ними двигались полчища Ноликов. Они горланили гимн заградотряда.

Регулярно до усеру кашу жрем.
Оттого-то мы счастливей всех живем.
И иа весь иа мир уверенио орем.
Левой!
Левой!
Левой!
Правой!
Ты один. А мы — оревой.

Если хочешь квши тоже,
Становись иа нас похожим!
А ие то — получишь в рожу!
Во вчерашнем дне уверены вполие.
В критиканах не иуждаемся извне.
Если что, так это все по их вине.
Левой!
Левой!
Левой!
Правой!

Ты — одик. А мы — оравой!
Вудешь тихим — дадим лопеть,
Вудешь ихним — будем шлепать.
Так что лучше с иами топать!
Как учил иас сем Хозяин иаш отец,
Нам дозволеио лупить судом к без,
Потому кек мы несем с собой прогресс.
Левой!
Левой!
Левой!
Правой!
Ты одии. А мы — оравой.

Кто внновный тут, кто правый,
Смысл подсказывает здравый:
Ты — одни, е мы — оревой!
Левой!
Леаой!
Левой!
Правой!

ЛЕГЕНДА ОБ ОТЩЕПЕНЦАХ

Возникновение Ибанска

Ибанск со всеми его проблемами, решениями и прочей требухой выдумал Шизофреник, сидя в компании Сотрудника, Болтуна, Крикуна, Мыслителя, Супруги, Мазилы и всех остальных в Забегаловке. Сделал он это сразу после того, как выдул без закуски пол-литра водки и запил его пятью кружками пива. Не закусывал он не из мелкого пижонства, а потому, что в это время в Ибанске закусывать имели возможность только спекулянты, начальники и их холуи. Шизофреник был в ударе. Собравшиеся с почтением заглядывали ему в рот и старались не пропустить ни слова. В особенности стукачи, которых ибанцы стали все менее принимать в расчет и сделали предметом иеобычайно остроумных шуток, демонстрируя тем самым свою прирожденную смелость. Лишившиеся былого могущества стукачи временно приуныли. Но доносы начали строчить с еще большим рвением и, во всяком случае, с большей квалификацией, поскольку число лиц с высшим образованием увеличилось в десять раз по сравнению с тринадцатым годом. К тому же демобилизовали два миллиона полковников, которые были непригодны ни иа что другое. Правда, они очень пригодились для разработки теории ибанизма. Но много ли тут было свободных мест? Тысяч сто. от силы — двести. А куда податься остальным?

Итак, Шизофреник дул водку и пиво и разглагольствовал. Остальные дули водку и пиво и заглядывали Шизофренику в рот. Обслуживавшая их официантка Жаба задевала за физиономии тощим задом и мощным бюстом. Стукачи затаили дыхание. Запахло идеей создания организации и свержеиия существующего строя. Я категорически против, закричал Учитель. Жабу во главе государства ставить иельзя. Тогда всю полноту власти захватит ее будущий фаворит Кис. А он установит тиранический режим похлестче Хозяина. Тщеславный Кис раздулся от важности и пообещал демократические свободы. Но после того, как посадит всех стукачей и палачей. Это ие пройдет, сказал Сотрудник. Тогда никто не останется иа свободе.

Вот какие это были времеиа! Трудно поверить, что они вообще когда-то были. Но уцелевшие очевидцы говорят, что в этом есть доля правды.

А на тот свет провожали Шизофреника только двое — Болтун и Мазила. Даже Неврастеник не пришел. Сказал, что как раз в это время выступает оппонентом у какого-то кретина. На самом деле струсил. Я бы поставил иа могилу надгробие, сказал Мазила. Не жалко. Но ведь сопрут, б... И не жалко, что сопрут. Изуродуют и выкинут. Пускай сопрут, сказал Болтун. Пускай изуродуют. Все равно надо что-то поставить. Мне сейчас некогда, старик, сказал Мазила. Да, откровенно говоря, и не до этого. У меня своих дел по горло. Это верио, сказал Болтун. Это не твое дело. Твое дело — надгробие Хряка. Ничего не скажешь, задача благородная. И, главное, эффектная. Не сердись, сказал Мазила. Пока. Я спешу. Болтун пошел в контору договориться о металлической дощечке за полсотни, на которой будут написаны имя и годы короткой и безвестной жизни замечательного гражданина Ибанска. Вот как изменились времена!

Безобразный гимн

После того как Шизофреник выдумал Ибанск, последиему потребовался свой собственный гимн. Объявили закрытый конкурс по пригласительным билетам и пропускам. А пока назначили временно исполняющим обязанности гимна стихотворение лауреата всех премий Литератора, вошедшее в золотой фонд ибанской поэзии:

Светлое
послезаатра
сообща
куя,
Зря
грядущее
скрозь арсмя
призму,
Мы не призиаем
и ие желаем
ик..., т. е. ничего,
Акромя
изма!
Начхать нам
на Америку и Европу!
Мы и сами
ие лыком
шиты!
Перегоиим
и покажем им
голую..., т. е. задницу,
Мол, завидуйте,
перазиты!
А осмелится кто
нас пугать,
Тому мы
мигом
поставим
клизму!
Мы обязательно
будем,
растуды
аашу меть,
Жить
при изме!

Гимн очень понравился Заведующему, которого за это наградили Большим Членом за военные заслуги и стали считать автором гимна. Участников конкурса мобилизовали, так как Заведующий решил следующее внеочередное переиздание своего переполненного собрания сочинений выпустить по просьбе трудящихся в стихах и привлечь для этой цели самых талантливых поэтов эпохи. Молодому поэту Распашонке, любимцу молодежи и Органов, за это дали сначала по шее, а потом дачу.

Музыки гимн ие имеет. Исполняется молча, стоя руки по швам до тех пор, пока не поступит распоряжение посадить всех.

Возникновение Ибанска

Дайте мне любые исходные предпосылки, говорил тогда Шизофреник, и я выведу из них любое общественное устройство. Какое хотите. На заказ. Из допущения свободы и равенства выведу отеческий террор и привилегии. Из допущения насилия выведу разгул свирепой демократии. Содержание предпосылок не играет роли. Для построения любого общества достаточно иметь некоторое множество индивидов и предоставить их

самим себе. Задать им какую-нибудь цель, и пусть творят, что заблагорассудится. Содержание цели тоже безразлично. Пусть хотя бы даже ваш сверхгениальный изм. Цель есть лишь организующая форма истории. Проделайте достаточно большое число экспериментов в одинаковых условиях и получите все логически мыслимые варианты. Никакой исторической необходимости того или иного варианта нет. Строго научно можно говорить лишь о степени вероятности возможных вариантов, что не имеет никакой прогностической ценности в случае индивидуальных событий. Историческая необходимость есть лишь идеологическое извращение прошлого с намерением оправдать настоящее и обеспечить какие-то гарантии на будущее.

Сидевший напротив Шизофреника Мальчик, который недавно дал согласие быть осведомителем Органов, перестал что-либо понимать в его пьяной трепотне, махнул на нее рукой и решил просто сообщить, что Шизофреник отвергает основополагающие принципы изма. Идея, сказала Супруга, только тогда становится материальной силой, когда она овладевает массами. Это — азбучная истина.

Азбучная чепуха, сказал Шизофреник. Индивидам вообще наплевать на идеи. Достаточно того, что они не возражают, когда кто-то приписывает им эти идеи.

После этого Шизофреник допил водку и выдумал Ибанск. Просто так. Шутки ради. Смешно, сказал он в заключение. Стоит выдумать какую-нибудь ерунду, как ей тут же придают вид исторической закономерности. Это еще полбеды, сказал Учитель. Берегись, люди, как правило, становятся жертвами своих собственных измышлений. Однажды, это дело было вскоре после войны, решили мы с приятелем...

Страничка героической истории

От природы Хозяин был средне-посредственный человек. Из среды сверстников он ничем не выделялся, если не считать повышенной склонности к ябедничеству. И говорил он как обычный средне-безграмотный крупный государственный деятель. Но когда перед ним открылась перспектива стать вождем, он заметил одну очень важную в карьере вождя закономерность. Народ любит, когда вождь выделяется не умом и красотой, а каким-нибудь заметным недостатком. Например, хром, горбат, косноязычен, лыс и т. п. Народ не любит умников и красавцев. Народ любит убогеньких. Когда убогенький вождь вдруг изречет, что дважды два — четыре, народ приходит в неистовый восторг. Глядите, глядите, ликует народ. Наш-то! Дурак дураком, а чешет, что твой академик. Вот и не смотри, что урод! И Хозяин решил приобрести недостаток, достойный вождя — вождя всех времен и всех народов. Какой? Ответ напрашивался сам собой: акцент. Ученые собрались на специальное тайное совещание и стали думать, какой акцент привить Хозяину, чтобы он после этого стал ни на кого не похож. И решили: акцент павиана. На сей раз Хозяин проявил выдающиеся способности. За пару лет он научился говорить с таким блестящим павианьим акцентом, что его речь любой ибанец даже спросонья может отличить от всех прочих звуков на свете. Чтобы окончательно проверить силу воздействия своего акцента на народные массы, Хозяин отправился в павианий питомник. Павианы-самцы приняли Хозяина за самку-павианиху и хором его изнасиловали. После этого Хозяин стал слегка заикаться, ходить пятки и коленки врозь и трясти левой рукой. Это еще более усилило эффект. Теперь пора, решил он. И собрал заседание. Ымэетса прыдлажэниэ, сказал он онемевшим от изумления соратникам. Тыпер я не просто рукавадытэл. Тыпэр я вож-ж-ж-д! Конкуренты заикнулись было, но противопоставить ничего не могли. Тыпер всэх убырат, сказал вождь. И их всех убрали. Ученых тоже. Чтобы не разгласили тайну.

География Ибанска

Где расположен Ибанск? Чтобы на этот вопрос дать научно обоснованный ответ, нужны те самые сумасшедшие идеи, о которых тоскуют самые передовые и вслед за ними самые глупые физики нашего сверхнаучного века. Но сумасшедших идей нет, хотя сумасшедших людей, имеющих идеи, очень много по данным Органов. Если бы сумасшедшие идеи были, их бы наверняка открыли сами физики, которых в Ибанске теперь почти столько же, сколько сотрудников Органов. А по мнению Учителя, сама проблема поставлена неправильно. Ее надо сформулировать так: как попасть в Ибанск? И тогда сразу станет ясно, что проблема банальна. Чтобы попасть в Ибанск, надо написать заявление, представить характеристику, заверить справку и заполнить анкету. В анкете указать всех своих и чужих умерших родственников. Взять с них подписку о невыезде и неразглашении. Уплатить взносы, пройти через комиссию маразматиков-пенсионеров, вывернуть карманы и согласиться на все. После того, как вы это сделаете, вам уже не нужно будет знать, где находится Ибанск, ибо вы уже будете находиться в нем. Более трудной является другая проблема: где находится то, что не находится в Ибанске? Но тут уже нужен донос.

Ибанск занимает почти всю сушу и граничит со всеми странами мира. Эти границы сильно раздражают ибанцев. Но не потому, что их не выпускают за границу. К этому они привыкли, поскольку не привыкли к тому, чтобы их выпускали. Их раздражает то, что на свете есть счастливчики, которые незаслуженно живут за границей. Мы тут вкалываем за гроши, мучаемся, ни черта не видим, а они...!!!

Левые интеллектуалы стали было ломать мозги над тем, где же расположен этот не населенный никем населенный пункт, который сразу граничит со всеми и до всех имеет дело. Но тут выступил слегка обруганный и сильно обласканный ведущий поэт Распашонка и сказал:

Раздумья мрачные гнетут
Незрелый разум мой.
Ибанск — он где? Не там. Не тут.
В твоей нишке прямой.

Вот дает, сказали левые интеллектуалы и понимающе переглянулись. Они еще не догадывались, что их время давно прошло.

Погода

Мы нэ можым ждат мыластэй ат пряроды, сказал Хозяин. И велел установить в Ибанске самую хорошую погоду с учетом времени года, местных условий и нужд сельского хозяйства. Народ с энтузиазмом взялся за дело. Провели субботник. Выдвинули встречный план. По почину ткачей за полгода до наступления зимы досрочно начали зверские морозы, сменяемые снегопадами и еще более зверскими морозами. Жыт стало лутшэ, жыт стало вэсэлэя, сказал Хозяин. Экономисты подсчитали, что по числу градусов на душу населения ибанцы превзошли Европу и вплотную приблизились к Америке. Хотя экономисты считали не те градусы, философы единодушно заявили, что полюс тепла, как и предсказывали классики, переместился в Ибанск. И ничего не значит, что мы от Америки отстаем. Мы вовсе и не отстаем. Хотя у нас градусов на душу населения меньше, чем у них, наши градусы работают лучше, ибо они служат не эксплуататорам, а трудовому народу.

Когда Хозяин сдох, перегибы в области погоды исправили. Мы не могём ждать милостев от этой... как ее... вашу мать... я и говорю, от природы, сказал Хряк. Пора за Америку браться. Кукуруза тепло любит. И установили зверскую жару, сменяемую суховеями и еще более зверской жарой. Все шубы ибанцы продали за границу, а вместо мяса стали питаться бананами.

После того, как Хряка скинули, сама собой установилась нормальная слякотная погода, сменяемая проливными дождями, переходящими то в снег, то в мороз.

Периодизация

История Ибанска распадается на три неравные половины. Первую половину образует период Потерянности. Это — самая большая половина. В этот период часть ибанцев сидела в лагерях, другая их сторожила, третья ковала кадры для первой и второй. А все вместе они успешно

строили изм. Этот период подробно описан в книгах Правдеца. Этих книг в Ибанске никто не читал, так как в них все неправда. Правдец, например, утверждает, что в этот период за дело справедливо пострадало пятьдесят миллионов ибанцев, тогда как по данным самих Органов их было всего сорок девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять человек.

Вторую половину образует период Растерянности, называемый в западной исторической литературе Случайным Растерянсом. Это — самая маленькая половина. Этот период отчасти описан в книге Двурушника, которую в Ибанске тоже никто не читал.

Третья половина — период Процветания. О размерах его пока трудно судить, поскольку он еще только начался. Но, судя по всему, он может превзойти первые два во всех отношениях. Описывать этот период уже некому, так как Правдеца выгнали, Двурушник сбежал сам, деятелей Срамиздата посадили. И хотя Двурушник пророчески заявил, что свято место не бывает пусто, это пророчество оправдывается пока лишь в отношении мест не столь отдаленных.

Сложность периодизации ибанской истории связана с тем обстоятельством, что третий период начался с одной стороны и не начался с другой стороны, точнее говоря, он начался снизу и еще не начался сверху. Ибанский народ, за исключением самого высшего начальства, уже вступил в третий период. Он готов ко всему и удивляется, что нет команды свыше начинать. А высшее начальство не приказывает. Оно живет иллюзиями второго периода и пытается сделать по-хорошему. Но разве с нашим народом по-хорошему можно? Начальство ведь терпит-терпит да и разгневается, что не получается по-ихнему. Подраспустили кое-кого. Начальство пониже терпит-терпит да и скажет свое решительное слово.

Короче говоря, роли не играет, что произойдет на самом деле, сказал Болтун. Важно, с каким сознанием живет ибанский интеллектуал. А он думает так. Либерализм кончился. Старое руководство вот-вот скинут. Новое обвинит старое в слишком либеральном отношении к оппозиции и в заигрывании с Западом. Одним словом, спасайся, кто может. Ибанские интеллектуалы не верят в просвет впереди, и поэтому его не будет. Его не будет независимо от намерений начальства. Его не будет вследствие того, что уже произошло. А то, что возможно, не может предотвратить последствий случившегося. Будущее не исправляет прошлого. Самое большее, на что оно способно, это — стать приличным прошлым. Но это уже касается будущих поколений, которые сейчас еще только учатся ходить.

Певцы

В период Растерянности в Ибанске появилось великое множество певцов, которые сами сочиняли песни и музыку к ним и сами их исполняли. Выступали они обычно в частных квартирах за выпивку и закуску. Да и то лишь постольку, поскольку выпивка и закуска были необходимым элементом исполнения и восприятия исполняемого. Среди певцов заметно выделялся яркой социальной ориентацией Певец. Певцом он стал совершенно случайно. Попал он как-то на такую вечеринку, попросил гитару и вдруг спел:

Объявляем вам, козявки-человеки!
Установлено отныне и навеки.
Вплоть до старости и с самого измальства
Все за вас решать намерено начальство.
Ему лучше знать, что кушать вам и пить.
И в каких штанах по улицам ходить.
И какие книжки следует читать.
И про что стихи и оперу писать.
Для здоровья лопать будете кефир.
А для духа слушать вечером эфир.
Как на север улетел аэроплан.
По железу перевыполнили план.
Для активности почти что через день.
Не читая, в урну пхнете бюллетень.
Чтобы было с заграницею о'кей.
Вам покажут, что такое их хоккей.
Но за счастие приходится платить.
Не советуем про это позабыть.
Как платить — наивнейший вопрос.
Дело наше, и не суй в него свой нос.

Такие песенки начальству не очень-то нравились. Но время было такое, что на них смотрели сквозь пальцы. Дети начальства гоняли эти песенки дома и на даче во всю магнитофонную мощь. Сами начальники слушали их в одиночестве, говоря про себя: вот дает, стервец! А ведь правду чешет! Только чего этим добьешься? Все равно ничего не сделаешь.

Мне эти законы наши
Положено знать по чину.
Чем больше руками машешь,
Тем глубже тонешь в трясину.

И велит начальник своей супруге подать бутылку коньяка. И пьет ее в одиночку, запершись в кабинете.

Хронология

Западные историки периодом Растерянности называют промежуток в истории Ибанска, расположенный в промежутке между промежутком, когда заведующим был Хозяин, и промежутком, когда хозяином стал Заведующий. Но у западных историков неправильный метафизический метод и ошибочная идеалистическая теория. Потому они не поняли главного, а остальное запутали. Ибанские историки единодушно отвергают существование периода Растерянности на том бесспорном основании, что в истории Ибанска был, есть и будет только один период, — период Процветания. В Ибанске различают две ступени — низшую и высшую. Но это — ступени, а не периоды. Ступени характеризуются понятиями «ниже» и «выше», а периоды — понятиями «раньше» и «позже». Поскольку высшая ступень еще не наступила и все время откладывается по уважительным причинам, низшая ступень временно исполняет обязанности высшей. Так что она по приказу выше всего того, что было и есть там у них на Западе. И никакого деления на периоды уже не требуется. Западные историки ничего этого, конечно, не знают и умышленно замалчивают в угоду капиталу. Одним словом, периоды Хозяина и Заведующего принципиально не различаются и имеют одну и ту же генеральную линию.

Один западный теоретик, окончивший в свое время по секрету Институт Передовой Профессуры, желая посрамить своих западных коллег, но при этом не выдать себя, задал такой вопрос: был ли хотя бы какой-нибудь период в тот самый период, когда, по мнению западных историков, был период Растерянности, а, по мнению ибанских историков, такого периода не было? Ибанские историки обратились в высшие инстанции за инструкцией. Не ваше собачье дело, ответили сверху. И опубликовали ноту. В ноте говорилось о том, что западные историки грубо вмешиваются в наши внутренние прошлые дела и мы этого не потерпим. Мы в ваши внутренние дела не вмешиваемся. Делайте, что хотите. Имейте только в виду, что вся писаная история человечества есть лишь предыстория ибанской истории и пережиток прошлого в сознании человека. Неосторожного историка обвинили в антиибанизме и фамилию его из списков вычеркнули. После этого его пришлось отозвать из-за границы домой и уволить на пенсию.

Если период Растерянности был, сказал Учитель, то он начался значительно раньше, а кончился еще раньше. Причем закончился он раньше, чем начался. А начался после того, как закончился. И Учитель написал бесспорную формулу, из которой это следовало с полной очевидностью. Болтун сказал, что Учитель нашел точное математическое выражение идей Шизофреника. Тебя ожидает бессмертие, сказал он. Меня завтра вызывают к следователю, сказал Учитель. За что, спросил Болтун. По поводу Крикуна, сказал Учитель. Это и есть конец периода Растерянности, сказал Болтун. А начала не было.

Любовь к иностранному

Как говорится в популярной песне,

Настоящие ибанцы
Уважают иностранцев.

Но это не совсем точно. Ибанцы обожают иностранцев и готовы отдать им последнюю рубаху. Если иностранец рубаху не берет, его называют сволочью. И правильно делают. Дают — бери, бьют — беги. Раз дают, бери, пока по морде не дали. Не выпендривайся. От чистого сердца дают. От всей души. Бери, пока дают, а не то... Если иностранец рубаху берет, а делает по-своему, его опять называют сволочью. И поделом. Зачем было брать? Если уж взял, так будь добр. Мы ему от всей души. Бескорыстно. А он, сволочь, на тебе. Жди от них благодарности. Сволочь да и только. Ну а уж если иностранец и рубаху взял, и сделал по-ибанскому, то тогда он тем более сволочь, поскольку тогда он свой, а со своими церемониться нечего. А, говорят ибанцы в таком случае, этот — наш, сволочь.

И все иностранное ибанцы тоже любят. Во-первых, потому, что оно дороже и достать его труднее. Доставать-то приходится из-под полы втридорога, во-вторых, в иностранном сам себя чувствуешь чуть-чуть иностранцем и чуть-чуть за границей. Заветная мечта ибанца — чтобы его приняли за иностранца. И тогда, кто знает, может, без очереди пропустят, может, не заберут, может, номер в гостинице дадут без брони высших органов власти и без протекции уборщицы. А еще более главным образом для того хочется ибанцу быть как иностранцу, чтобы прочие ибанцы подумали про него: глядите-ка, вон иностранец идет, сволочь!

Идея неравенства

Сами все время меня вынуждаете говорить, а потом обвиняете меня в том, что я трепотней занимаюсь, говорит Болтун. Ну да черт с вами. Денег же с вас я не беру. Самой прогрессивной идеей в наших условиях, если уж вы хотите слышать мое мнение по сему поводу, была бы идея неравенства. Идея равенства в условиях ибанского общества имеет смысл, противоположный тому, какой она когда-то имела на Западе. Она тут звучит примерно так же, как звание революционера в применении к работнику Органов или партийного аппарата. Здесь идея равенства есть принцип власти, направленный не на себя, а только на подвластных. Суть его — не допустить того, чтобы человек добился за счет своих личных способностей и труда благ, положенных лицам определенного социального ранга, не занимая социального положения этого ранга. Субъективно это несправедливо. Субъективно, например, ничем не оправдаешь таких ситуаций, когда два чиновника не различаются по личным способностям и затратам труда, но получают разные блага, поскольку занимают разные посты, а талантливый и продуктивный ученый получает столько же, сколько бесплодный и бездарный коллега, поскольку они занимают одинаковые должности. Все попытки руководства навести тут справедливый порядок вырождаются в пустую демагогию, ибо они не затрагивают иерархию распределения. Выход один: восстановить справедливое неравенство путем создания условий повышения социальной позиции индивидов за счет личных способностей. Но это противоречит самой идее иерархии, априори исключающей различие личных достоинств индивидов. В результате этой неразрешимой на уровне разума ситуации складывается тенденция к снижению творческого потенциала общества и социальному застою. Эти параметры страдают потому, что они не являются продуктом суммирования. Одного умного не заменишь двумя дураками. А социальный уровень общества не превышает уровня социального самосознания самого социально развитого его гражданина. Творческий уровень общества не выше такового у самых одаренных его представителей. Он, на самом деле, намного ниже. Как видите, куда ни кинь, всюду клин.

Страничка героической истории

Во времена Хозяина был установлен единый общеибанский стандарт штанов. Один тип штанов на все возрасты и росты. На все полности и должности. Широкие в поясе, в коленках и внизу. С мотней до колен. С четко обозначенной ширинкой и карманами до пят. Идеологически выдержанные штаны. По этим штанам ибанцев безошибочно узнавали во всем мире. И сейчас еще на улицах Ибанска можно иногда увидеть эти живые памятники славной эпохи Хозяина. Их демонстративно донашивают пенсионеры — соратники Хозяина. Донашивают ли? Однажды Журналист спросил обладателя таких штанов, как он ухитрился их сохранить до сих пор. Пенсионер потребовал предъявить документ. Потом сказал, что он эти штаны сшил совсем недавно. Когда Журналист уходил, пенсионер прошипел ему вслед: распустились, мерзавцы, к стенке давно вас не ставили. Это, конечно, смешной курьез. К стенке можно ставить и в узких штанах. И даже без штанов. Даже удобнее.

Выработан всеибанский тип штанов был в ожесточенной борьбе с уклонами и классовыми врагами. Левые уклонисты хотели сделать штаны шире в поясе, а мотню спереди опустить до пят. Они рассчитывали построить полный изм в ближайшие полгода и накормить изголодавшихся трудящихся до отвала. Своевременно выступил Хозяин и поправил их. Лэвые укланысты, сказал он, савершыли тыпычную ашыпку. Аны атарвалыс ат масс и забыжалы впэрод. Левых уклонистов ликвидировали правые уклонисты. Те, напротив, хотели расширить штаны в коленках и ликвидировать ширинку. Они не верили в творческие потенции масс и все надежды возложили на буржуазию. Опять своевременно выступил Хозяин и поправил их. Правыэ укланысты, сказал он, савэршылы тыпычную ашыпку. Аны атарвалыс ат масс и забыжалы назат. Правых уклонистов ликвидировали левые.

Когда Хозяин сдох и ибанцы наревелись досыта, стали появляться несколько зауженные штаны. Потом появились совсем узкие. С узкоштанниками повели решительную борьбу. Разрезали штаны публично, выгоняли из институтов, увольняли с работы, штрафовали, писали фельетоны. Но зато уже не расстреливали. И расправу производили не Органы, а сами широкие народные массы по собственному почину. Страшили не узкие штаны сами по себе. Они были даже выгоднее, так как благодаря им производство ткани в стране выросло сразу вдвое. Узкие штаны были признаком и символом растущей непокорности, своеволия, неверия. Но в конце концов узкие штаны, как и кибернетика, были очищены от идеологических искажений и признаны отвечающими идеалам изма. Как раз к этому времени они устарели.

Как говорил сам Хозяин, новоэ пышшыт, но лэзыт и пабыждаэт.

Гимн штанам

Когда узкие штаны завоевали право на существование, в Ибанске получил распространение гимн штанам.

Было же время такое
Нашей великой страны.
Носило все племя мужское
Учрежденные свыше штаны.
Пенсионеры и дети,
Подростки и их отцы
Были всегда одеты,
Как один, в штаны-близнецы.
Рабочие, и почтальоны,
И ветераны войны
Носили, будто знамена,
Стандартные чудо-штаны.
Отчаянные молчальники,
Отпетые болтуны,
Ответственные начальники,
И у всех, как одни, штаны.
Серьезные и проказники,
Честные и шпана
В будни ходили и в праздники
В, как две капли, схожих штанах.
Носили и думать не смели
Лишиться я такой красоты.
И с завистью не глазели
На узенькие порты.
Ошибочно думать, что это
От бедности нашей страны
Были все люди одеты
В одинаковые штаны.
Порывом могучим движимы,
В тех прошлых великих годах
Мечту вековую несли мы
В единых стандартных штанах.
Но годы те отгудели.

И, чашу испив до дна,
Породившие их идеи
Мы в модных несем штанах.

Автор гимна остался неизвестен. Одни приписывали его Певцу. Другие Распашонке. А некоторые даже Крикуну.

Спецкурсы

Одна из особенностей периода Растерянности — обилие специальных курсов лекций, читавшихся самыми различными людьми в самых различных научных и учебных заведениях на самые различные темы. Такие курсы читались даже на дому. Клеветник начал читать нашумевший в свое время курс сначала в одном идеологическом учреждении, затем его оттуда выгнали, и он пристроился в одно академическое учреждение подальше от идеологии, а закончил в комнатушке, которую снимал за половину с большим трудом зарабатываемых грошей. Вернее, не успел закончить, так как успел закончиться сам период Растерянности.

Я не собираюсь делать никаких сногсшибательных открытий, говорил Клеветник. Открытия теперь делаются в таких количествах, что давно пора пересмотреть само понятие открытия. Возьмите, например, даже царицу наук — математику. Математики прошлого относили к числу школьных упражнений все то, что можно было решить без особого труда и на что не требовался талант. Математики нашего времени даже теоремки, доказываемые в два-три шага, преподносят как научный результат. А если уж в математике дело обстоит так, что же тогда творится в остальных науках? Ураган научных открытий нашего времени в значительной мере (если не в основном) есть социальный ветер, а не ветер познания. Настоящие открытия тоже, конечно, делаются. И немало. Больше, чем раньше. Но они в большинстве случаев скрыты, несенсационны, не похожи на открытия вообще. Лет через сто мы узнаем, кто был настоящий ученый в наше время и что действительно ценного было открыто не с точки зрения открытия фактов, а с точки зрения понимания их. Но это я сказал так, между прочим.

Однако сказанное так, между прочим и вызывало главный интерес у слушателей. Это было нестандартно. В этом отсутствовала какая бы то ни было скованность. Это запоминалось само собой.

Я хочу, говорил Клеветник, лишь обратить ваше внимание на самые обычные и общеизвестные факты и сказать, что они имеют в жизни нашего общества гораздо более важное значение, чем им приписывает высокая официальная идеология и не менее высокая наука. Я не отвергаю науку. Наоборот, я считаю, что она в данном случае может сделать нечто подобное тому, что дала классическая механика для наблюдаемых фактов перемещения тел или квантовая механика для результатов наблюдений явлений микромира. Отличие от микрофизики здесь состоит в том, что здесь не нужно открывать сами факты. Они здесь налицо. Все факты налицо. И не нужно каких-то закрытых статистических данных, тщательно скрываемых как важнейшая государственная тайна. Все факты, повторяю, налицо. Надо их лишь как-то суммировать и придумать теорию, с точки зрения которой их можно предсказывать и которая даст достаточно убедительную основу для уверенности в том, что жизненные явления будут случаться так, а не иначе. Помяните мое слово, скоро самой главной государственной тайной станут не ракетные площадки и не фактическое поголовье скота, а общеизвестные привычные явления нашей жизни.

Группы

Характерным явлением периода Растерянности были также своеобразные идеологические группы. Возникали они по самым различным поводам, в самых различных местах и в самой различной форме. Наиболее значительными и устойчивыми из них были группы, которые по видимости занимались разработкой научных проблем, а по сути были прикрытием для идеологических сект. Сами участники групп, как правило, не

отдавали себе отчета в том, что они такое, и воображали себя подлинными учеными-новаторами. Некоторое время их и воспринимали именно таким образом. Группы такого рода складывались даже в рамках изма с намерением развивать подлинно научный изм Эти группы прогорели в первую очередь. Но не столько из-за того, что их участники были вопиюще невежественными шарлатанами, сколько из-за того, что они начали иметь официальный успех и конкурировать с обычными представителями изма.

Идеологический характер рассматриваемых групп обнаружился несколько позднее, когда редкие настоящие ученые, волею случая начавшие свою карьеру в их среде, покинули их, шарлатанство перестало приносить успех, и творческое бесплодие их стало для всех очевидным. Отдельные из таких групп превратились в официальные учреждения. Хотя и эти оказались столь же бесплодными с научной точки зрения, они оказались весьма удобными в иных планах. В частности — для налаживания международных связей определенного сорта, для проникновения в различного рода международные организации и для пускания пыли в глаза. Смотрите, мол! Вы там кричите о застое, зажиме, гонениях и прочих ужасах у нас. А это все клевета. У нас есть все! Социология? Можем делегацию в тыщу человек поставить! Кибернетика? У нас каждый второй кибернетик! Науковедение? Да у нас целый институт такой есть! Системные исследования? Ха-ха! У нас даже журнал такой есть. Во как!

Сборища групп проходили в виде семинаров, симпозиумов, коллоквиумов, лекций, докладов и т. п. И о науке, разумеется, говорили. Собственно говоря, только о науке и говорили. Но как! Чтобы всем было ясно, что к чему. О изме молчали. К тому же с усмешечкой. Выступает какой-нибудь гениальный мальчик, взявшийся бог весть откуда, и чешет без запинки: будем рассматривать общество как гомогенную систему из конечного множества суперперсонализированных элементов, отображаемую на гомоморфное подмножество кортежей... Начальство не придерется. Зубры изма, поджав хвосты и бледнея за свое вопиющее невежество, уползают кто куда. А всем понятно, что к чему. Еще пара-другая таких открытий, и мы их придавим. Что они могут против науки?.. Или собрался, например, симпозиум по изматической критике психоанализа. Главный докладчик — Мыслитель, Социолог, Супруга или даже Сослуживец. Или все вместе. Не все ли равно? И пошли разговоры. Главное — как можно больше наговорить, нечто невнятное, с десятками непонятных терминов, со ссылками на десятки западных имен. В особенности на таких, которые недавно опубликовали по одной статейке. Это — новейшее слово в науке. Пара слов о том, что это все не противоречит изму. Для начальства и отчета. Но так, что всем ясно, что к чему.

А в коридорах, на квартирах, в ресторанах, забегаловках и в кабинетах почтенных учреждений шли нескончаемые разговоры о положении в стране, о жизни на Западе, о Хозяине, о Хряке, об узких штанах и коротких юбках, о неореализме и сюрреализме, о лагерях и арестах. Поносили все свое. Восторгались всем западным. Короче говоря, просыпались от вынужденной спячки периода Хозяина, открывали глаза на действительность и рвались развернуть свои творческие потенции, зажимавшиеся столько десятилетий.

Состав групп был крайне разнородный, начиная от талантливых ученых, сделавших потом себе имя в науке (их были единицы), и кончая бездарными шарлатанами, жаждавшими легкой поживы в удобной конъюнктуре (их было большинство). А конъюнктура была в высшей степени удобной. Делалась карьера. Росла репутация порядочного и прогрессивного человека. Сложился даже особый тип интеллектуалов, которых Болтун обозначил термином «якобы репрессированные». Их идеал — в шикарном ресторане или богатой квартире жрать цыплят-табака и шашлыки, запивая хорошими сухими винами, пить французский коньяк или английское виски, спать по очереди со всеми приглянувшимися бабами или мужиками и выглядеть при этом несправедливо зажимаемыми и гонимыми. Классическими особями такого типа были Мыслитель и Супруга.

Научные и учебные учреждения сначала охотно допускали у себя такие группы. Еще бы! Все хотели идти в ногу с прогрессом и быть пере-

довыми. Образовывались новые сектора, кафедры, отделы и даже институты. И даже целые отрасли науки.

Одной из таких групп была группка, сложившаяся вокруг Учителя. Сам Учитель, по мнению специалистов, приложивших немало усилий, чтобы не допустить его в официальную науку, был способный ученый, но был заражен вздорными социальными идеями и не умел себя вести в приличном обществе. Члены его группы были неплохие поначалу люди. Но они были бездарны, как и прочие нормальные люди, и в меру безнравственны. Они обворовывали своего Учителя, печатали статейки с его идеями, но без ссылок на него. А когда ситуация изменилась к худшему, они потихоньку и постепенно предали его и разбрелись кто куда. Из их среды вышли наиболее способные погромщики идей Учителя.

От работ Учителя не сохранилось почти ничего. Несколько маленьких заметок в малоизвестных журналах. И небольшой отрывок из рукописи по теории социальных систем, которую под своим именем опубликовал Мальчик, выступавший экспертом по делу Учителя и сделавший приличную карьеру за счет науки.

Государство

В применении к ибанскому обществу все традиционные понятия социальных наук потеряли смысл, говорил Клеветник. Это относится в первую очередь к понятиям государства, братии, политики, права. Официальная точка зрения по этим вопросам общеизвестна. И я не буду ее излагать. Не буду с ней и полемизировать, ибо она есть явление вненаучное.

Государство есть система социальной власти данного общества. В ибанском обществе это есть система из огромного числа людей и организаций. В системе власти здесь занята по меньшей мере пятая часть взрослого населения. Поскольку общество в целом рассматривается как социальный индивид, государство есть его управляющий волевой орган.

Подавляющее большинство представителей власти суть низкооплачиваемые служащие. Это власть нищих или нищая власть. Это весьма существенно. Отсюда — неизбежная тенденция компенсировать низкую зарплату путем использования служебного положения. Поэтому ничего удивительного нет в том, что многие представители власти с низкими окладами живут значительно лучше более высоко оплачиваемых сограждан. Так что власть привлекательна материально даже на низших ступенях. Подавляющее большинство представителей власти официально обладают ничтожной долей власти. Отсюда тенденция компенсировать неполноту власти за счет превышения официальных полномочий. И возможности здесь для власти практически неограниченны. Неудивительно также то, что практически огромной властью располагают ничтожные чиновники аппарата власти.

Отсюда, между прочим, ненависть рядовой власти к научно-технической интеллигенции и деятелям искусства более высокого ранга, распространяемая по закону компенсации бессилия на самую незащищенную и бедную часть творческой интеллигенции. Ненависть к интеллигенции вообще есть элемент идеологии всей массы ибанской власти хотя бы еще потому, что в низших звеньях власть образуется из низкообразованной и наименее одаренной части населения, а в высших звеньях из лиц, которые с точки зрения образованности и талантов повсюду и всегда уступали и уступают многим своим сверстникам, выходящим в ученые, художники, артисты, писатели и т. п.

Ибанская власть всесильна и вместе с тем бессильна. Она всесильна негативно, т. е. по возможностям безнаказанно делать зло. Она бессильна позитивно, т. е. по возможностям безвозмездно делать добро. Она имеет огромную разрушительную и ничтожную созидательную силу. Успехи хозяйственной (и вообще деловой) жизни страны не есть заслуга власти как таковой. Эти успехи, как правило, есть неизбежное зло с точки зрения власти. Тем более — успехи культуры. Это вообще не есть функция власти. Иллюзия того, что это — продукт деятельности власти, создается

потому, что здесь формально обо всем принимаются решения, составляются планы, издаются распоряжения, делаются отчеты. На самом деле здесь имеет место лишь формальное наложение, а не отношение причины и следствий. Существование самодовлеющей власти облекается здесь в форму руководства всем. Даже погодой. Даже биологической природой человека.

Всемогущая власть здесь бессильна провести до конца и заранее задуманным способом даже малюсенькую реформочку в масштабах страны, если эта реформочка призвана повысить уровень организации общества, т. е. позитивна. Она одним мановением руки способна разрушить целые направления науки и искусства, отрасли хозяйства, вековые уклады и даже целые народы. Но она не способна защитить даже маленькое творческое дело от ударов среды, если последняя вознамерилась стереть это дело в порошок.

Власть ибанского типа принципиально ненадежна. Она не способна достаточно долго и систематически выполнять свои обещания. Не потому, что она состоит из обманщиков. При наличии самых искренних намерений что-то сделать власть не способна сдержать свое слово по условиям своего функционирования. Это касается, конечно, позитивных намерений в первую очередь и лишь в некоторой мере негативных. Почему? Лиц, обещавших дело, легко заменить лицами, которые само это обещание истолкуют как ошибку (для дискредитации сменяемых лиц). Общая тенденция к отсутствию стабильности норм жизни и тенденция властей к преобразованиям может изменить ситуацию так, что прежние обещания теряют смысл или забываются. Сменят, например, Хряка. Кто вспомнит о том, что он обещал бесплатный городской транспорт в таком-то году и удвоенные нормы выдачи жилья? Власть имеет, как правило, ложное представление о состоянии дел в стране, необходимым элементом которого является преувеличение хорошего и преуменьшение плохого. Власть в принципе исключает научный взгляд на свое общество и исходит при этом в своих намерениях из общих ложных предпосылок. Хряк, например, убежден в успехе своей кукурузной программы. И попробуйте растолкуйте ему, что эта затея обречена на провал в силу самих социальных принципов этого общества!

Ненадежность обещаний властей становится привычной формой государственной жизни. Властям в глубине души никто не верит. Не верят и они сами. И, принимая решения, это предполагают априори. Неявно, конечно. И, повторяю, в том, что касается позитивной деятельности. А в том, что касается негативной деятельности, стоит только дать сигнал. Ломать — не строить.

Плюс ко всему прочему почти полная безответственность за ход государственных дел. Присваивая себе все положительное независимо от его природы, власть строит свою деятельность так, чтобы не нести никакой ответственности за промахи и недостатки. Внутри власти для этого есть система круговой поруки. Наказания тут исключение и не такая уж страшная вещь. Что это за наказание, если первого заместителя министра сделали начальником главка или вторым заместителем? В крайнем случае находятся козлы отпущения, на которых сваливают все.

Ибанской власти придают вид добровольно выбираемой населением. В этом есть грандиозная ложь и глубокая правда. В чем тут ложь, вам хорошо известно. О каких свободных выборах может идти речь, если кандидаты на выборные должности отбираются властями, выбирать приходится из одного, избранные имеют лишь одну функцию — аплодировать высшим властям, одобрять все то, что им прикажут свыше. И вместе с тем ибанская система власти есть продукт доброй воли населения. Ибанские власти поступают нелепо, сохраняя надоевшую всем и вызывающую насмешки бутафорию выборов. Им надо бы просто заставить смотреть на добровольность власти с иной точки зрения.

Деловая жизнь

Деловая жизнь Ибанска идет по строго установленному порядку. В высших сферах принимается решение все поднять, повысить, улучшить и устранить все недостатки. Задачи вполне выполнимые, так как недо-

статков обычно бывает мало. И они все, как правило, отдельные. Такое решение принимается обычно тогда, когда старое руководство сменяется новым, новое списывает все недостатки за счет старого, замалчивает достоинства старого, чтобы потом приписать его заслуги себе. Если старое руководство спихнуть не удается, то под давлением требований времени старое руководство меняет старые хорошие намерения на еще лучшие новые или, точнее говоря, придает старым идиотским намерениям вид новых гениальных идей. Поскольку сразу все улучшить и исправить нельзя, делается это в строгой очередности: домны, вычислительные машины, коровы, картошка, стихи, романы, хромосомы, алкоголики, прогульщики. Атомы, ракеты и оппозиционеры улучшаются и устраняются систематически и вне всякой очереди. Постановлений по ним не принимается, но делается это в строжайшей тайне.

Строгий порядок соблюдается и внутри каждого этапа улучшения исправления. Принимается, например, установочное решение поднять уровень по мясу и молоку и догнать и перегнать Америку. О Европе и говорить не стоит, зачем с такой мелочью связываться! Делать — так по-большому! Разрабатываются конкретные меры для этого: 1) увеличить число голов парнокопытных млекопитающих, производящих молочный порошок и сгущенку (в миллионах копыт); 2) увеличить надои с каждой доярки (в миллионах поллитровок); 3) увеличить поголовье съедобных скотов (в миллионах шашлыков на душу населения); 4) увеличнть настриг мяса с каждого скота и т. д. Хотя коровы в Ибанске давно перевелись (их заменили на мотоциклы и электродоилки), решение увеличить их число в пятьдесят раз производит ошеломляющее впечатление на западную печать. Само собой разумеется, ибанская печать захлебывается от самодовольства. Ибанцы же цену всему этому знают, газет не читают и рассказывают по сему поводу анекдоты. Западные специалисты ибанологи и ибановеды, в особенности — заклятые враги, в один голос заявляют, что ибанское руководство наконец-то решило исправить трудное положение с продовольствием и разработало практические меры по подъему сельского хозяйства. Все расценивают это как несомненный сдвиг в сторону демократизации ибанского общества. Ибанское руководство подтверждает это публично, уверяя, что демократизировать у нас в принципе нечего, так как мы и без того самые демократичные и демократичнее быть не может. Друг Ибанска американский миллиардер Хапуга призывает бизнесменов вступать в деловые контакты с Ибанском на взаимноневыгодных условиях. В ибанских газетах начинают печатать материалы, разоблачающие их нравы и свидетельствующие о тяжелом продовольственном положении на Западе. Экономисты приводят неопровержимые цифры. Например, в Америке, где острый дефицит мяса, приходится всего один килограмм мяса на душу населения в неделю, а у нас принято решение, что будет приходиться по пятьдесят килограммов. А под шумок потихоньку сажают нескольких оппозиционеров.

Одновременно все силы общества нацеливаются на решение поставленной задачи, хватаются за самое слабое звено и начинают натягивать на себя всю цепь. Выдвигаются встречные планы. В результате сроки сокращаются вдвое, а цифры увеличиваются втрое. Ибарники изматического труда берут на себя повышенные обязательства и становятся на трудовую вахту. Токарь-универсал обязуется один выдоить всех козлов Ибанска, а Хлеборуб — настричь по сто и более клочков шерсти с каждой паршивой овцы. В сети политпросвещения начинают изучать постановление и сдавать зачеты. Аспиранты поспешно и успешно защищают кандидатские, а кандидаты — докторские диссертации. Философы обобщают практику строительства и поднимают ибанизм на еще более высокую ступень. В Журнале печатают серию статей и собирают «круглый стол», на который сажают сподвижника Чарльза Дарвина, открывшего превращение обезьяны в ибанца. Группа сотрудников уезжает в заграничные командировки. В газетах и на стенах домов появляются призывы к труженикам вымени, шкуры, хрюка и т. п. повысить удои, усилить сдир шкур и увеличить свинство. Новейшие достижения науки внедряются в производство. Кибернетики предлагают в свинарниках запускать классическую музыку, от которой у поросят с поразительной быстротой отрастают необычайно длинные хвосты и уши. Коровам показы-

вают полотна абстракционистов и сюрреалистов с комментариями ведущих эстетиков-ибанистов, от чего коровы еще более глупеют и отдают молоко задаром. В Газете на первой странице печатают поэму обруганного, но прощенного Распашонки, любимца молодежи, Органов и американцев:

Поголовье снотов мы утроим вдвое.
Урожаи — раз во сто. В даести раз — удои.
И иачнем опять цвести
Буржуям для зависти.

Примечание: в слове «буржуям» ударение на «я». В Журнале печатают еще одну серию статей о стирании граней. Претендента собираются выдвигать в Академию. Потихоньку забирают еще несколько подозрительных и судят их за валютные спекуляции, гомосексуализм и нарушение паспортного режима. Еще нескольких сажают в сумасшедший дом для профилактики.

Меры намечены. Установлены сроки исполнения. И в эти точно установленные сроки труженики вымени, шкуры, хрюка и т. п. начинают рапортовать о досрочном перевыполнении плана. Сроки досрочного перевыполнения и процент перевыполнения намечаются заранее. Заранее намечаются также кандидатуры инициаторов борьбы за досрочное перевыполнение. В заключение дают ордена и звания. Мяса, колбасы, овощей и прочего все равно не хватает или нет совсем. Но это уже клевета разложившихся элементов и тунеядцев, подпавших под тлетворное влияние. Высшее начальство едет за границу бороться за мир во всем мире и заодно закупает хлеб, мясо, картошку и зубную пасту.

Через некоторое время завершается общий деловой цикл и все повторяется снова, на более высоком уровне. Ибанск, как известно, движется к полному изму по спирали, высшие витки которой опускаются ниже низших, за счет чего и достигается поступательное движение вперед.

После мероприятий по коровам, картошке и кукурузе перешли к литературе, потом к телевидению, потом к кино, потом к хоккею с шайбой и стоклеточным шашкам. Наконец добрались до науки. И схватились за голову: весь Ибанск, оказывается, до отказа забит докторами наук. Ага! Так вот в чем дело! Так вот почему везде нехватки, недочеты, просчеты, загибы! Надо взяться за докторов и ликвидировать их как класс!

Донос

Я не знаю ни одного человека из числа своих знакомых, о котором не говорили бы, что он штатный сотрудник или стукач, сказал Болтун. Когда напечатали первую книгу Правдеца, то даже о нем говорили, что это сделано по заданию Органов. О Мазиле и говорить нечего. Девяносто процентов ибанских художников уверено, что он по меньшей мере полковник Органов. Иначе им нельзя понять, почему он до сих пор на свободе. Каковы причины этого явления? Их много. Начиная от пустяковых. Например — модный способ унизить человека. Зарекомендовать себя с определенной стороны. И кончая серьезными. Назову главные из них. Во-первых, навязываемая всем идеология, согласно которой у нас даже все оппозиционные акции совершаются с ведома Органов и под их контролем. Органы обо всем знают с самого начала. И если что-то произошло, то, значит, так нужно было. Это допустили с заранее намеченной целью и вовремя пресекли. Иначе было бы хуже.

Во-вторых, колоссально раздутые штаты Органов и их постоянных осведомителей. Их представители имеются во всех учреждениях. А стукачей приходится минимум один на десять взрослых. Плюс к тому все граждане регулярно выполняют функции стукачей, даже не подозревая зачастую этого и не видя в этом ничего предосудительного. Например, вызывают порядочного гражданина А и спрашивают, не замечал ли он чего-либо плохого за гражданином В. Гражданин А возмущен. Он бросается защищать В. И при этом выкладывает все, что ему известно о В.

Однако аппарат Органов и вся его грандиозная система осведомительства есть типичное и даже сверхтипичное ибанское учреждение. Отбираются туда наиболее социабельные индивиды, из которых вырастают обычные хапуги, лодыри, лгуны, карьеристы. Они работают хорошо

только тогда, когда нужно напустить сотню таких сотрудников на одного беззащитного человечка. Тогда они проявляют чудеса идиотской изобретательности и сообразительности. Бездари, лодыри и лгуны, как правило, суть виртуозные выдумщики нелепостей. Так что грандиозный аппарат сыска, доноса и надзора еще не определяет сам по себе психологию стукомании ибанского общества.

Основу этого явления образует общая система взаимного доноса, вырастающая из социальных основ общества как норма и привычная форма его бытия. Мы к этому привыкаем с детства, живем в этом ежедневно и даже не замечаем. А посмотрите на нашу жизнь со стороны. Газеты, кино, журналы, романы, собрания, симпозиумы, заседания, разговоры, отчеты. Что это такое? Доносы. Доносы. Доносы. На себя. На соседа. На коллегу. На начальника. На подчиненного. То, что называют системой отчета и контроля, и есть официальная система доноса как форма нормальной жизни общества. Информация о ходе дел, о результатах работы в этом занимает крайне ничтожное место. Результаты видны и без отчетов, бесед, докладов, сообщений. Все это делается как социальная, а не познавательная и управленческая акция. На каждого гражданина тем самым создается своего рода незримое (а во многих случаях и зримое) досье, которое в любое время может быть пущено в ход. Человек просвечивается насквозь по всем направлениям так, чтобы в нем не было тайны. И человек приучается не иметь тайны и избегать ее. А человек без тайны есть социальная штучка и не более. Пустышка. Голая форма для функции.

Так что аппарат Органов не есть отклонение от норм нашей жизни. Он есть ее законное порождение и выражение. Не будь Органов, общество так или иначе выполнило бы их функцию. Может быть, даже в еще более страшных формах. Например, завели бы свои камеры в каждом доме и учреждении. Органы даже немного лучше, чем породившее их тело, ибо они в какой-то мере профессиональны. И если бы не было никакой надобности ловить шпионов и врагов народа, если бы не действовал принцип, так хорошо в свое время выраженный Литератором:

Завсегда среди нас
Враг скрывается,
Так как классов война
Обостряется,

все равно сложились бы Органы в их теперешнем виде как подлинное выражение одной из существенных сторон ибанского образа жизни. И, кстати сказать, выражение все еще таинственной для Запада ибанской души.

Брат

Самый загадочный персонаж Ибанска — Брат, говорит Сослуживец. Не хочу ничего слышать про этого подонка, кричит взбешенный Мыслитель о своем друге. Они только что посмотрели выступление Брата по телевидению. Брат излагал новое прочтение темы Моцарта и Сальери, по которой Мыслитель считался крупнейшим специалистом. Как его выпустили, удивился Неврастеник. Такая одиозная фигура... Ничего особенного, говорит Социолог. После погрома Правдеца, Двурушника, Срамиздата и прочих надо создавать видимость того, что у нас интеллектуалы процветают. Теперь в ход пойдет Ибанка, Брат, Распашонка и прочее подобное. Даже Мазилу сейчас начнут публично поминать. Ничего загадочного в Брате нет, говорит Супруга. Обыкновенный стукач. А по-моему, он штатный сотрудник, говорит Мальчик. Ерунда, говорит Сотрудник. Там таких трепачей не держат. Если он и стукач, то доброволец. А скорее всего у него другие функции. Какие? Те самые, какие он только что выполнял. Он провокатор, говорит Мыслитель. Очень может быть, говорит Супруга. Но он обаятельный и неглупый человек.

А между тем все они ошибались. Брат был действительно загадочной фигурой на арене ибанской истории этого периода. Он был воплощением широты, глубины, сложности и мятежности ибанской души. Он был загадочен, ибо был типичен. Гипертрофированно типичен. Он сам не знал, кто он и что он. Когда он, например, клялся Правдецу, что слухи о его причастности к Органам распускают сами Органы с целью расколоть и ослабить движение, он говорил правду, так как никто не поручал ему идти к Правдецу и выведывать, чем сейчас тот занимается. Но он говорил и неправду, так как по выходе от Правдеца побежал к своим друзьям из Органов и рассказал о новой потрясающей книжке, которую сейчас пишет Правдец. Мы, ребята, говорил он с жаром, должны сделать все, чтобы книга была напечатана. Вы должны убедить Теоретика в том, что в ней нет ничего антиибанского. Я вам принесу почитать куски. Только — под величайшим секретом. Правдец глубоко наш человек, сами увидите. Я за него ручаюсь. Даю слово иста, он не подведет.

Братия

Что такое Братия в ибанской общественной жизни, вам точно так же хорошо известно, говорит Клеветник. Но я все же остановлюсь на этом вопросе несколько дольше обычного, ибо это — ключевой вопрос для понимания всей видимой жизни ибанского общества.

Определение того, что такое Братия, излишне и невозможно. Здесь нужно просто описание этого явления и его функционирования, подобно тому как это делается в отношении нервной системы человека. Братия есть эмпирическая реальность ибанского общества, имеющая определенное строение и функционирование. Я хочу обратить ваше внимание лишь на некоторые ее признаки, имеющие первостепенное значение с точки зрения анализа переживаемой нами эпохи.

Братия в ибанском обществе есть суть государственной власти, ядро всякой власти и объединение всех форм власти в единую систему власти. Это — социальная власть как таковая или власть в ее чисто социальной функции. И чтобы понять ибанскую государственность, надо понять суть Братии. Тут надо отбросить свои симпатии и антипатии и быть объективным. Иначе неизбежны заблуждения. Лучше даже немного апологетики, чем тенденциозное отрицание. Я думаю, что в оценке роли Братии ее апологеты ближе к истине, чем ее враги. В Ибанске на самом деле, а не только в демагогии и пропаганде Братия есть единственная сила, способная сохранить порядок в обществе, в какой-то мере ограничить буйство социальных сил и обеспечить некоторый прогресс. Не самая мощная, а единственная. И не считаться с этим фактором нельзя. Несерьезно. Между прочим, замечу, что массовые репрессии периода Хозяина произошли в какой-то мере потому, что определенные силы в стране сумели поставить себя над Братией и подчинить ее своей воле.

Братия состоит из людей. Потому исходный вопрос в ее понимании — вопрос о ее членстве. Надо признать как бесспорный факт, что членство Братии есть дело добровольное. Зачем вступают люди в Братию, ясно всем: главным образом — из корыстных и карьеристических соображений. Но делается это добровольно. Быть членом Братии — желанная цель многих. Однако не все удостаиваются этого блага. Об этом ниже. Есть случаи, когда люди вынуждены вступать в Братию по условиям работы. Например, безбратийным почти невозможно работать в области многих гуманитарных наук. Но это не отменяет принципа добровольности. Люди добровольно выбирают себе эти сферы деятельности, как правило, зная заранее, что им придется добиваться принятия в члены Братии. Руководители учреждений, как правило, являются членами Братии. Они добровольно рвутся в руководители и вступают для этого в Братию. Тот, кто говорит, что он был вынужден вступить в Братию помимо воли, тот лицемерит.

Возможны и имеют место случаи, когда люди, вступая в Братию, не верят в ее идеалы, в чистоту ее морали и поведения, презирают братийную дисциплину, демагогию, собрания. Таких очень много. Но это не играет никакой роли, раз люди формально ведут себя так, как должны вести себя искренние члены Братии. Главное — фактическое поведение. Ничего безнравственного в этом нет, ибо нет никакой возможности обнаружить, что человек лишь прикидывается, не является искренним в отношении программы, идеологии, демагогии Братии. Если такие случаи обнаруживаются (они — исключительная редкость), человека исключают из Братии, и все. Неискренность при вступлении в Братию не

отвергает принципа добровольности, а подтверждает его. Это тем более делается согласно собственному расчету и решению индивида.

Добровольность членства Братии есть основа всей ибанской государственности. Объяснить, как на базе полной добровольности вырастает самая полная и оголтелая принудительность власти,— вот задача для любителей решать житейские парадоксы. Насилие есть равнодействующая свободных воль индивидов, а не злой умысел тиранов. Тираны такие же пешки в руках добровольно вырастающей власти, как и их жертвы. Неограниченная власть тиранов есть иллюзия, рождаемая ситуацией всевластия жертв власти.

Второй принцип членства Братии — принцип отборности. В Братию идут добровольно, но не все в нее принимаются. В нее отбираются по строго определенным принципам. Этот отбор и определяет то направление, в котором будут суммироваться добрые воли отдельных индивидов их совокупной власти. Однажды сложившись, система отбора лиц в члены Братии воспроизводится в стабильном виде изо дня в день, из года в год, испытывая незначительные изменения в связи с общими изменениями состава населения страны.

Надо признать далее ка́к факт, что в Братию отбираются далеко не худшие граждане. Возьмите среднее ибанское учреждение и посмотрите, что из себя представляет его братийная организация. Конечно, в силу массовости Братии и общих условий жизни многие члены Братии оказываются жуликами, развратниками, пьяницами, взяточниками и т. п. Это неизбежно. Но в относительных величинах уровень преступных и аморальных явлений, обнаруживаемых официально, в братийной среде ниже, чем в среде небратийного населения. Я не хочу этим сказать, что в Братию отбираются только хорошие люди. Оценки такого рода тут вообще неуместны. В Братию отбираются индивиды, являющиеся лучшими гражданами с точки зрения официальных критериев оценки ибанского общества. Эти индивиды должны быть психически нормальны, иметь минимум политической образованности (читать газеты и запоминать их содержание), соблюдать нормы бытовой морали, соблюдать нормы трудовой дисциплины, быть социально активными (выполнять общественную работу). Мы даем этим качествам другие названия: карьеризм, стяжательство, беспринципность. Но эти слова двусмысленны. Они имеют социологический и морализаторский смысл. В социологическом смысле, например, карьеризм есть нормальное и здоровое явление. В морализаторском — это есть нечто иное. Это делание карьеры морально предосудительными методами.

Короче говоря, в Братию отбираются граждане, обладающие четко выраженными качествами социального индивида. Формально они удовлетворяют всем требованиям морали, права и дела. К ним не придерешься. А так называемая фактическая сторона официально не существует. Ее нельзя разоблачить. В разоблачении ее никто, кроме отдельных правдоборцев и оппозиционеров, не заинтересован.

Проблемы эмиграции

После нескольких лет бессмысленной волокиты уехал за границу Двурушник. Насовсем. Не понимаю, почему ты этому придаешь такое значение, говорит Почвоед. Это же единичный случай. И что ты ни говори, это — предательство по отношению к своему народу. Бросить свой народ в беде... Дело не в количестве, говорит Учитель. Проблема эмиграции есть лакмусовая бумажка нашего общества. Дело в том, как мы на нее реагируем. А реагируем мы омерзительно. Человек двадцатого века имеет право выбирать себе место жительства по своим желаниям и возможностям. Ничего преступного и аморального в этом нет. Преступно и аморально препятствовать этому. Возьми нашу внутреннюю жизнь. Сколько народу с окраин бежит поближе к центру и в центр. А это тоже эмиграция по отношению к тем районам, откуда бегут. Мы же с этим смирились как с нормой. И о какой беде ты говоришь? Странно это слышать от государственного деятеля. А если уж ты так печешься о народном благе, так оно немыслимо без соблюдения элементарных прав человека, в том числе — права выбирать место жительства. Это пустые

абстракции, говорит Почвоед. Я знаю, к чему на практике приведет реализация таких лозунгов. Утечка мозгов и творческих потенций... Мозги Двурушника тут никому не нужны, говорит Учитель. Его от всего отстранили и изолировали независимо от этой злополучной книги и еще до нее. Кстати, в книге ничего антиибанского нет. Скорее наоборот. На эту тему мы с тобой вряд ли договоримся, сказал Почвоед. Это принципиально.

Любопытно, думал Учитель. Начинают работать глубинные основы мировоззрения. Было время, когда они отошли на задний план и казались пустяковыми. А размежевание происходит (и это — несомненный факт) не по проблемам, которые еще недавно выглядели очень острыми и политичными, а по малоприметным проблемам, на которые раньше вообще не обращали внимания. Проблема эмиграции выросла в социальную проблему лишь в последние два-три года. И превратилась фактически в проблему приятия или неприятия самих основ нашей жизни. Что бы там ни говорили желающие удрать, они бегут от изма как такового. Это факт. И это чувствуют наши вожди. Размежевание происходит не по массовым проблемам, а по индикаторным, касающимся очень немногих личностей, но зато глубоко.

Ладно, сказал Учитель. Черт с ними, с эмигрантами. Мы же не эмигранты. Мы никуда не сбежим. Будем работать на благо народа. Не кинем его в беде. Только как он отнесется к этому нашему намерению? Боюсь, что хуже, чем к Двурушнику. Пусть, сказал Почвоед. Отступать все равно поздно. Вот, смотри...

Науки

Науки юношей питают,
Надежду старцам подают,

— писал один древнеибанский поэт. С тех пор положение несколько изменилось. Науки возросли и превратились в непосредственную производительную силу. И питают они теперь не столько юношей, сколько старцев. Троглодит и Академик, например, каждый по отдельности прожирают по крайней мере в два раза больше, чем весь первый курс среднего факультета Университета. А юношам остается зато надежда пробиться в старцы. Как сказал Портян, все переходит в свою противоположность путем отрицания отрицания по спирали в форме перехода количественных изменений в качественные скачкообразно, причем у нас это происходит под руководством и по заранее намеченному плану, который... Извини, старик, сказал Неврастеник. Мне некогда. Ты продолжай в том же духе. Через час я вернусь и дослушаю конец твоей замечательной мысли. Не забудь, сегодня получка. Портян, услыхав о получке, захлопнул пасть на полуслове и помчался в институт. Его как крупного ученого к кассе пропускали без очереди.

Ибанские науки разделяются на естественные и неестественные. К естественным наукам относятся хорошо, поскольку они стали непосредственной производительной силой согласно предсказаниям и указаниям классиков и помогают строить материально-техническую базу полного изма. Вообще-то говоря, ибанцы на своем личном опыте убедились в том, что полный изм можно построить и без такой базы. И даже легче. Меньше волокиты. Собрали главных начальников, приняли решение, провели разъяснительную работу, и готово. А если кто вздумает, то... Но как-то неудобно перед классиками. Старики мечтали сделать дельце на хорошей материально-технической базе. Чтобы все было как следует, в полном согласии с объективными железными законами. Тогда если кто и вздумает пикнуть, ему и сунем в рожу базу. Смотри, мол, сукин сын, против чего ты прешь! Против железных законов! Против исторической необходимости!!! И по шее. А лучше в затылок. Научнее.

Ко всему прочему — заграница. Ах, если бы ее не было! Тогда бы мы в два счета. А там вечно что-то выдумывают. А с ними тягаться надо. Преимущество свое доказывать. Не успеешь стянуть у них одну машинку, как нужно тянуть другую. Пока внедряли, устарела, сволочь! А тут без науки никак не обойдешься. Ну, и угроза, разумеется. Угроза — это главное. Надо противостоять. И всех защищать. Пропадут же без

нас, сволочи! Тут и на науку потратиться не жалко. Пусть себе развивается! Мы не против. Кто сказал, что мы против? Клевета! Мы всегда за. Наука — она, ха-ха-ха, штука серьезная. Авось придумает что-нибудь такое. Придумает, сволочь! А если не придумает, мы им... Придумает, не смеет не придумать. Ученые же там сидят, а не какие-нибудь... За что, спрашивается, деньги им платим? И какие деньги! Мало — еще дадим. А нет, так ведь и урежем. Пусть как все. Придумают! Вот тогда-то мы ка-а-а-ак бабахнем! И скажем свое слово. Хватит, туды растуды вашу мать! Попили кровь мирового пролетариата и угнетенных отсталых народов! Вы ответите нам за все! Теперь наша очередь! Что вы сделали с нашими папуасами? Бабах! Что вы делали с нашими бизонами? Бабах! Кто навел руку в нашего...? Бабах! Ах, если бы не заграница! Мы бы тогда все силы бросили на мирный атом, конечно. На космические полеты! Не вечно же на Земле нам сидеть!

Конечно, внутри у нас не все на должном уровне. Есть отдельные недостатки. Развиваемся, но не такими ускоренными темпами, как хотелось бы. Мешают. Мы стараемся, а они мешают. Мы для них, а они... Хлеба не хватает. Мяса, говорят, нет. Преувеличивают, конечно. Но нет дыма... Говорят, наука помогает. Врут, сволочи! А вдруг и в самом деле поможет? Выдумает что-нибудь такое! Ведь выдумали же икру! Есть, правда, нельзя. Не переваривается, сволочь. Но продавать можно. Американцы вон за милую душу ее лопают. И еще просят. Выдумает, не посмеет не выдумать! И тогда руководить можно будет как следует. Вызовешь на дцать ноль-ноль. Прикажешь. И жди результат. Не терпится — прикажи, досрочно сделают. За что им деньги платим? А результат не может не быть. Не смеет не быть. Обязан быть. С перевыполнением. И до срока. А если что — снимем. Судить будем.

Короче говоря, без науки-то лучше было. Жили без теории относительности. И без хромосом. И без обратной связи. И без информации. И неплохо жили. По крайней мере не было ни Правдеца, ни Певца, ни Двурушника, ни Срамиздата. И еще неизвестно, чем все это кончится. Прихлопнешь одного, другой вылезет и заорет на всю вселенную: помогите, зажимают, не выпускают, сажают, лечат... Давить их, гадов, надо. Давить в зародыше. А если уж без науки пока нельзя, так проверять надо. Следить. Контролировать. Достойных отбирать. Мало ли кто что выдумает!

С другой стороны — обещают жизнь продлить до двухсот лет. И никаких болезней. Перелеты опять же. Воздух очищают. И кины показывают смешные. Это ежели годам к восьмидесяти изберут или назначат, так за сто с лишним лет можно будет так зажать, что Хозяин позавидует. То есть счастливыми всех сделать. За пятьсот лет потом не наблагодарятся. Сколько встреч и переговоров за сто-то лет! А юбилеев сколько! А наград! Ха-ха, десять человек на особых щитах за тобой носить будут. А речей! В год по тому — минимум сто томов. Надо на полиграфическое дело внимание обратить. Отстало малость от общего неудержимого движения вперед. А то последнее полное собрание пришлось печатать за границей. Стыд-то какой, если узнают. Не узнают, сволочи! Пусть попробуют...

Ходят слухи, что американцы научились любые органы заменять на новые. Надо делегацию послать. Сотрудников, конечно. Можно включить и пару врачей. Риск, сбежать могут. Отобрать надо. Надежных. А рискнуть стоит. Если они любые органы меняют на новые... Вот бы!..

Реабилитация кибернетики

Реабилитировали кибернетику. Заодно — ряд других буржуазных лженаук. Структурную лингвистику, формальную генетику, конкретную социологию и т. п. В Газете напечатали установочную передовую статью «Кибернетика на службе изма». В Журнале напечатали серию разъясняющих статей крупнейших ибанских структуралистов, генетиков, кибернетиков. В передовице слегка намекалось на некоторые недооценки и искривления, зато прямо и откровенно было сказано, что подлинно научное понимание кибернетики впервые дано классиками изма, которые хотя о кибернетике не знали, но цитаты по сему поводу высказали, и ибанскими учеными.

В статьях специалистов было убедительно доказано, что кибернетику и все остальные современные науки впервые открыли в Ибанске. Вскоре на каждой улице открыли институты и лаборатории кибернетики и всех остальных современных наук, имеющих необычайно важное значение для практики строительства изма. В каждом доме открыли свою социологическую лабораторию. Тогда-то Социолог и разработал знаменитую допросную... извиняюсь, опросную анкету, в которую впервые в истории мировой науки ввел фундаментальнейшие проблемы: Любите ли Вы своего Заведующего? Хотите ли Вы строить изм? Доверяете ли Вы справедливости Органов? И многие другие. Потом эту анкету запретили из гуманных соображений. Вдруг кто-нибудь по ошибке или сдуру скажет «нет». Тогда его по закону надо сажать за клевету. А сажать пока преждевременно.

Благодаря реабилитации кибернетики и прочих исконно ибанских областей науки прогрессивные силы неожиданно получили средство идеологического и организационного объединения, санкционированное свыше. Им были предоставлены помещения для сборищ, трибуны для ораторов, печать для пропаганды. Начальство попалось на удочку истории и не ведало, что творило. Ему было невдомек, что сам выход на трибуну этого, например, худосочного очкарика воспринимался собравшимися как открытый протест против режима. Раньше его давно бы посадали, и за дело. А теперь он кривляется на трибуне, что-то бормочет про энтропию и информацию (а не про материю и сознание!). И пишет на доске иксы и игреки с таким видом, будто не было стольких десятков лет такой славной истории Ибанска. А когда этот, например, косноязычный шизофреник написал на доске функцию пси от альфы и беты, собравшиеся интеллигенты поняли это как призыв покончить с зажимом и даровать свободы. Научного смысла функции никто не понимал, ибо его и не было, ибо смысл ее и состоял исключительно в призыве к свободе.

Реакционные силы братийным чутьем чувствовали, что в Ибанске всякие новые идеи на первых порах обретают идеологическое звучание и становятся враждебными изму. И предупреждали об этом. Понимать не понимаю, говорил Троглодит, но чувствую, что это не наше. Погодите, говорил Секретарь, кончится тем, что придется вводить войска. Реакционные силы по опыту знали, что новые идеи только тогда начинают лишний раз подтверждать изм, когда безнадежно устаревают и начинают вызывать скуку. Но на них прикрикнули руководители из прогрессивного крыла своих же родных реакционных сил, и они сами на всех парах устремились в прогресс, заняв в нем руководящую роль. Троглодита назначили председателем по кибернетике. И под его опытным руководством прогрессивные силы первым делом доказали, что новые идеи подтверждают правоту изма на новом этапе, и начали догонять Запад по кибернетике. По мясу и молоку Ибанск уже догнал и перегнал Запад, и о мясе и молоке ибанцы забыли думать. А он неплохой мужик, говорили прогрессивные силы о Троглодите. Главное — не мешает работать. Смотря кому, сказал Учитель.

Перемены

На крыше нового полунебоскреба редакции Газеты и Журнала вспыхнули зеленые слова:

АЗЕТ — ОВО РАЗВЕ
УРНА — ПОЛ С ВЕ ЧИ

Что это значит, спросил Журналист. Сейчас узнаем, сказал Неврастеник. После иескольких подмигиваний на табло вспыхнули ярко-красные слова:

ПУСК БАНЕ ТАР И МАЛ
ПРОЧ ГАЗЕТУ И ЖУРНАЛ.

В переводе на английский, сказал Неврастеник, это означает:

ГАЗЕТА — НОВОГО РАЗВЕДЧИК,
ЖУРНАЛ — ПОЛЕЗНОГО СОВЕТЧИК.
ПУСКАЙ ИБАНЕЦ СТАР И МАЛ
ПРОЧТЕТ ГАЗЕТУ И ЖУРНАЛ.

Как видите, мы и в области рекламы наступаем вам на пятки. И все-таки, сказал Журналист, тупо уставившись на вывеску магазина

АСТРОНОМ, за эти годы у вас произошли грандиозные перемены. Вчера, например, я встречался с Распашонкой. Ои читал прекрасные стихи. Смелые. Глядите, сказал Неврастеник, это тоже из Распашонки:

КАЖДЫЙ ИВАНЕЦ ОВЯЗАН ЗНАТЬ
НАУКУ ОДНУ.
КАКУЮ?
ОТВЕТЬТЕ-КА!
ЭТА НАУКА
— НАУК НАШИХ
МАТЬ,
ОРУЖИЕ НАШЕ
— САМА ДУБАЛЕКТИКА!

Это пустяки, сказал Журналист. Нельзя же без этого. А без этого, спросил Неврастеник, указывая на табло:

ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ НУЖНЫ —
ТЕРПИ.
НО ЕСЛИ ДАЖЕ
ОВОСТРЕНЬЕ УТИХНЕТ,
ИДЕОЛОГИЮ
НАШУ
ВОВСЮ КРЕПИ
И ВОВСЮ ВОЮЙ
С ИДЕОЛОГИЕЙ
ИХНЕЙ!

Да, сказал Журналист. Это уже не шутки. Какой-то проходимец на этом большие деиежки нажил. Этот проходимец — ваш любимый Распашонка, сказал Неврастеник. Может быть, зайдем куда-нибудь слегка выпить? Идея, сказал Журналист, указывая на забегаловку, над которой сверкали исполинские разноцветные буквы КУСОЧНАЯ. Вот сюда! Уже закрывается? Странно. Еще так рано. Тогда пошли сюда. Очередь! Часа полтора стоять! Нет, это не по мне. Журналист задумался. Он уже не реагировал на огромный плакат в окне кафе, на котором был изображен произносящий речь Заведующий, а под ним — слова:

ЧТОБЫ В ПОЛИТИКЕ РАЗБИРАТЬСЯ ХОРОШО,
РЕЧЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ИЗУЧИ С КАРАНДАШОМ.

Неврастеник хотел сказать, что это — тоже Распашонка. А портрет рисовал трижды лауреат... Но ему было лень из-за такого пустяка открывать рот. Он ждал. Пошли в «Интурист», сказал Журналист. Меня туда не пустят, сказал Неврастеник. Тогда в «Националь», сказал Журналист. Там уже с открытия нет свободных мест, сказал Неврастеник. Тогда пошли ко мне в номер, сказал Журналист. Вы хотите, чтобы мне дело пришили, спросил Неврастеник. Вот сволочи, сказал Журналист. У вас тут ничто не меняется! Когда Неврастеник показал ему на табло, на котором сияли слова из новой поэмы Распашонки, он махнул рукой. Я, не читая, знаю, что там будет, сказал он.

К СВЕТИЛУ ГОЛОВУ ВОЗДЕВ,
ОРУ ЕМУ ДЕВИЗ МОЙ:
ВПЕРЕД,
И НИКАКИХ ГВОЗДЕЙ,
К ПОВЕДЕ ПОЛНОЙ
ИЗМА!

Братия

Братия, говорит Клеветник, занимает особое положение в ибанском обществе в том смысле, что это не есть обособленная социальная группа или скопление таких групп. Социальные группы образует лишь братийный аппарат, подчиняющийся общим социальным законам общества. Члены Братии как социальные индивиды являются членами внебратийных социальных ячеек, существуют и действуют в этих ячейках. Если член Братии есть работник аппарата Братии, он входит в соответствующие социальные группы не в качестве члена Братии, а в качестве работника этой группы, выполняющей какие-то деловые функции. Член Братии — не профессия. Это — отобранный по определенным правилам рабочий, инженер, учитель, ученый, писатель и т. п., который призван сыграть в обществе определенную роль. Что это за роль?

Почти все лица, исполняющие власть во всех ячейках общества (по крайней мере — в жизненно важных), отбираются из членов Братии. В крайнем случае они рассматриваются как будущие члены Братии и

обычно вступают в нее. Так что члены Братии — это множество индивидов, из которых отбирается власть любого рода. Это резерв власти.

Рядовые члены Братии, далее, служат основой для иерархии братийных органов вплоть до высших сфер, т. е. аппарата Братии. Если сами они не образуют особые социальные группы, то формируемый на этой основе и отбираемый из них аппарат Братии — это есть система особого рода социальных групп. Она есть высшая власть в стране на всех уровнях иерархии власти. Ей принадлежит вся полнота власти. Когда говорят о различии братийной и хозяйственной власти в Ибанске и даже о конфликтах между ними, то проявляют полное непонимание сути ибанской власти. Никакой особой хозяйственной власти нет. Есть хозяйственные функции власти, поручаемые особого рода организациям. А власть одна — власть Братии, ибо хозяйственная власть сама образуется из членов Братии. Иное дело — сам аппарат власти есть совокупность лиц и организаций, живущих по общим социальным законам. Здесь бывают конфликты. Они бывают даже между различными группами самого братийного аппарата. И даже между различными членами одних и тех же групп. Но это не касается принципиальной сути и структуры власти.

Внутри социальных групп члены Братии образуют добровольную и надежную опору власти как по линии братийной иерархии, так и по линии иерархии власти с точки зрения организации дела. Собственно говоря, несовпадение системы социальной организации общества и системы деловой его организации и создает условия для такого своеобразного явления власти, как Братия.

Классики в свое время говорили, что при полном изме Государство и Братия отомрут. Не хочу обсуждать этот вопрос. Замечу лишь одно. Опыт истории Ибанска говорит о том, что скорее отомрут фиктивные формы власти вроде так называемых выборных органов, которые являются чистой бутафорией для пропаганды, чем Братия. Что касается отмирания Братии как политической организации, то тут я полностью согласен с классиками. С одним лишь коррективом: Братия в Ибанске давно уже не является политической организацией. К этому вопросу я вернусь в дальнейшем.

Гимн Члену

Как ни мозгуй, что ни толкуй,
Ведется с неких пор.
Опора нашей жизни... Член.
И нет других опор.
Кан нн мозгуй, что ни толкуй,
Бумажку подписать
Идешь в контору. Занят... Члеи.
Извольте подождать.
Кан ни мозгуй, что ни толнуй.
Пора и отдыхать.
Прилег — трясет за жопу... Член.
Шагай голосовать!
Кан нн мозгуй, что ни толкуй.
Не грех и наградить.
Берет анкету тот же... Члеи.
Придется отнлонить!
Кан ии мозгуй, что ни толкуй,
Ты книжну накатал.
Принес в печать — все тот же... Член
В два счета раздолбал.
Каи ни мозгуй, что ни толнуй.
Не худо бы а Париж.
Принес бумаги — снова... Член.
Крнчит: да ты дуришь!
Кан нн мозгуй, что ии толкуй,
С нем речь ни заводи.
Кан, гоаорят, таи ты не... Член?
Чего ж ты ждешь? Иди!

Кто автор гимна, неизвестно. Есть предположение, что Певец. Но по мнению Сотрудника, который лично курировал следствие по делу Крикуна, почти все безобразные стихи политического содержания сочинил Крикун. Но доказать это Сотрудник не смог, так как сам Крикун свое авторство не признавал, а многие официально признанные поэты не отказывались, когда слухи приписывали авторство им.

Не может быть, чтоб ты не... Член!
Ты, братец, ие муди!

Науки

Неестественные науки занимают в Ибанске особое положение. Рядовые ибанцы не знают и не понимают их содержания, хотя учат их всю жизнь, и потому юмористически называют их общественными науками. Специалисты тоже их не понимают, но зато знают их содержание. И раз уж они связались с ними до гробовой доски, они серьезно называют их общественными науками. К тому же последние дают им хлеб насущный. А когда этот хлеб обретает для них зримые формы ученой степени, высокой должности, приличного оклада, огромного гонорара, бесплатной квартиры, почетного безделья и даже бог весть за что пришедшей известности, неестественные науки для них становятся сверхъестественными. Для юмора места тут не остается. Если хотите иронизировать, то для этого есть Запад, где общественные науки находятся в состоянии полного маразма, ибо служат не передовому классу пролетариев, а загнивающему империализму. Их и науками-то там называть нельзя. Начальство Ибанска тоже называет неестественные науки общественными. Но теперь в этом слове звучат предостережение и угроза. Угроза по адресу всех тех, кто подлежит действию законов общественных наук. Ибанское начальство все делает согласно этим законам. Если оно что-то сотворило такое, что кажется не совсем того, так знайте же, это — согласно общественной науке. Погодите, мерзавцы, сами поймете, что делалось это для вашего же блага. Да иначе было нельзя. Наука! Мы тут ни при чем. Законы! С них и спрашивайте. Угроза по адресу своих же специалистов. Что же это вы, братцы! Деньги вам платим. И немалые. А вы все на месте топчетесь. Обобщайте же, дармоеды, нашу передовую практику! Двигайте вперед нашу и без того передовую теорию! Сколько раз вам надо повторять, что надо творчески, творчески, творчески...

Общественные науки Ибанска братийны. Этим они отличаются от естественных наук, которые в Ибанске тоже в некотором роде братийны, но не так, как общественные. Насчет естественных наук еще можно поспорить. А в отношении общественных никаких споров быть не может. Они братийны во всех возможных смыслах.

Они братийны в том смысле, что в них число членов Братии не меньше, чем в самом аппарате Братии и в Органах, которые считают общественные науки своим светским филиалом. Они братийны также в том смысле, что отражают интересы классов. Заграничные общественные науки отражают интересы эксплуататорских классов, и потому они вовсе не науки. Ибанские общественные науки отражают интересы пролетариата, руководимого им беднейшего крестьянства и перешедшей на их сторону и руководимой ими обоими трудовой интеллигенции. И потому они науки. Правда, пролетариата в Ибанске уже нет. Беднейшего крестьянства тем более. Примкнувшую было к ним интеллигенцию в свое время повывели, а новая интеллигенция вроде бы уже и не интеллигенция, а просто трудящиеся на благо. В Ибанске теперь все трудящиеся, за исключением Правдеца, Певца, Мазилы, Двурушника и других отдельных отщепенцев. И ибанские общественные науки вынесли свою классовую основу вовне. Они теперь отражают интересы мирового пролетариата и руководимых им угнетаемых народов. Чьи интересы будут отражать общественные науки, когда во всем мире установится полный изм, пока трудно сказать. Они тогда отомрут, сдуру ляпнул как-то Троглодит. Его поправили, но не очень настойчиво. Скорее всего действительно отомрут.

Вершину, основу и глубочайшую суть общественных наук Ибанска образует дьяволектический ибанизм.

Принципы отбора

Это действие вашего руководства кажется по меньшей мере странным, говорит Журналист. Ничего странного, говорит Неврастеник. Самая заурядная глупость. Но не может же быть, чтобы там не было ни одного умного человека, говорит Журналист. Не может быть, чтобы туда попал умный человек, говорит Неврастеник. Но почему, спрашивает Журналист. В силу принципов отбора, говорит Неврастеник. Если в некоторое множество людей будут отбирать только карликов, уродов, дебилов и т. п., сможете ли вы в этом множестве обнаружить хотя бы одного великана, красавца, умника? Когда среди них обнаруживается индивид, близкий к среднему уровню, он нам кажется исполином и гением только потому, что мы интуитивно не ожидаем от них ничего подобного. Изымите самого способного из них из их социальной среды и поживите рядом с ним на обычном уровне. Вы будете потрясены феноменальной серостью этого человека. Они при этом производят впечатление только тем, что соприкасались с известными именами, решениями и акциями, т. е. исключительно как абстракция от ранее недоступной для общения реальности. Но принципы отбора можно изменить, говорит Журналист. Попробуйте, говорит Неврастеник. Это ваша страна, вы и пробуйте, говорит Журналист. Это ваша идея, а не моя, говорит Неврастеник. Я как житель этой страны знаю, что эти принципы изменить нельзя. Они не во власти ибанцев Но есть же точка зрения, согласно которой любая тысяча людей равноценна любой другой, говорит Журналист. Внутри множества людей одной категории, говорит Неврастеник. Если не происходит искусственного отбора. Действительно, любая тысяча начальников данного ранга равноценна любой другой того же ранга. Но тут этот принцип неприменим. Тут речь идет об искусственном отборе и эволюции людей при этом условии. У нас считается, что все люди с интеллектуальной и психической точки зрения примерно одинаковы и что мозг с этой точки зрения не эволюционирует. А кто знает, как люди различаются с этой точки зрения? Кто знает, к каким биологическим последствиям в эволюции людей приведет систематический отбор в наиболее привилегированные слои общества тупиц, бездарностей, подхалимов, доносчиков, трусов? Я лично убежден в том, что это не пройдет безнаказанно. Как люди вроде бы внезапно оказались перед проблемой засорения окружающей среды и оскудения природных ресурсов, так они однажды так же вроде бы внезапно окажутся перед проблемой оскудения интеллектуальных и психических потенций людей, причем в гигантских масштабах. И никаким образованием это не компенсируешь. Если человечество опомнится, что маловероятно, то потребуется, может быть, не одно столетие, чтобы вернуть утраченные потенции хотя бы небольшой части людей путем искусственной их изоляции и охраны. Охранять, разумеется, будут не их, а от них.

Мы — ибанцы

Умен народ ибанский,
Аж завидно, умей.
И стойкостью спартанской
Он в генах наделен.
По доброте душевной
Он учит всех, как жить,
В житухе повседневной
Что нужно есть и пить.
Какие людям книжки
Не велено читать,
Какие ребятишкам
Устои прививать.
Но гегемон-ибанец
Спасаемым на смех
Живет, как голодранец,
Почти что хуже всех.

Страницы героической истории

Хозяин был выдающимся ученым во всех областях науки, пока за них не брался. Однажды он высказался по проблемам происхождения человека на конгрессе антропологов. Сагласна ызму, сказал он, абызяна сиачала жыла на дэрэва, а патом слэзыла на зэмлу, и кыругазор ые рашшырылся. А сверху-то виднее, шепнул один академик другому, лично наблюдавшему в свое время происхождение человека и досконально знающему, как это делалось на самом деле. Академика посадили. Потом другого. Потом всех остальных. Когда Хозяину сказали, что академик пошутил, он ответил: шутыка — вэшч сырыозиая, а эслы шутыка нэ сырыозна, ана просыта смышиа.

Симпозиум по мату

Три года прогрессивные силы пробивали в верхах идею всеибанского симпозиума по проблемам теории и практики ибанского мата. Сначала не знали, по какому ведомству проводить симпозиум. Лингвистическое начальство сваливало на математическое, математическое — на философское, философское — на педагогическое, педагогическое — на психологическое. Лингвистические же низы тянули к себе, математические — к себе, философские — к себе... И не было никакой возможности договориться. Органы предупреждали, что к симпозиуму примажутся сомнительные личности и пойдут неправильные разговоры. После речи Заведующего о тесной связи передовой науки с передовой практикой строительства изма Заместитель по Науке как-то заметил, что о симпозиуме по мату стоило бы подумать. Замечание приняли как руководство к действию. Создали Оргкомитет под руководством Секретаря. Через год Оргкомитет выработал программу симпозиума. Еще через год наметил список докладчиков общим числом пятьсот человек, разбив их по секциям. По философской секции наметили такие основные темы: 1) мат и диамат; 2) классики о мате; 3) мат в трудах классиков; 4) матореализм как высшая стадия материализма до возникновения диамата. По математической секции: 1) формализация матологии квазиупорядоченных полуструктур; 2) погружение исчисления двухэтажного мата в теорию гидрокомплексных тензоров мнимого подпространства квазибулевых булеанов первого порядка с отношением равенства; 3) теория алгорифмов; 4) конечные автоматы; 5) понятие числа у ибанян. По лингвистической секции: 1) структура трехэтажного мата; 2) мат сапожников в староибанских диалектах; 3) мат извозчиков в ибанском языке прошлого века; 4) проблема машинного перевода мата на иностранные языки и обратно. Впрочем, нет необходимости излагать программу симпозиума, поскольку все материалы его уже опубликованы.

Симпозиум прошел с грандиозным размахом. Открыл его сам Президент. С приветственным словом выступил сам Заместитель номер девять. Приехали представители дружественных братий и иностранные ученые. Когда Секретарь зачитывал свой доклад и лил слезы умиления, вспоминая, какие рулады закатывал его дед, лупцуя его ремнем по голому заду, Заместитель спросил у Президента, что общего у мата и диамата. А в самом деле что, спросил Президент, заранее надрываясь от хохота. И тот, и другой есть мощное оружие в руках пролетариата, сказал Заместитель, только вчера узнавший эту хохму от своего референта. А чем они различаются? А в самом деле чем, спросил Президент, брызгая слезами на красное сукно стола президиума. Тем, что мат все понимают, но делают вид, что не понимают, а диамат — наоборот, сказал Заместитель, держась за вибрирующий от хохота живот. Президенту стало дурно, и его заменили другим, более прогрессивным. А зря, так как прогрессивный оказался еще хуже.

Что свое великое внес ибанский народ в мировую культуру в результате своего имманентного развития, читал Секретарь свой доклад, написанный для него Мыслителем. Мат! Это действительно величайшее изобретение человечества. Универсальный сверхъязык, на котором можно обращаться не только к трудящимся всей планеты, но и к внеземным цивилизациям. Не случайно наш замечательный ибанский поэт сказал:

Когда в доме подыхает телефон,
Когда не с кем даже пару слов сказать,
Когда видишь, как друзья со всех сторон
Начинают тебя грязью поливать,
Когда в будущем не светит ни черта,
Когда незачем о помощи просить,
Когда жизни подытожена черта,
И захочешь по-звериному завыть,
Когда скулы от молчаиня свело,
Когда все не верят, что не виноват,
Когда видеть не хотят, как тяжело,
Лишь одно спасет тебя — ибанский мат.

Многотысячная аудитория реагировала на это бурными овациями. Даже Заместитель аплодировал стоя. Это был кульминационный пункт единения всех прогрессивных сил Ибанска и вершина либерализма. На другое утро начался спад. Заместителя перевели на другую должность рангом ниже.

Безобразный стих

В период Растерянности наряду с общеизвестной эпидемией анекдота вспыхнула также эпидемия сочинительства безобразных стихов. Эпидемия менее заметная, но все же достаточно серьезная, чтобы быть отмеченной в данном исследовании. Сочинители безобразных стихов не были профессиональными поэтами и совершенно не заботились о поэтической технике. Они использовали любые уже известные поэтические формы и образцы, подчеркнуто подражали им и пародировали их. Но это не было просто подражание известному и пародия на него. Это было совершенно своеобразное явление, которое следует рассматривать по каким-то иным параметрам. Как правило, авторы безобразных стихов намеренно прибегали к наиболее примитивным поэтическим средствам, в частности — к избитым рифмам. И добивались тем самым поразительного эффекта. Гораздо более сильного, чем эффект от утонченных виртуозных стихов поэтов-профессионалов. Может быть, это была вовсе и не поэзия, а всего-навсего лишь примитивно зарифмованная грубая проза. Но какое значение имеет название? Цель безобразного стиха — сжать в малом размере и в заданной привычной литературной форме какое-то значительное жизненное содержание. Если цель достигнута, то не все ли равно, что скажут специалисты. Это предназначено не для них. На гонорары, премии и даже на публикацию авторы не рассчитывают.

Сила воздействия безобразных стихов была огромной. Гораздо большей, чем классической поэзии прошлого. И неизмеримо большей, чем стихов лучших и талантливейших поэтов нашей эпохи, получивших официальное признание. В одну весьма эстетичную компанию пригласили как-то самого Распашонку. Больших усилий стоило уговорить его. Согласился лишь после того, как участники вечера скинулись и купили поэту дорогой подарок. Подарок был согласован с ним заранее. Распашонка читал свои самые удавшиеся, как он говорил, стихи. Ему, конечно, аплодировали. Потом попросили что-нибудь прочитать присутствовавшего на вечере автора безобразных стихов. Тот долго отбрыкивался. Говорил, что ему неудобно со своей стряпней вылезать в обществе такого прославленного поэта. Распашонка пообещал быть снисходительным и сделать скидку на любительство. И безобразный поэт согласился в конце концов. Он прочитал отрывок из поэмы о Хозяине. Наступила неловкая тишина. Всем присутствовавшим, и Распашонке в том числе, стало очевидно, что безобразная поэма о Хозяине на голову выше всех сочинений Распашонки, вместе взятых. Спросили мнение Распашонки. Занятно, сказал он. Поэтически слабовато, конечно. Но мысли кое-какие есть. Для капустника не так уж плохо. Собравшиеся с облегчением вздохнули. Ну, конечно, на уровне капустника терпимо. А с точки зрения подлинной поэзии... Собравшиеся были люди образованные. Они прекрасно понимали, что если и могло что-то значительное родиться в ибанском искусстве, то только из капустника. И все же они были довольны. Они нашли оценку и поставили автора незаконного безобразного стиха на его законное место вне искусства. У нас в части, говорил потом один из участников вечера, был такой случай. Мы готовились к соревнованиям и толкали штангу. Мимо проходил один солдат, совершенно не причастный к спорту. Кто-то шутя предложил ему поднять штангу. Солдат взял ее одной рукой и без усилий выжал. Мы вытаращили было глаза. Но потом успокоились. Солдат сделал не по правилам.

Если бы в Ибанске были хотя бы ничтожные возможности для публикации безобразных стихов и для непредвзятой публичной их оценки, на этой основе могло бы сложиться интересное литературное направлеиие. Но это не произошло, как и многое другое в Ибанске. Официальная поэзия была крайне не заинтересована в том, чтобы приобрести в лице безобразной поэзии опасного конкурента. И у авторов безобразных стихов даже мысль не появлялась дерзнуть сунуться в печать. Но главное препятствие было не в официальной поэзии и даже не в поэтической власти и цензуре. Главное — слушатели и сами авторы. Слушатели, получив удовольствие от безобразного стиха и пищу для размышлений, не могли закрепить свое отношение к нему некоторым официально признанным способом. И не хоте-

ли это делать. Кто такой, спрашивается, автор, чтобы это делать? Свой парень. Такое же дерьмо, как и все мы. А может быть, и еще хуже. Пьет. А этот из сумасшедшего дома не вылазит. Стихи, конечно, гениальные. Но это же наши, местные стихи. Кому они нужны? Может быть, они пустяки, если пошире взглянуть?

Положение авторов в обществе не менялось от того, что их стихи вызывали восхищение. Денег за стихи не платили. Званий и премий не давали. Известность ограничивалась узким кругом знакомых или сослуживцев. А если до начальства доходили слухи об авторах, так им же от этого хуже становилось. И авторы отрекались от своих произведений. Не имея объективной оценки, авторы не ценили свои сочинения. Многие даже не хранили их. И постепенно безобразный стих где-то терялся и забывался. Лишь иногда в пьяной компании вспомнит кто-нибудь две-три строчки. Повздыхают. Гениальный был поэт, скажут. Хорошее было время, скажут. И тут же заговорят на более актуальные темы — о дачах, о машинах, об иконах, о Париже, о предстоящих выборах и выдвижениях.

Среди авторов безобразных стихов были выдающиеся в своем роде таланты. Один из них, довольно широко известный в кругах ибанской гуманитарной интеллигенции, написал таких стихов на большую книгу. Если бы он последовал примеру Правдеца, Певца и Двурушника и опубликовал свою книгу на Западе, он за короткий срок приобрел бы мировую известность. Но он не решился. Побоялся. Напечатает — с работы выгонят. А то и похуже. И не было все той же уверенности в общечеловеческой значимости написанного. А где ее взять без публикации? А время идет. И кто знает, пройдут годы. Ибанский безобразный стих однажды вдруг станет предметом заинтересованного внимания в мировой культуре. И его бросятся собирать, как бросились собирать старые ибанские иконы. И много ли от него к тому времени останется? Умрет в сумасшедшем доме один выдающийся мастер этого стиха. Иссохнет в борьбе за улучшение жилищных условий другой. Растратит свой необыкновенный дар на пошлую книжку по официальной философии в соавторстве с каким-нибудь зубром ибанизма третий. И никто не воскликнет: люди, опомнитесь, вас же обкрадывают! Поймите же в конце концов, каждый раздавленный талант в твоем соседе есть отмененный праздник в твоей собственной жизни. Поймите же в конце концов, для гибели целого направления культуры достаточно бывает гибели нескольких ее носителей. А чтобы не родилось новое направление в культуре, бывает достаточно погубить одного-единственного человека. Твоего соседа или сослуживца, не получающего за свой гений признания и гонорара.

Безобразная поэзия тесно переплеталась с песнями. Многие песни Певца, например, получившие широкое распространение, появились сначала как безобразные стихи или были их переработкой.

Научная жизнь

Ибанские физики открыли новую элементарную частицу. Назвали ее в честь изма изматроном. Изматрон обладает удивительными свойствами, которые в корне меняют старые представления о материи, оставляя незыблемым ее философское понятие. Изматрон не имеет размеров, скорости, массы и заряда. Обнаружить его с помощью приборов было принципиально невозможно, и потому его пришлось открывать с помощью высшей формы познания — теории изма. Физики открыли его ранее намеченного срока и с перевыполнением плана в два раза. Изматрон представляет собою единство противоположностей, все время переходит из количества в качество, одновременно находится и не находится в одном и том же месте, развивается от низшего к высшему путем отрицания отрицания по спирали и регулярно переходит на сторону пролетариата. Доктор философии Портян заявил, что об изматроне неоднократно писали классики. Изматрон так же неисчерпаем, как электрон. Западные физики, узнав об открытии ибанских коллег, сказали: твою мать, — и сдохли от зависти. Посадили двух интеллигентов за хранение и распространение выпусков Срамиздата.

Культурная жизнь

Любимец Органов и американцев Распашонка вернулся из Америки с десятью тринитротолуолхлорвенилпоролоновыми шубами и новыми стихами.

Театр на Ибанке

Огромной популярностью в этот период пользовался Театр на Ибанке. Полное его название — Малый Неакадемический Полухудожественный Театр Правды и Комедии на Ибанке имени Органов. Сокращенно — МНАПХТПИКНИИОБХС. Народ его называл просто Ибанкой. Он и сейчас в большом почете. А после того как ибанское руководство, передушив всех неповинившихся и нераскаявшихся, решило показать всему миру, что в Ибанске никаких гонений на интеллектуалов нет, Театр наряду с Художником, Распашонкой и столетним академиком, в юности дружившим с Исааком Ньютоном, выдвинулся в число ведущих явлений духовной жизни Ибанска на зависть БАПХТПИТЗИИБ (Большому Академическому Полнохудожественному Театру Правды и Трагедии за Ибанкой имени Братии), Литератору и тремстам молодым академикам по физике, открывшим недавно изматрон. Но в то время его роль была качественно иной. Это был одновременно Якобыльский клуб, Кумвент и Винсовет интеллектуалистского движения Ибанска. Душой Театра был Режиссер, мозгом — Брат, совестью — Распашонка.

Первоначально, еще во времена Хозяина, Театр был самодеятельной студией при Органах, где допускалась значительно большая свобода творчества, чем в прочих учреждениях Ибанска. После того, как Хозяин сдох, а его Член выбросили из Пантеона и зарыли у стены как рядового главу государства, студию отобрали у Органов и превратили в Театр, несколько сократили свободу творчества, зато разрешили новаторство. И Театр с поразительной быстротой расцвел и стал центром духовной жизни левых интеллектуалов. Тесной связи с Органами театр не терял, ибо без их поддержки он не просуществовал бы и недели. Не выдержал бы нападок со стороны Министерства Культуры. Это нормально, говорила по сему поводу Супруга. Театр Шекспира был при короле. Театр Мольера был при короле. Ибанский балет зародился под покровительством Императора. Даже БАПХТПИ... возник под покровительством Шефа Жандармов. Святая истина, поддакивал Брат. Бомарше был стукач. Мильтон был стукач. Оскар Уайльд был педераст. Бернард Шоу был... Всякое великое искусство нуждается в покровительстве со стороны сильных мира сего, сказал Распашонка. Разговор происходил в личной ложе Начальника Органов, от которой у Распашонки имелся собственный ключ.

Театр выдвинул и провел в жизнь два подлинно новаторских принципа. Первый принцип — актеры и декорации в театре не играют никакой роли. Играет режиссер. Это — театр режиссера, а не актера. Второй принцип — содержание пьесы не играет роли. Все зависит от того, как ее прочитать. И читать нужно старые пьесы, но по-новому. Например, они поновому прочитали Шекспира. Гамлет выглядел как засидевшийся в кандидатах физик-лирик, воображающий себя гением, но не способный написать даже статейку в реферативный журнал и обвиняющий в этом ужасные порядки при дворе датского короля, напоминающие порядки в рядовом НИИ Ибанска. Сам Шекспир, в общем положительно отозвавшийся о спектакле, заявил, что ему такой Гамлет даже не снился.

Исследователи долго будут ломать голову над секретом необычайного успеха Ибанки. Но секрета нет. Или, как установил Болтун, секрет был, но не в Ибанке, а в Ибанске. Если бы не было Ибанки, ибанские интеллектуалы избрали бы какое-нибудь другое, столь же безопасное место для своих сборищ и переживаний.

А дело происходило так. Избирает Режиссер пьесу, разрешенную начальством и бичующую язвы капитализма. Прочитывает ее по-новому. Совместно с Братом, разумеется. И с участием Распашонки, любимца Органов и американцев. И вот — спектакль. Зрителей битком. Половина —

иностранцы. Другая — стукачи. Третья — остальные. В кассе билеты купить невозможно, ибо они распределяются по посольствам и министерствам. В зал со сцены летят слова: Репрессии. Расстрел. Концлагерь. Палачи... А у кого репрессии? У нас, конечно. У кого расстрелы? У нас. Кто палачи? Наши. И зал разражается бурными аплодисментами. Все встают и с восторгом смотрят друг на друга и на сцену. Все чувствуют себя участниками великого дела. И идут по домам продолжать трепотню с таким видом, будто они только что были на баррикадах или по крайней мере заявили смелый протест. Видя такое дело, начальство просит выкинуть из пьесы намеки на некоторые явления ибанской жизни недавнего прошлого. Теперь пьеса, бичующая язвы капитализма, изображает его так, будто там ничего подобного нет. Смотрите, говорят теперь зрители. Репрессий-то у них нет! А у нас? Концлагерей-то у них нет! А у нас? И разражаются бурными аплодисментами. И идут по домам обсуждать те же проблемы. А кое-кто из зрителей обдумывает при этом, под каким соусом посадить Н, чтобы особого шума не было, кого из знакомых зрителей привлечь в качестве эксперта, а кого — в качестве свидетеля.

Суть Ибанки, говорил Болтун, состоит в том, что в качестве декабристов начинают воображать тех, кто ставит разрешенную начальством пьесу о декабристах, предварительно обсудив постановку на братсобрании и заручившись одобрением высших идеологических инстанций. А зрители расценивают эту пьесу и свое участие в ее просмотре как участие в восстании. Это — явление в рамках ибанской официальности, желающее, чтобы его воспринимали как нечто выходящее за эти рамки, но не желающее из-за этого страдать и лишаться благ жизни.

Государство

Известны различные способы воспроизводства власти, говорил Клеветник. Наследование по рождению, наследование по завещанию, узурпация, выборы и другие. Какова с этой точки зрения ибанская государственность? Хотя ее усиленно пытаются представить как выборную, она таковой на самом деле не является. Выборы здесь — спектакль, маскирующий полное отсутствие фактической выборности. Поскольку суть спектакля всем известна, то они становятся одной из официально учрежденных и привычных форм ложного поведения. Что это за выборы, если избирателям навязывают заранее назначенного свыше человека, к тому же единственного. Суть дела не изменится, если будут назначать двух и более человек, предлагая выбрать из них одного. Все равно это будет насильно навязанная свыше кандидатура. Выборы здесь суть лишь демонстрация лояльности по отношению к невыборной самодовлеющей власти. Фиктивны выборы и в случае выборов братийных органов. Хотя здесь порой и разгораются страсти, возникают конфликты, отводят намеченных кандидатов и выдвигают новых, это идет в рамках дозволенного свыше. В противном случае строптивым вправляют мозги. Тем более сами по себе избранные в органы власти лица никакой реальной властью не обладают. Властью обладают лишь вторично выбранные лица и органы. А уж их предустановленный характер очевиден с самого начала. Второплановые работники аппарата власти не избираются даже по видимости. А, начиная со второй ступени иерархии власти, отбор в систему власти производится полностью независимо от рядовых граждан вообще и от членов Братии в том числе. Последние отбираются, но не отбирают сами, пока не добрались до ячеек в системе власти, позволяющих им принимать участие в отборе других

Воспроизводство ибанской системы власти производится как чисто деловая замена отдельных клеточек стабильной ткани власти, сложившейся раз и навсегда. Сама власть здесь есть дело, главное дело, дело по преимуществу и в собственном смысле слова. Воспроизводство власти есть часть этого дела. Специальные профессионалы-властители решают, какие именно лица должны быть отобраны для тех или иных ячеек власти. То, что внутри отбирающей группы возможны различные мнения и конфликты, положения не меняет. Любая социальная группа, даже имеющая целью приведение мнений к единству и ликвидацию конфликтов, как социальное явление обретает все качества группы вообще, в том числе — расколы и конфликты. Способом воспроизводства власти здесь так или иначе остается не выбор снизу, а отбор сверху, совершаемый как деловая операция.

Имеется иерархия отбора. Высшие ее ступени накладываются на социальную и хозяйственную иерархию так, что практически их разделить невозможно. Одни и те же лица, как правило, фигурируют в этих различных планах власти общества. Лишь сравнительно небольшая группа лиц в чистом виде выступает как власть. Но разделение можно произвести в абстракции, взяв за основу, например, способ назначения на должности. Ни один директор завода, института, магазина и т. п. не назначается без санкции братийных органов.

Неправовая цивилизация

Как можно говорить о преступности целой системы власти и даже целого общества, говорит Она. Это же бессмыслица. Просто данное общество имеет такую-то систему права и морали. Нет, говорит Он. Концепция сменяемости систем права, которую ты только что изложила, есть лишь маскировка концепции бесправия. Есть общие основы всякого права. Если они нарушаются, то общество нельзя считать правовым. Вот некоторые общие принципы правового сознания. Все равны перед законом. Независимо от места в социальной иерархии. Если действие индивида не подлежит правовой оценке (а для этого имеется правовой кодекс), оно не может быть оценено как преступление и индивид не подлежит суду. Судебное наказание не только заведомо невиновного, но вообще лица, не совершившего действий, подлежащих правовой оценке, есть преступление. Преступление не имеет никаких оправданий. Если преступление против одного индивида привело к благу даже миллионов людей, оно есть преступление и не оправдывается этим благом. Короче говоря, есть принципы, входящие в само определение терминов «право», «правовое сознание», «правовое общество». Заметь, в них нет никакого конкретного содержания (например, не говорится, кого и за что наказывать и как). Они касаются лишь формального механизма его действия. Одно дело — плохое или хорошее право в данном обществе. И другое дело — есть или нет вообще какое-либо право. Нарушение принципов, входящих в самые определения права, правового сознания, означает, что эти термины просто неприменимы к данному обществу. Представь себе, некто А совершил дело, которое не нравится властям и народу, но за которое нельзя привлекать к суду, ибо это дело не есть нарушение законов. Но какие-то органы власти привлекают А к суду и наказывают. Согласно кодексу данной страны все лица, сделавшие это в отношении А, преступники. Власти, прикрывающие их действия, — соучастники преступления, т. е. тоже преступники. Народ, знающий, что А юридически невиновен и что власти поступили с ним не по закону, но не восстающий против действий властей, есть соучастник преступления. И тоже преступник. Так что логически мыслима ситуация, когда целый народ преступен по отношению к одному человеку. Это словесная казуистика, говорит Она. На такой казуистике держится вся правовая цивилизация. А если интересы народа... говорит Она. Тогда правовой кодекс — липа, говорит Он. Тогда общество не является правовым. Общество, провозглашающее в качестве официального принципа лозунг, согласно которому интересы народа в целом превыше интересов отдельного человека, есть общество неправовое. Только и всего.

Язык интеллектуалов

В старину ибанские интеллектуалы обращались друг к другу со словами: дорогой, милый, уважаемый, спасибо, извольте, будьте добры. Современные интеллектуалы и в этом отношении продвинулись далеко вперед. Они теперь обращаются друг к другу со словами: старик, старый, подонок, говнюк, пошел на..., вонючка, мудак, засранец, пошел в жопу. Один обнаглевший интеллектуал, перешедший улицу в знак протеста в неположенном месте, назвал стариком даже милиционера. Тот хотел было отпустить нарушителя на волю, взяв с него трешку, но, услышав слово «старик», понял, с кем имеет дело, и доставил интеллектуала в участок, где

ему влепили за сопротивление, посадили на десять суток и прислали на работу бумагу, в коей черным по белому было написано, что он в пьяном виде хулиганил в общественном месте. В это время как раз началась всеибанская кампания против пьянства. Хотя интеллектуал вообще не пил и на работе об этом все знали, его уволили. Его статью о гиперсуперэнтробруттонеттофазовом квазипространстве в полумертвых языках тут же выкинули из сборника, который должен был выйти в свет. Поскольку интеллектуал бросил тень и наложил пятно на здоровый коллектив, создали комиссию по проверке идейно-политического воспитания молодежи. Комиссия выявила недостатки. Были приняты меры, оздоровившие обстановку.

Но интеллектуалы урока не извлекли. Вот, к примеру, встретились два типичных интеллектуала А и В. Привет, старик, говорит А. Что же ты, вонючка, не позвонила? Не могла, говорит В. Пришел этот говнюк С. И полоскал мне мозги весь вечер. Этот засранец написал неплохую статью о новых левых. Кстати, ты не можешь достать пару билетов на Ибанку? Ты что, рехнулась, говорит А. Неужели ты эту мразь смотреть хочешь? Не мне, говорит В. Я пока еще в своем уме. Итальянцы знакомые приехали. Пошли их в жопу, говорит А. Не могу, говорит В. Эти мудаки собираются переводить мою книжку. Кстати, звонила Д. Просила долг вернуть. Ей на путевку нужно. Во Францию, стерва, едет. За какие заслуги, спрашивает А. Переспала с этим подонком Е, говорит В. Устраиваются же, сволочи, говорит А. Увидишь — скажи ей, пусть идет на...

Дискуссия о роли теории

Теорией пренебрегать не надо, говорит Учитель. Вот я расскажу тебе одну историю. Война была уже в разгаре. Нас перебрасывали с востока на запад, на фронт. И застрял как-то наш эшелон на резъезде в голой степи. До ближайшего населенного пункта минимум сто километров. И всего один домик — будка стрелочника. И вот обнаруживается, что стрелочник — женщина. Какая? Это не имеет значения. Когда женщина одна на тысячу мужчин, роли не играет, красива она или нет, молода или нет. Она просто Женщина. Представляешь, что начало твориться в эшелоне! Тысяча здоровых молодых людей, больше года вообще не видавших женщину даже издали. А что если принять участие в этой лотерее, говорю я соседу по нарам. Хотя ты парень вроде бы ничего, говорит сосед, но шансы твои практически равны нулю. Он произвел расчет, и действительно, шансы мои теоретически оказались исчезающе малой величиной. Твои расчеты, говорю я, сами по себе безукоризненны. Но ты исходил при этом из ошибочной теории нашего эшелона. В частности, ты допускал, что вся тысяча человек жаждет провести время с этой женщиной. Но практически это не так. Я, исходя из эмпирических наблюдений, допускаю, что три четверти состава эшелона предпочтут дрыхнуть, а не сражаться за весьма сомнительную возможность провести ночь в обществе женщины. Учти, подавляющее большинство здесь — мальчики, никогда в жизни не пробовавшие бабу. Так? Сосед согласился. Затем мы перебрали еще кое-какие пункты и установили, что претендовать на стрелочницу будет не более десяти человек. Как потом выяснилось, мой теоретический результат блестяще подтвердился: таких оказалось всего пять человек. Причем все далеко не красавцы и бабники. Но это уже другой вопрос. Вот ты высчитывал коэффициент социальной активности населения Ибанска. Получилась довольно значительная величина. Но мне кажется, что ты исходил из ошибочных теоретических предпосылок Расчет можно произвести на другой теоретической основе, а именно — приняв такие допущения. Социально активны только члены Братии. К тому же не все. Братия сама есть социальный организм, в котором фактически активную часть можно выделить твоим методом. Попробуй посчитай теперь Получается то же самое, говорит Крикун. Дело в том, что выделенные таким методом социально активные индивиды рассеяны в теле общества, потому приходится брать поправку на расстояния, что сводит на нет весь предыдущий выигрыш. А чем кончилась твоя история? Я теоретически вывел, сказал Учитель, что победит в этой ситуации самый терпеливый и находчивый. Взял шинель и, не дожидаясь вечера, отправился в будку. Даже ужин пожертвовал соседу. Тебе чего, спросила стрелочница, когда я пришел. Начальство приказало, говорю. Ну, коли начальство приказало, оставайся, говорит. И я остался. До полуночи мы о чем-то болтали. Потом я лег на скамейку и уснул. Никаких попыток я, конечно, не предпринимал. Она была для меня в некотором роде решающим экспериментом, подтверждающим мою теорию. Под утро она меня разбудила, и я, схватив шинель, на глазах у всего эшелона помчался в свой вагон. Взбешенный командир роты (он был одним из претендентов) влепил мне губу на полную железку за самоволку. Так я и ехал до самого фронта на губе. Потом пошли города. Баб было навалом, и все особо желающие разговелись. А я сидел. Это не теория, говорит Крикун. Теория рациональна, а твой ход иррационален. Его не учтешь никакой теорией. Ну и что, говорит Учитель. Разве нельзя придумать нечто аналогичное в отношении целого общества? Давай в конце концов выясним с полной определенностью, чего мы хотим. Определенность в таких делах есть самая грубая ошибка, говорит Крикун. Здесь нужно нечто крайне иррациональное, не выводимое ни в какой теории. А это исключает как определенность исходных предпосылок, так и определенность целей. Нужна принципиальная неясность и неопределенность. И я, кажется, нашел кое-что. Надеюсь, это не секрет, спросил Учитель. Конечно, нет, сказал Крикун. Я нашел одно из самых больных мест этого общества. И в это больное место надо бить, бить и бить, не заботясь о последствиях и о будущем. Это — больное место — панический страх гласности. Нужна гласность. Любой ценой. В любой форме и прежде всего вовне. Мир должен знать, что мы такое.

Государство

Такой способ воспроизводства власти, говорил Клеветник, вполне отвечает ее природе. Эта власть выражает и реализует не политические отношения, а другие социальные отношения — отношения господства и подчинения. Это — не политическая власть, а власть-насилие. И больше ничего. И она не имеет никаких других основ. Это самодовлеющая власть, не имеющая никаких посредников, надстроек, пристроек. Здесь не власть существует для общества, а общество допускается лишь в той мере, в какой оно нужно и достаточно для воспроизводства, функционирования и идеалов власти. Здесь общество есть лишь питательная среда и арена спектакля власти. По этой причине ибанская система власти не исполняет функций интеллекта общества. Эти функции ей чужды. Если ей и приходится иметь с ними дело, то лишь как с неизбежным злом или средством во взаимной борьбе за власть и ее удержание. Эта власть антиинтеллектуальна. Вся интеллектуальная деятельность лиц, участвующих во власти, уходит на то, чтобы занять более выгодную позицию. Она здесь есть элемент чисто социального поведения в определенной сфере общественной жизни, а не элемент политики как профессиональной формы деятельности. Здесь нет профессиональных политиков. Есть профессиональные карьеристы. Эта власть аполитична.

Анекдот

Но главным явлением духовной жизни ибанского общества этого периода стал анекдот. Причем анекдот запрещенный и наказуемый. Анекдоты и классифицировались соответствующими специалистами с обеих сторон по срокам, которые были положены за них. В основе анекдота лежал принцип, передаваемый следующим анекдотом. Каждый десятый англичанин гибнет в море, но это не мешает им быть страстными яхтсменами. Каждый пятый американец гибнет в автомобильной катастрофе, но это не мешает им быть страстными автомобилистами. Каждый третий француз гибнет от любви, но это не мешает им быть страстными любовниками. Каждый второй ибанец стукач, но это не мешает ибанцам быть страстными любителями антиибанского анекдота. Анекдоты рождались в невероятных количествах на такие темы, которые, казалось, в принципе неподвластны анекдоту и смеху вообще. Но самое поразительное в этой эпидемии анекдотов заключалось в том, что в анекдотах не было ничего анекдотичного.

Они просто в краткой афористичной и образной форме пересказывали то, что регулярно наблюдали ибанцы в своей повседневной жизни. Один ибанец спрашивает другого, например, почему исчезли из продажи шапки из ондатры. Потому, отвечает другой, что ондатры размножаются в арифметической прогрессии, а номенклатурные работники — в геометрической. Кроме того, давно не производился отстрел начальства. И это — не анекдот, а чистая правда. Или спрашивает один ибанец другого, сколько человек погибло в недавней железнодорожной катастрофе. Пятьдесят человек, ответил ибанец. А, говорит первый, значит, по-старому пятьсот. Дело происходило вскоре после денежной реформы, по которой денежные знаки заменили в пропорции десять к одному. Интересно, что в катастрофе действительно погибло около пятисот человек.

Расцвет анекдота относится к самой либеральной части прошедшего периода. Анекдот, каким бы критичным он ни был, предполагает некоторую долю оптимизма. Как только оптимистические иллюзии сменились сознанием неизбежности мрачных перспектив, анекдоты исчезли без всякого вмешательства Органов. Сами собой. Ибанский анекдот — трагедия, но с примесью комедии. Трагедия же, лишенная комизма, — неподходящая почва для анекдота.

Ибанизм

Ибанизм, который часто для краткости называют также измом, есть теоретическая основа социзма. Поэтому ибанизм называют также социзмом. Ибанизм есть наивысшее, наифундаментальнейшее, наиглубочайшее, всеобъемлющее, всесильное, неопровержимое, подкрепленное всем ходом прошлого развития человечества и подтверждаемое всем ходом будущего развития человечества учение об обществе, такова незыблемая догма ибанского общества. Когда Правдец заявил, что ибанизм навязан ибанскому народу силой и мешает ему жить, он совершил грубую ошибку. Ибанский народ навязал себе ибанизм добровольно и жить без него уже не в состоянии. Он ему освещает путь. Нет ни одной общественной проблемы, которую нельзя было бы решить с помощью ибанизма исчерпывающим и единственно правильным образом. Более того, если кто-то попытается решать эти проблемы вне ибанизма, то заранее обрекает себя на грубейшие ошибки, полное непонимание, злостное искажение и прочие тяжкие преступления. Самое слабое из них — лазейка идеализму. Более сильное — уступка идеализму. Еще более сильное — объятия идеализма. И кончается это грехопадение тем, что согрешивший внутренней логикой борьбы приводится к откровенному прислужничеству империализму.

При Хозяине этой догме следовали неукоснительно. Все специалисты по общественным наукам отбирались по особому призыву из числа наиболее проверенных и преданных ибанцев. В их обязанность входило не иметь самим ни малейшего представления ни о какой западной социологии и не допускать, чтобы кто-то ухитрился узнать о ней что-либо незаконными путями. Например, путем чтения книжек, имеющихся в библиотеках, но не рекомендуемых начальством. Да и что еще за социология может быть, кроме ибанизма? Ибанизм — вот социология в подлинном смысле слова! Все остальное — ошибки и извращения. Их надо громить. Но громить можно было тогда тех западных социологов, которых громили сами классики ибанизма. И громить их следовало только так, как громили сами классики. Тут была целая наука погрома. Чуть не догромил, упустил какую-то сторону, не проявил должной боевитости — и пиши пропало. Одного ведущего ибанолога расстреляли только за то, что он употребил выражение С МОЕЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ. Другого, еще более ведущего засадили на десять лет в лагеря, где он загнулся через полгода, за то, что он, разгромив первого, забыл привести одну из обязательных цитат классиков, которая тут была не к месту, но которая всплыла в замутненном сознании Хозяина в тот самый момент, когда третий ведущий ибанолог доносил на второго. Зато ибанизм сохранялся в полнейшей чистоте.

Вся западная литература по социологии находилась в закрытом фонде, буквально за железной дверью. Доступ к ней разрешался только по особым разрешениям. Но эти предосторожности, как выяснилось впоследствии, были излишни. Если бы ее и разрешили, она осталась бы непрочитанной и, уж во всяком случае, непонятой хотя бы в силу незнания иностранных языков и жуткой безграмотности. Редкие экземпляры обществоведов, знавшие иностранные языки и смысл некоторых терминов западной социологии, служили в Органах или подыскивали цитаты ведущим ибанологам и высоким руководителям для очередных погромов.

Но если бы всех специалистов по общественным наукам обучили иностранным языкам, заставили бы читать заграничные книжки и даже научили бы кое-что понимать, положение существенным образом не изменилось. Эта истина обнаружила себя в период Растерянности, когда даже в области общественных наук начались некоторые послабления. Именно в этот период, а не в эпоху Хозяина, когда послаблений не было, выяснилось, что идеологическая монолитность ибанского общества вырастает изнутри и даже независимо от насилий. В эпоху Хозяина власти боялись, что если чуть-чуть распустить вожжи, то ибанизм рухнет. Они сами не верили в его всепобеждающую силу и правоту. Они сами считали его продуктом насилия и навязывания извне, ибо исторически он действительно был занесен в Ибанск извне. Период растерянности обнаружил, что он сохранился бы и без насилия и вырос бы без занесения извне. Ибо он есть продукт собственной жизнедеятельности этого общества.

О власти

Надо различать, говорит Клеветник, власть политическую и неполитическую. Первая вырастает из политических отношений. Она выборна и сменяема. Она предполагает оппозицию и гласность. Она находится под контролем общественного мнения и открытой критики. Политическая власть не исчерпывает всей власти общества. Она, например, невозможна без назначаемой администрации, референтов, советников. Она не обязательно есть доминирующая власть общества. Примеры обществ, в которых она была и есть на вторых и третьих ролях, общеизвестны. Если она существует, она может взять на себя различные функции власти. Главная ее изначальная роль — укрепление и охрана правовой ситуации в стране. Она возникает вместе с правовыми отношениями и правовой формой поведения социальных индивидов. Она немыслима без социального права.

В ибанском обществе нет политической власти. Есть лишь неполитическая власть, подделывающаяся под политическую. Зачем нужна эта подделка? Она, во-первых, есть продукт истории, в которой эта форма власти рождалась как политическая власть. Во-вторых, она оказалась удобным средством идеологической обработки населения. В-третьих, ибанским властям на международной арене приходится иметь дело с политическими властями других стран, и она при этом хочет выглядеть полноправным партнером. Уберите страны с политической властью или сведите их до такого состояния, когда Ибанск может с ними не считаться, как слетит весь политический камуфляж с ибанской власти. И теоретики будут расписывать свою форму власти как высшую. Политика здесь действительно отмирает. Но это не есть высшая форма в социальном прогрессе. Наоборот, здесь общество в социальном отношении опускается рангом ниже.

Последующая история

Полный изм, как известно, был объявлен при Заведуне XVIII. Объявлен он был навечно. И никаких сомнений тут быть не может. Речь может идти только о степени полноты изложения исторической правды. Но во избежание ненужных, чисто словесных споров уточним, что мы понимаем под полным измом. Полный ибанизм есть общественный строй, обладающий следующими признаками. Здесь нет и быть не может никаких серьезных недостатков. Если здесь и бывают недостатки, то они мелкие и быстро устраняются. Здесь зато имеют место достоинства. В большом количестве. Большие и малые. Причем больших больше, чем малых. Но малых еще больше. Здесь все хорошее достигает неслыханного до сих пор расцвета. Производство материальных и духовных ценностей. Сознательность. Нравственность. Государство, политика, право, мораль и прочие надстрой-

ки отмирают, но путем такого мощного предварительного укрепления, что... В общем, отмирают. Изобилие такое, что всего девать некуда. И повсюду лозунги: от каждого по его способностям, каждому по его потребностям. Повсюду снуют высокосознательные активисты-добровольцы и уговаривают сверхсознательных граждан. Умоляем, возьмите эту норковую шубку! Ради бога, не хотите ли унитазик поставить себе из чистого золота? Сделайте милость, примите эту путевочку в санаторий на южные острова. Всего на два годика! Граждане, да будьте же людьми, возьмите кто-нибудь этот бочонок с черной икрой! В придачу дается бриллиантовое колье, по преданию принадлежавшее самой Императрице! Кому титул Маршала с орденом Большого Члена? Есть свободная должность Президента Академии! Кто хочет стать великим писателем? Есть готовый гениальный роман! Кто хочет... Но граждане тут настолько сознательны, что их ничем этим уже не проймешь. И только самые ультрасупероберсознательные индивиды, по уму, честности, талантам и прочим добродетелям превзошедшие все, что в этом роде производила история, берут на себя тяжкий крест и на благо всех трудящихся становятся министрами, генералами, маршалами, академиками и т. д., напяливают на себя золото и бриллианты, едят трижды опостылевшие икру, севрюгу, шашлыки, ананасы, пьют четырежды опостылевшие коньяки, вермуты, ликеры, ездят на курорты, ходят в оперы и балеты, живут в огромных квартирах, дачах и особняках — в общем, жертвуют своим драгоценным здоровьем, временем, силами и спокойствием ради тяжкого, изнурительного, неблагодарного труда. А рядовые высокосознательные ибанцы видят это, понимают это. И благодарят их за это. Спасибочки вам, родные наши! Если бы не вы, так мы бы. Ишь, бедненький, орденочков понавешал! Тяжело ведь! Ай как тяжело, а несет! Родненький ты наш, икорочки обкушались! Ай-яй! Коньячку перепили! Боже ж ты мой, как они страдают! Страдалец ты наш! Уж какой часик странички эти читает! И читает, и читает, и читает!.. Отдохнул бы часик. Завтра, небось, визит делать придется...

Ибанизм

Несмотря на свою явную нелепость, а может быть, именно благодаря ей, ибанизм есть неопровержимая истина. Когда Правдец нападал на него и видел в нем источник зла, он впадал в глубокое заблуждение. Ибанизм не был и не мог быть источником зла хотя бы уже потому, что это вообще не источник. Это — первоисточник. А из первоисточника исходит все — и зло, и добро. А значит, не исходит ничего. Он сам исходит из всего.

Согласно ибанизму мир не создан никем и никогда не возникал. Он существовал вечно и будет существовать вечно. Он развивается от низшей ступени к высшей. Некоторые куски мира могут в порядке исключения перескочить сразу через несколько ступенек, но только с ведома и разрешения ибанского руководства. И при условии бескорыстной помощи со стороны Ибанска. Начавшись с электрона, который сам неисчерпаем вглубь, мир развился до самого высокого уровня — до ибанского общества. Отныне все дальнейшее развитие мира будет проходить только на основе Ибанска, через Ибанск, как развитие ибанского общества. Сознание есть высшая форма развития способности отражения, лежащей в основе бытия. Оно есть лишь отражение бытия. Естественно, высшей ступенью развития сознания является сознание ибанского общества, воплощенное в ибанизме и в мудром руководстве. Выше уже ничего не бывает. Конечно, и тут не наступает мертвый застой. Ибанское руководство творчески развивает ибанизм дальше на основе обобщения опыта практики строительства полного изма. Последние речи ибанских руководителей и последние постановления руководящих органов — это и есть вершина развития сознания человечества в данное время. Вплоть до следующих речей и постановлений.

Короче говоря, Правдец спутал суть и форму ибанизма. Суть ибанизма проста. Наше общество самое совершенное, самое гуманное, самое свободное, самое благоустроенное, самое... самое... самое... Я — ибанизм — есть самое умное, самое глубокое, самое... самое... самое... учение об обществе вообще и об ибанском обществе в особенности. Если вы где-то обнаружите что-то хорошее, знайте: в Ибанске с этим дело обстоит гораздо лучше. Если где-то обнаружите плохое, знайте: в Ибанске этого нет, ибо в Ибанске плохого не бывает в принципе. Если вы где-то услышите умную мысль, знайте: в ибанизме по этому поводу есть мысли умнее. Если где-то заметите ошибку, знайте: в ибанизме этой ошибки нет, ибо ибанизм в принципе исключает ошибки. Ибанское общество и его научное осмысление «ибанизм» таковы по определению.

Последующая история

При тринадцатом по счету заведующем ввели официальный титул Заведун. И каждому Заведуну с целью хоть как-то отличить его от предшествующих и последующих заведующих стали присваивать официальный номер. Как в старину королям. Но королям это было неправильно, потому как они эксплуататоры и правые ревизионисты. А тут в полном согласии с подлинными законами истории. Заведуном I стали считать Хозяина, Заведуном II — Нового Заведующего, сменившего Хряка и т. д. На чрезвычайных съездах стали устанавливать даты жизни и правления очередного Заведуна и осуществленные под его мудрым руководством мероприятия. Это было огромное достижение. До этого каждый новый заведующий поносил предшественника, присваивал себе все то, что было сделано хорошего при нем, и сваливал на него все плохое, что натворил сам новый заведующий. Убедившись в том, что судьба предшественника есть твоя судьба, заведующие решили начать отдавать должное предшественникам и тем самым себе. Поскольку каждый последующий заведующий был на голову выше предшественника и делал шаг вперед, благодаря этому нововведению начался неудержимый прогресс. Ибанцы при этом настолько разогнались, что даже не заметили, как перегнали Америку и оставили ее где-то далеко позади. Пришлось вернуться обратно, так как за Америкой надо было глазеть в оба.

Заведун XIII сделал попытку объявить полный изм. Была проделана грандиозная подготовка к этому величайшему в истории человечества событию. Но попытка сорвалась. На тайном пленуме Заместителей ее сочли преждевременной. Но не потому, как писали потом враждебно настроенные историки, что к этому времени в Ибанске почти начисто исчезли мясо, молоко, яйца и другие канцерогенные препараты, и не потому, как писали потом дружественно настроенные историки, что было еще рано, а из-за цифры XIII. Ибанские ученые как раз в это время открыли (опередив американцев вдвое!) естественнонаучные и философские основы неблагоприятных последствий этой цифры. Но Болтун придерживался иной точки зрения. Он сказал, что Заведуна XIII должны были скоро скинуть, и честь объявления полного изма Заместители решили оставить для себя, ибо каждый из них надеялся стать Заведуном XIV. И только в этот момент Заведун XIII понял, какую он допустил грубую ошибку, предложив исключить Хряка из списка Заведунов. И он умер от огорчения.

Собрание

Значительную часть времени ибанцы проводят на собраниях, говорит Журналист. Что это такое? Величайшее изобретение цивилизации, говорит Неврастеник. Высшая форма социальной демократии для индивидов, находящихся на низших уровнях социальной иерархии. После установления полного изма человечество начнет новый цикл развития, который завершится превращением всего общества в постоянно действующее собрание. А на следующем после этого этапе общество разовьется настолько, что превратится в постоянно действующий президиум собрания. И наконец — в почетный президиум. Что будет дальше, предвидеть не смогли бы даже классики, живи они сегодня. Ну, а они-то по этой части мастера были.

Наука о собраниях (собранелогия, скажем) еще не существует, хотя практика тут огромная. А научный полный изм уже есть, хотя что-то не слышно, чтобы его собирались объявлять свершившимся. Странно, правда? Во всяком случае, я делаю заявку на собранелогию. Я создатель новой науки. Но, увы, пользы для себя из этого не извлеку. А если вы выдадите меня, мне еще за это по шее дадут.

С чего же мы начнем? Ну, допустим, с классификации. Тут безразлично, с чего начинать. Создаваемая мною новая наука «собранелогия» не имеет начала. Она может начинаться с любого конца. Собрания разделяются на открытые и закрытые. Все, происходящее на закрытых собраниях, становится известным всем желающим. А даже присутствующие на открытых собраниях часто не знают о том, что на них происходит. Почему? Читают книжки, беседуют с соседями. Ничего не слышат из-за шума. Или слушать и смотреть вообще нечего, ибо происходящее бессмысленно. Любимая шутка участников собраний — говорить, что открытое собрание объявляется закрытым или что закрытое собрание объявляется открытым. А когда собрания бывают смешанные (первая половина — открытая, вторая — закрытая), шутка принимает форму мистики. Председатель президиума после первой половины объявляет открытую часть закрытой, а закрытую открытой. Почему диалектические логики не используют это как пример правомерности логических противоречий, отражающих реальные противоречия действительности? Наверно потому, что этого нет в первоисточниках. А пример блестящий. Не хуже, чем плюс и минус в математике.

Собрания разделяются, далее, на периодические (текущие) и чрезвычайные. Текущие — тоскливая рутина, за исключением одного, когда происходят отчеты старых выборных органов и выборы новых. Тут иногда разгораются страсти, весьма напоминающие кухонные склоки коммунальных квартир недавнего прошлого. Но это все ничего не значащая пена, влияющая на судьбу лишь нескольких индивидов, да и то скорее комическим, чем трагическим образом. Чрезвычайные собрания собираются для того, чтобы одобрить решения высших властей, выразить восторг, принять к сведению и т. п., а также заклеймить тех, кого указано клеймить. Например, Правдеца, Двурушника, Клеветника.

Как проходит собрание? Когда как. В среднем — так. За две недели вешается объявление о том, что тогда-то состоится такое-то собрание. В день собрания перед входом в зал с листами бумаги садятся женщины из самых низших сотрудников, обычно выполняющие эти функции, и переписывают всех присутствующих. Нужен кворум, во-первых. А во-вторых — чтобы потом наказать отсутствующих. Некоторые, зарегистрировавшись, удирают. Но таких не очень много. Это в основном люди, которые достигли такого положения, что им не грозит наказание, или опустились до такого положения, что им наплевать на наказание. Собрание начинается. Избирается президиум. Президиум намечается заранее. Попасть в него — не просто честь и мечта рядового ибанца. Это — знак. Если ибанца выбрали в президиум, значит, он в чести у начальства и не исключено, что пойдет в гору. А если тебя раньше выбирали, а на сей раз нет, значит что-то неладно. И сотрудники шепчутся по сему поводу, усмехаясь, сочиняют слухи. И самое странное в этом, они никогда не ошибаются. Я сам один раз для хохмы пустил такой слушок про Претендента. И что Вы думаете? Погорел в ближайшее же время. Заранее намеченный человечек после предложения председателя избрать президиум поднимает руку и зачитывает списочек. Обычно в президиум выбирают чуть ли не половину учреждения. Всех начальников. Их ближайших холуев. Актив. Талантливых и растущих. Гостей и надсмотрщиков из высших инстанций. В особо торжественных случаях избирают почетный президиум, в который включают всех высших руководителей в том порядке, какой предустановлен свыше. Потом начинается нудный доклад, который не слушает никто или слушают немногие заинтересованные, которых, как всем известно заранее, похвалят или поругают. Потом выступления в прениях, которые тоже никто не слушает. Выступают штатные выступальщики или заранее намеченные лица. Говорят заранее намеченные речи. Тишина и человеческое оживление наступают только тогда, когда разгораются склока или скандал. Но это бывает редко. Еще реже, чем приличный детектив по ибанскому телевидению. Обычно до этого не допускают. Потом принимается резолюция. Она состоит из констатирующей части, в которой отмечаются успехи и недостатки, и постановляющей части, в которой говорится о том, что надо усилить успехи и ликвидировать недостатки. Составление и принятие резолюции есть главная часть собрания. Здесь решается судьба людей. Попадешь, например, в число хвалимых. И начнут тебя хвалить во всех инстанциях. Премию, глядишь, дадут. Оклад повысят. Жилье улучшат. А попадешь

в число ругаемых — пиши пропало. Минимум год везде склонять будут. Вплоть до высших инстанций дойдешь. Иногда и попадет-то человек за пустяк. А выше уже не смотрят, что пустяк. Смотрят лишь на формулировку. Еще выше дают широкую оценку. И не успеешь оглянуться, как в газетах даже рубанут за серьезную ошибку. Так что вопрос о формулировках резолюции есть жизненно важный вопрос. Бывает так, что люди часами бьются за изменение формулировки со словом «ошибка» на формулировку со словом «упущение». Со стороны посмотреть — комедия. А на самом деле — драма. Пройдет первая формулировка — лет на пять для человека закрыты все пути карьеры. Пройдет вторая — от силы на год. А то и так обойдется.

Вообще существует иерархия положительных и отрицательных оценок деятельности сотрудников и групп. Оценка деятельности группы есть фактически оценка деятельности отдельных лиц, только не прямая, а косвенная. Например, отметили, что такой-то сектор допустил ошибку. Значит, допустили ошибку заведующий и сотрудник А, который фактически заправлял сектором. Оценки классифицируются подобно армейским чинам — начиная с рядовых и кончая генералами и маршалами. И пропорции аналогичны. Кстати, совершенно еще не изученный вопрос — стереотипность иерархии абсолютно во всех сферах жизни общества. Даже похороны имеют свою иерархию. Недостатки, например, разделяются на недосмотры, просмотры, упущения, недоделки, просчеты, недоработки, промахи, ошибки, грубые ошибки, грубейшие ошибки, непростительные ошибки, провалы. Достоинства разделяются на сдвиги, подъемы, оживления, достижения, успехи, некоторые успехи, заметные успехи, серьезные успехи, крупные достижения и т. п. Вы не обратили внимания, на заседании, где мы с вами были, к различным лицам применялись выражения Известный, Видный, Крупный, Популярный, Выдающийся. Это — не литературные вариации. Это — та же самая иерархия оценок. У нас есть виртуозные знатоки в этом деле. Вот передовая статья Газеты. Для вас — пустая трепотня и демагогия. Для знатока — бездна информации. Здесь десятки явных и неявных оценок. Первое дело ибанского карьериста — научиться читать такие ничего не значащие для посторонних тексты. Для нас с вами эти тексты — пустой звук. Для них — руководство к действию. Так что и у нас есть своя очень сложная дифференцированная и структурированная система оценок, недоступная для посторонних, но привычная и четкая для заинтересованных. Наша система оценок адекватна нашей системе реальных ценностей. Для вас это — жуткие мелочи. А для нас борьба за повышение зарплаты на десятку и за улучшение жилья на десять квадратных метров есть более острая проблема, чем для кого-то борьба за министерский портфель или корону.

Но я отвлекся. Каковы полномочия собрания? Огромны и ничтожны. Они не выходят за рамки дел и интересов своего учреждения. Причем мелких. И в духе указаний свыше. Это — та же липа демократии, но с некоторыми реальными последствиями для жизни людей на грошовом уровне. Но во всем, что касается зажима людей творческих и действительно талантливых, они всесильны. Если тебя заклеймит собрание твоего учреждения — конец. А оно всегда заклеймит по своему почину, если не будет сдерживающих указаний свыше. Представьте себе, если у нас кто-то и выбился, то только благодаря защите свыше.

Последующая история

При Заведуне XV было полностью ликвидировано враждебное западное окружение и на всей Земле установили Ибанск. Все уцелевшие западные города после исправления их идеологических ошибок переименовали в Ибатянски с соответствующими инвентарными номерами. Париж, например, получил номер 031/5634-А. И за то пусть скажет спасибо, так как один английский городишко (не то Лондон, не то Ланден) отменили совсем. Он, видите ли, не захотел расстаться со своей Королевой. Вот вам пример поистине чудовищной реакционности эксплуататорских классов прошлого! На все пошли. Все отдали. Со всем согласились. Портреты повесили. А с Королевой расстаться не захотели. Жалко, говорят. Традиция. Мы

с ними сначала по-хорошему. Мол, на что вам Королева? Теперь все королевы. Все равны. Все на голову выше. А они свое. Традиция. Говорят. Жалко. Привыкли. Ну, мы им и показали нашенские традиции.

Луна тогда к Ибанску еще не присоединилась. В стороне осталась. Улететь-то туда улетели еще при капитализме. И дом там построили. И кислород запасли. И сад разбили. И козу завели. Обживаться стали. А вернуться не успели. На Земле как раз везде установили Ибанск. Науки объединили во Всемирновсеибанскую Академию Наук. И начался такой мощный подъем всех наук, что даже маршрут Заведуна в туалет стали рассчитывать в вычислнтельном центре, объединившем все вычислительные машины мира. И делали это с очень высокой степенью приближения: Заведун по этим расчетам оправлялся исключительно в радиусе пятидесяти метров от унитаза (сделанного, кстати сказать, из золота), а один раз он чуть было не попал в сам унитаз. Все сараи Ибанска завалили вновь открытыми элементарными частицами и хромосомами. Особенно большими оказались достижения в области космонавтики. Теперь даже Всеибанское Общество Освоения Всей Вселенной Вокруг Земли (ВООВВВЗ) без помощи школьников первого класса не могло бы найти на ибанском небе Луну. Не то что лететь туда. Лететь туда было уже незачем. Да и не на чем. Не беда, сказал Заведун. Они и без нашей бескорыстной помощи тоже скоро сдохнут. Дышать-то нечем будет, ха-ха-ха. Кто-то сказал Заведуну, что там находится и наш человек. Заведун велел направить туда директиву: пусть берет власть в свои руки. Превосходная идея, сказал Заместитель. Так они сдохнут еще быстрее.

Делая отчетный доклад на очередном съезде, Заведун сказал следующее. В области внешней политики мы добились самых выдающихся успехов за всю историю Ибанска. Мы ликвидировали внешнюю политику. Теперь мы можем все силы перебросить на внутреннюю политику.

И перебросили.

Ибанизм и социология

Послабления пришли не сразу. Хотя Хозяин сдох, первое время ничто не изменилось. Даже наоборот. Произошла кратковременная вспышка озверения. Но маятник ибанской истории уже качнулся в сторону либерализма. На первом этапе самые прогрессивные и образованные обществоведы начали ссылаться на имена, ранее неизвестные в ибанском погромоведении. Они, как и ранее, громили западных прислужников империализма. Но круг громимых социологов и круг громимых идей несколько расширился. На втором этапе этот круг стал еще шире. И появилось новое качество. Громили уже не так грубо и нелепо, как это делали зубры изма предшествующего периода, а более квалифицированно и интеллигентно. Кое-что не громили, а критиковали в чисто академической манере, но достаточно остро. Объективизм, заорали зубры. Но скоро сами вошли во вкус и сменили своих старых референтов и помощников на более молодых, знающих иностранный язык. Надо подходить творчески, заорали зубры. Надо науку развивать и ставить новые проблемы. На третьем этапе стали проскакивать некритикуемые идейки западных социологов. Сначала их протаскивали как идеи, принадлежащие классикам, но искаженные буржуазными горе-мыслителями. Но прогресс делал свое дело. Ссылки на классиков стали сокращаться. И идейки оттуда стали пролезать в идеологически передержанную ибанскую печать в первозданном виде. И даже порой со ссылками на авторов. Некоторые исты вообще перестали ссылаться на классиков, а западных социологов стали называть коллегами. Зубры ибанизма поняли, что пора принимать меры. Но у них не было сил. А те, кто имел силы, еще не доросли до такого уровня, чтобы принимать меры. Они сами еще сдавали экзамены, посмеивались над ибанизмом и зубрами, говорили о прогрессе и сутками жевали устаревшие идеи Запада, выглядевшие в Ибанске как последний крик моды.

На Запад ибанские обществоведы сначала не ездили совсем, потом стали ездить еще реже. В период Растерянности их стали выпускать, предварительно промывая мозги до такой степени, что, кроме самых примитивных догм ибанизма, в них не оставалось ничего. Хотя они выглядели там круглыми дураками, это шло им на пользу. Раз враг ругает, значит хорошо. Враг не любит наши успехи. Если враг хвалит, значит что-то неладно. Боже упаси от похвал врага! И ибанские обществоведы делали все, что в их силах, чтобы враг их не похвалил. И добились в этом выдающихся успехов.

Но времена изменились. Потребовалось ездить на Запад все чаще и не ударять лицом в грязь. Потребовалось даже с Запада пускать к себе и показывать товар лицом. Зубры ибанизма выучили десяток новых слов (группа, поведение, интеграция, стратификация и т. п.), не понимая их смысла, и обросли ловкими мальчиками, знавшими языки, способными болтать на любые модные темы и служившими в Органах. Из них скоро выросли ведущие специалисты, представляющие ибанскую науку на мировой арене. Мальчики позволяли себе такое, что никогда не снилось самым радикальным обществоведам Ибанска. На Ибанск устремилась лавина западной общественной мысли. Началась социологическая лихорадка. Все спешили что-то урвать, не вникая в суть дела и ничего не переваривая толком. На основе отвратительного профессионального образования, отборной глупости и пошлости, полной безнравственности, карьеризма, стяжательства западная социальная мысль приняла чудовищные ибанские формы. Тот, кто всерьез займется изучением социологической литературы Ибанска этого периода, будет потрясен открывшейся ему картиной интеллектуального маразма. Стало для всех очевидно, что социологию следует разрешить в официально установленном виде и под эгидой ибаиизма. Так и сделали.

Начался период превращения социологии в материальную силу ибанского общества. Появились сотни групп, отделов, секторов, сборников, совещаний, симпозиумов. На первом всеибанском симпозиуме было представлено более тысячи специалистов. На международный конгресс поехало столько же. А могли делегацию увеличить еще раз в десять. Социология оказалась необычайно удобной вещью. Она стала прекрасно подтверждать правоту ибанизма и превосходство ибанского образа жизни над всеми остальными.

Но, как и во всяком великом историческом движении, здесь была другая сторона. Во-первых, в значительной части социологии наметилось забвение основополагающих истин изма, игнорирование его и даже насмешки. Во-вторых, молодые карьеристы, претендовавшие сначала лишь на вклад в науку, стали вскоре в большей мере претендовать на должности, степени, звания, командировки, квартиры и прочие блага, которые по праву получали зубры изма за свое верное служение изму, за свою глупость и необразованность. Зубры и подросшие зубрята возмутились. Как, кричали они. Им языки иностранные, модные статейки и книжонки, встречи с иностранцами! И им же должности, звания, дачи, квартиры! Несправедливо! В-третьих, как это ни странно, в мутном потоке социологического шарлатанства стали появляться настоящие научные работы. Обнаружилось, что Ибанск — благодатное поле для социологических исследований. И даже самые примитивные исследования дают заметный эффект. Обнаружилось также, что результаты научных социологических исследований приходят в конфликт с догмами изма и официальной пропагандой. Это-то и решило все дело. Забвение истин изма ликвидировали одним намеком. Молодые карьеристы быстро перешли в зубров и в зубрят. Но настоящие ученые и научные результаты, хотя их и было ничтожно мало, не переходили ни во что и с намеками не считались. Их следовало уничтожить в зародыше. К этому времени консерваторы разобрались, что к чему, и поняли, что все эти социологические пустозвонские штучки они сами могут делать в рамках изма не хуже самих прогрессистов. Пора, решило начальство. И устроили погром. Во главе погрома шли молодые карьеристы, которые указывали пальцем на тех, кого следовало уничтожить. И социология в Ибанске вернулась в лоно ибанизма, но по спирали, обогащенная новыми методами фразеологии, карьеризма и стяжательства. Законы ибанского общества, изобретенные за сто лет до появления самого этого общества, остались незыблемыми хозяевами если не самой жизни, то разговоров о ней, во всяком случае.

Привилегии

Считается, говорит Клеветник, что в Ибанске господствует принцип: от каждого по его способностям, каждому по его труду. Нельзя сказать, что этот принцип здесь нигде не действует. Можно указать множество подразделений жизни общества, где он вроде бы действует очевидным образом. Но является ли этот принцип специфической особенностью ибанского общества в тех случаях, когда кажется, что он действует? Является ли он здесь всеобщим или по крайней мере доминирующим? Приведите примеры случаев, когда этот принцип вроде бы осуществляется у нас, и вы увидите, что в западных странах в аналогичном смысле он выполняется отнюдь не реже и не менее скрупулезно. Но оставим в стороне сравнения и поставим вопрос так: какое место занимает этот принцип внутри нашего общества? Думаю, что с этой точки зрения он является настолько второстепенным, что рассматривать его вообще как принцип этого общества бессмысленно. И раздувают его официально только потому, что хотят скрыть главный и специфический принцип распределения этого общества, вытекающий из его социальной структуры, а именно — принцип распределения в соответствии с социальными привилегиями. Наше общество есть общество социальных привилегий.

Социальная привилегия есть то преимущество, которым обладают индивиды данного рода (в частности — один индивид) перед прочими в силу своего социального положения. Не всякая привилегия есть социальная привилегия. Например, лица, живущие в курортном районе и имеющие возможность прилично наживаться за счет курортников, имеют привилегию экономико-географического порядка, но не социальную. Молодой человек, родившийся в семье высокопоставленного чиновника, имеет ряд преимуществ перед молодым человеком из семьи бедного творческого интеллигента. Первому, например, даже при наличии посредственных успехов в школе гарантировано высшее учебное заведение по выбору. Главным образом — по выбору родителей или из соображений последующей выгоды, а не по принципу «От каждого по способностям». Второму даже при наличии блестящих способностей не так-то просто попасть не только в институт, соответствующий его способностям и склонностям, но в любой какой-нибудь захудалый институт. Если, конечно, у его родителей нет связей, благодаря которым экзаменаторам будет дано тайное указание хотя бы не заваливать его на экзаменах. Но рассмотренная привилегия первого молодого человека по сравнению со вторым, сидевшим, может быть, с ним за одной партой, не есть социальная привилегия первого молодого человека. Это есть социальная привилегия его отца, а не его самого. Благодаря привилегии рождения он приобретет социальные привилегии. Так что ее можно рассматривать как потенциальную социальную привилегию. Но я в эти тонкости вдаваться за недостатком времени не буду. Предоставляю вам самим подыскать здесь подходящие определения и классификацию.

Западные общества тоже имели и имеют систему привилегий. Например, наличие достаточных средств дает возможность приобрести образование, соответствующее способностям и склонностям человека. Не всякий имеет эти средства. Это привилегия. Но привилегия богатства, а не социального положения. Здесь роли не играет, как получены средства. Они могли быть украдены, заработаны, получены по наследству или быть результатом социальной привилегии. Но сам факт достаточности этих средств для получения образования не есть социальная привилегия. Аналогично человек, имеющий крупную сумму денег независимо от ее происхождения, может совершить заграничное путешествие, если он гражданин западного общества. Опять-таки это — привилегия, поскольку не всякий может себе это позволить. Но не социальная. У нас, чтобы совершить поездку за границу, недостаточно только иметь деньги и быть нормальным гражданином. У нас это — одна из самых серьезных социальных привилегий. И, как правило, такие поездки предоставляются привилегированным лицам бесплатно.

Нет обществ без привилегий. Вождь первобытного племени, берущий первым кусок мяса убитого животного, уже имеет привилегию, причем по тем временам огромную. Важно установить, какой тип привилегий характерен для данного типа общества и какую роль они играют в его жизни. Наши либералы, требуя большей свободы передвижений по стране и поездок за границу, большей свободы слова, печати, творчества и т. п., посягают на самые основы ибанского образа жизни — на органически присущую ему систему привилегий. Их желания суть продукт того, что они начитались книжек о прошлом и о Западе, наслушались всякого рода разговорчиков на эту тему и, может быть, сами нагляделись. Но они чужды ибанской социальной действительности.

Социальные привилегии разделяются на официальные, закрепленные законом или обычаем, и неофициальные. Последние делятся на наказуемые (порицаемые, во всяком случае) и ненаказуемые (или слабо наказуемые). Но строгих граней тут нет. Например, высокая зарплата, хорошая квартира, персональная машина, закрытый распределитель продуктов питания, бесплатные санатории у крупных чиновников суть законные привилегии. А принуждение подчиненных к сожительству, присвоение их идей, навязывание соавторства, устройство на работу или учебу по знакомству и т. п. суть фактические привилегии, но не узаконенные. Они официально порицаются. Но много ли случаев вам известно, когда начальники за такие дела пострадали бы? Эти привилегии столь же прочны, как и законные. Существует огромное количество должностей, где именно фактические неузаконенные привилегии являются главными источниками доходов всякого рода. Это даже иногда официально учитывают в установлении зарплаты, когда зарплата оказывается чистой фикцией. Пройдитесь, например, по дачным местам и поинтересуйтесь, сколько стоят дачи и какова зарплата их владельцев. И вы увидите, что в огромном числе случаев владельцы должны были бы в течение десятков лет откладывать зарплату полностью, чтобы накопить на дачу.

Последующая история

Строить полный ибанизм в условиях отсутствия враждебного окружения стало значительно труднее. Прежде всего выяснилось, что некого догонять. А раз так, то и спешить незачем. Можно и обождать. Стало негде брать взаймы, не от кого ждать помощи, не у кого тянуть новые открытия и изобретения и заимствовать моды, негде отдыхать от ибанской нервотрепки и приобретать заграничные вещички, не на кого сваливать свои трудности, не с кем сравнивать свои выдающиеся успехи. Одним словом, исчез любимый враг, делавший жизнь мало-мальски осмысленной и интересной. Остались одни свои. А что свои? Дрянь. Со своими и по душам-то поговорить не с кем.

Хотели было армию распустить. Но куда девать такое количество хорошо подготовленных заслуженных офицеров, генералов и маршалов? К тому же рискованно. А вдруг!.. Нет, армию распускать нельзя. Наоборот, сказал Заведун, у нас все должно отмирать путем укрепления. И привел цитату. А спорить с цитатой...

Конечно, пришло и кое-какое облегчение. Оппозиционеров перестали поддерживать извне. И бежать им стало некуда. И вообще оппозиция потеряла смысл, так как не перед кем стало выпендриваться. Прекратились клеветнические Голоса. И стало скучно. Однажды Заведун целый вечер крутил ручку приемника, надеясь поймать хоть какой-нибудь Голосишко и услышать чуточку правды про Ибанск. Но, увы! Голосов уже не было совсем. Сотрудники, видя такое, решили создать на болоте, на котором никто жить не хотел, Неприсоединившуюся Буржуазно-Демократическую Республику (НБДР) в два квадратных метра, с территории которой начались клеветнические передачи и куда решено было время от времени выгонять оппозиционеров — с целью создания впечатления и для интриги. Заведун вздохнул с облегчением и выступил с докладом, в котором высказался за мирное сосуществование. Путом мырнаго сарывнованыя мы далжны даказат нэаспарымый прэимуществ нашэго обшэственного стройя, сказал он. Прытом мы нэ далжны тэрат бдытэлнаст. Мы будым нэуклонна крэпит абарону. Мы усылым дэатэлност наших лубымых Органыв. Так и сделали. И усилили охрану границ изнутри, так как наружи уже не было.

Интервью Певца

Живет далеко и высоко,
У самых у райских ворот,
В дружиой семье одиноко
Талантливый бездарь народ.
От умности вздорный,
До лени упорный,
Несчастный счастливый иарод.
Величественный, невзрачный,
Наполиенный и пустой,
Загадочиый и прозрачный,
Запутаиный и простой,
Не ведая, ие вылезая
Из всяких побед и невзгод,
Живет он в преддверни рая,
Никчемный великий народ.
От трусости смелый,
До скупости щедрый,
Покорный бунтарский иарод.
Злопамятен и отходчив,
Сверхскромен и сверххвастлив,
Растяпист и очень иаходчив,
Медлителеи и тороплив,
В надежде иа райское счастье
Не деиь, и не два, и не год
Без веры в чужое участье
Гииет-процветает народ.
От сонности бодрый,
До злобности добрый,
Холуйский и гордый народ.
Беспечеи и осторожен,
Недогадлив и прозорлив,
Обманчив и так же надежеи,
Задумчив, не в меру болтлив.
Он цели своей добьется
И в рай под началом припрет,
От радости с горя упьется,
Трудяга-бездельник иарод.
От смеха слезливый,
До жути счастливый,
Свободно зажатый иарод.
Замкнутый и открытый,
Всем свойским, всему не свой,
Изголодавшийся, сытый,
Всевидящнй, вечио слепой.
И ежели свойство какое
Прнходит на память уму,
Не ошибешься, спокойио
Приписывай также ему.
Не вздумай ему лишь идею
Подкииуть с иных сторон,
Он схватит тебя за шею
И выкинет на хер вон.
Исполненный долга,
Без всякого толка
Гонимый народ-гегемон.

Привилегии

Главным механизмом распределения материальных и духовных ценностей и вообще всего, что интересует людей как потребителей, говорит Клеветник, является распределение в соответствии с социальными привилегиями. И принцип здесь таков: каждому по его социальному положению. Имеется, конечно, масса обстоятельств, которые нарушают чистое проявление этого принципа и затемняют его действие. Это, например, случаи распределения по труду, жульничество, махинации, злоупотребление служебным положением, таланты и исключительная трудоспособность, наследство, паразитизм. Но, повторяю, основу и стержень системы распределения нашего общества образует система социальных привилегий и распределение в соответствии с социальным положением индивидов. И потому ожесточенная борьба за повышение своей социальной позиции и социальные привилегии есть суть и тело всей нашей социальной жизни. А так как имеет место тенденция к превращению социальных слоев общества в наследственный институт, то борьба эта принимает поистине одуряющие формы, ибо речь идет уже о судьбе потомков, рода.

Забота о благе трудящихся, которую декларирует вся наша пропаганда, есть с этой точки зрения такой же идеологический миф, как и распределение по труду. Нельзя сказать, что ее нет. Но что это такое? Отчасти — профессиональное дело массы людей, живущих за счет этого дела. Например, строительные организации, больницы. Нелепо думать, что строитель, врач и прочие существуют для блага трудящихся. Научно правильная формулировка тут такова: группа людей существует за счет такой-то сферы деятельности. Забота о благе трудящихся, далее, есть средство некоторой категории людей в борьбе за свое положение и продвижение. Заботясь о людях, руководители завоевывают репутацию и укрепляются у власти. Но главным образом это идеологическая пропаганда и демагогия, имеющая целью сохранение статус-кво.

Одна из задач возможной научной теории в данном случае — выяснить вытекающие из изложенной ситуации необходимые следствия. В частности, главным стимулом деятельности наиболее активной части общества становится достижение более высокого уровня потребления не путем реализации личных талантов и личного труда, а путем борьбы за более выгодные социальные позиции по законам этой борьбы, не имеющим ничего общего с талантами и трудом. В результате общество приобретает тенденцию к снижению своего творческого потенциала. Я думаю, что это общество вообще глубоко враждебно всяким видам творческих проявлений и по другим аспектам его жизнедеятельности.

Принцип распределения, о котором я вам говорил, не есть проявление некоей природной справедливости или результат произвольного законодательства, Он есть результат совокупного действия массы волевых поступков людей и постоянно воспроизводится как таковой, закрепляясь в обычаях, законах, привычках. Просто люди, занимающие то или иное социальное положение, урывают для себя от общего пирога тот кусок, который максимально доступен их силе. Каждый стремится урвать максимум, доступный ему по его положению. Максимальный кусок с минимальными затратами — вот святая святых этого общества, рядящегося в одежды заботы, великодушия, доброты, справедливости и т. п.

Итак, ибанское общество есть весьма сложная, дифференцированная и иерархически структурированная система привилегий. Сложная система власти призвана сохранять и воспроизводить эту систему привилегий. Ибанская культура со своей стороны создает систему лжи, маскирующую эту весьма прозаическую жизнь и изображающую ее как всеобщее равенство, справедливость, процветание.

Я намеренно ничего не говорил о первой части рассматриваемого принципа (от каждого по его способностям), поскольку он двусмыслен. Если имеются в виду способности устраиваться в жизни, то он справедлив. Тут людей уговаривать не надо. А если имеются в виду прирожденные способности к производству духовных и материальных ценностей, то они не являются социальными привилегиями и допускаются лишь в той мере, в какой не затрагивают последние существенным образом.

Гимн собранию

Эх, собрание, братание,
Давией юиости мечта.
Взгляд соседки. Щебетаиие.
Сигареты теплота.
Звенит звоиок.Сотрудник мчится
По учреждению родному
Перед собраиьем помочиться,
А этот — сделать по-большому.
А тот бежит, разинув рот,
Купить от язвы бутерброд.
Эх, собраиие, старание,
Раиней старости красота.
Весконечное орание.
Пота воиь и тесиота.
А зал гудит. Народ резвится.
Орет. Толкается к проходу.
Призвать н порядку кто-то тщится.
В графии, кричат, иалейте воду.
И вдруг в почтеиье стих иарод.
Мелькнул директорский живот.
Эх, собраиие, иаказание,
Предынфарктная маета.
Выступальщиков кривляиие.
И доносчиков клевета.
Уселся зал. Пора открыться.
Избрать президиум по штату.
Холуй с бумажкою вертится
С готовым списком каидидатов.
В президиум из года в год.
Сияя, прет активиых род.
Эх, собраиие, зевание,
Веспросветная скукота

Демагогов завывание.
В мыслях полная пустота
Ползала спит. Доклад струится
Смакует фронда анекдотик.
Лишь бдит стукач. Ему не спится
Пометки делает в блокнотик.
И трепачей привычный сброд
Для прений тренирует рот.
Эх, собрание, назидание.
Возвышающий момент.
Одобрение воззвания.
Обличающий документ
Проснулся зал. Народ ярится.
За пунктом пункт тасуя ловко.
И резолюции стремится
Придать свою формулировку.
Надсмотрщиков надежных взвод
Следит, чтоб правилен был ход.
Эх, собрание, пропадание
Не минут, не дней, а лет.
Добровольное страдание.
Демократии расцвет.

Последующая история

При Заведуне XIV отменили деньги. И они стали величайшим дефицитом. За какую-нибудь паршивую трешку приходилось платить бешеные деньги. А за валюту буквально дрались, поскольку за нее можно было купить хоть что-то мало-мальски приличное. Черт их побери, сказал один сверхсознательный ибанец в интервью своему не менее сознательному собутыльнику. Раньше хоть какие-то гроши получали. А теперь и этого не будет. Оставили бы пока хотя бы на выпивку и курево. Без закуски мы как-нибудь обошлись бы.

При Заведуне XV процвела медицина. Жизнь Заведунам научились продлевать до пятисот лет, Заместителям — до трехсот. Поставили задачу — продлить до тысячи. Етот задачъка, сказал Заведун, нам уполне по плечику типерича. В целом по стране продолжительность жизни среднего ибанца, как установили путем наблюдений с искусственных спутников Земли, увеличилась на 0,00001 миллисекунды в год. За такую неслыханную доселе точность измерения большую группу сотрудников Академии Наук наградили орденами и премиями. Наша наука, сказал Президент в ответном слове от имени награжденных, вышла благодаря этому открытию века на первое место в мире. И наша задача теперь — догнать и перегнать НБДР и в области науки

Установили шкалу болезней и сексуальной мощи. В зависимости от ранга руководителей стали освобождать от болезней той или иной категории и присваивать тот или иной уровень сексуальности. Заведун был избавлен от всех болезней, за исключением одной, о которой речь пойдет ниже, и награжден абсолютной сексуальной мощью. Аналогично поступили с едой и выпивкой. Так что, начиная с директора крупного учреждения, руководитель мог целый день совокупляться с женщинами (до пятидесяти штук), лакать без передыха вино (до ста бутылок коньяка Сто Звездочек) и жрать пудами дефицитные продукты, которые стали редкостью даже в закрытых распределителях. Стало модно ходить с расстегнутой ширинкой и с вымазанным красной икрой рылом. Только одна болезнь упорно не поддавалась лечению — слабоумие. Причем оно усиливалось с повышением ранга руководителей и возраста, достигая на высших уровнях таких масштабов, что даже два на два стали умножать с помощью вычислительных машин. Это было бы еще полбеды. Все-таки научно-техническая революция! Но машины с такой задачей справиться уже не могли без посторонней помощи и систематически делали ошибки, как перезревшие второгодники. Тогда за дело взялись философы. Со ссылками на первоисточники они доказали, что это вовсе не слабоумие, а развитие сверхгениальности, начавшееся еще с классиков и достигшее в лице нашего любимого сверхсверхсверхсверхгениального Заведуна поистине махрового расцвета.

Грани начали стирать еще при Хозяине. Но вплотную подошли к полному стиранию их только теперь. До этого было не до этого. Первым делом стерли грани между городом и деревней. В результате деревня частично сбежала в город, а частично встала в очередь за маслом, яйцами, кильками и другими промышленными товарами в городских магази-

нах. И стоит там до сих пор. Ждет. Обещали выкинуть кое-что. Потом стерли грани между умственным и физическим трудом. В результате талантливые ученые стали зарабатывать почти столько же, сколько уборщицы, маляры и дворники. Это было настолько крупное достижение, что Заведун произнес по сему поводу специальную речь. Мы, как говорится, это самое, эээээ... того, в общем, добились, так сказать, эээ... сказал он, эээ... это самое... ученые, они что, они тоже почти что люди, эээ... наши, можно сказать...

Наконец, при следующем Заведуне взялись за стирание граней между мужчиной и женщиной. Женщинам разрешили носить брюки, курить, пить коньяк, ругаться матом и управлять государством. Мужчинам разрешили носить длинные волосы, стричь ногти и иногда менять нижнее белье. В конце концов признали и бороды, так что по внешности мужчин и женщин различать стало невозможно. При знакомстве требовали предъявить справки. Поскольку началась кампания против бюрократической волокиты, возникла острая проблема: у мужчин отрезать или женщинам пришивать? Началась борьба, в которой, как всегда, победила генеральная линия. Мммыы, сказал в своем докладе Заведун, пррроявили величччччайший гумммммнанизм, пойдя на этот исторррический шагггг.

Монополия на театр жизни

Вот Газета, говорит Неврастеник. Читайте. Заведующий принял Посла. Заведующий прибыл в Париж. Президент прибыл в Ибанск и имел беседу с Заведующим. Заместитель принял Короля. Король посетил свиноферму. Состоялось совещание, на котором выступил Помощник. Заместитель вручил орден. Заведующему вручили орден. Металлурги перевыполнили план и послали телеграмму Заведующему. Хлеборобы досрочно выполнили план. И в другой газете то же самое. И в третьей. И по радио. И по телевидению. И в кино... И в... А вы не обращайте на это внимания, говорит Журналист. Это же официоз. Когда тонешь, глупо отплевываться, говорит Неврастеник. Хорошо не обращать внимание, если есть что-то другое. Это же и есть наша жизнь, а не просто формальный официоз. Что делает жизнь таких людей, как я, интересной? Ее театральность. Публичность. А они узурпировали это все для себя. Они всем нам навязывают свою сцену, свою игру, свой театр. Они сами кривляются, заставляют нас любоваться их ужимками, а нам не дают. Поездки, встречи, заседания, выступления, награждения, резолюции — это и есть их подлинная социальная жизнь. И ничего другого у них нет. И нам они ничего другого не разрешают. Они свою серую и бездарную чиновничье-бюрократическую деятельность превращают в общественный театр. А все то, что действительно театрально, красиво, ярко, интригующе, они уничтожают или загоняют на задний план и превращают в декорации для своих бездарных игрушек. Везде театр, говорит Журналист. У нас тоже. Верно, говорит Неврастеник. Театральность жизни вообще есть норма. Важно, кто вылезает на сцену. Когда на сцене орут и кривляются человечки без слуха, без голоса, без вкуса, а в зрительном зале сидят настоящие певцы и настоящие ценители прекрасного и первые заставляют вторых слушать их и проявлять удовольствие и выражать восторг, то это — кошмар для вторых. А еще хуже, когда в зале остаются лишь единицы имеющих слух, голос и вкус, а остальные опускаются ниже тех, кто на сцене. Так покиньте зал, говорит Журналист. Куда, спросил Неврастеник. На тот свет? За границу? Вы сгущаете краски, говорит Журналист. Вот вчера я был... Понятно, говорит Неврастеник. Вы были на сцене. А нас туда не пускают.

Последующая история

О подготовке к объявлению полного изма и о самой процедуре объявления написаны тысячи томов и еще будут написаны сотни тысяч. И все равно это будет лишь относительная истина, асимптотически приближающаяся к абсолютной, но никогда не совпадающая с ней.

И пусть себе приближается. Не будем ей мешать. Объявляя наступление полного изма, Заведун XVIII сказал: викавой мисита силавесисытыва, одынака, сыбылася, атыныни и насавысемы усытанавыливаетыса полыная изыма, и тыпелися, одынака, на насым зынамини будеты напысаны сылава, сито казыдыя ибаныса будиты полусяты, одынака, па патылебынысыти, и типелися казыдыя ибаныса долызен быть, одынака, осинно созынателиныя, инасе мы... Что будет ибанцу, если он не будет достаточно сознательным, известно всем, так как это уже было.

Один факт, имевший место при объявлении полного изма, все историки почему-то замалчивают, хотя он сыграл в последующей истории Ибанска первостепенную роль. На открытие полного изма решили пригласить иностранных гостей. Пусть смотрят и учатся! Нам не жалко! У нас есть чему поучиться! Но тут вспомнили, что заграницы теперь нет. И решили пригласить инопланетян. Инопланетянам все очень понравилось. Глава делегации зачитал речь, составленную для него Мыслителем и завизированную Теоретиком. На банкете в честь открытия полного изма инопланетяне пить пили, но по привычке не закусывали. Бутерброды, которые им выдали по паре на рыло, они спрятали по карманам, чтобы отнести ребятишкам. Глава делегации инопланетян обнял одного из сотрудников, посаженных за столы через одного, рыгнул ему в физиономию и спросил: ты меня уважаешь, а? Сотрудник, упившийся не менее инопланетянина, в ответ заревел на весь Ибанск:

Шумел камыш,
Дире-е-е-е-вья...

Собравшиеся, не скрывая слез, подхватили хором:

Гиу-у-у-ли-и-и-исы!

Проследить ибанскую историю глубже в будущее Учитель не решился.

Молитва верующего безбожника

Установлено циклотронами
В лабораториях и в кабинетах:
Хромосомами и электронами
Мир заполнен. Тебя в нем нету.
Коли нет, так нет. Ну и что же?
Пережиток. Поповская муть.
Только я умоляю: Боже!
Для меня ты немножечко будь!
Будь пусть немощным, невсесильным,
Невсеведущим, невсеблагим.
Не провидцем, в любви необильным.
Толстокожим, на ухо тугим.
Мне-то,Господи, надо немного.
В пустяке таком не обидь.
Будь всевидящим, ради бога!
Умоляю, пожалуйста, видь!
Просто видь. Видь, и только.
Видь всегда. Видь во все глаза.
Видь, каких на свете и сколько
Дел свершается против и за.
Пусть будет дел у тебя всего-то:
Видь текущее, больше ни-ни.
Одна пусть будет твоя забота:
Видь, что делаю я, что — они.
Я готов пойти на уступку:
Трудно все видеть, видь что-нибудь.
Хотя бы сотую долю поступков.
Хотя бы для этого, Господи, будь!
Жить без видящих нету мочи.
Потому, надрывая грудь,
Я кричу, я воплю:
Отче!!
Не молю, а требую:
Будь!!
Я шепчу,
Я хриплю:
Будь же,
Отче!!!
Умоляю,
Не требую:
Будь!!!!!

(Окончание следует).

Давид ПАТАШИНСКИЙ

Шесть стихотворений

* * *

Они шли, обнимая друг друга за ткань
одежд. Они шли, осознавая, как
далеко дом. Шли, предчувствуя суету курка
под напряженным часом. Зааркань
попытку взгляда рассмотреть себя. Под
знаком вечера все единства верны.
Утверждая линию, непременно сверни,
мой Бог. Скоро погибнет год,
свернувшись вдвое. Нежные не к добру
пальцы теребят мех. Любые предметы
обязательно ждут, если сказал им. Нет их,
поскольку боль неизбежно последует топору.

Скоро дом. Любит на месте ждать.
Свет мой, ты не замерзла, так
медленно двигаясь, что на душе нужда
тепла. И рука твоя искала креста,
перед тем как спрятать, поцеловать металл.
Снег тал. Около грязных стен,
которых страницы неумело читал,
тоже своем думая о кресте.

Темные сумерки. Дома пустой куб
отношений усталых ног. Дверное дупло
пело шарнирами. Придавил тоску б
всяким теплом, но захрустит стекло.

Чулан, кладовая. Навсегда, навсегда.
Газеты горящие не образуют костра.
Голос наполнен дымом. В груди — вода.
Утрата времени — лучшая из утрат.

* * *

Начало похода в путь. Движение двух шагов.
Весну тебе обещал? Закончился меч свечи.
И только других начал открытие мглы благой.
Беги ее круг кривой, отчаянным сном влачим.

Смятенные впопыхах рождаются письмена.
Иной окровавлен смех. Картина уже не та,
что рвал на куски безумец, воскликнувши имена,
попавшие по случайности в дырявые тенета.

Излишне, забыв дышать, пытаться произнести,
сгибая собой, как пальцем, в предчувствии кулака,

которым пробить навылет кленовой груди настил,
впоследствии обнаружив прозрачные облака.

* * *

Все остается точным — сон лоскутный,
побег синицы в синие лазури,
семья отшельника — две неглубоких миски,
звук кипариса, раздвигаемого ночью
рукой неосторожного движенья.

А в первой миске — крупные фасоли,
а во второй — четыре корня «мину».
Глаза лукаво гладят помещенье.
Он уходил, когда заря висела
на золотых, как проволока, тонких.

Глазами эхо повторяло мысли.
Ресницы взвесили свой мягкий промежуток.
Сухие губы собирали воду,
бегущую по воздуху напротив
лачуги бедной. Крыша из соломы.

Сухие губы повторяли, немо
слова от слов дугой отъединяя,
улыбкой, что едва уже светилась.
И пасмурное, серое, сырое
упало небо, начиная ветер.

Улыбкой, что он часто улыбался,
отшельник принимал свои невзгоды.
Все остается точным — сон лоскутный,
на золотых, как проволока, тонких
он уходил, когда настало утро.

* * *

Церковь розовая. Круглая голова. Витражи темные.
Изнутри — праздник, разноцветные солнца.
В чем та музыка, когда прохожу по плитам?
Льется в меня, сквозь меня, застывая
терпким соком. На придорожном камне давить
ягоду, что повернулась ко мне шелковистым боком.
И реактивные насекомые, покидая свой кокон,
доступны настолько, что понимал — в крови
много такого, что неизвестно там, где
бродит тандем глаз и единорог смеха.
Одуваны взгляда выросли в новом такте.
Ехали плохо — такой вот я неумеха.

Звуком окольным — звук неостановимый,
что о любви мы. Что о житье постылом.
Был бы святой, да как вам принять раввина.
Был бы здоровым, а так у плеча костылик.
Прежние заживо были готовы сгинуть,
были бы гимны, чтобы на смерть вели нас,
было бы что уносить за собой в могилу,
чтобы не страшно было ложиться в глину.

Я расстелил бы себя на траву и камни.
Как мне ответить, если и сам не стану
спрашивать, как мне ответить. Язык кустарно
ветви тянул в ветер почти крестами.

* * *

Достаточно вздохнуть, и улетит на самый верх,
и можно улыбнуться, чтобы умер насовсем.
Лицо его, такое непонятное для музыки.

Чтó хочет тишина, когда кричит сама себя,
когда усталый свет под желтым колоколом солнца,
и около травы играет крохотка. В саду
такие яблони, что вспомнить их решительно нельзя,
и Мнемозина сумрачная расплетает рыжих
поток тяжелый, что собрать не повинуется рука.

* * *

Мне давно ничего не снилось, хотя давно
я стоял на горячих досках. Липкая смола.
Синее, как и следовало. Круглая жесть каюты.
Сухое белье. Бритва в зеркалах. Вода,
что поднимала и опускала. Уплывали
в сторону островов. Глубокие рыбы
подходили к поверхности, уловленные сверху
белой струей птицы. Небо любило воду.

Он смотрел мне в глаза, и она наблюдала,
свой смутный роняя. Зеленые иглы
в снегу, на песке, в раскаленной зевоте,
в подобиях капель, бежавших по коже.

А. И. ДЕНИКИН

Путь русского офицера

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Снова в бригаде

В бригаде я застал положение в корне изменившимся. Новый командир ее, генерал Завацкий, был отличным строевым командиром и выдающимся воспитателем войск. Он начал с того, что, запершись в кабинете с адъютантом, поручиком Ивановым — человеком умным и порядочным, поговорил с ним часа три, ознакомившись с печальным наследием генерала Л. Потом исподволь, без ломки стал налаживать выбитую из колеи бригадную жизнь.

Командир часто заходил в собрание, где первое время столовался, любил поговорить с нами — одинаково приветливо с полковником и с подпоручиком. Как-то в разговоре он заметил:

— По-моему, обучение может вести как следует только офицер. А если офицера нет, так лучше бросить совсем занятие.

И начались в бригаде странные явления...

Как-то утром поручик 3-й батареи проспал занятия, а ген. Завацкий произвел за него обучение конной смены, ни слова не сказав командиру батареи... Зашел на другой день в 5-ю батарею — позанимался там с наводчиками; в 1-й произвел учение при орудиях, успокоив командира батареи, который, получив известие о появлении бригадного, наскоро оделся и прибежал в парк.

— Ничего, мне не трудно. Я по утрам свободен.

Недели через две даже самый беспутный штабс-капитан, игравший обыкновенно всю ночь в штос и забывший было дорогу в батарею, стал являться аккуратно на занятия.

Впрочем, и штос вскоре прекратился. Завацкий, собрав нас, вел беседу о деморализующем влиянии азарта и потребовал тоном суровым и властным прекращения азартной игры. Все понимали, что не простой угрозой звучали его слова:

— Я никогда не позволю себе аттестовать на батарею офицера, ведущего азартную игру.

И штос, открыто и нагло царивший в офицерском собрании, перешел на время в холостые квартиры с занавешенными окнами, и мало-помалу стал выводиться.

Зная и требуя службу, генерал близко вошел и в быт бригадный. Казалось, не было такой, даже самой мелкой, стороны его, в которой пятилетнее командование Завацкого не оставило бы благотворного влияния. Начиная с благоустройства лагеря, бригадного собрания, солдатских лавочек, построенной им впервые в Беле гарнизонной бани и кончая воспитанием молодежи и искоренением «помещичьей психологии» — этого пережитка прошлого, которого придержива-

---

П р о д о л ж е н и е. Начало см. «Октябрь» № 1 с. г. Начиная с части третьей дается журнальный вариант с незначительными сокращениями.

лись еще некоторые батарейные командиры, смотревшие на батарею, как на свое имение.

Аресты офицеров, казавшиеся недавно необходимым устоем службы, больше не применялись.

Надо сказать, что аресты на гауптвахте офицеров за маловажные служебные проступки властью начальника широко применялись как в русской армии, так и во всех других. Этот освященный исторической традицией и, в сущности, позорный способ воздействия между тем не применялся нигде в отношении служилых людей гражданского ведомства. За первую четверть века своей службы я знал среди высшего командования армии только одного человека, который порвал с этой традицией. Это был командир XX-го корпуса, генерал Мевес, умерший за три года до японской войны. Он стремился провести в офицерской среде рыцарское понятие об ее предназначении и моральном облике. В этом наказании Мевес видел «высшую обиду личности, обиду званию нашему». Он признавал только выговор начальника и воздействие товарищей. «Если же эти меры не действуют,— говорил он,— то офицер не годен и его нужно удалить».

Мевес, в сущности, не был новатором, ибо существует давно забытый указ, из времен сурового русского средневековья, основателя нашей регулярной армии, царя Петра Великого: «Всѣхъ офицеровъ безъ воинскаго суда не арестовать, кромѣ измѣнныхъ дѣлъ»...

Такого же взгляда, как Мевес, придерживался и ген. Завацкий. Дисциплинарных взысканий на офицеров он не накладывал вовсе. Провинившихся он приглашал в свой кабинет... Один из моих товарищей, приглашенный для такой беседы, говорил не без основания:

— Перспектива незавидная. Легче бы сесть на гауптвахту. Это — человек, обладающий какой-то удивительной способностью в безупречно корректной форме в течение часа доказывать тебе, что ты — тунеядец или держишься не вполне правильного взгляда на офицерское звание.

В такой покойной и здоровой обстановке протекали два года моей службы при Завацком. Я был назначен старшим офицером и заведующим хозяйством в 3-ю батарею подполковника Покровского — выдающегося командира, отличного стрелка (разумею орудийную стрельбу) и опытного хозяина. За 5 лет, проведенных вне бригады, я, естественно, несколько отстал от артиллерийской службы. Но в строевом отношении я очень скоро занял надлежащее место, а в области тактики и маневрирования считался в бригаде авторитетом. <...>

Вообще много полезного я вынес из школы Завацкого и Покровского.

Академическая история и «изгнание» из Генерального штаба нисколько не уронили в глазах товарищей мой научный престиж. Наоборот, относились они ко мне с сочувствием и признанием. Однажды это отношение проявилось в трогательной форме. Приехал из штаба корпуса капитан Генерального штаба, моложе меня в чине и сидевший в Академии за одним столом со мной,— для проверки тактических знаний офицеров. Нескольким офицерам он задал самые элементарные задачи, в том числе... и мне. Вечером в собрании должен был происходить разбор. Возмущенный такой бестактностью, командир дивизиона приказал мне не являться в собрание, а молодежь после занятий так разделала заезжего капитана, что он не знал, куда деваться.

Отношение ко мне офицерства реально выражалось в том, что я состоял в ы б о р н ы м членом бригадного суда чести и председателем Распорядительного комитета бригадного собрания.

Атмосфера бельского захолустья не слишком меня тяготила. Общественная жизнь — в бригадном офицерском собрании, личная — в более тесном кругу сослуживцев-приятелей и в двух-трех интеллигентных городских семьях, в том числе в семье В. С. и Е. А. Чиж — родителей моей будущей жены,— меня удовлетворяли. А от службы и от дружбы оставалось достаточно свободного времени для чтения и... литературной работы. Надо сказать, что еще в академическое время я написал рассказ из бригадной жизни, который был напечатан в военном

журнале «Разведчик» (1898). Рассказ хоть и неважный, но испытал я большое волнение, как, вероятно, и все начинающие писатели — большие и малые — при выходе в свет первого своего произведения. С тех пор я печатал очерки из военного быта в «Разведчике» и до 1904 года рассказы и статьи военно-политического содержания в «Варшавском Дневнике» — единственном русском органе, обслуживавшем русскую Польшу. Писал под псевдонимом «И. Ночин», который, впрочем, не составлял секрета. Бывали рассказы и злободневные, один из которых бурно всколыхнул тихую заводь бельской жизни. Вот вкратце его содержание.

Жил в Беле один «миллионер» по фамилии Пижиц. Нажился он на арендах и подрядах военному ведомству: казармы, ремонты, отопление и проч. Там же жил некий Финкельштейн, занимавшийся тем же, которого конкуренция с Пижицем разорила. Финкельштейн питал ярую ненависть к Пижицу и чем мог, как мог, старался ему повредить. Писал разоблачения и доносы во все учреждения, но безрезультатно. У Пижица была «рука» в штабе округа и у губернатора. В результате он правдами и неправдами стал монопольным поставщиком на всю губернию.

У Пижица был сын Лейзер, которому подошел срок поступить в солдаты. Пижиц роздал «денежные подарки» членам «Бельского воинского присутствия» и был уверен, что сына его освободят, хотя физических недостатков он не имел.

Пришел день освидетельствования. Лейзер давал такие правильные ответы доктору, подносившему к его глазам сбивчивые комбинации стекол, что присутствие признало его единогласно близоруким и к службе негодным. Вечером в местном клубе за рюмкой водки доктор выдал своему приятелю секрет:

— Очень просто: стекло в правой руке — «вижу», в левой — «не вижу»...

В отношении больных глазами требовалось переосвидетельствование в особой комиссии в Варшаве. Пижиц знал, что председатель этой комиссии также не брезгает «денежными подарками». Собрался в Варшаву.

Председателю комиссии доложили, что его желает видеть Пижиц. Посетитель долго и неприлично торговался и наговорил председателю таких дерзостей, что тот вытолкал его за двери. Финкельштейн... ибо это был Финкельштейн, а не Пижиц... слетел стремглав с лестницы и исчез.

Когда на другой день настоящий Пижиц явился на квартиру председателя, то доложивший о нем лакей вернулся и сказал изумленному Пижицу, что его не велено пускать на порог...

А через несколько дней в один из полков за Урал был отправлен молодой солдат Лейзер Пижиц.

Рассказ мой, с вымышленными, конечно, именами, изобиловал фактическими и глубоко комичными деталями. Нужно знать жизнь уездного захолустья, чтобы представить себе, какой произошел там переполох. Гневался очень губернатор; воинский начальник* поспешил перевестись в другой город; докторша перестала отвечать на приветствие; Пижиц недели две не выходил из дому; а Финкельштейн, гуляя по главной улице города, совал всем знакомым номер газеты, говоря:

— Читали? Так это же про нас с Пижицем написано!

Так жили мы, работали и развлекались в бельском захолустье.

Воспоминания об академическом эпизоде мало-помалу теряли свою остроту, и только где-то глубоко засела неотвязчивая мысль: каким непроходимым чертополохом поросли пути к правде...

И вот однажды, в хмурый осенний вечер, располагавший к уединению и думам, написал я частное письмо «Алексею Николаевичу Куропаткину». Началось оно так:

«А с вами мне говорить трудно». С такими словами обратились ко мне Вы, Ваше Превосходительство, когда-то на приеме офицеров выпускного курса Академии. И мне было трудно говорить с Вами. Но с тех пор прошло два года,

* Полковник административной службы, ведавший набором и учетом запасных.

страсти улеглись, сердце поуспокоилось, и я могу теперь спокойно рассказать Вам всю правду о том, что было».

Затем вкратце изложил известную уже читателю историю. Ответа не ждал. Захотелось просто отвести душу.

Прошло несколько месяцев. В канун нового, 1902 года я получил неожиданно от товарищей своих из Варшавы телеграмму, адресованную «причисленному к Генеральному штабу капитану Деникину», с сердечным поздравлением... Нужно ли говорить, что встреча Нового года была отпраздиована в этот раз с исключительным подъемом.

Из Петербурга мне сообщили потом, как все это произошло. Военный министр был в отъезде, в Туркестане, когда я писал ему. Вернувшись в столицу, он тотчас же отправил мое письмо на заключение в Академию. Сухотин в то время получил уже другое назначение и уехал. Конференция Академии признала содержание письма вполне отвечающим действительности. И ген. Куропаткин на первой же аудиенции у государя, «выразив сожаление, что поступил несправедливо», испросил повеление на причисление мое к Генеральному штабу.

Через несколько дней, распростившись с бригадой, я уехал в Варшаву, к новому месту службы.

Русский солдат

Летом 1902 года я был переведен в Генеральный штаб, с назначением в штаб 2-й пех. дивизии, квартировавшей в Брест-Литовске. Пробыл там недолго, ибо подошла пора командовать для ценза р о т о й. Осенью вернулся к Варшаву, где вступил в командование ротой 183-го пех. Пултусского полка.

До сих пор, за время 5-летней фактической службы в строю артиллерии, я ведал отдельными отраслями службы и обучения солдата. Теперь вся его жизнь проходила перед моими глазами. Этот год был временем наибольшей близости моей к солдату. Тому солдату, боевые качества которого оставались неизменными и в турецкую, и в японскую, и в первую, и во вторую мировые войны. Тому русскому солдату, которому высокие взлеты, временами глубокие падения (революции 1917 года и первый период второй мировой войны) бывали непонятны даже для своих, а для иностранцев составляли неразрешимую загадку. Поэтому я хочу сказать несколько слов о быте солдата старой русской армии.

Сообразно распределению населения России состав армии был такой: 80% крестьян, 10% рабочих и 10% прочих классов. Следовательно, армия по существу была крестьянской. Благодаря освобождению от воинской повинности многих инородческих племен, неравномерному уклонению от призыва и другим причинам, главная тяжесть набора ложилась на чисто русское население. Разнородные по национальностям элементы легко уживались в казарменном быту. Терпимость к иноплеменным и иноверным свойственна русскому человеку более, нежели другим. Грехи русской казармы в этом отношении и в сравнение не могут идти с режимом бывших наших противников: старой Австрии, где господствовавшие швабо-мадьярские элементы смотрели на солдат-славян, как на представителей низшей расы; или Германии, где, не говоря уже об издевательствах над поляками, прусские офицеры, в большом количестве командированные на юг, с нескрываемым презрением относились к солдатам из южных немцев, не находя для них другого обращения, как «Зюд Гезиндель» или «Зюд Каналие»...

Солдат наш жил в обстановке суровой и бедной.

В то время, о котором я говорю, в казарме вдоль стен стояли деревянные нары, иногда отдельные топчаны. На них — соломенные тюфяки и такие же подушки без наволочек, больше ничего. Покрывались солдаты шинелями — грязными после учения, мокрыми после дождя. Одеяла были мечтой — наших ротных командиров, но казенного отпуска на них не было. Покупались поэтому одеяла или за счет полковой экономии, или путем добровольных вычетов при получении солдатами денежных писем из дому. Я лично этих вычетов не до-

пускал. Только в 1905 году введено было снабжение войск постельным бельем и одеялами.

Обмундирование старой русской армии обладало одним крупным недостатком: оно было одинаковым для всех широт — для Архангельска и для Крыма. При этом до японской войны никаких ассигнований на теплые вещи не полагалось, и тонкая шинелишка покрывала солдата одинаково и летом и в русские морозы. Чтобы выйти из положения, части старались, насколько позволяла их экономия, заводить в пехоте — суконные куртки из изношенных шинелей, в кавалерии, которая была побогаче (фуражная экономия),— полушубки.

Пища солдата отличалась необыкновенной скромностью. Типичное суточное меню: утром — чай с черным хлебом *; в обед — борщ или суп с 1/2 фунта мяса или рыбы (после 1905 года — 3/4 фунта) и каша; на ужин — жидкая кашица, заправленная салом. По числу калорий и по вкусу пища была вполне удовлетворительная и, во всяком случае, питательнее, чем та, которую крестьянская масса имела дома. Злоупотреблений на этой почве почти не бывало. Солдатский желудок был предметом особой заботливости начальников всех степеней. «Проба» солдатской пищи была традиционным обрядом, выполнявшимся самым высоким начальником, не исключая государя, при посещении казарм в часы обеда или ужина.

До 60-х годов прошлого столетия, то есть до великих реформ императора Александра II, телесные наказания и рукоприкладство, как и во всех европейских армиях, являлись основным началом воспитания войск. Тогда физическое воздействие распространено было широко в народном быту, в школах, в семьях. С 60-х же годов и только до первой революции телесное наказание допускалось лишь в отношении солдат, состоявших по приговору суда в «разряде штрафованных». Нужно заметить, что русское законодательство раньше других армий покончило с этим пережитком средневековья, ибо даже в английской армии телесные наказания были отменены только в 1880 году, а в английском флоте — в 1906-м.

Вообще русское военное законодательство, карательная система и отношение к солдату были несравненно гуманнее, нежели в других первоклассных армиях «более культурных народов». В германской армии, например, царила исключительная жестокость и грубость. Там выбивали зубы, разрывали барабанные перепонки, заставляли в наказание есть солому или слизывать языком пыль с сапог... Об этом говорила возмущенно не только пресса, но и официальные приказы. В течение одного, например, 1909 года вынесено было 583 приговора военными судами за жестокое обращение начальников с солдатами...

В австрийской армии существовали такие наказания, как подвешивание, когда солдата со связанными и скрюченными назад руками привязывали к столбу так, что он мог касаться земли только кончиками больших пальцев ног; в таком положении, обыкновенно в обморочном состоянии, человека держали в течение нескольких часов... Заковывание в кандалы, при котором человеку цепью коротко прикручивали правую руку к левой ноге и в согнутом таким образом положении выдерживали шесть часов. Такая система сохранялась до 1918 года, т. е. до крушения австрийской армии.

Далеко нам было до такой «культуры»!

У нас установлены были наказания и арест, назначение не в очередь на работы, воспрещение отпуска, смещение на низшие должности.

Не скрою, бывали и в нашей армии грубость, ругня, самодурство, случалось еще и рукоприкладство, но с конца 80-х годов в особенности — только как изнанка казарменного быта — скрываемая, осуждаемая и преследуемая. Но было, и гораздо чаще, другое: сердечное попечение, заботливость о нуждах солдата, близость и доступность. Русский военный эпос полон примеров самопожертвования — как из-под вражеских проволочных заграждений, рискуя жизнью, ползком вытаскивали своих раненых — солдат офицера, офицер солдата...

В японском плену находился раненый капитан Каспийского полка Лебедев.

* В день 3 фунта хлеба.

Японские врачи нашли, что можно спасти ему ногу от ампутации, прирастив пласт живого человеческого мяса с кожей... Двадцать солдат из числа находившихся в лазарете предложили свои услуги... Выбор пал на стрелка Ивана Канатова, который дал вырезать у себя без хлороформа кусок мяса... Этот эпизод проник в японскую печать и произвел большое впечатление в стране.

Ведь даже такое бывало на фоне дружного сожительства в походах и боях, в тисках неприятельского плена!

Вообще то отчуждение, которое существовало между русской интеллигенцией и народом, в силу особых условий военного быта отражалось в меньшей степени на взаимоотношениях офицера с солдатом. И нужны были исключительные обстоятельства, чтобы эти отношения впоследствии столь резко изменились.

Военная наука трудно давалась нашему солдату-крестьянину благодаря отсутствию допризывной подготовки, отсутствию у нас спорта и благодаря безграмотности. Перед первой мировой войной призывы давали до 40% безграмотных *. И армия, в которой с 1902 года введено было всеобщее обучение грамоте, сама должна была восполнять этот пробел, выпуская ежегодно до 200 тысяч запасных, научившихся грамоте на службе. Во всяком случае, выручала солдатская смекалка, свойственная русскому человеку вообще, проявлявшаяся в легкой приспособляемости к самым сложным и трудным обстоятельствам походной и боевой жизни.

Как я уже говорил, русская общественность, и либеральная, и социалистическая, исходя из незнания военного быта и из идей пацифизма и антимилитаризма, в большинстве своем относилась с равнодушием или пренебрежением к армии. Пренебрежением ко всему комплексу явлений, носивших презрительную кличку «военщины», «солдатчины», но — худо ли, хорошо ли — олицетворявших ведь собою элементы национальной обороны. В 1902—1903 годах армия наталкивалась на испытания более тяжкие: во время вспыхивавших местами беспорядков войска, призванные для усмирения, связанные строгими правилами применения оружия и часто добросердечием начальников, подвергались не раз незаслуженным и тяжким оскорблениям толпы. Можно только удивляться, насколько малое отражение имело тогда в армии то брожение, которое происходило уже в массах на почве революционной пропаганды и социального недовольства. Солдаты безотказно исполняли свой долг. Но о каких-то пределах добросердечия заставил нас поразмыслить эпизод, происшедший в нашем округе, в городе Радоме, когда революционная толпа напала на дежурную роту Могилевского полка. Рота изготовилась к стрельбе. Прибывший командир полка полковник Булатов остановил роту:

— Не стрелять! Вы видите, что тут женщины и дети?

Вышел к толпе сам, безоружный, и... был убит наповал мальчишкой-мастеровым.

Итак, солдат старой русской армии был храбр, сметлив, чрезвычайно вынослив, крайне неприхотлив и вполне дисциплинирован.

...Покуда волны революции не смели и дисциплину, и самую армию.

Нашему полку не приходилось принимать участия в подавлении беспорядков. В Варшаве их тогда не было, несмотря на наличие в городе горючего материала. Начались они позже.

Моя рота занимала несколько раз караулы в Варшавской крепости. В числе охраняемых мест был и знаменитый «Десятый павильон», где содержались важные и опасные политические преступники. В городе среди поляков ходили самые фантастические слухи о режиме, применявшемся в «павильоне», о том даже, будто русское правительство систематически отравляет заключенных. Поэтому, вероятно, в моей инструкции, как дежурного по караулам, имелся параграф, предписывавший два раза в день пробовать пищу, подаваемую в «павильон». Слухи были, конечно, вздорны. Что же касается питания заключенных

* По плану императорского правительства, постепенно прогрессируя, всеобщее начальное обучение должно было завершиться в 1922 году.

то оно было не хуже, чем в любом офицерском собрании. Мне было интересно при поверке часовых заглянуть внутрь здания, но, кроме длинного коленчатого коридора с выходящим в него рядом дверей с прорезанными в них окошками, ничего больше увидеть не пришлось. Теплынь (зимою) и мертвая тишина. Мои часовые охраняли только входы и выходы из «павильона», а вдоль коридора им ходить не разрешалось. Там была жандармская охрана.

В одной из этих камер содержался будущий маршал и диктатор Польши Иосиф Пилсудский.

Еще в 1887 году, будучи двадцатилетним студентом, Пилсудский за косвенное участие в деле о покушении на императора Александра III * был сослан в Сибирь на поселение сроком на 5 лет **. По возвращении из ссылки он вступил в революционную организацию «Польская социалистическая партия», которая вместе с уклоном к марксизму имела главной целью поднятие польского народного восстания. Пилсудский занял в ней видное место и стал редактором подпольной «Рабочей газеты». Но в 1900 году, живя по подложному паспорту, был обнаружен полицией, захвачен вместе с женой в тайной типографии и посажен в «Десятый павильон». Варшавские власти решили предать его военному суду по статье, угрожавшей каторжными работами, но Петербург отменил это решение, ограничив наказание ссылкой в Сибирь на поселение — в административном порядке.

Политические друзья Пилсудского выработали план его освобождения. Бежать из Варшавской крепости не было никаких возможностей. Поэтому, чтобы добиться перевода его в другое место, решено было, что Пилсудский станет симулировать душевную болезнь. Немалую помощь оказывал заговорщикам чин крепостного штаба Седельников, который доставлял заключенному записки с воли, в том числе инструкции врача-специалиста относительно способов симуляции.

«Болезнь» Пилсудского заключалась в том, что он впадал в неистовство при виде военного мундира входивших в его камеру лиц и осыпал их бранью... Вместе с тем он отказывался от приносимой пищи под предлогом, что она отравлена. Питался вареными яйцами. Через некоторое время видный варшавский психиатр Шабашников добился освидетельствования им Пилсудского и — по «доброте» или по соучастию в заговоре — признал положение заключенного весьма серьезным и требующим клинического лечения. Варшавские власти после восьмимесячного заключения в крепости отправили Пилсудского в петербургский Николаевский госпиталь для душевнобольных, откуда он без особого труда бежал за границу вместе со своей женой. Ее раньше еще освободили из-под ареста на том основании, что «жена не отвечает за деятельность своего мужа»...

В дальнейшем Пилсудский, вернувшись нелегально в русскую Польшу, принял участие в создании «Боевого отдела» партии и приступил к террористической деятельности и к ограблению казначейств (с 1905 года).

Старая русская власть имела много грехов, в том числе подавления культурно-национальных стремлений российских народов. Но, когда вспоминаешь этот эпизод, невольно приходит на мысль, насколько гуманнее был «кровавый царский режим», как его называют большевики и их иностранные попутчики, в расправе со своими политическими противниками, нежели режим большевиков да и самого Пилсудского, когда он стал диктатором Польши.

Годичное командование ротой прошло без всяких приключений.

Я видел ясно некоторые недочеты в системе нашего боевого обучения, писал на эту тему, но практически в скромной и зависимой роли ротного командира ничего в этом направлении осуществить не мог. Я не буду распространяться на эту специальную тему, приведу лишь один пример, понятный и для неспециалистов. Уже в вооружение армий вводились скорострельная артиллерия и пулеметы, и в военной печати раздавались предостерегающие голоса об обязательной «пустынности» полей сражений, на которых ни одна компактная цель не сможет появиться, чтобы не быть уничтоженной огнем... А наша артиллерия все еще выезжала лихо на открытые позиции, наша пехота в передовом Варшавском округе, как у нас говорилось, «ходила ящиками»: густые ротные колонны в районе стрелковых цепей в сфере действительного огня передвигались шагом и даже в ногу!..

* Главное участие в покушении принимал брат Ленина Александр, за это дело казненный.

** Политических ссыльных в мере предполагаемой их опасности ссылали в сибирские города или отдаленные поселки. Многие попадали на Крайний Север — с суровым климатом и без малейших культурных условий. Там, выдавая ссыльным ничтожное пособие, предоставляли им жить и работать как им заблагорассудится.

За это упущение пришлось нам поплатиться в первые месяцы японской войны...

А она надвигалась. Кончил я командование ротой осенью 1903 года накануне войны. Но ее приближение ни в малейшей степени не отражалось на жизни, службе и настроении войск. Не только у нас в пограничном Варшавском округе, войска которого не предполагалось снимать с австро-германского фронта, но и в других округах не замечалось ни какой-либо особой технической подготовки, ни морального воздействия на солдат и офицеров.

Мы — большие и маленькие командиры — по требованию свыше молчали.

Перед японской войной

Мы молчали. Да и что мы могли сказать солдатам, чем возбудить их заинтересованность, как подымать их настроение, когда мы ровно ничего не знали о том, что происходит на Дальнем Востоке? Ни командный состав, ни офицерство, ни Генеральный штаб, за исключением узкого круга лиц, соприкасавшихся с областью международной политики. Ни тем более русская общественность. Между тем в начале 1903 года широко распространилось известие, что вице-адмирал Абаза * и отставной штабс-ротмистр Безобразов, возведенный вскоре неожиданно для всех в высокое звание «статс-секретаря Его Величества», в компании высокопоставленных лиц приобрели концессию на эксплуатацию лесов Северной Кореи и что туда для охраны дроворубов вводятся военные отряды. Этот один авантюристический эпизод, которому молва приписывала исключительно корыстные цели, в глазах широкой общественности заслонил собой основные причины назревавшей на Дальнем Востоке сложной исторической драмы.

Комитет министров не представлял из себя объединенного правительства, обладающего инициативой и коллегиальной ответственностью. Решения огромной государственной важности принимались в Петербурге нередко без широкого обсуждения или вопреки мнению правительственных совещаний, по докладу того или другого министра, иногда безответственного лица. Тайные дипломаты вроде Абазы ставили не раз членов правительства перед свершившимся фактом. А страну и те, и другие держали в полном неведении

Результаты получились плачевные. «В то время, как в Японии весь народ, от члена Верховного тайного совета до последнего носильщика, отлично понимал и смысл и самую цель войны с Россией,— говорится в официальной истории войны,— когда чувство неприязни и мщения к русскому человеку накоплялось там годами, когда о грядущей войне с Россией говорили все и всюду, у нас предприятия на Дальнем Востоке явились для всех полной неожиданностью; смысл их понимался лишь очень немногими... Все, что могло выяснить смысл предстоящего столкновения, цели и намерения правительства, или замалчивалось, или появлялось в форме сообщений, что все обстоит благополучно. В результате в минуту, когда потребовалось общее единение, между властью и народной массой легла трудно устранимая пропасть».

Напомним в общих чертах хронологию событий.

Первым этапом японской экспансии на материк становится Корея еще в 1882 г.— пока политической и финансовой. На этой почве между Японией и Ки-

* Управляющий делами Особого Комитета Дальнего Востока.

таем* происходят длительные столкновения, окончившиеся с 1894 г. войною, в которой Китай терпит полное поражение. Между прочим, и тогда уже японцы без объявления войны затопили караван китайских судов... По Симоносекскому мирному договору Китай должен был отдать Японии Формозу и Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и обязался выплатить большую контрибуцию. Но благодаря вмешательству России, Германии и Франции Япония принуждена была отказаться от Ляодуна. Корея была признана самостоятельным государством.

Россия при содействии Франции устроила Китаю крупный заем для уплаты первого взноса контрибуции и дала гарантию в отношении последующих взносов. За эти весьма серьезные услуги в 1896 г. по договору министра финансов Витте с Ли Хунчаном Китай предоставил России право сооружения ветви транссибирской железной дороги, соединяющей прямым путем Забайкалье с Владивостоком, по маньчжурской территории через Харбин. Через 36 лет Китай имел право выкупить дорогу, а через 80 лет она переходила к нему бесплатно. Это соглашение было обоюдно-выгодным, оживляя малонаселенные и дикие просторы Северной Маньчжурии, являясь, по существу, оборонительным союзом России и Китая, и не предрешало оккупации края: военная охрана ж. д. пути и русская юрисдикция, не касаясь местного населения, распространялись только на узкую полосу отчуждения вдоль ж. д. линии. Этот порядок соблюдался в течение четырех лет, до «боксерского» восстания.

После 1895 года японская экспансия в Корее усиливается. Япония вводит в Корею отряды, десятки тысяч колонистов, берет в свои руки торговлю, почту, телеграф, ж. д. строительство и устраивает дворцовые перевороты... Презрительное отношение японцев к корейскому народу и вводимый ими жестокий режим вызывают восстания и обращение корейского короля за помощью к России. В Корею посылаются русские финансовые советники и военные инструктора. И хотя в 1896 году между Японией и Россией состоялось соглашение о разделе влияния в Корее, преобладающее влияние там на некоторое время остается за Россией.

В конце 1897 года происходит событие, находившееся в связи с систематической провокацией Германии, в частности императора Вильгельма, старавшегося всеми силами втянуть Россию в дальневосточный конфликт, чтобы, ослабив нас, иметь свободные руки на Западе. Под несерьезным предлогом немцы захватывают Киа-чоу, по свидетельству Витте, с ведома российского министра иностранных дел Муравьева. И, вопреки протесту Витте и других министров, Россия, недавно только вступавшаяся за неприкосновенность «дружественного» Китая, вместо протеста сама завладела Квантунским полуостровом, обратив Порт-Артур в крепость и Дальенван (Дальний) — в порт коммерческий, открытый для иностранной торговли.

Акт этот не имеет оправдания. Несомненно, свободный выход к незамерзающим портам Великого океана представлял жизненный интерес для империи с ее громадной азиатской территорией и морской границей, запертой большую часть года льдами и полузапертой стратегически японскими островами. Но тот насильственный путь, которым осуществлялась эта задача, не соответствовал ни интересам, ни достоинству России.

В конце концов 15 марта 1898 года китайское правительство согласилось сдать в аренду России квантунские порты сроком на 25 лет и разрешило провести Южноманьчжурскую ветвь ж. д. через Мукден к Порт-Артуру.

Это выдвижение России создало враждебное отношение к нам Китая, целую бурю в Японии, в планах которой Маньчжурия составляла второй, после Кореи, этап экспансии, и вызвало неудовольствие Англии и Америки, боявшихся потерять маньчжурский рынок. Сложная политическая ситуация, новые задачи по обеспечению выхода к южным портам, наконец нежелание войны с Японией побудили русское правительство поступиться своим влиянием в Корее. Оттуда отозваны были русские советники и военные инструктора, и Япония прочно обосновалась в Корее, по существу, оккупироаала ее. Это положение

* Корея находилась под протекторатом Китая

создавало серьезную угрозу нашему Приамурскому краю, Сибирской магистрали и свободе морских сообщений Дальнего Востока через Корейский пролив.

В 1900 году в Корее началось «боксерское движение» против «заморских чертей»... Движение, в котором перемешивались стимулы и разбойничьи, и национальные — как реакция против китайской политики иностранных держав. Выразилось оно в убийствах иностранных дипломатов, купцов и резидентов, в разгроме иностранных торговых и культурных учреждений. Так как китайское правительство не имело ни силы, ни желания бороться с этим движением, вернее, ему сочувствовало, то по соглашению заинтересованных держав в Китай введены были международные войска, общее командование которыми, довольно, впрочем, фиктивное, поручено было немецкому фельдмаршалу Вальдерзее.

Восстание было подавлено. Заняв в ходе войны Маньчжурию, Россия обязалась вывести оттуда свои войска в три срока, «если этому не воспрепятствует образ действий других держав». Эвакуация в первый срок была выполнена, но дальнейшая в начале 1903 года была задержана: с одной стороны — благодаря усилиям петербургской «тайной дипломатии», с другой — ввиду действительно агрессивных действий Японии, которая восстанавливала Китай против России, всемерно мешала русско-китайскому соглашению, дерзко требуя (!) от сторон объяснений и предлагая Китаю военную помощь против России...

В течение 1903 года вместе с тем шли между Петербургом и Токио длительные, нудные и неискренние переговоры. Я не буду останавливаться на деталях их, напомню только сущность позиции обеих сторон.

Япония требовала для себя полной свободы рук в Корее и добивалась участия в разрешении «маньчжурской проблемы» как страна, «имеющая там широкие и существенные права и интересы». Между прочим, требовала права проведения железных дорог из Кореи на соединение с Южноманьчжурской и далее на Шанхай — Гуань — Нью Чжунь. Такое внедрение японских железных дорог преследовало прежде всего стратегические цели, облегчая выступление как против Китая, так и против России.

Русское правительство не допускало вмешательства Японии в свои договорные отношения с Китаем, но заверяло, что оно «не будет препятствовать Японии, как и другим государствам (имелись в виду Англия и США), пользоваться правами, приобретенными ими в Маньчжурии по действующим с Китаем договорам». Предоставляя Корею всецело японской оккупации, Россия требовала только гарантии, что территория ее не будет использована в стратегических целях и что не будет произведено военных работ, могущих угрожать плаванию по Корейскому проливу. И для обеспечения своего почти беззащитного Приамурского края, к которому подходила граница Кореи, Россия предлагала установить нейтральную зону к северу от 39-й параллели, в которую ни одна сторона не должна была вводить свои войска. Благодаря этой мере теряла бы свою остроту и авантюра Абазы — Безобразова с их лесной концессией на Ялу. Тем более что по настоянию министров Витте и Куропаткина государь еще 5 апреля 1903 года приказал отозвать с территории концессии всех военных и придать ей чисто коммерческий характер, допустив участие иностранного капитала.

В разгаре этих переговоров неожиданно для всех, не исключая и правительства, 30 июля 1903 года государь учредил наместничество на Дальнем Востоке, включив в него Приамурское генерал-губернаторство, Квантуиский округ и российские учреждения и войска в Маньчжурии. Наместником был назначен адмирал Алексеев, в руки которого как непосредственного докладчика государю перешли дальневосточные дела. Министерства военное и иностранных дел отошли на задний план. Решительный поборник мирного разрешения дальневосточной проблемы Витте был устранен с поста министра финансов; Куропаткин подал в отставку, но был задержан и получил продолжительный отпуск. Интересно, что Куропаткин, проявлявший в деле этом колебания и в начале 1903 года не допускавший очищения нами Маньчжурии, в конце года (26 ноября) в док-

ладе государю предлагал вернуть Китаю Порт-Артур и Дальний и продать Китаю Южноманьчжурскую ветвь железной дороги взамен за особые права в Северной Маньчжурии... Решение — радикальное. Но нет сомнения, что, если бы мы оставили тогда южную Маньчжурию, она попала бы в конце концов в руки Японии, усилив в невероятной степени ее стратегическое положение в отношении русского Дальнего Востока.

Выдвинутый на свой пост дворцовой интригой адмирал Алексеев — не флотоводец, не полководец и не дипломат — находился под сильным влиянием закулисной политики Абазы — Безобразова, вносившей в ход переговоров характер раздражения и бо́льшей требовательности, чем то было со стороны министерств. Какую вредную роль играла эта двойственная политика, можно судить по заключительному эпизоду русско-японских дипломатических сношений. 28 января 1903 года по высочайшему повелению состоялось «особое совещание» под председательством вел. кн. Алексея Александровича из трех министров (иностранных дел, военного, морского) и Абазы — для обсуждения последнего предложения Японии. Совещание постановило пойти на крайние уступки и в том числе на отказ от «нейтральной зоны» в северной Корее. Абаза остался при особом мнении, требуя лишь ограничения зоны Ялудзянским водоразделом. За два дня до представления журнала совещания государю Абаза после личного доклада ему вызвал японского посланника Курино и сообщил ему решение в *своей* версии... Министр иностранных дел Ламсдорф узнал об этой выходке Абазы много времени спустя после открытия военных действий и в своем докладе государю назвал ее «совершенно невероятной». Дипломатический язык более сильного выражения не допускал. А через два дня после выходки Абазы мнение министра иностранных дел и «Особого совещания» получило санкцию государя... В своем последнем предложении Японии Россия допускала внедрение японцев в Маньчжурию железнодорожным путем из Кореи, отказывалась от гарантий, от «нейтральной зоны» и предоставляла Японии полную свободу рук в Корее.

Но никакая уступчивость официальных руководителей русской политики не могла уже улучшить и никакое противодействие закулисных сил — ухудшить положение. Ибо Япония, пустив в ход весь свой военный механизм, решилась на вооруженное столкновение, торопясь выступить до подхода подкреплений из России. Последнее русское предложение было отправлено по телеграфу нашему посланнику в Токио 4 февраля и в тот же день в копиях — в Париж и Лондон. Содержание его, следовательно, было вовремя известно японскому правительству, тем более что японский посол в Лондоне Хаяши того же 4 февраля телеграфировал в Токио, что английское правительство считает сделанные Россией уступки предельными и что непринятие их Японией может лишить ее поддержки всех держав... Но мирное решение вопроса вовсе не входило в намерения японского правительства. Оно задержало передачу телеграммы нашему послу в Токио до 7-го, а 6-го через посланника своего в Петербурге обратилось к русскому правительству с нотой, которая после фактического захвата японцами Кореи звучала невыносимым лицемерием:

«Его величество, император Японии,— говорилось в ноте,— считает *независимость и территориальную неприкосновенность Кореи* исключительно существенными для своего собственного спокойствия и безопасности и, вследствие этого, не может взирать с безразличием ни на какое действие, направленное к тому, чтобы сделать необеспеченным положение Кореи».

Нота заканчивалась словами:

«Императорское правительство оставляет за собой право принять такое независимое действие, какое сочтет наилучшим... для охраны своих прав и интересов».

В тот же день, 6 февраля, японцы захватили корабли русского Добровольного флота (коммерческие), бывшие в восточных водах, а флот адмирала Того вышел в море и в ночь с 8-го на 9-е февраля *без объявления войны* напал на русскую эскадру в Порт-Артуре, выведя из строя 2 броненосца и 1 крейсер и блокируя эскадру.

Теперь, после всех событий второй мировой войны, потрясших мир, подход к возникновению русско-японской войны должен быть коренным образом пересмотрен. Несомненно, более прямая и дружественная политика русского правительства к Китаю и устранение закулисной работы темных сил могли бы отдалить кризис. Но только отдалить. Ибо тогда уже выявилась пан-азиатская идея, с главенством Японии, овладевшая водителями молодой, недавно выступившей на мировую арену державы и проникавшая в толщу народа. И если в течение ряда последовавших лет сменявшиеся у кормила власти японские партии минсейто и сейюкай и обособленная военная группа («Черный Дракон») весьма расходились в методах, сроках и *направлениях* экспансии, то все они одинаково представляли себе «историческую миссию» Японии.

России суждено было противостоять первому серьезному натиску японской экспансии на мир. Конечно, русское правительство виновно в нарушении суверенитета Китая выходом к квантунским портам. В морально-политическом аспекте все великие державы не были безгрешны в отношении Китая, используя его слабость и отсталость путем территориальных захватов* или экономической эксплуатации; практика иностранных концессий и поселений была вообще далека от идиллии содружества... Но последующие события свидетельствуют, что при отказе от оккупации Маньчжурии и при уважении там договорных прав иностранных держав русская акция была неизмеримо менее опасной и для них, и для Китая, нежели японская.

Этого тогда не поняли.

Китай, не выступая активно, занял враждебное положение в отношении России.

Англия еще с 1902 года заключила союз с Японией, обязавшись оказать ей военную помощь, если бы Япония «при охранении своих интересов в Китае вступила в столкновение с другой державой и к последней присоединилась бы еще одна или несколько держав». Другими словами, давалось обеспечение от противояпонской коалиции... Англия обещала и действительно оказала Японии большую материальную помощь и *принимала существенное участие в создании японского флота*. Английская печать всемерно возбуждала Японию против России, а главнокомандующий, генерал Уольслей, после занятия нами Порт-Артура заявил, что в случае войны «британская армия будет в полной готовности».

В своей борьбе против России и за утверждение на азиатском материке Япония нашла поддержку и в США. На ее стороне были руководители американской политики и бо́льшая часть печати. Посетивший тогда Нью-Йорк японский принц Фушими был принят там весьма приветливо и получил заверение, что «Соединенные Штаты имеют общие с Японией не только коммерческие, но и *политические* интересы»... Японии обещана была экономическая помощь и оказана в широких размерах.

Несомненно, без таких гарантий со стороны Соединенных Штатов и особенно Англии Япония в 1904 году не выступила бы. Так державы эти ковали оружие для своего естественного врага, создавая «великодержавную Японию». И тот самый исторический бумеранг, который ударил по русским головам у Порт-Артура, в обратном полете своем пронесся по всему Китаю и нанес удар по Сингапуру и Перл-Харбору...

В результате войны успехи, одержанные желтой расой над белой, выдвинули Японию в ранг первоклассных держав, возбудили воспаленное воображение нации и окончательно определили пути японского империализма, нашедшего потом столь яркое изображение в так называемом «завещании Танаки». В этом документе — докладе императору в июле 1927 года бывшего премьера и главы пар-

* Тогда же Германия захватила Киа-чоу, Англия — Вейха-вей, Франция — бухту Гуан Чжо-вань

тии сейюкай, выработанном особой комиссией, имеются такие знаменательные строки:

«Согласно завету Мейджи, наш первый шаг должен был заключаться в завоевании Формозы, а второй — в аннексии Кореи. Теперь должен быть сделан третий шаг, заключающийся в завоевании Маньчжурии, Монголии и Китая. Когда это будет сделано, у наших ног будет вся остальная Азия. Раса Ямато сможет тогда перейти к завоеванию Мира». А так как поперек пути к завладению Китаем встали Соединенные Штаты, то «мы должны будем сокрушить их».

Мы оказались неподготовленными к войне ни в политическом, ни в военном отношении. <...> Но самое главное, мы недооценили военной силы Японии. Эту ошибку разделяли с нами военные штабы всех великих держав. <...> Так, максимальным напряжением Японии считалась нами постановка под ружье 348 тысяч человек, причем на театр военных действий — 253 тысячи. Между тем Япония призвала 2 727 000, из которых использовано было для войны 1 185 000, т. е. в три раза больше предположенного. <...>

Более определенными были сведения о японском флоте. К 1904 году в водах Дальнего Востока наша броненосная эскадра была равносильной японской, но состояла из судов разных систем; минные же и крейсерские суда уступали японским и в количестве, и в качестве.

Очень плохо обстояло знакомство наше с качествами и духом японской армии. До 1895 г. ни русская военная литература, ни служебные органы не обращали на нее никакого внимания. Только с тех пор, и в особенности с 1901 года, это внимание усилилось. Причем почти единственным источником, из которого мы, офицеры Генерального штаба, могли черпать сведения об японской армии, был «не подлежавший оглашению» «Сборник материалов по Азии». Сведения поступали очень противоречивые: от предостерегающих и лестных отзывов об японской армии до уничижительной оценки военного агента, полковника Ванновского, который считал вооруженные силы Японии блефом, а армию ее опереточной. Ту армию, о которой ген. Куропаткин после первых боев доносил государю: «Мы имеем дело с весьма серьезным противником, отлично подготовленным, обладающим обширными и самыми усовершенствованными силами и средствами, многочисленным, весьма храбрым и отлично руководимым».

Невзирая на недооценку японской вооруженной силы, план войны, принятый генералом Куропаткиным еще в 1901 году, в бытность его военным министром, отличался чрезвычайной осторожностью: прочное обеспечение Владивостока и Порт-Артура, сосредоточение главных сил в районе Мукден — Ляоян — Хайчен, постепенное отступление к Харбину, пока не соберутся превосходные силы. Этот априорный план тяжелым грузом лежал на всех решениях ген. Куропаткина, лишая его дерзания, препятствуя использованию благоприятных случаев для перехода к активным действиям и ведя от отступления к отступлению.

По совокупности всех изложенных обстоятельств война не могла быть популярна в русском обществе и в народе. И не только потому, что все сложные перипетии, предшествовавшие ей, держались в тайне, но и потому еще, что сама русская общественность, научные круги и печать очень мало интересовались Дальним Востоком. По словам Витте, «в отношении Китая, Кореи, Японии наше общество и даже высшие государственные деятели были полные невежды». Поэтому когда началась война, то для многих единственным стимулом, оживившим чувство патриотизма и оскорбленной народной гордости, было предательское, без объявления войны нападение на Порт-Артур. <...>

В конце концов народ собирался спокойно на призывные пункты и мобилизация проходила в порядке. И армия пошла на войну без всякого подъема, исполняя только свой долг.

Меня открытие войны застало в Польше. После командования ротой я был переведен в штаб 2-го кавалерийского корпуса, квартировавшего в Варшаве.

Поляки встретили объявление войны жутким молчанием, по внешности равнодушным, за которым скрывались недоброжелательство и скрытые надежды на изменение судеб Польши. Трогательную и волнующую картину представляли тогда в Варшаве манифестации небольших групп русских людей, с хоругвями и пением «Спаси, Господи, люди Твоя» шествовавших по варшавским улицам среди молчаливой, злорадной толпы...

Польская социалистическая партия (ППС) откликнулась воззванием, полным злобы и ненависти к России, и пожеланием победы японской армии. Умеренная партия «народовых демократов», руководимая Дмовским, в своем обращении к стране предостерегала сограждан от активных выступлений, которые могут стать гибельными. Считая, что начавшаяся война не может еще повести к изменениям европейских границ, но поведет к внутренним переменам, благоприятным для подвластных России народов, обращение рекомендовало «собирать силы и объединяться» для активной работы в будущем.

Эта точка зрения возобладала. В Польше не было попыток к народному восстанию. Отдельные террористические акты исходили исключительно от малочисленной ППС, в особенности с конца 1905 года, когда во главе боевой организации партии стал Иосиф Пилсудский. Эта же партия была единственной среди всех российских революционных организаций, которая — за свой риск и страх, но от имени Польши — пыталась войти в договорные отношения с японским штабом...

В мае 1904 года Пилсудский поехал в Токио с предложением сформировать польский легион для японской армии, организовать для японцев службу шпионажа, взрывать мосты в Сибири. За это от японцев для польского восстания требовались оружие, снаряжение и деньги. И, кроме того, обязательство — при заключении мирного договора с Россией потребовать предоставления Польше самостоятельности (!).

Насколько мало корней имела ППС в народе, видно из того, что, когда составлялось воззвание к военным полякам, Пилсудский требовал отнюдь не применять в нем «партийный штамп», а изложить «в горячо-патриотическом духе и даже с упоминанием Ченстоховской Божьей Матери»...

Японцы приняли Пилсудского очень любезно, но отказали во всем. Разрешено было только выделить поляков-пленных в особые команды и допустить к ним антирусских пропагандистов. Денег японцы также не дали и только оплатили обратную поездку Пилсудского.

Я подчеркиваю эту сторону деятельности Пилсудского, ибо ненависть его к России с юных лет довлела в нем над побуждениями государственной целесообразности, что привело впоследствии к событиям, одинаково трагичным как для национального противобольшевистского движения в России, так и для судеб самой Польши.

Старания ППС объединить против России революционные организации Финляндии, Прибалтики, Кавказа и др. окраин также не увенчались успехом. В Закавказье с объявлением войны состоялся ряд патриотических манифестаций мусульман, а закавказский шейх уль-ислам обратился к своим единоверцам с воззванием «в случае надобности принести и достояние, и жизнь». Даже Финляндия, которая бойкотировала в то время указ о привлечении ее граждан к воинской повинности, сделала приличный жест: ее сенат обратился с телеграммой к государю, свидетельствуя о «непоколебимой преданности государю и великой России», и ассигновал 1 млн. марок на военные нужды...

Центробежные силы в 1904 году не осложняли трудного положения России.

На войну

Объявление войны застало меня больным. Незадолго перед тем на зимнем маневре подо мной упала верховая лошадь, придавила ногу и проволокла с горы вниз несколько десятков шагов. В результате — порванные связки, кровоподтеки, один палец вывихнут, один раздавлен и т. д. Пришлось лежать в постели. Когда был получен манифест о войне, я тотчас же подал рапорт в штаб округа о командировании меня в действующую армию. Штаб, ссылаясь на неимение ука-

заний свыше, отказал. На вторичное мое обращение штаб запросил: «Знаю ли я английский язык?» Ответил: «Английского языка не знаю, но драться буду не хуже знающих»... Ничего не вышло. Нервничал, не находил себе покоя. Наконец, мой ближайший начальник ген. Безрадецкий послал частную телеграмму с моей просьбой в Петербург, в Главный штаб. И через несколько дней, к великой моей радости, пришло оттуда распоряжение — командировать капитана Деникина в Заамурский округ пограничной стражи.

Дожидаться выздоровления я не стал. Решил, что до Сибирского экспресса как-нибудь доберусь, а там во время длительного пути (16 дней) нога придет в порядок. Назначил день отъезда на 17 февраля.

В Варшавском собрании офицеров Генерального штаба состоялись проводы — «дорожный посошок» — бокал вина и поднесение мне подарка — хорошего револьвера. Старейший из присутствовавших, помощник командующего округом ген. Пузыревский сказал несколько теплых слов, подчеркнув мое стремление на войну, не долечившись.

На случай смерти я оставил в своем штабе «завещание» необычного содержания. Не имея никакого имущества, я привел в нем лишь перечень своих небольших долгов, проект их ликвидации путем использования кой-какого моего литературного материала и просил друзей позаботиться о моей матери.

Мать моя приняла известие о предстоящем моем отъезде на войну как нечто вполне естественное, неизбежное. Ничем не проявляла своего волнения, старалась «делать веселое лицо» и при прощании на Варшавском вокзале не проронила ни одной слезинки. Только после моего отъезда, как сознавалась впоследствии, наплакалась вдоволь вместе со старушкой-нянькой.

До Москвы добрался я благополучно. Получил место в Сибирском экспрессе. Встретил нескольких товарищей по Генеральному штабу, ехавших также на Дальний Восток. Еще на вокзале узнал от своих спутников, что в нашем поезде едут адмирал Макаров, назначенный на должность командующего Тихоокеанским флотом, и генерал Ренненкампф, назначенный начальником Забайкальской казачьей дивизии.

В те дни, после разгрома у Порт-Артура нашей эскадры, больно отразившегося на настроении флота да и всей России, назначение адмирала Макарова принято было страною с глубоким удовлетворением и внушало надежды. Заслуги его были разносторонни и широко известны. Боевой формуляр его начался в русско-турецкую войну 1877—1878 годов. Россия не успела еще тогда восстановить свой флот на Черном море. Макаров на приспособленном коммерческом пароходе «Вел. кн. Константин», с четырьмя минными катерами на нем, наводил панику на регулярный турецкий военный флот; взорвал броненосец, потопил транспорт с целым полком пехоты, делал налеты на турецкие порты... Впоследствии с отрядом моряков принял участие в Ахалтекинском походе знаменитого генерала Скобелева.

Обязанный своей карьерой исключительно самому себе, он исходил все моря на всех должностях; разработал большой научный океанографический материал по Черному морю, Ледовитому и Тихому океанам, удостоившись премии Академии наук; внес новые идеи своим трактатом о морской тактике; наконец, построив ледокол «Ермак», положил в России начало борьбе судоходства со льдами. Все это сделало его особенно популярным, и не было человека в России, который бы не знал имени Макарова и его «Ермака».

Храбрый, знающий, честный, энергичный, он, казалось, самой судьбой предназначен был восстановить престиж Андреевского флага в тихоокеанских водах.

Адмирал Макаров со своим штабом ехал в отдельном вагоне. От чинов его штаба мы знали, что там идет работа: каждый день по нескольку часов адмирал занимался планом реорганизации флота, составлением наставлений для его маневрирования и боя. Иногда для собеседования приглашался туда ген. Ренненкампф. Несколько раз во время пути адмирал заходил в общий салон-вагон, где Ренненкампф представил ему нас — сухопутных офицеров. Я не помню тогдашних разговоров, да и вряд ли они имели принципиальный характер. Но помню

хорошо и его внешность — характерно русское лицо, с окладистой бородой, с добрыми и умными глазами, и то обаяние, которое производила личность адмирала на его собеседников, и ту веру в него, которая невольно зарождалась у нас.

Второй «знаменитостью» был генерал Ренненкампф — в другой совершенно области. Он приобрел имя и широкую известность в военных кругах во время Китайского похода (1900), за который получил два Георгиевских креста *. Военные вообще относились скептически к «героям» Китайской войны, считая ее «не настоящей». Но кавалерийский рейд Ренненкампфа по своей лихости и отваге заслужил всеобщее признание. <...>

С генералом Ренненкампфом во время пути мы были в постоянном общении: в частных беседах и во время докладов, которые кто-нибудь из нас делал на тему о театре войны, о тактике конницы, о японской армии. Ренненкампф делился с нами воспоминаниями о своем походе, весьма скромно касаясь своего личного участия. Устраивали совместно и товарищеские пирушки в вагоне-ресторане, которые, как и впоследствии, в отряде ген. Ренненкампфа, не выходили никогда из пределов воинской субординации.

Генерал присутствовал неизменно и на импровизированных «литературных вечерах», на которых ехавшие в нашем поезде три военных корреспондента читали свои статьи, посылаемые с дороги в газеты. Круг наших впечатлений от поездных разговоров, от бесед с чинами обгоняемых воинских эшелонов и от мелькавшей станционной жизни великого Сибирского пути был ограничен. Писали корреспонденты, в сущности, одно и то же и нам известное. Но любопытен был индивидуальный подход их к темам.

Сотрудник, кажется, «Биржевых ведомостей» в форме подпоручика запаса писал вообще скучно и неинтересно. От «Нового времени» ехал журналист и талантливый художник Кравченко. Нарисовал он прекрасный портрет Ренненкампфа, щедро наделял нас своими дорожными набросками и вообще пользовался среди пассажиров поезда большими симпатиями. Писал он свои корреспонденции интересно, тепло и необыкновенно правдиво. От «Русского инвалида» — официальной газеты военного министерства — ехал подъесаул П. Н. Краснов. Это было первое знакомство мое с человеком, который впоследствии играл большую роль в истории Русской Смуты, как командир корпуса, направленного Керенским против большевиков на защиту Временного правительства, потом в качестве Донского атамана в первый период гражданской войны на Юге России; наконец — в эмиграции и в особенности в годы второй мировой войны как яркий представитель германофильского направления. Человек, с которым суждено мне было столкнуться впоследствии на путях противобольшевистской борьбы и государственного строительства.

Статьи Краснова были талантливы, но обладали одним свойством: каждый раз, когда жизненная правда приносилась в жертву «ведомственным» интересам и фантазии, Краснов, несколько конфузясь, прерывал на минуту чтение:

— Здесь, извините, господа, п о э т и ч е с к и й в ы м ы с е л — для большего впечатления...

Этот элемент «поэтического вымысла» в ущерб правде прошел затем красной нитью через всю жизнь Краснова — плодовитого писателя, написавшего десятки томов романов; прошел через сношения атамана с властью Юга России (1918—1919), через позднейшие повествования его о борьбе Дона и, что особенно трагично, через «вдохновенные» призывы его к казачеству — идти под знамена Гитлера.

В поезде за двухнедельное путешествие мы все перезнакомились. И потом, по приказам и газетам, я следил за судьбой своих спутников.

Погиб адмирал Макаров и чины его штаба... 8 марта он прибыл в Порт-Артур, проявил кипучую деятельность, реорганизовал технически и тактически морскую оборону, а главное, поднял дух флота. Но жестокая судьба распорядилась иначе: 12 апреля броненосец «Петропавловск», на котором держал свой флаг

* Высшая боевая награда.

адмирал Макаров, от взрыва мины в течение двух минут пошел ко дну, похоронив надежду России.

Ген. Ренненкампф в позднейших боях был ранен, один из его штабных убит, двое ранено; Кравченко погиб в Порт-Артуре; большинство остальных было также перебито или переранено.

Поезд наш отмечен был печатью рока...

Подъехав к Омску, мы узнали, что командующим Маньчжурской армией назначен ген. Куропаткин. Это известие в общем произвело тогда благоприятное впечатление. Однако немногие, близко соприкасавшиеся с ним по службе, относились отрицательно к его назначению и предсказывали дурной конец. Особенно резко отзывался о нем известный военный авторитет ген. Драгомиров: «Я, подобно Кассандре,— писал он,— часто говорил неприятные истины, вроде того, что предприятие, с виду заманчивое, успеха не сулит; что скрытая ловко бездарность для меня была явной тогда, когда о ней большинство еще не подозревало»... Но большинство провидцев стали таковыми только post factum. Над Куропаткиным веял еще ореол легендарного генерала Скобелева, у которого он был начальником штаба; ценилась его работа по командованию войсками и управлению Закаспийской областью; наконец, и то обстоятельство, что к высоким постам он прошел, не имея никакой протекции, по личным заслугам. Широкие круги, и военные и общественные, и большая часть прессы при обсуждении кандидатур на командование армией называли имя Куропаткина. В то время, перед самой войной, Куропаткин подавал в отставку и был в немилости. И если государь назначил командующим именно его, то только подчиняясь общественному настроению. Да и трудно сказать, на ком тогда мог остановиться его выбор. В армии пользовался большим авторитетом ген. М. И. Драгомиров, но он был уже серьезно болен... Вообще же на верхах русского командования в девятисотых годах наблюдался серьезный кризис.

Итак, надо признать, что в выборе Куропаткина ошибся не только государь, но и Россия.

Путешествие приходило к концу. Мы пролетали по великому Сибирскому пути, но даже от такого мимолетного знакомства с краем оставалось впечатление грандиозности железнодорожного строительства, богатства Сибири, своеобразного и прочного уклада сибирской жизни. Все было ново и интересно. К сожалению, больная нога ограничивала мои возможности наблюдения. Только в Иркутске я мог, прихрамывая, пройтись по платформе. А когда приехали 5 марта в Харбин, нога моя была почти в порядке.

Заамурский округ пограничной стражи

Явившись в штаб округа, я получил назначение на вновь учрежденную должность начальника штаба 3-й Заамурской бригады. Таким образом, будучи в чине капитана, я по иерархической лестнице перескочил неожиданно две ступеньки, получив и солидный оклад содержания, позволивший мне в несколько месяцев «аннулировать» оставленное в Варшаве «завещание» и позаботиться о матери. Но вместе с тем это назначение принесло мне большое разочарование: 3-я бригада располагалась на станции Хандаохэцзы, охраняя путь между Харбином и Владивостоком. Стремясь всеми силами попасть на войну с японцами, я очутился вдруг на третьестепенном театре, где можно было лишь ожидать стычек с китайцами-хунхузами. Меня «утешали» в штабе, что ожидается движение японцев из Кореи в Приамурский край, на Владивосток, и тогда наша 3-я бригада войдет естественно в сферу военных действий... Но комбинация эта казалась мне маловероятной, и поэтому я смотрел на свое назначение, как на временное, решив перейти на японский фронт, как только окажется возможным.

В круг моего ведения входили вопросы строевой, боевой и разведочной службы. Милейший командир бригады, полковник Пальчевский, введя меня в курс бригадных дел, предоставил затем широкую инициативу. С ним я трижды проехал на дрезине почти 500-километровую линию, знакомясь со службою каждого поста. С конными отрядами отмахал сотни километров по краю, изучая район, быт населения, знакомясь с китайскими войсками, допущенными вне полосы отчуждения — для охраны внутреннего порядка.

Половина пограничников — на станциях, в резерве, другая поочередно — на пути. В более важных и опасных пунктах стоят «путевые казармы» — словно средневековые замки в миниатюре, окруженные высокой каменной стеной, с круглыми бастионами и рядом косых бойниц, с наглухо закрытыми воротами. А между казармами — посты — землянки на 4—6 человек, окруженные окопчиком. Служба тяжелая и тревожная; сегодня каждый чин в течение 8 часов патрулирует вдоль пути, завтра 8 часов стоит на посту. Нужен особый навык, чтобы отличить, кто подходит к дороге,— мирный китаец или враг. Ибо и простой «манза» — рабочий, и хунхуз, и китайский солдат одеты совершенно одинаково. Китайские солдаты носили мало приметные отличия, так как начальство их обыкновенно присваивало себе деньги на обмундирование. Когда в первый раз с командиром бригады объезжал линию на дрезине и увидел впереди трех китайцев с ружьями, пересекавших полотно железной дороги, я спросил:

— Что это за люди?

— Китайские солдаты.

— А как вы их отличаете?

— Да главным образом потому, что не стреляют по нас,— ответил, улыбаясь, бригадный.

На оборонительные казармы на нашей линии хунхузы нападали редко. Но бывали случаи, что посты они вырезали. История бригады полна эпизодами мужества и находчивости отдельных чинов ее. Не проходило недели, чтобы не было покушения и на железнодорожный путь. Но делалось это кустарно — из озорства или из мести. Словом, в покушениях этих не видно было японской руки, как это имело место на Южной ветке. <...>

Но главным бедствием края были **х у н х у з ы**, ставшие неотделимой частью народного быта. Гиринский дзянь-дзюнь насчитывал их в одной своей провинции до 80 тысяч. В хунхузы шло все, что было выброшено за борт социального строя нуждой, преследованием или преступлением; все, что не могло ужиться в мертвой петле, затянутой над темным людом жестокими, несправедливыми властями; наконец, все, что предпочитало легкое, беспечное, хотя и полное тревог и опасности существование тяжелой трудовой жизни. В хунхузы шел разоренный чиновниками «манза», проигравшийся в «банковке» игрок, обокравший хозяина бой, провинившийся солдат и просто любитель приключений. При этом солдаты, которым надоедало хунхузское житье, возвращались к прежнему ремеслу, нанимаясь на службу в другом округе...

Хунхузские банды выбирали своего начальника, который пользовался неограниченною властью. Начальники распределяли между собой «районы действий», и никогда не слышно было о столкновениях между разными бандами. Хунхузы облагали данью заводы, «банковки», богатых китайцев, грабили подрядчиков и производили поголовные реквизиции в населенных пунктах. Бывали, хоть и редко, налеты на поселки, занятые маленькими русскими гарнизонами. И пока одна часть хунхузов отвлекала гарнизон, другая захватывала намеченные жертвы в качестве заложников, чтобы получить за них выкуп. По окончании операции вся банда поспешно отступала. Если же пограничникам удавалось отрезать хунхузам путь отступления, то дрались они с остервенением до последнего. <...>

Пленных хунхузов наши части сдавали китайским властям ближайших населенных пунктов. Там их допрашивали и судили китайские суды, причем не было случая, чтобы хунхуз, несмотря на избиение бамбуковыми палками, выдал своих. Затем их подвергали публичной казни, привлекавшей толпы зрителей. Рубили головы. Я не присутствовал никогда на казни, но от своих офицеров слышал, что шли на смерть хунхузы с величайшим спокойствием и полным безразличием. В Имянпо на вокзале я видел знаменитого хунхузского начальника Яндзыря, пой-

манного пограничниками и отправляемого в китайский суд. Он пел песни, что-то говорил — очевидно, остроумное, вызывавшее смех у толпившихся возле вагона китайцев, и, увидя меня, смеясь, ломаным русским языком сказал:

— Шанго, капитан, руби голова скорей!.. <...>

К Пасхе я был произведен в подполковники. Интересная служба в Заамурском округе, доброе отношение командира и сослуживцев, хорошие жизненные условия — все эти положительные стороны не могли удержать меня в Хандаохэцзы. Я побывал в Харбине у начальника округа, ген. Чичагова, прося отпустить меня в действующую армию, <...> и в середине октября я уезжал наконец на юг, провожаемый товарищеской пирушкой и добрыми пожеланиями командира и моего штаба, о которых сохранил наилучшие воспоминания.

Когда я прибыл в штаб Маньчжурской армии, офицер, ведавший назначениями, предложил мне:

— Получена телеграмма, что тяжело ранен и эвакуирован полковник Российский, начальник штаба Забайкальской дивизии генерала Ренненкампфа. Не хотите ли туда? Только должен вас предупредить, что штаб этот серьезный — голова там плохо держится на плечах...

— Ничего. Бог не без милости! Охотно принимаю назначение.

На темном фоне маньчжурских неудач и отступлений, среди нескольких старших начальников, пользовавшихся признанием и заслуженной боевой репутацией, голос армии называл и имя ген. Ренненкампфа. Понятна поэтому моя радость. В полчаса собрался. При мне состоял конный ординарец Старков, пограничник, по происхождению донской казак — храбрый и расторопный, проделавший со мной все походы до конца войны, награжденный ген. Ренненкампфом званием урядника и солдатским Георгиевским крестом. И конный вестовой с вьючной лошадью, подымавшей походную кровать-чемодан «Гинтера», в которой помещался весь мой несложный скарб.

Велел поседлать коней и двинулся в путь к затерянному в горах Восточному отряду ген. Ренненкампфа. <...>

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

В отряде генерала Ренненкампфа

28 октября я прибыл в Восточный отряд ген. Ренненкампфа и вступил в должность начальника штаба Забайкальской казачьей дивизии и штаба отряда. Отряд силою в три полка 71-й пехотной дивизии, три полка Забайкальской казачьей дивизии, с артиллерией и приданными более мелкими частями располагался в трех группах, центральная — в Цинхечене, прикрывая левый фланг Маньчжурской армии. <...>

Генерал Ренненкампф был природным солдатом. Лично храбрый, не боявшийся ответственности, хорошо разбиравшийся в боевой обстановке, не поддававшийся переменчивым впечатлениям от тревожных донесений подчиненных во время боя, умевший приказывать, всегда устремленный вперед и зря не отступавший... В конце июня, после тяжелых дней Тюренчена и Вафангоу, излагая в донесении государю причины наших неудач, ген. Куропаткин, между прочим, писал: «Резкое отношение генералов Засулича и Штакельберга, в особенности последнего, к подчиненным помешало установить правильные отношения между ними и войсками». А генералы Мищенко и Ренненкампф «пользовались авторитетом и любовью». Действительно, Засулича войска не любили, Штакельберга ненавидели. Что же касается Мищенко и Ренненкампфа, которых я знал близко, эта характеристика требует некоторого исправления. Мищенко, о котором я буду говорить впоследствии, и сам любил людей, и его любили. Ренненкампф же смотрел на людской элемент своих частей как на орудие боя и личной славы. Но его боевые качества и храбрость импонировали подчиненным и создавали ему признание, авторитет, веру в него и готовность беспрекословного повиновения. Близости же не было.

Кроме штатных чинов, в моем штабе всегда находилось несколько «гастролеров»: военные корреспонденты, чины высших штабов, приехавшие с поручением и «задержавшиеся», и просто «свернувшие с дороги» офицеры. Всех их привлекала боевая репутация Ренненкампфа, и многие добивались какого-либо боевого поручения, чтобы занести в свой послужной список кратковременное хотя бы участие в делах прославленного отряда.

Отношение между китайским населением и нашими войсками было удовлетворительным. Конечно, бывали эксцессы, как и во всех армиях, во всех войнах. Но русский человек общителен и незаносчив. К китайцам солдаты относились добродушно и отнюдь не как к низшей расе. Так как часто населенные пункты переходили из рук в руки, то можно было сравнить два «режима». Аккуратные японцы, отступая, оставляли обыкновенно постройки в порядке, тогда как наши солдаты, и в особенности казаки, приводили их в нежилой вид. Чтобы заставить людей бережнее относиться к жилью, Ренненкампф приказывал при повторном занятии селений, размещать роты и сотни в тех самых строениях, которые они занимали раньше. Во всех прочих отношениях японский «режим» был без сравнения тяжелее. Презрительное отношение японцев к китайцам, буквально как к неодушевленным предметам, и жестокость реквизиций угнетали население. В особенности возмутительны были реквизиции... женщин, которые производились не самочинно, а по установленному порядку... Даже на аванпостах, когда наши войска захватывали неожиданно японскую заставу, они находили там среди японских солдат несколько запуганных и замученных «реквизицией» женщин...

Наши отношения с китайским населением осложнялись здесь, на театре войны, еще более, нежели в Заамурском округе, рабской зависимостью от китайцев-переводчиков. Выбитая из колеи жизнь расплодила среди китайцев много «добровольцев», которые предлагали свои услуги по части шпионажа и нам, и японцам. Пойманные с поличным, они гибли сотнями по всему фронту, но это не останавливало других. Необходимо было бороться с этим явлением, но при допросах и расследовании никто не мог поручиться, что китаец-переводчик не оговаривает по злобе и не сводит личных счетов с допрашиваемым.

В моем походном дневнике записан рассказ нашего дивизионного врача Маноцкова, характерный для этого рода явлений.

— Был у нас тут прапорщик один — так, никуда негодный,— говорил мне Маноцков.— Большое дело у него в столице и жена молодая. Пуль боялся и все по дому тосковал. Только однажды привозят его два казака раненного в ногу и тут же двух китайцев, связанных вместе косами. Оказывается, ехал он с казаками в Шахедзу, в обоз. Остановился по дороге и говорит казакам: «Вы тут подождите, а я в рощу за надобностью зайду»... Прошло минут пять — слышат казаки выстрел. Побежали в рощу и видят — лежит прапорщик раненый, а в стороне два испуганных китайца бегут. «Вот,— говорит прапорщик,— мои убийцы»...

— Посмотрел я его — рана пустая, но температура очень высокая. Одно только смутило меня — вокруг входного отверстия как будто ожог. Да... Китайцев допросили через переводчика. Что он наговорил — не знаю, но на основании его допроса китайцам срубили головы. А прапорщик... Слышу я из лазаретного отделения какие-то звуки. Бред, не бред, стон какой-то. Захожу и вижу: сидит на кане прапорщик с широко открытыми глазами и сам с собою разговаривает. Узнал меня. «Манзы где, где манзы, что с ними сделали?» — спрашивает. Казнили, говорю. «Послушайте, какой ужас, Боже, да что же это такое!.. Поймите, это я сделал с а м, слышите, я с а м!..»

Маноцков замолк.

— Потом? — спрашиваю его.

— Потом его эвакуировали.

— Почему же вы не обличили прапорщика?

— Потому что я врач, а не прокурор. К тому же отрубленные головы не поставишь обратно на место.

В октябре наместник, сознавая свое несоответствие роли главнокомандующего, третий раз просил государя об отставке. И ввиду значительного усиления Маньчжурской армии корпусами из России предлагал создать вторую армию, «возглавив обе армии авторитетным полководцем». Этим он подсказывал почетный выход для Куропаткина, который мог оставаться командующим одной из армий, а смещение и замена коснулись бы только адмирала Алексеева как главнокомандующего. 26 октября наместник был освобожден от должности, и главнокомандующим стал... ген. Куропаткин. После этого Маньчжурская армия была преобразована в три армии, во главе которых стали: 1-й (восточ.) — ген. Линевич, 2-й (запад.) — ген. Грипенберг и 3-й (центр) — ген. барон Каульбарс.

Отряд ген. Ренненкампфа вошел в состав 1-й армии.

Опасаясь за левый фланг, штаб Куропаткина постоянно обращал наше внимание на дорогу из Цзянчана на Синцзинтин, выводящую в обход Мукдена. Поэтому в этом направлении мы производили непрестанные усиленные разведки. 19 ноября ген. Ренненкампф, тяготившийся затишьем, пошел лично с небольшим отрядом (3 батальона, 4 сотни, 12 орудий) в направлении на деревню Уйцзыюй. Мы шли по широкой лощине, между двумя рядами сопок, с которых в любой момент могли посыпаться неприятельские пули. Для предохранения вперед высылались конные заставы; казаки спешивались, карабкались на сопки вправо и влево и прикрывали колонну, после подхода присоединяясь к ней. А впереди шли новые заставы — перекатами.

Остановились на привал. Пишу первое донесение в штаб армии. Холодное утро. Воздух чист и прозрачен. Слышен непрестанный и назойливый свист — вззы... вззы...— точно шмели. Ренненкампф обращается ко мне:

— Ну-с, Антон Иванович, поздравляю вас с боевым крещением!

Оказалось — японские пули, проносившиеся над нашими головами. Явление привычное, не обратившее на себя ничьего внимания.

20-го отряд наш сбил противника с перевала Шунхайлин и, выбив японцев из Уйцзыюй, занял деревню. В ней заночевали, выставив аванпосты на прилегающих сопках. В одной фанзе разместились генералы Ренненкампф и Экк (номинальный начальник отряда, распоряжался Ренненкампф) со своими штабами. Проснулись мы на рассвете, разбуженные сильным огнем с сопок, где должны были стоять наши аванпосты... Оказалось, что японцы ночью, громко говоря порусски, подошли вплотную к нашим двум заставам, сбили их, заняли гряду и открыли сверху по деревне огонь. Пули сыпались, как горох, по крыше и стенам нашей фанзы. Тотчас же выслан был батальон на подкрепление передовых частей. Мы же, по заведенному Ренненкампфом обычаю, собирались не спеша, как в мирной обстановке: под пулями во дворе фанзы проделывали утренний туалет, под пулями пили чай, даже как будто дольше обыкновенного; потом пошли к резерву, стоявшему открыто в лощине у перекрестка дорог. Начался огонь и по резерву. Там зашевелились, санитары пронесли двух-трех раненых. Я обратился к ген. Ренненкампфу:

— Ваше превосходительство, надо отвести резерв под ту сопку.

— Погодите, после ночной тревоги люди нервничают. Надо успокоить.

— Так мы останемся здесь для успокоения, а резерву все-таки разрешите укрыться.

Разрешил.

Правильно говорили в Ставке, что в ренненкампфовском штабе «голова плохо держится на плечах». Вот далеко не полный перечень потерь в разное время, которые приходят на память: убиты подполковники Можейко и Шульженко и ротмистр Сахаров, тяжело ранены полковник Российский и подполковник Гурко, ранены два адъютанта, перебиты и переранены офицеры-ординарцы; сам ген. Ренненкампф ранен двумя пулями в шею и в ногу. Но... традиция не

слишком бережного отношения к собственной жизни создавала определенное отношение в войсках не только к начальнику, но и к его штабу.

23 ноября наши аванпосты у Цинхечена были потеснены японцами, а 24-го утром высланный вперед авангард обнаружил наступление по лощине густых колонн противника.

Начался цинхеченский бой.

Ген. Ренненкампф со штабом выехал на наблюдательный пункт на командующей высоте, с которой видна была вся панорама боя. От начальника авангарда — командира казачьего полка — получено было донесение тревожное и сбивчивое. Ренненкампф послал ему полевую записку неприятного содержания и выругался:

— Боюсь, что этот.. мне все напутает!..

— Ваше превосходительство, разрешите мне принять авангард.

— С удовольствием, желаю вам успеха.

Я поехал к авангарду, обдумывая, как бы позолотить пилюлю моему предшественнику. Напрасное беспокойство. Когда полковник узнал о своей смене, он снял шапку, перекрестился и сказал.

— Слава Тебе, Господи! По крайней мере теперь в ответе не буду.

Сколько раз я встречал в армии — на высоких и на малых постах — людей безусловно храбрых, но боявшихся о т в е т с т в е н н о с т и!

Первый мой опыт самостоятельного командования...

Я развернул авангард ($1^1/_2$ батальона, 4 сотни казаков, горная батарея) на передовой позиции, составив левое крыло отряда и имея задачей прикрыть непосредственно вход в лощину Цинхечена.

На нас наступала бригада японской пехоты с двумя батареями и несколькими эскадронами конницы.

В этот день японцы атаковали меня (левый фланг) и подполковника Бугульминского полка Береснева (центр). Все атаки были отбиты: у меня огнем, у доблестного подполковника Береснева, где японцам удалось ворваться на его позицию,— штыками.

Ночь холодная, градусов 20 ниже нуля по Реомюру; стрелки лежали на гребне сопки в напряженном ожидании, держа ружья в закоченелых руках. Я спустился вниз к резерву. У небольших костров, от неприятеля не видных, грелись кучки солдат; другие, невзирая на мороз, спали на соломе, разостланной по земле. Ни одной фанзы поблизости не было. Мой ординарец Старков, раздобыв где-то лом, выкопал в промерзлой земле яму, настлал соломы — постель для меня. Попробовал прилечь — не вышло, стынет тело; предпочел не спать.

В эту ночь японцы опять атаковали нас и опять были отбиты.

25-го японцы, очевидно, усилившись, повели бой по всему моему фронту, все более охватывая левый фланг, выходя на Синцзинтинскую дорогу. Мои сотни, направленные туда, высылали на гребень высот мелкие спешенные части, которые своим огнем вводили в заблуждение японцев, удлинявших радиус охвата.

По всему фронту шло наступление. Японцы подошли на 1200—2000 шагов к разным участкам наших позиций.

У меня на правом фланге было возвышение, с которого можно было отчетливо наблюдать передвижения японцев. На него идет главная атака. Сильнейший огонь, нельзя поднять головы. Командир ближайшей роты, капитан Чембарского полка Богомолов, ходит по цепи во весь рост, проверяя прицелы...

— Капитан, зачем вы это делаете, нагнитесь!

— Нельзя, господин подполковник, люди нервничают, плохо целятся.

И зашагал дальше по цепи. Ползут вниз раненые — японские пули медные, старого образца, потому раны тяжелые. Уносят убитых. Один унтер-офицер сражен пулей в голову — очевидно, любимец капитана. Богомолов подошел, наклонился, поцеловал покойника в лоб. Потом присел возле, закрыв лицо руками... Но через 2—3 минуты встал и опять во весь рост зашагал по цепи.

Сколько таких безвестных капитанов Богомоловых приходилось встречать на полях маньчжурских! Оттого наш враг был высокого мнения о храбрости

русского офицера, оттого их убыль в боях в процентном отношении была всегда много выше, чем солдат.

В японских окопах, как правило, все живое врастало в землю. Впрочем, однажды, во время майского набега ген. Мищенко у Тасинтуня, я наблюдал картину, как японская рота отбивалась от окруживших ее вплотную казаков и как старый капитан, командир роты, руководил ее огнем, стоя на крыше фанзы, покуда казачья пуля не свалила его...

Японская артиллерия в Цинхеченском бою почти никакого вреда нам не нанесла благодаря конфигурации местности, заставлявшей ее занимать почти открытые позиции. Выехавшую против моего фронта батарею заставила замолчать после третьего выстрела моя горная батарея. Артиллерия с главной позиции парировала все попытки японских батарей, выезжавших против центра и правого фланга, и быстро рассеивала все скопления японцев.

Наступление и атаки японцев против Цинхечена продолжались 5 дней. Последний раз 28-го японцы перешли в короткое наступление, легко отбитое. Это был лишь арьергард, прикрывавший отступление главных сил. Разъезды донесли, что обходившая меня слева колонна очистила все пространство между Синцзинтином и Цинхеченом и уходит на Цзянчан.

Я распустил свой отряд по полкам и вернулся в штаб.

По представлению Ренненкампфа командующий армией ген. Линевич, усилив нас бригадой стрелков, приказал перейти в наступление. Главнокомандующий ген. Куропаткин не одобрил, считая движение это рискованным. И в тот же день, минуя штаб армии, телеграфировал Ренненкампфу: «Продолжаю опасаться движения японцев на Синцзинтин, в обход Цинхенчена». Я отмечаю эту нервную боязнь ген. Куропаткина за левый фланг Маньчжурских армий, ибо она сыграет роковую роль впоследствии, в ходе Мукденского сражения.

Так как прямого запрещения мы не получили, то 29 ноября ген. Ренненкампф двинул наш отряд в наступление на Цзянчан. Сбил противника с двух перевалов, а конница наша достигла р. Тайцзыхэ. Но 30-го получено было категорическое приказание вернуться.

Общие потери японцев нам не были известны. Но японских трупов мы похоронили 280. Вероятно, немало еще было похоронено самими японцами или затерялось в лесистых дебрях сопок, в снежных прогалинах.

Так кончился цинхеченский бой, лично для меня особенно памятный, как первый опыт боевого командования. И с волнующим чувством я встречал впоследствии в истории войны наименования: «Ренненкампфовская гора», «Бересневская сопка», «Деникинская сопка» — наименования, закрепленные за позициями Цинхечена. <...>

В декабре мы узнали, что готовится набег конной массы в тыл японских армий, в обход их с запада. Рейд, который надлежало хранить в глубокой тайне, задолго стал известен всем: о нем говорили на станциях, в кабаках, в частной переписке. Ренненкампф, видимо, очень желал, чтобы дело это было поручено ему; нервничал и сносился по этому поводу частным образом со Ставкой. Впоследствии нам стало известно, что и ген. Каульбарс, хотя и занимал высокий пост командующего армией, упрашивал Куропаткина разрешить ему сдать армию и стать во главе Западной конницы, уверяя, что в этой роли он будет более полезен. Действительно, в широких армейских кругах только двух этих природных кавалеристов считали способными выполнить столь важный рейд, впервые предпринимаемый за время Маньчжурской кампании.

В конце года мы получили уведомление, что закончена конно-железная дорога, проведенная с тыла, от Фушуна, к нашему отряду. Сам главнокомандующий 22 декабря пожелал проехать по новой дороге в наш район, в Мацзяндань. Ген. Ренненкампф выехал навстречу, взяв меня с собой. Был выставлен почетный караул — рота со знаменем; мы стали на фланге. Впервые после академической истории и мне привелось встретиться с ген. Куропаткиным... Ренненкампф представил меня главнокомандующему. Ген. Куропаткин крепко и несколько раз пожал мне руку, сказав:

— Как же, давно знакомы, хорошо знакомы...

За завтраком, к которому в числе других был приглашен и я, главнокомандующий был весьма любезен, расспрашивал о моей службе, но академического прошлого не вспомнил.

Ренненкампф в разговоре с Куропаткиным, по-видимому, опять подымал вопрос о рейде. Ибо после отъезда поделился со мной некоторыми данными о нем и хмуро закончил:

— Поведет конницу Мищенко.

1 января 1905 года пал Порт-Артур. Событие это, хотя и не было неожиданным, но тяжело отозвалось в армии и в стране. Комендант крепости, ген. Стессель, не был на высоте положения. Впоследствии он был присужден военным судом к смертной казни, замененной государем 10-летним заключением в крепости. Душою обороны Порт-Артура был начальник его штаба, ген. Кондратенко, и, если бы его не сразил неприятельский снаряд, крепость продержалась бы, быть может, еще несколько недель. И только. Во всяком случае, гарнизон Порт-Артура выказал доблесть необычайную. На незаконченных и далеко несовершенных верках крепости гарнизон силою в 34 тыс. в течение 233 дней отбивал яростные атаки японцев, удерживал почти треть японской армии (4—5 дивизий Ноги, т. е. 70—80 тыс., не считая пополнений); потерял только убитыми и умершими 17 тыс., выведя из строя 110 тыс. японцев; при сдаче крепости гарнизон насчитывал 13½ тыс., из них много больных, в особенности цингой и куриной слепотой. Порт-Артур — славная страница Маньчжурской кампании.

То обстоятельство, что освобождалась вся армия Ноги для действий на главном театре, побудило главное командование поторопиться с рейдом, не дожидаясь, как бы следовало, нашего общего наступления. Конный отряд ген. Мищенко в составе 77 эскадронов и сотен и 22 орудий выступил в поход 9 января, имея задачей капитальную порчу железной дороги Хайчен — Кайчжоу, захват станции и порта Инкоу и уничтожение там военных запасов.

Ген. Мищенко — отличный боевой начальник в обыкновенных условиях — с этой специальной задачей, требовавшей спортивного навыка, быстроты и порыва, не справился. Отряд его, связанный большим вьючным обозом — излишним, потому что край изобиловал продовольствием,— передвигался шагом, давая возможность японцам принимать контрмеры; произвел лишь незначительные разрушения железной дороги, уничтожил несколько складов и, потерпев неудачу под Инкоу, обремененный транспортом с ранеными, к 16-му вернулся в исходное положение.

Ген. Ренненкампф не мог скрыть своего саркастического отношения к набегу. От него именно исходила та крылатая фраза, которая получила довольно широкое распространение:

— Это не наБЕГ, а наПОЛЗ!

До Мищенко, по-видимому, дошел этот злой каламбур, что послужило началом острой вражды между двумя выдающимися генералами, действовавшими на разных концах фронта и во все время войны, да, кажется, и в жизни ни разу не встречавшимися друг с другом.

Я должен сказать, что боевая репутация так прочно установилась за ген. Мищенко, что инкоуская неудача не уронила его престижа в глазах командования и армии.

Армия, невзирая на ряд неудач, не падала духом и ждала с нетерпением нового настоящего наступления. И когда стало известным, что оно назначено, все приободрились (в который раз!) — и офицеры и солдаты. Где не было подъема, там говорило чувство горечи и досады за свои неудачи.

Силы у нас и у японцев были почти равные (220—240 тыс. штыков). Главный удар должна была наносить 2-я армия ген. Гриппенберга по левому флангу японцев в общем направлении железной дороги. Наступление сулило успех: местность равнинная, привычная нашему солдату, и значительное превосходство сил Гриппенберга над противостоящей армией Оку. Но далее стратегия опять заводила в тупик. По директиве весь фронт должен был оставаться в бездействии до тех

пор, пока не обнаружится успех охвата 2-й армии... 2-й армии для начала поставлена была также ограниченная цель — взятие деревни Сандепу. Днем наступления назначено было 25 января.

Боязнь за левый фланг армий не оставляла Ставку. 18 января японцы слегка потеснили аванпосты нашего отряда, и ген. Куропаткин пришел в большое беспокойство. Он распорядился послать нам на подкрепление две бригады из числа предназначенных для наступления 2-й армии, и только после длительных протестов Гриппенберга они были возвращены. Главнокомандующий телеграфировал нам непосредственно: «Опасаюсь за Цинхечен» и свое вмешательство довел до того, что указывал ген. Ренненкампфу — какие роты где поставить, переместить и т. д. Ренненкампф ворчал, не разделяя опасений главнокомандующего, и только для проформы послал меня с несколькими сотнями на разведку. 23 января я ходил к перевалу Ванзелин и не обнаружил никаких изменений в расположении противника.

Пришло 25 января... Мы в Цинхечене готовились и с нетерпением ждали приказа о наступлении. Ждали 26-го, 27-го, 28-го и недоумевали...

Между тем Гриппенберг, игнорируя более глубокий охват Оку, атаковал Сандепу. Атака, веденная неправильно тактически, не удалась. Кровопролитные повторные атаки в этом районе ввиду подхода подкреплений японцев, не беспокоимых на других фронтах, также не имели успеха. Гриппенберг отдал приказ возобновить атаки 29-го, но главнокомандующий под влиянием неудачи у Сандепу и нажима японцев — не очень серьезного — на наш центр (3-я армия), приказал 2-й армии вернуться на прежние позиции.

Таким образом, общее наступление русского фронта свелось к атаке Сандепу, а неудача там послужила поводом для срыва всей операции. Мы потеряли 368 офицеров и 11364 солдат; японцы — около 8 тыс.

30 января Гриппенберг испросил телеграммой на имя военного министра высочайшее разрешение уехать в Россию «по болезни». Куропаткин, узнав об этом, приказал задержать телеграмму и, опасаясь, что жалобы Гриппенберга пошатнут его и без того непрочное положение, в течение суток письмами и телеграммами старался предотвратить уход Гриппенберга, которого он сам считал виновником неудачи. Телеграмма была все-таки послана. Государь ответил: «Желаю знать истинные причины Вашего ходатайства. Телеграфируйте шифром с полной откровенностью». Гриппенберг ответил: «Причины, кроме болезни... полное лишение меня предоставленной мне законом самостоятельности и инициативы, тяжелое состояние от невозможности принести пользу делу, которое находится в безотрадном состоянии». Разрешение было получено.

Гриппенберг писал правду. Однако в тех грехах, в которых он обвинял Куропаткина, он был повинен и сам. Его стратегия была не лучше, и, прежде всего, в нем не было достаточно твердости в отстаивании своих прав и планов. Интересно, что и армия, и русская общественность в происшедшей громкой распре стала на сторону Куропаткина. То что прощали Куропаткину, не могли простить Гриппенбергу. В защиту последнего пытался выступить тогда в печати ген. М. И. Драгомиров, но встретил дружный отпор со всех сторон и, по его же словам, был засыпан по этому поводу угрожающими и бранными письмами. Офицерство громко высказывало свое возмущение по адресу нелюбимого Гриппенберга, когда ему для поездки в Россию был предоставлен экстренный поезд, к тому же задерживавший войсковые эшелоны. И когда после смещения Куропаткина Гриппенберг возбудил ходатайство о назначении его вновь в действующую армию, военный министр ответил ему: «Общественное мнение так возбуждено против вас, что возвращение ваше в Маньчжурию невозможно».

Мукденское сражение

В течение трех недель на фронте было тихо. Ген. Куропаткин готовил новое наступление, которое было назначено на 25 февраля. О нем японцы имели точные сведения. На наши аванпосты, между прочим, подброшена была 20 февраля записка: «Мы слышали, что через пять дней вы переходите в наступление. Нам будет плохо, но и вам нехорошо». Главный удар предположено было нанести опять по левому флангу японцев войсками 2-й армии, во главе которой стал ген. Каульбарс, перемещенный из 3-й армии.

Начальник Западной конницы ген. Мищенко был ранен в боях в районе Сандепу в ногу с раздроблением кости и лежал в Мукдене в лазарете. Ввиду особой важности той роли, которая предстояла этому отряду — набега в тыл японцев, главнокомандующий назначил начальником его ген. Ренненкампфа. Уезжая с одного конца фронта на другой, генерал обратился ко мне:

— Не желаете ли, Антон Иванович, ехать со мной?

— С удовольствием.

На другой же день, получив предписание Ставки, я выехал вслед за генералом и вступил в должность начальника штаба мищенковской Урало-Забайкальской казачьей дивизии.

Тотчас по прибытии ген. Ренненкампф произвел глубокую разведку в обход левого фланга японцев; разъезды его доходили до железной дороги у Ляояна. Но 16 февраля Ставка отняла у него целую дивизию, почти треть сил, что спутало все его расчеты. Эта дивизия брошена была в тыл, к Гунчжулину, где был произведен налет на железную дорогу японцами, как оказалось впоследствии, всего двумя эскадронами...

Силы обеих сторон под Мукденом были почти равные — около 300 тыс. бойцов. Зная о русском наступлении, ген. Ойяма решил предупредить нас. За фронтом трех прежних японских армий на западе поставлена была подошедшая из Порт-Артура 3-я армия Ноги, имевшая задачей нанести главный удар в обход армии Каульбарса. У Цзянчана расположилась вновь сформированная 5-я армия ген. Кавамуры, имевшая вспомогательную задачу по охвату армии ген. Линевича с востока. Демонстративное наступление это началось 18 февраля. Передовые части бывшего отряда Ренненкампфа были сбиты, и 23-го Кавамура крупными силами обрушился на Цинхечен. Вдвое слабейший отряд наш принужден был отойти на Далинский хребет.

Ген. Куропаткин отменил наступление. И хотя 1-я армия имела достаточно сил, чтобы парировать удар Кавамуры, главнокомандующий 25-го двинул на подкрепление Линевичу весь свой стратегический резерв ($1^1/_2$ корпуса) и в тот же день приказал ген. Ренненкампфу переехать обратно на восток и принять командование над его прежними войсками. Ренненкампф встретил свой отряд уже в 25 километрах от Цинхечена. Начиналась роковая эпопея Мукденского сражения, в котором отряд Ренненкампфа упорными, кровопролитными боями стяжал себе заслуженную славу. В летописи его записано много героических эпизодов, в том числе бой на Знаменной сопке, когда все силы сопротивления были истощены, все резервы израсходованы, фронт дрогнул. В это время храбрый артиллерийский генерал Алиев повел в контратаку последние четыре знаменные роты четырех полков, отбил сопку и водрузил знамена на ней. Этот символический жест ничтожной горстки атакующих подбодрил занимавшие позиции войска, которые приостановили японское наступление... <...>

К 27 февраля наша дивизия, составляя крайний правый фланг армии, располагалась у Убаньюлы. Утром в этот день наши аванпосты были потеснены и увидели перед собой три больших колонны наступавших японцев. Это была армия Ноги. Наши казаки первым выстрелом встретили обходящие колонны, и я в 10 ч. 45 м. утра послал первое донесение о том наступлении, которое решило участь Мукденского сражения...

28-го мы, сцепившись с наступавшей с фронта японской дивизией, медленно, с боем отходили к Сифантаю. Силы обходивших армию японцев определялись в этот день уже в 2 дивизии, о чем и было донесено штабу армии. С этого дня на фоне большой мукденской трагедии началась маленькая трагедия Западной конницы. После отъезда Ренненкампфа руководимая последовательно тремя бесталанными генералами, получавшая от всех инстанций разноречивые приказания, раздергиваемая по частям, так что к концу сражения полки наши оказались

в девяти местах. Западная конница распалась, не сыграв своей решительной роли в самый роковой и ответственный момент. В ее судьбе, как в зеркале, отражается тот хаос, который воцарился на фронте 2-й армии. <...>

В ночь на 2 марта по приказу штаба армии Сифантай был оставлен. Мы пошли на присоединение к ген. Грекову. Но вскоре наш отряд ген. Павлова получил четыре разноречивых приказания от главнокомандующего, от командующего 2-й армией (два) и от ген. фон-дер-Ляуница, служебное положение которого нам не было известно. Стало очевидным, что в высших штабах управление нарушено. Для выяснения недоразумений я послал офицера на ближайший этап — попытаться соединиться телефоном со штабом армии. Этого ему сделать не удалось, но благодаря перепутанным проводам он стал свидетелем разговора, происходившего между главнокомандующим и командующим 2-й армией:

Куропаткин: «Пошлите полк или два, если можно, по железной дороге в Хушитай».

Каульбарс: «У меня ни одного свободного полка».

Куропаткин: «У меня нет ни одного солдата».

Каульбарс: «Слушаю. Я хотел бы сам перейти в Санлинпу и стать во главе Северного отряда»...

Куропаткин: «Очень рад. Да благословит вас Бог. Надеюсь, что вы меня выручите».

Я предупредил штабных, чтобы удручающий разговор этот не передавали в полки. <...>

Уже к 3 марта путем огромных усилий нашему командованию удалось сосредоточить на западном фронте против Ноги значительные силы, хотя и с большим перемешиванием частей. Я прошел по всему западному фронту от начального этапа — Убанюлы до Унгентуня. Видел разные наши полки во многих боях, особенно тяжелых под Санлинпу, Мадяпу, Янсинтунем. Беседовал со многими офицерами и солдатами, замечал в них усталость и сомнение, но нигде не наблюдал упадочного настроения и чувства безнадежности. С 3 марта войска, переменив фронт к западу, готовы были по первому слову обрушиться всей тяжестью своих 120—140 батальонов на слабейшего врага, совершавшего свой обходный марш в виду неподвижно стоявших русских линий.

Но слово это — общее наступление — произнесено не было.

На западе — отдельные атаки небольшими группами, упорные, кровопролитные, но разрозненные, не могли побороть упорства боковых авангардов противника. На севере — мелкие отряды — заставы, бессильные удержать неприятельские колонны, беспомощно наблюдали их течение, вытягиваясь параллельно им тонкими линиями. И тесное кольцо сжималось вокруг злополучного Мукдена.

6 марта после телеграфного разговора с Каульбарсом Куропаткин приказал 1-й и 3-й армиям начать отступление к р. Хунье, а в ночь на 10 марта всем армиям отходить на высоту Хушитая. Восточные корпуса отступали в порядке, но в центре, у Киузани, японцы прорвали наш фронт и хлынули к Мукдену, приближаясь к нему с юго-востока. Три восточных корпуса, в том числе и Ренненкампфа, были поэтому на время отрезаны от остальной армии. А у Мукдена войска наши очутились «в бутылке», узкое горлышко которой все более и более суживалось к северу от Мукдена. Находясь с конницей у западного края этого «горлышка», я имел печальную возможность наблюдать краешек картины — финального акта мукденской драмы.

Одни части пробивались с боем, сохраняя порядок, другие — расстроенные, дезориентированные — сновали по полю взад и вперед, натыкаясь на огонь японцев. Отдельные люди, то собираясь в группы, то вновь разбегаясь, беспомощно искали выхода из мертвой петли. Наши разъезды служили для многих маяком... А все поле, насколько видно было глазу, усеяно было мчавшимися в разных направлениях повозками обоза, лазаретными фургонами, лошадьми без всадников, брошенными зарядными ящиками и грудами развороченного валявшегося багажа, даже из обоза главнокомандующего...

Первый раз за время войны я видел панику.

Одни корпуса отошли благополучно, другие — сильно расстроенными. Но к 17 марта наступательный порыв японцев выдохся и кризис миновал. Мы потеряли 2 тысячи офицеров и $87^{1}/_{2}$ тыс. солдат. Японцы показали официально 41 тыс., но, по подсчетам иностранных военных агентов, цифра их потерь была не менее 70 тыс.

Я не закрываю глаза на недочеты нашей тогдашней армии, в особенности на недостаточную подготовку командного состава и войск. Но, переживая в памяти эти страдные дни, я остаюсь при глубоком убеждении, что ни в организации, ни в обучении и воспитании наших войск, ни тем более в вооружении и снаряжении их не было таких глубоких органических изъянов, которыми можно было бы объяснить беспримерную в русской истории мукденскую катастрофу. Никогда еще судьба сражения не зависела в такой фатальной степени от причин не общих, органических, а частных. Я убежден, что стоило лишь заменить заранее несколько лиц, стоявших на различных ступенях командной лестницы, и вся операция приняла бы другой оборот, быть может, даже гибельный для зарвавшегося противника.

9 марта произошло, наконец, соединение Западного конного отряда, а 10-го приехал не долечившийся от ран ген. Мищенко и вступил в командование им. С тех пор Конный отряд ген. Мищенко, сцепившись с японцами, ведя непрерывные бои, отходил шаг за шагом, охраняя правый фланг Маньчжурских армий. Только в конце марта нам удалось отдохнуть в течение нескольких дней.

Русские армии отошли на Сипингайские позиции.

В конном отряде генерала Мищенко

К концу Мукденского сражения вопрос о замене Куропаткина стал окончательно на очередь. Государь наметил преемником ему ген. М. И. Драгомирова. Генерал жил на покое в гор. Конотопе, в своем хуторе. Был слаб — ноги плохо слушались, но головой и пером работал по-прежнему. Военный министр Сахаров прислал письмо Драгомирову, предупреждая его о предстоящем предложении; советовал подумать, может ли он по состоянию здоровья принять этот пост. Зять Драгомирова, ген. Лукомский, рассказывал мне, что М. И. был очень обрадован, «преобразился весь, почувствовал прилив сил и бодрости». Вскоре последовал вызов его в Петербург. Ген. Драгомиров прибыл туда и ждал приглашения во дворец. Но три дня его не вызывали. М. И. нервничал, предчувствуя перемену настроений государя. Наконец, получено было приглашение, но... «для участия в совещании по поводу избрания главнокомандующего»... Совещание * 13 марта наметило ген. Линевича, который и вступил 17 марта на пост главнокомандующего.

Ген. Куропаткин послал государю телеграмму, прося оставить его на любой должности в действующей армии. Государь предоставил ему командование 1-й армией.

Трудно сказать, как отразилось бы на маньчжурских делах назначение ген. Драгомирова и успел ли бы он что-нибудь сделать, так как с августа месяца М. И. не покидал уже кресла, а 28 октября скончался.

Новый главнокомандующий, добрый и доступный человек, пользовавшийся известной популярностью среди солдат (за глаза его звали «папашей»), не обладал достаточными стратегическими познаниями, был в преклонном возрасте и представлял фигуру добродушную и несерьезную. Войсками правил при нем начальник штаба, вернее, даже генерал-квартирмейстер ген. Орановский.

Это назначение показывает наглядно кризис русского командного состава девятисотых годов и неуменье Петербурга разбираться даже в высших представителях генералитета. В такую же ошибку впадала и общественность. Через полтора года после войны, когда Линевич был в опале и не у дел, влиятельный орган

* Под председательством государя участвовали: вел. князья Николай Николаевич и Алексей Александрович, генералы Драгомиров, гр. Воронцов-Дашков, Сухомлинов, Фредерикс, Рооп и Комаров.

консервативного направления «Новое время», проповедуя идею реванша, писал о необходимости послать на Дальний Восток 300-тысячную армию, «а главное, энергичного и знаменитого генерала, одно имя которого вернуло бы потерянную надежду на успех». Таковым газета считала ген. Линевича и требовала для него фельдмаршальского жезла.

К концу марта русские армии стали на сипингайской позиции, имея в боевой линии 1-ю (ген. Куропаткин) и 2-ю (ген. Каульбарс) армии и в резерве 3-ю армию (ген. Батьянов). Наши армии проявили необыкновенную живучесть: в течение каких-нибудь 2—3 недель затишья подавленное состояние, вызванное сплошным рядом неудач и мукденским поражением как рукой сняло. Армии стали прочно, опять, как и раньше, готовые исполнить свой долг. Не много найдется в истории примеров сохранения войсками организации и моральной стойкости при таких исключительно неблагоприятных условиях. Невольно напрашивается аналогия: армия, именуемая Красной, но состоящая из тех же российских людей, невзирая на подавление народного духа в течение четверти века советским режимом, после ряда жестоких поражений, в 1942 году под Москвою и Царицыном (Сталинград), воскресла вновь, как феникс из пепла.

Штаб Линевича медлил с переходом в наступление. Помимо некоторой неуверенности в своих возможностях, влияло на это и ожидание результатов выхода в Тихий океан эскадры адмирала Рожественского.

Эскадра эта погибла 27 мая 1905 года под Цусимой...

Кто именно являлся прямым виновником безрассудного предприятия — посылки на убой заведомо слабейших сил, не имевших ни одной базы на своем пути в 12 тыс. миль,— до сих пор неясно. А все прикосновенные к делу лица ссылались больше всего на «давление общественного мнения»...

И японцы вследствие больших потерь, истощения страны и утомления войск не хотели рисковать новым наступлением. Поэтому в течение 6 месяцев на фронте царило затишье. <...>

Наш отряд входил в состав 2-й армии и имел задачу охранять правый фланг армий и производить глубокую разведку расположения противника. В то время как на фронте царило полное затишье, Конный отряд, начиная с 10 марта и по 1 июля, был в постоянных боях. Девять раз мы ударяли по флангу и тылу расположения армии Ноги, причем особенно серьезные бои вели 1 июля, когда отряд взял штурмом сильно укрепленную позицию японцев у Санвайзы, и в «Майском набеге» (17—23 мая) в тыл японской армии, к Факумыну. О набеге я скажу несколько слов ниже.

На настроение ген. Мищенко и его штаба и на ход нашей боевой работы неблагоприятно влияли тяжелые отношения, создавшиеся между генералами Мищенко и Каульбарсом. Самолюбивый и самостоятельный Мищенко, уже известный не только армии, но и России, не мог простить резкого, наставительного тона Каульбарса, авторитет которого после Мукдена поколебался... Между генералами шла нервная, изводящая переписка. Не раз взбешенный П. И. клал такие резолюции, что мне стоило большого труда облечь их в терпимые формы. Выведенный из себя П. И. послал частное письмо главнокомандующему о невозможности дальнейшей службы с ген. Каульбарсом.

Вскоре пришел приказ Ставки, которым не только предоставлялось право, но вменялось в обязанность ген. Мищенко производить набеги на японцев, «чтобы своевременно раскрыть обход противником нашего фланга». Вероятно, Ставка дала некоторые указания и Каульбарсу, так как Мищенко получил вызов к нему «по важному делу». Вернувшись, П. И. сказал нам неопределенно:

— Никакого дела не было. Вызывали, знаете ли, мириться...

Больше ничего не сказал, но мы почувствовали, что атмосфера разрядилась.

В начале мая отряду нашему приказано было произвести набег в тыл японской армии. Ген. Мищенко говорил Каульбарсу:

— Если наша армия перейдет в наступление, тогда я понимаю смысл набега и употреблю все силы и уменье, чтобы нанести противнику наибольший вред. А идти одному, чтобы опять вернуться на позиции,— этого я не понимаю.

Но Каульбарс утверждал, что есть достоверные сведения о готовящемся наступлении японцев, которое необходимо задержать на несколько дней ввиду подходящих из России пополнений.

Задача отряду — истребление неприятельских складов и транспортов и порча путей подвоза, в особенности Синминтинской железной дороги. Но в день выступления пришла телеграмма — Синминтинскую железную дорогу считать нейтральной и ее не трогать... Нас поразила такая щепетильность в соблюдении нейтралитета Собственного Китая, когда японцы пользовались давно дорогой Инкоу — Синминтин, а после Мукдена она стала главной питательной артерией западной группы японских армий...

Задача набега сильно суживалась.

17 мая отряд выступил, имея 45 сотен и 6 орудий. Для облегчения взято было только по 2 орудия от батареи и по 5 зарядных ящиков. Прошли в четыре дня в глубь японского расположения на 170 километров, дошли до р. Ляохе и окрестностей Синминтина. Вот ряд боевых эпизодов этого набега.

Первый переход. Боковой авангард наш попал под огонь японцев. Прикрываясь двумя спешенными сотнями, отряд пошел дальше. Докладывают, что авангард потерял 8 казаков ранеными.

— Раненых вынесли, конечно? — спрашивает Мищенко.

— Невозможно, Ваше Превосходительство, в 150 шагах от японской стенки лежат.

— Чтоб я этого «невозможно» не слышал, господа!

Поскакали туда еще две сотни, спешились и вступили в бой, но безрезультатно. Тогда выскочил из цепи сотник Чуприна с несколькими казаками, бросился вперед, потерял еще одного убитым и четырех ранеными и всех вынес! Доблестный офицер этот через два дня был убит.

Вынос раненых — традиция отряда, возбуждавшая и тогда уже споры, перешедшие потом в военную печать. Многие ставили в большую вину Мищенко, что он в Инкоуском набеге связал свой отряд транспортом раненых, а не оставил их в попутных китайских деревнях... Тогда же колонна ген. Самсонова простояла на месте несколько часов, потеряв 7 человек убитыми и 33 ранеными, чтобы вынести тело французского атташе Бертона...

Для нас это был вопрос не целесообразности, а психологии. Наши казаки, в особенности уральцы, считали бесчестием попасть в японский плен и предпочитали рисковать жизнью, чтобы избавить от него себя и товарищей. Мало того, я помню случай, когда в одном бою уральцев сменили на позиции забайкальцы, и 8 уральских казаков, никем не побуждаемые, остались до ночи в цепи, подвергавшейся сильнейшему обстрелу, желая вынести тело убитого своего урядника, лежавшего в ста шагах от японской позиции, чтобы не остался он «без честного погребения». И вынесли.

Первые три дня происходили лишь небольшие стычки и захват случайных обозов и складов. День 20 мая особенно памятен. Мы подходили к р. Ляохе. Оказалось, что на главной этапной дороге Синминтин — Факумын никакого движения уже нет, японцы перенесли линию подвоза вглубь, за Ляохе. Мы бросили в этом направлении 1-й Читинский полк (забайкальцы), который, прорвавшись сквозь завесу японских постов, вышел на новую транспортную дорогу и наткнулся там на огромный обоз, тянувшийся на 7 километров. Изрубив прикрытие, казаки приступили к уничтожению обоза: собирали в кучи повозки и поджигали их. Скоро по всей дороге пылало зарево костров.

Колонна между тем шла дальше, и авангард наш наткнулся на укрепленную деревню Цинсяйпао, занятую японской пехотой с пулеметами. Две-три сотни спешились и под сильным огнем двинулись на нее. Подошли близко. Хорунжий Арцишевский с двумя орудиями подскакал по открытому полю на 600 шагов и стал поливать японцев шрапнелью... Враг дрогнул. Одна рота вышла из деревни и стала уходить. Тогда часть наших сотен вскочила на коней и бросилась в атаку.

Другие ворвались в деревню. По полю неслись забайкальцы есаула Зыкова, подъесаула Чеславского, уральцы хорунжего Мартынова врезались и рубились в японских рядах. Подъем был так велик, что не выдержали и понеслись в атаку вестовые, ординарцы и чины штаба.

Бой длился два часа. Две японских роты были уничтожены. В плен попало только 60 человек. Один японский офицер застрелился на наших глазах, другой, покушаясь на самоубийство, изрезал себе сильно горло, двум раздробила головы шрапнель. Японские роты дрались храбро и погибли честно.

Казаки подобрали своих раненых и японских. Последних оставили в деревне вместе с персоналом отбитого раньше японского госпиталя; снабдили медикаментами и повозками. Хмурые, бесстрастные толпились раненые японцы вокруг своих повозок, не понимая еще, что их отпускают к своим. А рядом невдалеке уральцы хоронили своих убитых, которых отпевал казак — старообрядческий начетчик...

Отряду дан был отдых, потом пошли дальше. Полки стали теперь относиться к охранению слишком беспечно. Поэтому боковой авангард, встреченный неожиданно сильным огнем, отскочил стремительно прямо на нас. Мищенко остановил его громким окриком:

— Стой, слезай! Ну, молодцы, вперед, в цепь!

И, характерно опираясь на палку (рана в ногу), сам пошел вперед. За ним штаб... Эту давнишнюю привычку не в силах были побороть ни голос благоразумия, ни явная несообразность положения корпусного командира — в стрелковых цепях.

— Я своих казаков знаю, им, знаете ли, легче, когда они видят, что и начальству плохо приходится,— говаривал Мищенко.

Потери мищенковского штаба * за время войны — 4 убитых, 10 раненых (один — 3, другой — 4 раза), 1 контужен, 2 пропавших без вести. Словом, 22 случая, не включая временных ординарцев и офицеров связи. Сам Мищенко был тяжело ранен в ногу, с раздроблением кости.

При дальнейшем движении один из боковых отрядов встречен был огнем из деревни Тасинтунь. Завязался бой.

Между тем, принимая во внимание, что железную дорогу не позволено было трогать, что по грунтовым дорогам н Факумыну этапы уничтожены и по ним всякое движение прекратилось, а главное, что нами не замечено было никаких признаков готовящегося наступления японцев, ген. Мищенко решил возвращаться обратно. Послан был соответственный приказ обеим колоннам и прикрывающим частям.

Однако сотни уральских и терских казаков по инициативе сотенных командиров и в особенности уральца, подъесаула Зеленцова, вопреки полученному приказу, продолжали бой под Тасинтунем, «не желая оставить дело, не доведя его до славного конца». Под сильным огнем японцев спешенные сотни наступали на деревню, постепенно окружая ее со всех сторон. Огнем японцев управлял старик — ротный командир, о котором я упоминал раньше, стоя на крыше фанзы во весь рост, спокойно, гордо, расстреливаемый в упор. Наконец, пробитый казачьей пулей, свалился во двор импани.

Когда кольцо сомкнулось и казачьи цепи подошли вплотную к окраине деревни, Зеленцов решил прибегнуть к «дипломатии». Привели взятого ранее в плен японца и послали его парламентером к осажденной роте. Любопытно, что Зеленцов не говорил ни слова по-японски, а японец не понимал по-русски. И все же как-то сумели объяснить ему безнадежность положения и предложение сдаться. Через некоторое время оставшиеся в живых 135 японских солдат и 4 офицера сдались в плен.

Интересно, что за все время похода нам ни разу не пришлось столкнуться с японской кавалерией. Этот род оружия был у них плох и избегал столкновения с нами. За всю кампанию отмечены лишь две кавалерийских схватки: у сибирских казаков ген. Самсонова и у нас 1 мая, когда благодаря песчаной буре сотня уральцев подъесаула Железнова внезапно наткнулась на два эскадрона японцев, причем в кратком бою один был изрублен, а другой спасся бегством. Понятна поэтому наша радость, когда 16 июня в бою отряда под Ляоянвопой мы увидели, что 23 эскадрона ген. Акиямы двинулись против нас. Ген. Мищенко бросил на них бывшие под рукой 10 сотен Урало-Забайкальской дивизии... Увы, ген. Акияма не принял атаки, повернул и ушел за свою пехоту.

* Штатный состав — 5 офицеров.

Результаты «Майского набега» таковы: разгромлены две транспортных дороги со складами, запасами и телеграфными линиями; уничтожено более 800 повозок с ценным грузом и уведено более 200 лошадей; взято в плен 234 японца (5 офицеров) и не менее 500 выведено из строя. Определено точно расположение трех дивизий ген. Ноги и, между прочим, захвачен курьер с большой корреспонденцией, адресованной ему. Стоил нам набег 187 человек убитыми и ранеными.

Но не в этой материальной стороне — главное. При неподвижном стоянии обеих армий на месте трудно было достигнуть большего. Важен был тот моральный подъем, который явился следствием набега — как в отряде, так до некоторой степени и в армии. Картины бегущего и сдающегося в плен противника не слишком часто радовали нас на протяжении злополучной кампании...

Главнокомандующий прислал телеграмму: «Радуюсь и поздравляю ген. Мищенко и всех его казаков с полным и блестящим успехом. Лихой и отважный набег. Сейчас донес о нем государю».

Ген. Мищенко любил офицеров и казаков, сердечно заботился о них и не давал в обиду. Пользовался среди них совершенно исключительным обаянием. Внутренне горячий, но внешне медлительно-спокойный в бою, он одним своим видом внушал спокойствие дрогнувшим частям. Вне службы, за общей штабной трапезой или в гостях у полков, он вносил радушие, приветливость и полную непринужденность, сдерживаемую только любовью и уважением к присутствующему начальнику.

Популярность ген. Мищенко в связи с успехами его отряда распространялась далеко за его пределами. И началось к нам паломничество. Приезжали офицеры из России под предлогом кратковременного отпуска и оставались в отряде. Бежали из других частей армии офицеры и солдаты, в особенности в томительный период бездействия на сипингайских позициях, когда только на флангах, преимущественно у нас, шли еще бои. Приходили без всяких документов, иногда с неясным формуляром и со сбивчивыми показаниями. Мищенко встречал приходивших с напускной угрюмостью, но в конце концов принимал всех. В массе приходил к нам элемент прекрасный, истинно боевой.

К лету 1905 года в результате такого своеобразного «дезертирства» в частях Урало-Забайкальской дивизии оказалось незаконного состава — офицеров десятки, солдат — сотни. И не одной только пылкой молодежи: были и штаб-офицеры, и пожилые запасные, и солдаты. Обеспокоенный возможностью контрольного начета, я доложил ген. Мищенко цифровые итоги.

— Что ж, знаете ли, надо покаяться!

Донесли в штаб армии. К удивлению, ответ получился от ген. Каульбарса вполне благоприятный: учитывая хорошие побуждения «дезертиров» и чтобы не угашать их духа, командующий армией не только оставил их в отряде, но даже разрешил принимать приходящих и впредь под тем, однако, условием, чтобы это решение отнюдь не разглашалось и не вызвало массового паломничества в отряд.

Так жили и воевали в нашей «Запорожской Сечи».

Конец японской войны

Последний бой Конного отряда, ставший последним боем русско-японской войны, произошел 1 июля под Санвайзой, когда мы взяли штурмом левофланговый опорный пункт неприятельской позиции, уничтожив там батальон японской пехоты.

В середине июля поползли в армии слухи, что президент США Теодор Руз-

вельт предложил нашему правительству свои услуги для заключения мира... Установившееся на фронте затишье подтверждало эти слухи. Как были восприняты они армией? Думаю, что не ошибусь, если скажу, что в преобладающей массе офицерства перспектива возвращения к родным пенатам — для многих после двух лет войны — была сильно омрачена горечью от тяжелой, безрезультатной и в сознании всех незаконченной кампании.

Начались переговоры в Портсмуте.

От командования Маньчжурских армий не был послан представитель на мирную конференцию, в состав делегации Витте. Не был запрошен и главнокомандующий по поводу целесообразности заключения мира и определения условий договора.

Армию не спросили.

Правая русская общественность сурово обвиняла Витте за его якобы «преступную уступчивость» и заклеймила его злой кличкой «граф Полу-сахалинский» *. Обвинение совершенно несправедливое, в особенности принимая во внимание, что уступка половины Сахалина сделана была велением государя, не по настоянию Витте. Он проявил большое искусство и твердость в переговорах и сделал все, что мог, в тогдашних трудных условиях. Не встречал он сочувствия и со стороны левой общественности. Видный социалист Бурцев — впоследствии, во время первой мировой войны, ставший всецело на «оборонческую позицию»,— писал в дни Портсмута Витте: «Надо уничтожить самодержавие; а если мир может этому воспрепятствовать, то не надо заключать мира».

Вначале Витте не встречал сочувствия и в президенте Теодоре Рузвельте, который не раз обращался непосредственно к государю, обвиняя Витте в неуступчивости, тогда как японцы в первой стадии переговоров буквально нагличали. Они требовали уплаты Россией контрибуции, ограничения наших сухопутных и морских сил на Дальнем Востоке и даже японского контроля над их составом. Возмущенный этими требованиями, государь категорически отверг их одним словом своей резолюции:

— Никогда!

Конференция все затягивалась, и дважды члены ее «укладывали и раскладывали чемоданы». Между тем американские церкви и пресса становились все более на сторону России. В печати все чаще стали раздаваться голоса, предостерегавшие от опасности, которая может угрожать интересам Америки в Тихом океане при чрезмерном усилении Японии... Под давлением изменившегося общественного мнения президент счел необходимым послать телеграмму микадо о том, что «общественное мнение США склонило симпатии на сторону России» и что «если портсмутские переговоры ничем не кончатся, то Япония уже не будет встречать в США того сочувствия и поддержки, которые она встречала ранее». Несомненно, это заявление оказало влияние на ход переговоров.

Было ли в интересах Англии «оказывать Японии эту поддержку ранее», об этом свидетельствуют события 1941—1945 годов.

5 сентября 1905 года в Портсмуте было заключено перемирие, а 14 октября состоялась ратификация мирного договора. Россия теряла права свои на Квантунь и южную Маньчжурию, отказывалась от южной ветви железной дороги до станции Куачендзы и отдавала японцам южную половину острова Сахалина.

Для нас не в конференции, не в тех или других условиях мирного договора лежал центр тяжести вопроса, а в первоисточнике их, в неразрешенной дилемме:

Могли ли Маньчжурские армии вновь перейти в наступление и одержать победу над японцами?

Этот вопрос и тогда, и в течение ряда последующих лет волновал русскую общественность, в особенности военную, вызывал горячие споры в печати и на собраниях, но так и остался неразрешенным. Ибо человеческому интеллекту свойственна интуиция, но не провидение.

Обратимся к чисто объективным данным.

* Витте за Портсмут награжден был графским титулом.

Ко времени заключения мира русские армии на сипингайских позициях имели 446½ тыс. бойцов (под Мукденом — около 300 тыс.); располагались войска не в линию, как раньше, а эшелонированно в глубину, имея в резерве общем и армейских более половины своего состава, что предохраняло от случайностей и обещало большие активные возможности; фланги армии надежно прикрывались корпусами генералов Ренненкампфа и Мищенко; армия пополнила и омолодила свой состав и значительно усилилась технически — гаубичными батареями, пулеметами (374 вместо 36), составом полевых железных дорог, беспроволочным телеграфом и т. д.; связь с Россией поддерживалась уже не тремя парами поездов, как в начале войны, а 12 парами. Наконец, дух Маньчжурских армий не был сломлен, а эшелоны подкреплений шли к нам из России в бодром и весёлом настроении.

Японская армия, стоявшая против нас, имела на 32% меньше бойцов. Страна была истощена. Среди пленных попадались старики и дети. Былого подъема в ней уже не наблюдалось. Тот факт, что после нанесенного нам под Мукденом поражения японцы в течение 6 месяцев не могли перейти вновь в наступление, свидетельствовал по меньшей мере об их неуверенности в своих силах.

Но... войсками нашими командовали многие из тех начальников, которые вели их под Ляояном, на Шахе, под Сандепу и Мукденом. Послужил ли им на пользу кровавый опыт прошлого? Проявил бы штаб Линевича более твердости, решимости, властности в отношении подчиненных генералов и более стратегического уменья, чем это было у Куропаткина? Эти вопросы вставали перед нами и, естественно, у многих вызывали скептицизм.

Что касается лично меня, я, принимая во внимание все «за» и «против», не закрывая глаза на наши недочеты, на вопрос: «Что ждало бы нас, если бы мы с сипингайских позиций перешли в наступление?» — отвечал тогда, отвечаю и теперь:

— Победа!

Россия отнюдь не была побеждена. Армия могла бороться дальше. Но... Петербург «устал» от войны более, чем армия. К тому же тревожные признаки надвигающейся революции в виде участившихся террористических актов, аграрных беспорядков, волнений и забастовок лишали его решимости и дерзания, приведя к заключению преждевременного мира.

Уже в августе постепенно создавалось впечатление, что война кончилась. Боевые интересы уходили на задний план, начинались армейские будни. Полки начали спешно приводить в порядок запущенное за время войны хозяйство, начались подсчеты и расчеты. На этой почве произошел у нас характерный в казачьем быту эпизод.

Наш Конный отряд переименован был, наконец, в штатный корпус, командиром которого утвержден был официально ген. Мищенко. Его дивизию Урало-Забайкальскую принял ген. Бернов. Приехал и приступил к приему дивизии; я сопровождал его в качестве начальника штаба. В Забайкальских полках все сошло благополучно. Приехали в 4-й Уральский полк. Построился полк, как требовалось уставом, для опроса жалоб, отдельно офицеры и казаки. Офицеры жалоб не заявили. Обратился начальник дивизии к казакам с обычным вопросом:

— Нет ли, станичники, жалоб?

Вместо обычного ответа — «никак нет!» — гробовое молчание. Генерал опешил от неожиданности. Повторил вопрос второй и третий раз. Хмурые лица, молчание. Отвел меня в сторону, спрашивает:

— Что это, бунт?

Я тоже в полном недоумении. Прекраснейший боевой полк, исполнительный, дисциплинированный...

— Попробуйте, Ваше Превосходительство, задавать вопрос поодиночке.

Генерал подошел к правофланговому.

— Нет ли у тебя жалобы?

— Так точно, Ваше Превосходительство!

И начал скороговоркой, словно выучил наизусть, сыпать целым рядом цифр:

— С 12 января и по февраль 5-я сотня была на постах летучей почты и довольствия я не получал от сотенного 6 дец... 3-го марта под Мукденом наш взвод спосылали для связи со штабом армии — 10 дей кормились с лошадью на собственные...

И пошел, и пошел.

Другой, третий, десятый то же самое. Я попробовал было записывать жалобы, но вскоре бросил — пришлось бы записывать до утра. Ген. Бернов прекратил опрос и отошел в сторону.

— Первый раз в жизни такой случай. Сам черт их не разберет. Надо кончать.

И обратился к строю:

— Я вижу у вас тут беспорядок или недоразумение. От такого доблестного полка не ожидал. Приду через три дня. Чтоб все было в порядке!

Надо сказать, что казачий быт сильно отличался от армейского, в особенности у уральцев. У последних не было вовсе сословных подразделений; из одной семьи один сын выходил офицером, другой — простым казаком — это дело случая. Бывало, младший брат командует сотней, а старший — у него денщиком. Родственная и бытовая близость между офицерами и казаками составляла характерную черту уральских полков.

В последовавшие за смотром два дня в районе полка было большое оживление. С кургана, прилегавшего к штабу дивизии, можно было видеть на лугу, возле деревни, где располагался полк, отдельные группы людей, собиравшиеся в круг и ожесточенно жестикулирующие. Приятель мой, уралец конвойной сотни, объяснил мне, что там происходит:

— Сотни *судятся* с сотенными командирами. Это у нас старинный обычай, после каждой войны. А тут преждевременный смотр все перепутал. Казаки не хотели заявлять жалоб на смотру, да побоялись, как бы после этого не лишиться права на недоданное.

К вечеру перед новым смотром я спросил уральца:

— Ну как?

— Кончили. Завтра сами услышите. В однех сотнях скоро поладили, в других — горячее дело было. Особенно командиру N-й сотни досталось. Он и шапку оземь кидал, и на колени становился. «Помилосердствуйте,— говорит,— много требуете, жену с детьми по миру пустите»... А сотня стоит на своем: «Знаем, грамотные, не проведешь!» Под конец согласились. «Ладно,— говорит сотенный,— жрите мою кровь, так вас и этак»...

На другой день, когда начальник дивизии вторично спрашивал, нет ли жалоб, все казаки, как один, громко и весело ответили:

— Никак нет, Ваше Превосходительство!

В личной своей жизни я получил моральное удовлетворение: высочайшим приказом от 26 июля «за отличие в делах против японцев» был произведен в полковники. Ген. Мищенко представил меня еще к двум высоким боевым наградам.

Ввиду окончания войны Урало-Забайкальская дивизия подлежала расформированию; оставаться на службе в Маньчжурии или в Сибири я не хотел, потянуло в Европу. Простившись со своими боевыми соратниками, я поехал в Ставку. Попросил там, чтобы снеслись телеграфно с Управлением генерального штаба в Петербурге о предоставлении мне должности начальника штаба дивизии в Европейской России. Так как ответ ожидался не скоро — начались уже забастовки на телеграфе, и Ставка принуждена была сноситься с Петербургом через Нагасаки и Шанхай,— я был командирован на время в штаб 8-го корпуса, в котором числился давно на штатной должности еще по мирной линии.

После той «Запорожской Сечи», какую представлял из себя Конный отряд ген. Мищенко, в штабе 8-го корпуса я попал в совершенно иную обстановку.

Командовал корпусом ген. Скугаревский. Образованный, знающий, прямой, честный и по-своему справедливый, он тем не менее пользовался давнишней и широкой известностью как тяжелый начальник, беспокойный подчиненный и невыносимый человек. Получил он свой пост недавно, после окончания военных действий, но в корпусе успели уже его возненавидеть. Скугаревский знал закон, устав и... их исполнителей. Все остальное ему было безразлично: человеческая душа, индивидуальность, внутренние побуждения того или иного поступка, наконец, авторитет и боевые заслуги подчиненного. Он как будто специально выискивал нарушения устава — важные и самые мелкие — и карал неукоснительно как начальника дивизии, так и рядового. За важное нарушение караульной службы или хозяйственный беспорядок и за «неправильный поворот солдатского каблука»; за пропущенный пункт в смотровом приказе начальника артиллерии и за «неуставную длину шерсти» на папахе... В обстановке послемукденских настроений и в преддверии новых потрясений первой революции такой ригоризм был особенно тягостен и опасен.

Скугаревский знал хорошо, как к нему относятся войска, и по той атмосфере страха и отчужденности, которая сопутствовала его объездам, и по рассказам близких ему лиц.

Я ехал в корпус в вагоне, битком набитом офицерами. Разговор между ними шел исключительно на злобу дня — о новом корпусном командире. Меня поразило то единодушное возмущение, с которым относились к нему. Тут же в вагоне сидела средних лет сестра милосердия. Она как-то менялась в лице, потом, заплакав, выбежала на площадку. В вагоне водворилось конфузливое молчание... Оказалось, что это была жена Скугаревского.

В штабе царило тягостное настроение, в особенности во время общего с командиром обеда, участие в котором было обязательно. По установившемуся этикету только тот, с кем беседовал командир корпуса, мог говорить полным голосом, прочие говорили вполголоса. За столом было тоскливо, пища не шла в горло. Выговоры сыпались и за обедом. Однажды капитан генерального штаба Толкушкин, во время обеда доведенный до истерики разносом Скугаревского, выскочил из фанзы, и через тонкую стену мы слышали, как кто-то его успокаивал, а он кричал:

— Пустите, я убью его!

В столовой водворилась мертвая тишина. Все невольно взглянули на Скугаревского. Ни один мускул не дрогнул в его лице. Он продолжал начатый раньше разговор.

Как-то раз командир корпуса обратился ко мне:

— Отчего вы, полковник, никогда не поделитесь с нами своими боевыми впечатлениями? Вы были в таком интересном отряде... Скажите, что из себя представляет генерал Мищенко?

— Слушаюсь.— И начал: — Есть начальник и начальник. За одним войска пойдут куда угодно, за другим не пойдут. Один...

И провел параллель между Скугаревским, конечно, не называя его, и Мищенкой. Скугаревский прослушал совершенно спокойно и даже с видимым любопытством и в заключение поблагодарил меня «за интересный доклад».

Для характеристики Скугаревского и его незлопамятности могу добавить, что через три года, когда он стал во главе Комитета по образованию войск, он просил военного министра о привлечении в Комитет меня...

Жизнь в штабе была слишком неприятной, и я, воспользовавшись начавшейся эвакуацией и последствиями травматического повреждения ноги, уехал наконец в Россию.

(Продолжение следует.)

Марк ТАРЛОВСКИЙ

«Перед лицом небесных сил...»

Для того чтобы вымарать имя поэта из сознания целых поколений читателей, вовсе не обязательно убивать его, уничтожать книги, изымать из печати всякое упоминание о нем. В такой агрессивности, как правило, дающей обратный эффект, вручая наследие поэта на верное хранение рукописной традиции, нет нужды. Вполне достаточно равнодушия. Это болотная топь, сомкнувшись над поглощенным ею, быстро обретает покой — ни кругов, ни ряби.

«Они любить умеют только мертвых»,— сказал Пушкин И ошибся, не предвидя эпохи, когда и эта любовь станет выборочной и неверной. Когда временщики, поставленные командовать искусством за доведенную до абсолюта неспособность ни творить его, ни чувствовать, будут безапелляционно судить о том, что выдержало «испытание временем», а что нет.

Марк Ариевич Тарловский (1902—1952) прожил внешне благополучную для первой половины нашего столетия жизнь. Не сидел. Не бродяжничал. Не голодал. Однако в мартирологе исковерканных и загубленных в тридцатых—сороковых годах писательских судеб есть строка и для него.

Юность его прошла в Одессе — в дружбе с Эдуардом Багрицким, Юрием Олешей, Валентином Катаевым. В 1924 году он окончил филологический факультет МГУ. Годом раньше начал печататься. Двадцатишестилетним выпустил первую книгу — «Иронический сад» — в издательстве «Земля и Фабрика», которым руководил Владимир Нарбут. И, можно сказать, «проснулся знаменитым»

...Внемлет певцу иронический сад,
В пышных руладах солист утопает,
Роза кивает ему невпопад,
Ибо в гармонии не понимает.

Его узнали и признали сразу. Естественная, без малейшего напряжения интонационная ясность, чистый, какой-то «струнный» звук стиха, виртуозное, даже не без щегольства, мастерство версификации, с ритмическим богатством и неожиданными, неугадываемыми рифмами, наконец неизменяющее чувство юмора, как бы растворенное во всей его поэтике,— все привлекало к нему, выделяло, обращало на себя внимание.

Вскоре — всего через год — Тарловский подготовил вторую книгу. «Почтовый голубь». Под стать первой. Даже, пожалуй, ярче. И... расшибся, с разгону налетев на крепостную стену, уже возведенную цензурой. Бойцовских качеств у него не было. Вообще борьба такого рода не входит в круг обязанностей поэта. У него другие задачи. Художественные. Не менее сложные. Хрупкость не вина. В конце концов хрусталь — не для забивания гвоздей...

В архиве осталась верстка с авторской правкой. Книга не вышла. Вместо нее в 1931 году появилась другая, «Бумеранг», куда из «Почтового голубя» попало лишь несколько стихотворений («улучшенных» цензором) Остальное дало повод впоследствии написать в Краткой литературной энциклопедии, что поэт излечился от акмеистских влияний и обратился к реалистическому отображению советской действительности, например, в стихах о Фергане.

Была еще одна книжка — «Рождение родины» (1935) — совсем уже тусклая. Судя по ней, Тарловский понял, что у государства нет чувства юмора. И решил с ним не шутить

Он зарабатывал на жизнь переводами из поэзии народов СССР, заказами на которые его щедро снабжал Георгий Шенгели, ведавший этой редакцией в Госиздате. Переводил легко, без блеска, а подчас и небрежно, как говорится, «на погонные километры». Не случайно основным его «подопечным» надолго стал Джамбул (в частности, Тарловским переложено самое знаменитое у Джамбула входившее в хрестоматии сороковых — пятидесятых годов стихотворение «Ленинградцы — дети мои...»). Внимательный взгляд обнаружил бы в его ремесленном «переводчестве» нескрываемое пренебрежение

к этой псевдопоэзии. Благо для Тарловского, что чиновники и стукачи литературные подобной зоркости не проявили.

Стихи он писал, как и многие современники, «в стол». Публиковать не пытался, часто даже не перебелял черновиков. Но и такого раздвоения в конечном счете не выдержал. С годами становился все замкнутей и болезненней. Стремительно прогрессировала гипертония — классическое следствие стрессовой жизни. И однажды в метро он почувствовал себя скверно С трудом выбрался на свежий воздух, проковылял неполных три квартала вверх по улице Горького, направляясь к дому, и упал. Он лежал на тротуаре близ Елисеевского магазина и медленно, чуть ли не два часа умирал. А прохожие обходили его стороной, думали — пьяный. Когда же кто то сообразил вызвать «скорую», оказалось — поздно...

Год спустя умерла жена Тарловского. Рукописи, по счастью, не пропали. Они — в архиве. Неизданного там больше, чем напечатанного. О том, каково оно, можно судить по двум публикуемым стихотворениям.

* * *

Я — черный крыс, потомок древних рас,
Насельник лучших дыр Европы.
Я чую носом: близок смертный час,
Восстали серые холопы
И, закусив хвосты, грядут на нас,
От Ганга пролагая тропы.

Mus decumanus[1] — я уже привык,
Бродя по трапезным угарным,
Употреблять монашеский язык
В его звучании вульгарном —
Mus decumanus обнажает клык,
И ворон возвещает «карр!» нам.

Подпольным Римом завладел пасюк;
Его клянет людская паства;
Кормя, как варвар, кошек и гадюк,
Он сырные сгрызает яства,
И моровая в корабельный люк
За ним проскальзывает язва.

Вот мой хозяин — не жалел он крох
Для бедной крысы-постояльца,
Но перед мором сдался и оглох
И посинел в мерцаньи смальца...
Я этой ночью, подавляя вздох,
Ему отгрыз четыре пальца.

Съедобный друг мой, сальная свеча
Мне стала сторожем пугливым,
Хозяин мертв, и нет в замке ключа,
И сыр открыт врагам пискливым,
И думы, думы, муча и урча,
Ползут растопленным наплывом.

Я знаю человека. Что скрывать?
Он зверь, как мы, но зверь особый:
Пока росли мы, он успел отстать.
Об этом говорят нам гробы,
Им выдуманные, его кровать
И череп, слишком крутолобый.

Он ниже нас в насущнейших чертах:
В любви, и в смерти, и в рассудке.
Начнем с любви: кто ею так пропах,

---

[1] Mus decumanus — видовое название черной крысы (*лат.*).

Кто ею пьян из суток в сутки,
До ласки падкий, к дрожи на губах
До умопомраченья чуткий?

Нет, мы не шутим с лучшим из даров,
К нам по наследству перешедших!
Любовный клич, хоть он у нас суров,
Но он один на всех наречьях.
Нам жаль страстей — мы шерстяной покров
Надели, чтобы уберечь их.

Пусть голыми родимся мы, но шьем
Себе сутану, как викарий, —
Двуногие же ходят нагишом,
Нецеломудренные твари,
Мы любим в шубах — человек ни в чем,
И, голый, он дрожит от яри.

И перья птиц, и рыбью чешую,
И мех неведомого предка
На тонкую сменил он кисею,
На слишком тонкую нередко,
Чтоб мог он гладить женщину свою
И чтоб тряслась она, как ветка.

Я — черный крыс, подпольный сын сибилл,
Дитя монашеской заботы.
Я знаю все. Я зубы иступил
О кожаные переплеты,
Я в каждом доме вижу гниль стропил
Под ложным слоем позолоты.

Изысканно сластолюбивый зверь,
До непотребства обнаженный,
Он весь таков. Посмотрим-ка теперь,
Кого берет себе он в жены:
Он к злейшему врагу стучится в дверь
И говорит, что он — суженый.

Мы скромно размножаемся в норах
И брачных вымыслов не ищем,
На сестрах женимся, на дочерях,
Не дорожим приданым нищим,
А этот зверь, утратив стыд и страх,
Роднится с неродным жилищем.

Сабинянки не Римом рождены.
Они и пахнут по-иному;
Но, римлянам в награду отданы,
Пьют ненавистную истому
И падают трофеями войны
На ненавистную солому.

Мечи Юдифей, топоры Далил
И Карменситины стилеты
Над дерном полководческих могил
Враждебной похотью согреты;
И, взросший выродок, трикраты гнил
Роман Ромео и Джульетты.

Я — черный крыс, любимец темноты.
Я чую смерть в пасючьем писке.
Я смерти брат. Я с вечностью на «ты».
Свеча горит. Текут записки.

Трактат о том, в сравненьи с кем коты
И не презренны, и не низки.

Установив, что человек — урод
В наружности, в любви и в браке,
Я заявляю: даром он живет,
Его бессмертье — это враки,
Зане погибнув, он гниет, как крот,
В земле, в безвестности, во мраке.

Мы не хороним наших мертвецов,
Не сушим их и не сжигаем —
Мы их едим и слышим странный зов,
И этот зов неумолкаем.
У нас в крови бессмертна плоть отцов,
А плоть сынов нам служит раем.

Зверь ловит зверя, крысу губит кот,
Кот гибнет под ножом стряпухи,
Под видом зайца лезет к дурню в рот.
А дурня с горькой голодухи
Съедаем мы — voila круговорот
Et cetera [1] в таком же духе.

Отметив превосходство живота
Над мертвой славой мавзолея,
Я вижу: есть еще одна черта
В пассиве моего злодея:
Под черепом двуногих развита,
И слишком развита, идея.

Я вгрызся в лоб святоши и брюзги
И не пойму: зачем, откуда
Вошла в его холодные мозги
Идея подвига и чуда?
Я шарил там, но не видал ни зги,
Озяб — и налицо простуда.

Кто, кроме человека, верит в речь
Священника, бродяги, шельмы?
Как трудно моряка предостеречь,
Коль в днище замечаем щель мы,
И как легко готов он верить в течь
По огонькам святого Эльма!

Пора нам опровергнуть клевету
О гаммеленском крысолове:
Мы музыки не ловим на лету,
Ушей не держим наготове!
Пусть люди сами гибнут за мечту
И бога прозревают в слове!

Я — черный крыс. Сейчас меня съедят
Завоеватели подполий.
Дай дописать мне, серый супостат!
Как Архимед, не чуя боли,
Я умираю, но за свой трактат
Молю смиренно: Noli! Noli! [2]

27 февраля 1929

[1] Et cetera — и так далее *(лат.)*.
[2] Noli — не трожь *(лат.)*.

Метеорит и ангел

«Ты с миром вдребезги разбитым
Расстался, звездный мой собрат,
И стал простым метеоритом,
Каких несметный мчится град.

Как стадо спугнутых оленей,
Чего ты сроду не видал,
Они по уйме направлений
Несут свой камень и металл».

Близ глыбы, ужасом объятой,
Перед Лицом небесных сил
Так спутник возгласил крылатый,
Так ангел Божий возгласил.

«Но кто ты, спутник, и откуда,
И до какого рубежа?» —
Метеорит, свидетель чуда,
Спросил крылатого, дрожа.

«К тебе, кто прежде был расплавлен,
Но в царство холода влеком,
Я не правителем приставлен,
А рядовым проводником.

С тобой лечу в кромешном мраке,
Тебя, где надо, передам
Я в длани теплоте и знаки
В тебе читаю по складам.

Но я читаю их от скуки,
Я многократно их прочел —
А в пустоте не слышны звуки
И даже камень не тяжел.

И потому моей задачей
Я тягочусь уже давно;
Мне почвы хочется горячей,
Меня манит морское дно.

Но я не действую вслепую,
Есть нашим странствиям предел:
Мне на планету голубую
Тебя доставить Бог велел».

Он смолк, и часто думал камень,
Что видит цель перед собой,
Когда светила редкий пламень
Мелькал случайно голубой.

И улыбался ангел Божий,
Приметив трепет кругляка:
«Они с планетой только схожи,
И нам не к ним наверняка.

Не к солнцу нас, Великий Боже,
Твоя направила рука,
К песчинке черных бездорожий
Еще дорога далека».

Но вот приблизились к песчинке
И врезались в воздушный слой.
И камень вздрогнул от заминки
И услыхал плачевный вой.

А это сам он выл, сгорая
Над самым страшным из миров,
Когда сомнительного рая
Раздернул гложущий покров.

И только жалкие объедки
На землю выпали дождем,
Какие, в сущности, нередки,
Но чьих мы капель не найдем.

И спутник, с трудным кончив делом,
Что выполнял не в первый раз,
Черкнул крылом, как совесть, белым
И плохо видимым для нас.

7 января 1951

Вступление и публикация
Вадима ПЕРЕЛЬМУТЕРА

Гавриил ПОПОВ, народный депутат СССР

Уроки демократии

ПОСЛЕДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ А. Д. САХАРОВА

За свою жизнь Андрей Дмитриевич Сахаров подписал много обращений: и в защиту отдельных лиц, и в защиту целых народов, и по проблемам мирового масштаба, и касающихся конкретного Аральского моря. По политическим, религиозным, экономическим вопросам.

Когда-нибудь будет издан сборник всех этих обращений. Он станет неоценимым пособием по истории борьбы за демократию в нашей стране.

Первое совместное заявление мне довелось подписать с Андреем Дмитриевичем перед Первым Съездом народных депутатов СССР в мае 1989 года. В нем речь шла о предложениях московских депутатов касательно работы Съезда. Наше письмо вызвало понимание и поддержку меньшинства и активно-негативную реакцию большинства депутатов. Поднялась целая волна порой заслуживающих внимания возражений, но в основном надуманных и чисто тенденциозных упреков в стремлении захватить власть, диктовать, навязывать свое мнение и т. д. и т. п. Но прошло всего несколько месяцев, и многие наши оппоненты признали, что принятие предложений московской группы как минимум существенно повысило бы эффективность Первого Съезда, а могло бы вообще изменить тот путь перестройки, по которому мы пошли.

Какой-то символический характер имеет тот факт, что последнее совместное с Андреем Дмитриевичем обращение — с призывом к забастовке — я подписал тоже перед Съездом, но теперь уже Вторым, 1 декабря 1989 года. И тоже по вопросам предстоящей тогда нам работы.

Этот документ вызвал самую бурную реакцию: от полной поддержки до полного неприятия. Поэтому необходимо ради памяти Андрея Дмитриевича более подробно остановиться на нем. Тем более что напряжение, возникшее вокруг нашего обращения, стало, возможно, последней каплей, переполнившей чашу жизни Андрея Дмитриевича.

В нашей стране все официальные газеты охотно публиковали критические отклики на обращение и ни одна (за исключением молодежной газеты в Латвии) не решилась опубликовать сам текст. Поэтому прежде всего я хотел бы сделать его достоянием гласности.

«ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Перестройка в нашей стране встречает организованное сопротивление.

Откладывается принятие основных экономических законов о собственности, о предприятии и важнейшего закона о земле, который дал бы наконец крестьянину право стать хозяином. Верховный Совет СССР не включил в повестку дня Съезда обсуждение статьи 6 Конституции СССР.

Если не будет принят закон о земле, пропадет еще один сельскохозяйственный год. Если не будут приняты законы о собственности и предприятии, министерства и ведомства по-прежнему будут командовать и разорять страну. Если статья 6 не будет изъята из Конституции, кризис доверия к руководству государства и партии будет нарастать.

Мы призываем всех трудящихся страны — рабочих, крестьян, интеллигенцию, учащихся — выразить свою волю и провести 11 декабря 1989 года с 10 по 12 часов дня по московскому времени ВСЕОБЩУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНУЮ ЗАБАСТОВКУ с требованием включить в повестку дня Второго Съезда народных депутатов СССР обсуждение законов о земле, собственности, предприятии и 6-й статьи Конституции.

Создавайте на предприятиях, в учреждениях, в колхозах и совхозах, в учебных заведениях комитеты по проведению этой забастовки!

СОБСТВЕННОСТЬ — НАРОДУ!
ЗЕМЛЯ — КРЕСТЬЯНАМ!
ЗАВОДЫ — РАБОЧИМ!
ВСЯ ВЛАСТЬ — СОВЕТАМ!»

Обращение подписали 1 декабря пять народных депутатов: А. Д. Сахаров, В. А. Тихонов, Г. Х. Попов, А. Н. Мурашев,

Ю. Д. Черниченко. 2 декабря к ним присоединился Ю. Н. Афанасьев. Затем снял свою подпись Ю. Д. Черниченко.

Чем же мы руководствовались, идя на этот, прямо скажем, экстраординарный шаг? Домыслов было на этот счет немало, вплоть до упреков в несерьезности (это в адрес-то Андрея Дмитриевича! Да и остальные депутаты не новички в политике).

Доводы «за»

Появление обращения было продиктовано развитием событий после 27 ноября 1989 года, когда Б. Н. Ельцин вручил М. С. Горбачеву следующий документ:

«Председателю Верховного Совета СССР
М. С. ГОРБАЧЕВУ

Глубокоуважаемый Председатель!

Сообщаю Вам, что на расширенном заседании совета Межрегиональной депутатской группы принято решение предложить Второму Съезду народных депутатов внести следующие изменения в повестку дня, предлагаемую Постановлением Верховного Совета СССР:

1. Включить вторым вопросом отчет Председателя Верховного Совета СССР о работе первых двух сессий Верховного Совета (с его обязательным обсуждением).

2. Дополнить п. 3 и читать его в следующей редакции: «О внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной Закон) СССР по вопросам избирательной системы, экономической системы (отношения собственности, землевладения и землепользования, статус социалистического предприятия), национально-государственного устройства СССР и политической системы (ст. 6)».

3. Дополнить п. 9 и читать его в следующей редакции: «Сообщение комиссий, образованных Первым Съездом народных депутатов СССР, и комиссии Верховного Совета СССР по привилегиям, образованной первой сессией Верховного Совета СССР».

По поручению Координационного совета Межрегиональной депутатской группы сопредседатель МДГ
Б. ЕЛЬЦИН»

По существу, Межрегиональная группа соглашалась со всем, что предложил обсудить на Втором Съезде Верховный Совет, но хотела несколько расширить и уточнить проект повестки дня.

Этому предшествовали напряженные дискуссии в МДГ.

Разумеется, мы ясно сознавали, что Съезд — не лучшее место для принятия законов, определяющих судьбу перестройки: о собственности, земле и т. д. Мы знали, что Верховный Совет эти законы еще не доработал. Мы знали и о намеченном обсуждении проектов законов в печати. Но в то же время отчетливо понимали, что не может высший орган страны обойти молчанием то, что волнует всю страну.

Получилось так: Съезд не готов к принятию назревших законов, но Съезд не может и делать вид, что этих проектов не существует. И Межрегиональная группа предложила гибкий выход. Вопросы обсуждать. И — если получится — принять первичное решение: по удалению из Конституции отживших статей. Такой вариант не только не отстранял Верховный Совет, не только не отменял дискуссию в печати, но, напротив, обогащал и облегчал предстоящую работу Верховного Совета: и материалами обсуждения на Съезде, и изъятием мешающих новому законодательству статей Конституции. Это была конструктивная программа, способная удовлетворить всех сторонников подлинной перестройки.

Размышляя о Втором Съезде, мы не могли не учитывать двух важных процессов: определенного спада активности демократических сил и роста давления со стороны сил консервативных.

Эйфория, охватившая часть избирателей весной 1989 года, прошла. Оказалось, что ни голосование, ни выступления даже самых решительных депутатов не могут сами по себе изменить ситуацию в стране. Нужна длительная, тяжелая работа каждого члена общества. А к этому многие оказались не готовы. Одно дело проголосовать и ждать итогов откуда-то сверху, другое — засучивать рукава самому.

В среде демократов оказалось немало и тех, кто перестройку видел через призму знакомого по 1917 году подхода: стоит лишь вернуть народу награбленное — и все проблемы разрешатся сами собой.

Выявился и слой интеллигенции, преданной идеям перестройки, но опасающейся взрыва анархии и стихийности, который вернет нас к ситуации 1917 года. Этот слой стал проявлять осторожность и колебания.

Шахтерские забастовки лета 1989 года, заставив Верховный Совет перейти к обсуждению коренных законов перестройки, в то же время отняли долю энергии у наиболее боевой части рабочего класса.

И в национальных движениях обострилась ситуация: как во взаимоотношениях внутри самих народных фронтов, так и в их взаимоотношениях с русскоязычным населением.

Словом, демократическое движение к декабрю 1989 года было менее мощным, чем в период Первого Съезда. Соответственно мы сделали вывод, что есть вполне реальные пределы того, чего можно добиться на Втором Съезде.

Нельзя было не учитывать и активизацию консервативных сил. Аппарат, как мне кажется, до мартовских выборов 1989 года и Первого Съезда всерьез перестройку не воспринимал. И только летом и осенью 1989 года он впервые начал испытывать беспокойство за свою судьбу. К тому же одно дело — выборы на Съезд и другое — предстоящие в 1990 году выборы в республике, городе, районе. Первые для местного аппарата носят скорее символический характер, а от исхода вторых зависит право посещать торговую базу.

На рост страхов у аппарата не могли не влиять события в странах Восточной Европы, когда ни в одной из этих стран коммунистическим партиям не удалось остаться в роли не только единственных, но и просто лидеров перестройки: ни тем партиям, которые сами начали преобразования, ни тем, кого заставил начать перестраиваться народ.

Дальновидная часть нашего аппарата поняла, что надо действовать. Поняла она и то, что без расширения рядов своих сторонников не устоять и, значит, пришло время вернуться к популистским лозунгам 1917 года, вплоть до лозунга полного упразднения всех привилегий, не без основания рассчитывая на привлечение на свою сторону довольно большого слоя людей, для которых уравнительное распределение на мизерном уровне гораздо более приемлемо, чем пусть более весомые, но раздражающие своей дифференцированностью доходы по итогам труда. У этого слоя больший восторг вызывают нищенские бесплатные социальные блага, чем социальные блага в несравнимо более весомом варианте, но связанном с необходимостью лучше работать. Союз этого слоя трудящихся с аппаратом, сдобренный марксистской фразеологией теряющих свои кормушки-кафедры в вузах и НИИ идеологов-наставников, и стал питательной почвой для расширения базы консервативных сил. Этому же служил и примитивный великорусский шовинизм, паразитирующий на действительных бедах России, но толкающий ее на тупиковый путь вражды с другими народами.

Такова была ситуация, и, ясно сознавая ее, МДГ выдвинула компромиссную, временную платформу Второго Съезда и **лозунг объединения всех перестроечных сил на основе минимума радикальных решений**.

В ряде случаев речь шла о варианте, при котором все ограничивалось только обсуждением и давались поручения на будущее в виде деклараций. Например, мы как реалисты не рассчитывали на отмену ст. 6 Конституции — ведь для этого понадобилось бы собрать на съезде $^2/_3$ голосов.

Но мы думали, что у большинства депутатов хватит рассудительности, чтобы «в лоб» не отбрасывать эту проблему, а, например, принять декларацию об обязательной отмене этой статьи в будущем, при принятии новой Конституции. Словом, мы рассчитывали на здравомыслие большинства Съезда и гибкость его руководства.

Не было у нас желания своими невыполнимыми требованиями ставить кого-либо в трудное положение. Это домыслы консерваторов, будто мы хотели диктовать Съезду свою волю. Добиться **обсуждения** — да. Но у нас хватало реализма, чтобы не рассчитывать **на решения**. А вот консерваторам было очень важно изобразить наши предложения как ультиматумы, чтобы прикрыть тем самым ультиматумы **свои**.

После получения письма от МДГ М. С. Горбачев сразу же уехал в длительную зарубежную поездку. С ним уехал и А. Н. Яковлев. На предложения МДГ не было никакой реакции. Можно было официально от Президиума Верховного Совета дать нам отрицательный ответ. Можно было предложить встречу для обсуждения. Можно было ничего не решать, но разослать наши предложения всем народным депутатам СССР. Можно было отреагировать по-разному... Но ничего не было сделано. По существу, имело место открытое игнорирование предложений МДГ.

Повторилась один к одному история подготовки к Первому Съезду. И тогда, когда до Второго Съезда оставалась неделя, все происходило так, будто никаких предложений от МДГ нет и в помине.

А между тем по Москве ходили самые тревожные слухи о предстоящем Пленуме ЦК, о предшествующем ему Пленуме ВЦСПС, о намеченных митингах и манифестациях от имени «трудящихся».

В этой ситуации пассивно ждать начала Съезда было недопустимо. И Андрей Дмитриевич острее всех нас ощущал это. Нельзя ждать, твердил он.

Традиционный наш метод — собрать митинг — не подходил: и из-за сильных декабрьских морозов, и из-за развивавшейся «невосприимчивости» аппарата к митингам.

Тогда и родилась идея прямого обращения к избирателям всей страны. Но обычное обращение за оставшиеся дни должного внимания к себе бы не привлекло. **Необходимо было включить в него что-то такое, что заставило бы всех — и сторонников, и противников — говорить о нем. О нем — и о предстоящем Съезде.**

Так идея обращения к избирателям срослась с идеей двухчасовой **предупредительной забастовки.** Без призыва к забастовке обращение не выполнило бы задач, которые мы возлагали на него. А вот услышав столь необычайный призыв, каждый независимо от своей готовности следовать ему в любом случае должен был задуматься: неужели дела сложились в связи со Вторым Съездом так, что ряд депутатов счел возможным призвать людей к столь крайней мере?

Не было времени ни для того, чтобы собрать Координационный совет МДГ, ни тем более всю МДГ. И мы решили подписать обращение как депутаты, просто каждый от своего имени.

Нельзя было к тому же не считаться и еще с одним обстоятельством. Пленум ЦК мог получить обращение Пленума ВЦСПС, могли быть приняты рекоменда-

ции, которые повернули бы Второй Съезд к торможению перестройки (если не говорить о худших вариантах). Успеть отреагировать на такое решение ЦК за день до Съезда было бы очень трудно.

А наш заблаговременный призыв к предупредительной забастовке настораживал народ и заранее создавал тот настрой, при котором в случае ухудшения политической ситуации в стране в забастовку легко включились бы и все те, кто считал ее ненужной при иных обстоятельствах.

Опровержение аргументов «против»

Было бы неправильно думать, что мы не рассмотрели многочисленные доводы против принципа «шоковой» терапии. Мы ведь сознавали, что на нас обрушится шквал обвинений, и не только со стороны консерваторов.

Довод первый. Призыв к забастовке будет ударом по руководству партии, лично по М. С. Горбачеву, усилит дестабилизацию в стране.

Но почему требование ускорить перестройку, вынести на съезд ее коренные вопросы надо считать антигорбачевским? Почему двухчасовая акция с прекращением работы перед Съездом — это удар по перестройке, а множество партийных, комсомольских, профсоюзных активов, собраний, заседаний, инструктажей, регулярно собираемых в рабочее время и продолжающихся по три — четыре часа и не только не ускоряющих перестройку, а возбуждающих недоверие к ее руководителям бесконечными речами с переливанием из пустого в порожнее,— это, видите ли, не удары?

Почему, если нечто дискредитирующее перестройку делает аппарат — это в порядке вещей, а мероприятие, призванное дать интегральную оценку чуть ли не пятилетним малоэффектным попыткам аппарата руководить перестройкой,— это уже повод для криков «караул»?

И, наконец, должны же мы когда-то привыкнуть к той простой истине, что аплодисменты одобрения — это далеко не всегда помощь перестройке, а жесткая критика — далеко не всегда удар по ней?

Нам говорили: «Призыв к забастовке— игра с огнем. Это дестабилизация неустойчивой системы».

Опять-таки, когда консерваторы в рабочее время привозят на специально заказанных автобусах на свои митинги активистов,— это не дестабилизация. Но если к митингам в рабочее время призвали радикалы — это, конечно, дестабилизация. Выходит, все зависит не от сути дела, а от авторов призывов. Если призыв исходит от аппарата, то это на пользу перестройке, что бы ни делалось. А если от радикалов — то, конечно, он имеет только свойство разрушительное.

Довод второй. Нам говорили: призывайте к чему угодно, но не к забастовке. Это разорительно для нашей экономики.

Как экономист, я знаю, насколько разрушителен срыв даже в одном звене хозяйства, превращающийся благодаря «принципу домино» в цепную реакцию потерь.

Но что делать, если весь наш аппарат все еще отвечает за миллионы тонн, штук, гектаров, голов и ничем другим не интересуется? Что делать, если единственное, на что он реагирует, снижение этих показателей?

Мы, конечно, знали закон о трудовых конфликтах. Однако у нас речь шла не о трудовом конфликте, а о политическом. Мы знали и о предусмотренных законом ограничениях на забастовки. Но мы не призывали нарушать закон ни милицию, ни пограничников, ни энергетиков.

Мы призывали к забастовке всех, для кого она законом не запрещена. Если ото всех требуют соблюдать правила уличного движения, то это не значит, что их должны придерживаться и пожарные автомашины.

Но главное в другом. Мы живем в системе, где ежечасно неэффективно используются десятки миллионов рублей и растрачиваются или разворовываются сотни тысяч. И разве можно считать убытком два часа забастовки, направленной на ускорение демонтажа зияющих черных дыр экономики?

Довод третий. Призывы радикалов могут дать повод активизации консерваторов, в итоге же — анархия и чуть ли не диктатура.

Можно подумать, что консерваторы сидели сложа руки и предпринимали какие-то шаги только в ответ на действия радикалов!

Видимо, предвидя еще даже не сформулированный призыв к забастовке, началась травля Ю. Н. Афанасьева с беспрецедентным требованием устранить его с должности ректора, которую он занимал до выборов (т. е. с явным игнорированием Закона о статусе народного депутата).

Или, быть может, этот наш неизвестный тогда еще аппарату призыв вызвал категорический отказ в издании газеты Межрегиональной группы?..

Довод четвертый. Мы не использовали всех средств, в том числе чисто парламентских, а сразу прибегаем к крайней мере.

Конечно, надо строить правовое государство. Но что можно было ждать от рабочей комиссии по подготовке Съезда, состав которой даже не опубликовали в печати и о дискуссиях на заседаниях которой пресса хранила молчание? Что могли дать наши демарши в аппарате Верховного Совета, если документ был передан его Председателю лично и ответа на него не последовало?

Чего еще нужно было ждать, когда даже ксероксы аппарата Верховного Совета оказались недоступны для Межрегиональной группы? Когда заблокирован счет, на который избиратели перечисляли нам деньги? Когда явно и постоянно нарушались официальные правила о рассылке народным депутатам всех материалов Верховного Совета за две недели до обсуждения и когда депутатам, не членам Верховного Совета, даже не направлялись графики обсуждения в нем тех или иных законов?

Какие еще средства надо было использовать и чего ждать?

Довод пятый. Избиратели не готовы к призыву, и времени на его реализацию не было вовсе.

Да, времени действовать не было. Но ведь именно это заставило нас пойти на определенное обострение.

Избиратели тоже (не все, конечно) не были готовы поддержать призыв. Но ведь именно для того, чтобы они осознали серьезность ситуации, и была задумана забастовка.

В общем, взвесив все возражения и признавая их определенную обоснованность, мы все же пришли к выводу, что аргументы «за» перевешивают аргументы «против». Как заметил Андрей Дмитриевич, пусть уж нас упрекнут в якобы чрезмерном подталкивании перестройки, нежели в том, что мы спокойно наблюдали за попытками ее утопить.

У нас в стране более чем достаточно тех, кто тормозит движение вперед. У нас более чем достаточно и тех, кто видит все трудности и призывает к осторожности. Но движение вперед — это баланс сил. Если будут действовать только силы торможения и умеренной осмотрительности, то центр будет смещаться все больше вправо.

Надо было привлечь внимание к сложившейся вокруг Второго Съезда ситуации, и мы это сделали. В целом — и я сейчас в этом уверен более чем когда-либо — мы поступили правильно.

Реакция на обращение

Только после того как обращение о забастовке стало широко известно, руководство Президиума Верховного Совета наконец нашло возможность встретиться с его авторами. Я (как и Ю. Н. Афанасьев) на этой встрече не был, поэтому не стану ее комментировать.

В беседе участвовали А. И. Лукьянов, Е. М. Примаков и Р. Н. Нишанов с одной стороны и А. Д. Сахаров, В. А. Тихонов, А. Н. Мурашев и Ю. Д. Черниченко (последний, кажется, именно на этой встрече снял свою подпись) — с другой.

Беседа была очень жесткой, и хотя каких-то конкретных результатов она не дала, но все-таки способствовала взаимопониманию. А вполне был реален вариант, при котором Президиум Верховного Совета мог принять ряд предложений МДГ и, соответственно, мы могли бы снять призыв к забастовке 11 декабря. Но этот путь, путь согласия, Президиум не устраивал. Он требовал капитуляции и взял курс на давление, надеясь на раскол МДГ на ее предстоящем собрании.

9 и 10 декабря состоялось собрание всей МДГ. На нем, помимо вопросов предстоящего Второго Съезда, обсуждалось и обращение пяти депутатов.

Были резкие критические отзывы: или о самой сути нашего обращения, или о его несвоевременности, или о его неподготовленности. Но в целом МДГ не оправдала «надежд» Президиума Верховного Совета и предприняла две важные акции.

Первая. 28 народных депутатов присоединились к обращению пяти. Это был очень мужественный шаг. Уже шла в прессе откровенная травля авторов, раздавались призывы лишить тех, кто не последует примеру Ю. Д. Черниченко, депутатских мандатов, а членов партии исключить из рядов КПСС. В этой ситуации подписи 28 депутатов сразу меняли всю картину. Атака на авторов обращения захлебывалась, расчет на то, что МДГ от них отмежуется, что удастся расколоть МДГ и ее руководство, не оправдался. Мне кажется, что избиратели должны знать тех, кто нашел в себе мужество присоединиться к пяти депутатам. Вот их имена: Белоус Н. П., Бирюков В. А., Давитулиани В. В., Задырко В. И., Зубков В. Н., Ельцин Б. Н., Казанник А. И., Козин Э. А., Котов Ю. С., Логунов В. А., Маркевич А. Л., Мисуна И. И., Митин В. С., Павлов А. В., Панов Н. Н., Пашин С. А., Подзирук В. С., Поляченко М. Н., Русских В. Г., Рябцов Б. И., Смайлис А. Ю., Сулакшин С. С., Телегин В. Л., Тутов Н. Д., Черняк В. К., Школьник Л. Б., Юдов А. Е., Ярошенко В. Н. Да, на улице — уже не 37 год!

Особенно важно было то, что провалились и планы тех, кто ожидал раскола МДГ. А такие планы, судя по выступлению на МДГ депутата Крайко (да и некоторых других), существовали.

МДГ, заслушав выступления А. Д. Сахарова и мое, нашла исключительно важный для будущего вариант решения: избиратели призывались к активным действиям во всех формах, забастовка не называлась, но и не исключалась. Категорически осуждалась травля депутатов за их убеждения и действия. За такое решение проголосовало подавляющее большинство МДГ. Я думаю, что решение это тоже целесообразно привести, ведь на Втором Съезде оно так и не было роздано народным депутатам (хотя мы просили его размножить).

«РЕЗОЛЮЦИЯ
в связи с обращением группы народных депутатов СССР о проведении всеобщей политической забастовки

Межрегиональная депутатская группа признает право каждого члена МДГ на самостоятельные политические действия

в интересах радикальных демократических преобразований и заявляет о недопустимости преследования за это в любой форме.

Накануне Второго Съезда народных депутатов СССР Межрегиональная депутатская группа обращается ко всем избирателям с призывом в резолюциях собраний, митингов, письмах, телеграммах и других формах выразить свою решительную поддержку требований о включении в повестку дня Съезда вопроса «О внесении изменений и дополнений в Конституцию СССР (Основной Закон) по вопросам: о статье 6, о собственности, о земле и землепользовании, о местном самоуправлении, о печати.

Принято на Общем собрании Межрегиональной депутатской группы.

Москва, 10 декабря 1989 г.».

Это решение окончательно срывало планы превратить Второй Съезд в арену гражданской казни авторов обращения и похороны МДГ.

Поэтому на состоявшемся 11 декабря совещании представителей делегаций (к слову, явно ненужном органе) речи с призывами об ответственности пяти депутатов поддержки не получили, в повестку дня Съезда вопрос об их ответственности не был включен. Однако я до сих пор не уверен, правильно ли мы поступили, согласившись с таким подходом. Обсуждение нашего обращения на Втором Съезде дало бы возможность прозвучать как минимум пяти нашим выступлениям по важным для страны вопросам.

И, наконец, самое существенное — как реагировала страна на обращение? Никаких официальных оценок мы не услышали — и это был очень хороший признак. Если бы забастовок было мало — наша «свободная» печать, так и не опубликовавшая обращение, нашла бы место для отзыва о провале призыва.

Андрей Андриевич и другие авторы обращения получили массу телеграмм. Проверить их истинность мы, разумеется, не можем. Сводку — далеко не полную — подготовил Клуб избирателей при АН СССР, проводя посмертный разбор почты А. Д. Сахарова. Вот что написано в справке:

«Забастовка получила значительный размах. По самым скромным оценкам (основанным на анализе почты только А. Д. Сахарова, включающей в себя около 500 телеграмм и писем), в ней участвовали десятки тысяч трудящихся во всех регионах страны от Прибалтики до Дальнего Востока и от Армении до Севера европейской части России. В сопутствующих же политических акциях (сборе подписей, собраниях и митингах в поддержку обращения) участие приняли сотни тысяч, а может быть, и миллионы людей...

Наиболее активно поддержали призыв пяти депутатов трудящиеся Западной Украины (и особенно Львовской области, где бастовали коллективы десятков крупных промышленных предприятий и объединений, шахт, научно-исследовательских и проектных институтов, учебных заведений), Армении, Прибалтики (включая Калининградскую область), промышленного Урала, севера европейской части СССР, Москвы и Московской области, некоторых районов Сибири и Дальнего Востока, труженики крупнейших каменноугольных бассейнов — Донецкого, Карагандинского, Воркутинского, Кузнецкого. Правда, во всех угольных бассейнах, за исключением Воркутинского, шахтеры решили забастовку не проводить, но все они единодушно поддержали требования, содержащиеся в обращении. Кроме того, на ряде шахт вопреки принятому региональными комитетами решению забастовки все-таки состоялись.

В Москве и Московской области в тех или иных политических акциях в поддержку обращения участвовали сотрудники практически всех 100 академических научных учреждений. При этом более чем в 20 из них была проведена двухчасовая забастовка. Общество «Мемориал» собрало около 60 тысяч подписей жителей Москвы в поддержку сахаровского декрета о власти, содержащего требование отмены ст. 6. Около 2000 подписей под обращением поставил Институт атомной энергии имени И. В. Курчатова, около 1000 подписей — Московский госуниверситет, где на отдельных факультетах прошли также митинги и забастовки. Собрания, митинги, а в ряде случаев и забастовки в поддержку обращения состоялись в десятках научно-исследовательских, проектных и учебных институтах, школах, научно-производственных объединениях «Квант», «Астрофизика» и др., некоторых крупных промышленных объектах».

Это — материал справки. А из почты приведу тексты двух телеграмм из Львова и из Донецка.

«Андрей Дмитриевич, Ваш призыв 2 часа предупредительной забастовки поддержали на фабрике Карпаты 11/12 89 с 10 до 12 состоялась забастовка. В дальнейшем можете полностью рассчитывать на нашу поддержку. Стачком фабрики Карпаты».

«Мы, коммунисты и беспартийные коллектива, трудящиеся первой смены ордена Ленина шахты Засядько ПО «Донецкуголь» поддерживаем обращение народных депутатов СССР Сахарова А. Д., Тихонова В. А., Попова Г. Х., Мурашева А. И., Афанасьева Ю. Н. о включении в повестку дня Второго Съезда народных депутатов СССР обсуждения 6 статьи Конституции СССР, законов о земле, собственности, предприятии. Телеграмма принята на предупредительной политической забастовке, проведенной 11 декабря 1989 с 6 часов 30 минут до 8 часов 30 минут на нашей шахте. Секретарь парткома Заец Ю. А., директор шахты Звягильский, председатель шахткома Цыбенко, председатель СТК Венжега, председатель стачкома Аверьянов, шахтеры Логачев, Хомяченко и др.».

Как говорится, страна должна знать всех своих героев. Поэтому привожу расклеенную по Москве листовку Объединенного фронта трудящихся (если слово «листовка» применимо к тексту, отпечатанному прекрасным типографским шрифтом на прекрасной бумаге):

«ОСТАНОВИТЬ ПРОВОКАТОРОВ!

2—3 декабря в Москве прошла так называемая «Конференция движений избирателей СССР», на которой присутствовало около 200 человек — представителей «Московского народного фронта», «Мемориала», «Демократического Союза» и разного рода клубов избирателей, созданных при их содействии.

Собравшиеся поддержали призыв некоторых «народных» депутатов из межрегиональной группы о проведении митинга и «всеобщей предупредительной политической забастовки» накануне Второго Съезда народных депутатов, о чем уже круглосуточно вещает с Запада радиостанция «Свобода». Цель акции — оказать давление на депутатов и изменить повестку дня Съезда. Предлагается, фактически свернув всенародное обсуждение и исключив саму возможность референдума, срочно принять Закон о собственности, суть которого — создать условия для распродажи экономики страны в частные руки, то есть посадить на шею трудящимся не только коррумпированных управленцев (не станет ли Чурбанов по окончании отсидки одним из первейших акционеров и частных собственников страны?), но и дельцов теневой экономики вкупе с иностранными капиталистами.

Лидеры межрегиональной группы прекрасно знают о кризисном состоянии экономики страны, разваливающейся **по их академическим рецептам**. Знают, что забастовка усилит **экономическую разруху**, дефицит товаров первой необходимости, продовольствия. Понимают, что обострится накал политических страстей, возникнет угроза открытых столкновений, как это уже было в Закавказье, Молдавии, Прибалтике. Если это не волнует «парламентариев», то уместно задать вопрос: **чьи интересы они защищают?**

Объединенный фронт трудящихся призывает москвичей отвергнуть провокационные призывы, не допустить использования Красной площади для разгула политической демагогии.

Призываем коммунистов и всех трудящихся Москвы поддержать наше обращение. **Мы против великих потрясений**, мы за великое социалистическое ОТЕЧЕСТВО!

ТРУДЯЩИЕСЯ СТРАНЫ СОВЕТОВ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОФТ г. Москвы
4 декабря 1989 г.»

Все подчеркивания — авторов текста. Как видим, ОФТ недостает элементарной логики. Если руководство страной все делает по рецептам лидеров МДГ, то почему же эти лидеры чем-то недовольны и зачем им действовать по линии забастовок? Не проще ли было бы посещать те кабинеты, в которых ОФТ получил разрешение на типографское исполнение своего обращения?

И от мелкого шулерства не удержались авторы листовки. Ведь именно МДГ требовала **всенародного референдума**, а не только «всенародного обсуждения» проектов законов в подконтрольных аппарату средствах массовой информации.

Но подлинный перл листовки — слова «Призываем коммунистов и всех трудящихся Москвы...» Я-то считал, что ОФТ — это хотя бы по форме нечто отличное от партийного аппарата. Но даже в коротеньком тексте руководители ОФТ не смогли избежать, видимо, въевшихся в их сознание райкомовско-горкомовских штампов. Впрочем, избиратели — «и коммунисты, и все трудящиеся» — думаю, смогут сами разобраться, кто же в перестройке выполняет роль провокаторов.

О самом обращении пяти депутатов в целом я хочу сказать следующее. Я до сих пор не уверен, как бы шли события на этом Пленуме и вообще перед Вторым Съездом и на нем, не прозвучи на всю страну наш призыв к забастовке и не создай он в стране соответствующий настрой.

Человек века

Завершая рассказ о последнем обращении к народу, подписанном Андреем Дмитриевичем, мне хотелось бы высказать несколько общих соображений о нем самом как об уникальном феномене нашей эпохи.

Хотя научная деятельность Андрея Дмитриевича Сахарова огромна, и именно она привела его в политику, «человеком века» он стал именно как общественный деятель.

Нам не дано предсказать, за что и как будут ценить политического деятеля будущие поколения. Но современники имеют свой измеритель: отношение человека к главным делам эпохи.

Историю двигали революции. Это правда. Но правда и то, что в поступательном развитии цивилизации огромное значение имели и исторические компромиссы. Революции начинались с деклараций о полном разрыве с прошлым, о необходимости снести до основания старый мир, с веры в собственную непогрешимость и способность создать на века золотую эпоху.

Но проходят годы. Новое — на практике и в теориях — оказывается не столь

уж золотым. И на прошлое теперь приходится смотреть более спокойно. Приходят эпохи компромиссов, которые столь же важны для поступательного развития цивилизации, как и революции.

Эпоха конца XX века характерна именно таким всемирно-историческим компромиссом после десятилетий войн и революций. Мы осознаем приоритет общечеловеческого начала, приоритет исходного единства человеческого рода. И Андрей Дмитриевич стал символом компромисса между участниками социалистического эксперимента и существенно изменившимся в ходе гигантских реформ капитализмом.

Это далеко не случайно, так как именно создатель самого страшного для судеб человечества оружия должен, обязан был стать глашатаем нового мышления. И если имя Андрея Дмитриевича близко избирателям Москвы и демонстрантам Праги, если с ним беседовали Горбачев и Буш, если большинство общественных движений находит в Сахарове что-то близкое себе, то это происходит именно потому, что Андрей Дмитриевич — символ того главного, что характеризует наше время.

Сахаров занял ключевую позицию не только в мировом историческом процессе, но и в нашей перестройке. Россия знала миллионы людей, подавленных гнетом абсолютизма или сменившего его тоталитаризма. Но русский народ, и его интеллигенция в особенности, выдвигали гигантов, выдерживавших — чаще всего чуть ли не в одиночку — этот гнет. Достаточно вспомнить протопопа Аввакума или Александра Радищева. Глубочайшая преданность Андрея Дмитриевича идее прав человека как самодовлеющей первейшей ценности, идее демократии как единственной реальной гарантии свободы человека предопределила значение Сахарова для нашей перестройки, в центре которой стоит именно проблема политической демократии как базы и условия экономического подъема. Все, чего мы достигли при отходе от социализма государственного и казарменного, административного и бюрократического, неразрывно связано с деятельностью Сахарова.

Андрей Дмитриевич стал, наконец, символом и нашего нарождающегося парламентаризма. Март и май 1989 года дали стране немало демократических кандидатов. Но одно дело, когда кандидат решился выступить против конкретного аппаратчика и победить его на выборах, и качественно другая, на несколько порядков более сложная проблема — выступить против аппарата как системы.

И если, объединившись, сначала часть московских депутатов, а затем десятки депутатов со всех концов страны из всех республик создали Межрегиональную группу, если именно депутаты из этой группы, работающие в Верховном Совете, но, как правило, не его члены, «сорвали» вполне обоснованный на старте прогноз Юрия Афанасьева о традиционной для советской системы судьбе этого Верховного Совета, если все же Верховный Совет выдвинул на первый план действительно ключевые для страны проблемы, если с трибуны Второго Съезда прежде всего именно межрегиональные депутаты вместо «слезниц» с просьбами о деньгах для своего региона выдвигали в выступлениях общегосударственные проблемы, то все это неотделимо от усилий сопредседателя Межрегиональной группы Андрея Дмитриевича Сахарова.

Пройдут годы. Страна будет жить в условиях нормальной демократии. Но мы навсегда запомним, как преждевременно состарившийся в советских ссылках, сломивший свое здоровье голодовками протеста и принудительным питанием, сгорбленный и исключительно гордый человек неизменно, не обращая ни на что и ни на кого внимания, поднимался со своего места и открывал неофициальную очередь перед трибуной.

Он боролся. Боролся за то, чтобы не превратить Съезд народных депутатов в нечто антинародное, в очередной аппаратный спектакль с уступками духу времени. Боролся за право любого депутата подняться на трибуну — без просмотренного текста и предварительного согласования фамилии выступающего. И те десятки депутатов, которые сегодня идут к микрофонам, должны всегда помнить: первым это делал, оставаясь часто в единственном числе и порой раздражая зал, именно депутат Сахаров.

Андрей Дмитриевич шагнул в историю. Наша задача — продолжить его дело. Лучшим венком Андрею Дмитриевичу, говорил я на прощальном митинге в Лужниках, будет победа над консерваторами на мартовских выборах 1990 года и в выборной кампании в партии перед XXVIII съездом. Первую победу мы тогда одержали — и в целом по России, и особенно ощутимо в Москве, Ленинграде, в некоторых других местах. Это вдохнуло силы в нашу перестройку. Вторую победу одержать не удалось — это предопределило судьбу партии и наше отношение к ней.

И еще: в России всегда было принято строить храмы-памятники. Мне очень хочется, чтобы миллионы людей поддержали призыв Межрегиональной группы: чтобы были собраны — не более, чем по 10 рублей от одного гражданина, дабы дело это стало поистине демократическим и всенародным,— средства на строительство памятника-мемориала Андрею Дмитриевичу в Москве: Народного Дома Демократии.

А. АВТОРХАНОВ

Происхождение партократии

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ*

Что такое партократия

Уже во времена Аристотеля были известны три главных формы правления — автократия, аристократия (олигархия) и демократия.

Последующая история правовой мысли и государственных образований на протяжении почти двух с половиной тысяч лет не внесла в эту классификацию каких-либо существенных новшеств. Только в начале нашего века в связи с захватом государственной власти в России большевиками появилась новая, доселе неизвестная четвертая форма правления — коммунистическая партократия.

Февральская революция 1917 г. дала России демократию (народовластие, то есть власть всего народа), а совершившаяся через восемь месяцев Октябрьская революция дала России партократию (партовластие, то есть власть части народа). Если даже согласиться с официальной доктриной, что Октябрьская революция была не монопартийной революцией, а революцией целого класса — «пролетарской революцией»,— то и в этом случае она остается революцией незначительной части народа, ибо индустриальный пролетариат составлял в России к 1917 году только 2,5% от общего населения Империи.

Термин «партократия»... представляется автору наиболее адекватным выражением сущности доктрины Ленина о диктатуре коммунистической партии.

Совершим весьма краткий экскурс в историю государства и права.

С тех пор, как человек вышел из первобытного состояния и стал — по Аристотелю — «животным политическим», его мысль постоянно бьется над проблемой создания идеально организованного общежития людей, которое называется государством (в это понятие входит не только постоянная территория, оседлый народ, но и форма правления). Если взять только писаную историю западной цивилизации, то мы действительно констатируем, что «в начале было слово — это слово было Право!». В каких потемках и как долго блуждала бы правовая мысль людей, если бы у колыбели нашей цивилизации не стояло древнее римское право от знаменитых «12 таблиц» (451—450 гг. до Р. Х.), через блистательную плеяду основателей классической римской юриспруденции к началу II века (Гай Цельз, Юлиан, Африкан, Помпоний, Папиниан) и до венца всего прошедшего правотворчества — кодификации Юстиниана (529—534 гг. до Р. Х.)!

В трактатах о праве, философии права и государстве, как древних и средневековых, так и новых и новейших писателей, вопросы природы государства и формы государственного правления всегда занимали выдающееся место.

Платон и Аристотель, а затем и Цицерон объяснили происхождение государства общительной природой человека, тяготением людей друг к другу. В новое время в связи с образованием национальных государств появились новые теории, которые происхождение государства объясняют, напротив, неуживчивостью человека, его стремлением к абсолютной свободе, то есть к хаосу. Поэтому человека надо было приучить к относительной свободе, то есть к уважению свободы другого человека. Это может делать только определенный порядок, установленный людьми в своих взаимных интересах, высшим выражением этого порядка и является государство. Отсюда государство есть продукт разума человека против произвола натурального состояния (Naturzustand) естественного права.

Оно есть результат договора людей. Основатель «договорной теории» Гоббс доказывал, что конец «борьбе всех против всех» и положило государство, когда

все отказываются от своих неограниченных прав в пользу одного — верховной власти государства. Жан-Жак Руссо не был согласен с Гоббсом в том, что, договариваясь с другими, человек выходит из естественно-правового состояния. Объединяясь даже с другими, человек остается свободным. «Свобода неотчуждаема»,— говорит Руссо. Локк утверждал, что человек даже в естественном состоянии облекает себя целым рядом прав, связанных с понятиями свободы и собственности, но в этом состоянии нет обеспечения этих прав, только договор регулирует и обеспечивает их. Все великие философы и правоведы подчеркивают нравственные постулаты права, в основе которых лежит забота об общем благе и справедливости. Аристотель говорит, что государство воспитывает человека в духе добродетели, а Гегель вводит последний момент в развитии идеи воли как раз в области нравственного усовершенствования. Только Кант вопреки моральным основам своего «категорического императива» не видит какой-либо роли морально-этических побуждений в образовании государства. Автор «Критики чистого разума» считает, что высшее начало Права и Государства — чистый разум, в котором вовсе не участвует опыт, поэтому и «договорную теорию» он считает недоказанной гипотезой. «Договорную теорию» отвергали и другие немецкие ученые, противопоставляя ей «органическую теорию» (Государство — «организм», созданный Богом).

Поскольку почти все теоретики права сходились на том, что назначение государства — осуществление нравственного закона, забота об общем благе народа, появилась новая теория, согласно которой историческое назначение государства в том, чтобы стать органом «всеобщего благополучия». Отсюда был только один шаг до самой знаменитой из всех этих теорий, ставшей сразу и действующим правом,— до немецкой теории — «просвещенного абсолютизма» (XVII—XVIII вв.).

В основе данной теории лежала идея, что поскольку цель государства — «благополучие всех», то для ее практического претворения в жизнь государству нужны неограниченные полномочия (абсолютизм).

Вот эта самая теория «просвещенного абсолютизма» и явилась освящением практики полицейского государства (Polizeistaat), когда государство вмешивается абсолютно во все отрасли жизни человека — общественной, хозяйственной, духовной, личной, какой угодно!

Реакцией на теорию и практику полицейского права явилась, наконец, современная западная теория о правовом государстве (Rechtsstaat) с разделением властей: законодательной, исполнительной и судебной. Это правовое государство и есть тип современной западной демократии в разных видах правления (парламентское государство, президиальное государство, конституционная монархия). Уже разнообразие видов демократического государства показывает, что демократия не универсальный ключ и не шаблон. В соответствии со многими факторами и особенностями — историческими, национальными, геополитическими — каждая страна видоизменяет и приспосабливает к своим условиям нормы и институции правового демократического государства.

Однако надо заметить, что со временем и западная демократия претерпела крупнейшие структурные изменения. Между сувереном власти — народом — и носителем народного суверенитета — парламентом — образовалось средостение в виде политических партий. «Прямая демократия», к которой призывал вернуться еще Руссо, превратилась в «косвенную демократию» — от имени народа управляют партии. Всеобщее и прямое избирательное право по существу превратилось также в право западных партаппаратчиков назначать будущих депутатов еще задолго до того, как эти кандидаты в депутаты встанут перед своими избирателями. Народ выбирает собственно не людей, а партии, исходя не из личных качеств депутата, а из предвыборной программы партии. Даже больше. Партиец, ставший депутатом, связанный фракционной дисциплиной своей партии, голосует при принятии законов в парламенте не так, как он сам хочет, а так, как приказывает руководство его фракции. Правда, конституция говорит другое. Так, в Конституции Федеративной Республики Германии сказано: «Депутаты немецкого бундестага... являются представителями всего народа, они не связаны поручениями и указаниями и ответственны только перед своей совестью» (стр. 38). Но депутат, который будет придерживаться буквы и духа данной статьи, игнорируя «поручения» и «указания» партии, не будет выдвинут партией на следующих выборах, а попасть в парламент вне партийных списков практически невозможно.

Исследуя влияние политических партий в системе власти в той же Федеративной Республики Германии, один немецкий профессор права замечает: «Право партий назначать должностные лица является всеобщим злом федерального управления — от коммун и до самого личного кабинета канцлера (Bundeskanzleramt). Партии не терпят около себя других богов. Кто не за них, тот против них... Дистанция между политическим персоналом и «народом» стала еще больше, она сегодня, может быть, еще более значительна, чем была в Веймарской республике или даже в империи Бисмарка. «Государство партий» (Parteienstaat) — основа парламентской демократии — не так уж стабилизировалось, чтобы невозможно было вновь поставить его от имени «народа» под вопрос» (Richard Loewenthal/Hans Peter Schwarz, 25 Jahre Bundesrepublick. Seewald — Ver-

lag, Stuttgart, сборник, статья проф. Вильгельма Генниса).

Вот в этом смысле и современная западная демократия — Parteienstaat — тоже носит некоторые черты партократии, хотя и многопартийной.

Но несомненное преимущество демократии перед советской партократией заключается в том, что, во-первых, чтобы завоевать доверие избирателей, разные политические партии соревнуются между собой не только по выставлению платформ, оптимально учитывающих нужды широких народных масс, но и по проведению в жизнь соответствующих реформ после прихода к власти. Во-вторых, у людей есть действительно выбор между несколькими партийными платформами. В-третьих, партия, оказавшаяся в оппозиции, осуществляет через парламент такой действенный контроль деятельности правительственной партии, что обществу гарантировано соблюдение законов правящей партией. В-четвертых, как правящие, так и оппозиционные партии, как парламент, так и исполнительная власть находятся под неусыпным оком свободной печати, которая никого из представителей власти не щадит — от министра до президента,— если речь идет о злоупотреблении ими властью. В-пятых, если вас не устраивает никакая из существующих партий, то вы можете создать новую партию из своих единомышленников и выступить с нею на выборах. И, наконец, в-шестых, существует независимый высший конституционный суд, который одинаково следит за соблюдением конституции страны и исполнительной властью — парламентом. Словом, в согласии с Черчиллем можно сказать: демократия не есть идеальная форма правления, но она самая лучшая из всех форм, до которых человек до сих пор додумался.

Высказывания Маркса и Энгельса о государстве были оригинальны, хотя и наивны.

Кратко суть учения Маркса и Энгельса о государстве сводится к следующему: 1) государство возникло в результате разделения общества на антагонистические классы; 2) государство есть орудие диктатуры одного класса над другим; 3) в переходном периоде от капитализма к социализму будет существовать временное государство «диктатура пролетариата», понимаемая как диктатура большинства и как одна из форм демократии; 4) с исчезновением антагонистических классов исчезает и государство, оно просто отмирает за ненадобностью.

В «Анти-Дюринге» Энгельс совершенно серьезно доказывал, что первый акт нового пролетарского государства — закон о национализации средств производства — будет вместе с тем и последним его актом в качестве государства. Теперь вместо управления людьми, говорил Энгельс, будет управление вещами. Однако, чтобы доказать всю утопичность марксистской теории о государстве, нужна была победа русских марксистов в России. Правда, сначала сам Ленин находился в плену утопии Маркса и Энгельса. Только этим объясняется, что такой реальный политик, как Ленин, наивно объявлял принципами своей программы после захвата власти следующие положения: 1) в новом Советском государстве будет «плата всем чиновникам при выборности и сменяемости всех их в любое время не выше средней платы хорошего рабочего» («Апрельские тезисы» 1917 г.); 2) Советское государство явится новым «типом государства без полиции, без постоянной армии, без привилегированного чиновничества» (резолюция Ленина на апрельской партийной конференции 1917 г.); 3) Ленин торжествующе цитирует Энгельса: «Общество, которое по-новому организует производство на основе свободной и равной ассоциации производителей, отправит всю государственную машину туда, где ей будет настоящее место: в музей древностей, рядом с прялкой и с бронзовым топором» (Ленин, «Государство и революция»).

Когда Ленин пришел к власти, он убедился в несостоятельности теории Маркса и Энгельса, равно как и в собственной наивности. То, что Ленин хотел ликвидировать — постоянную армию, тайную полицию и привилегированную бюрократию,— как раз и сделалось тремя «китами» новой власти.

Банкротство как утопической теории Маркса и Энгельса об отмирании государства, так и собственной доктрины о «диктатуре пролетариата» заставило Ленина сформулировать принципиально новую теорию о природе советской власти и о ее суверене. Начиная с 1919 года в ряде работ (ответ кадетской партии, дискуссия о профсоюзах, дискуссия с «Рабочей оппозицией», доклады на II конгрессе Коминтерна и на X съезде партии, книга «Детская болезнь «левизны» в коммунизме») Ленин интерпретирует «диктатуру пролетариата» как диктатуру одной лишь большевистской партии. Многочисленны основополагающие тезисы Ленина на этот счет. Приведем только основные. В одном месте Ленин говорит: «Нельзя осуществлять диктатуру пролетариата через поголовно организованный пролетариат... Партия, так сказать, вбирает в себя авангард пролетариата, и этот авангард осуществляет диктатуру» (Ленин, т. XXV, 3-е изд., стр. 64—65). В другом месте: «Диктатуру осуществляет коммунистическая партия большевиков» (Ленин, т. XXV, стр. 193); в третьем месте: «Когда нас упрекают в диктатуре одной партии, мы говорим: «Да, диктатура одной партии! Мы на ней стоим, и с этой почвы сойти не можем» (Ленин, т. XXIV, стр. 423); в четвертом месте: «Мы должны знать и помнить, что вся юридическая и фактическая конституция советской республики строится на том, что партия все исправляет, назначает и строит по одному принципу» (Ленин, т. 31, 4-е изд., стр. 342).

Однако «диктатура партии» — такая же абстракция, как и «диктатура пролетариата». Поэтому важно знать адрес того «авангарда в авангарде», который непосредственно осуществляет «диктатуру партии». Ленин дает нам и этот адрес, когда пишет: «Партией руководит... ЦК из 19 человек, причем текущую работу в Москве приходится вести еще узким коллегиям... Оргбюро (теперь Секретариат.— **А. А.**) и Политбюро... Выходит, следовательно, самая настоящая «олигархия» (если эти кавычки действительно ленинские, то они, разумеется, лишни.— **А. А.**)... Ни один важный политический вопрос не решается ни одним государственным учреждением в нашей республике без руководящих указаний ЦК партии... Таков общий механизм пролетарской государственной власти, рассматриваемый «сверху» с точки зрения практики осуществления диктатуры... Вырастал этот механизм из маленьких, нелегальных, подпольных кружков в течение 25 лет» (Ленин, т. XXV, стр. 193—194).

Вот эта абсолютная диктатура с узким олигархическим руководством на вершине, с закрытым иерархическим партаппаратом по вертикали и многомиллионной базой партийных приживальщиков в основании пирамиды власти — есть явление уникальное не только по своей классической организации, но и по широте и глубине охвата ее влиянием, контролем, руководством всего народа в целом, каждого индивидуума в отдельности. Эти особенности и делают большевистское «государство нового типа» беспрецедентной в истории тоталитарной партократией.

Попробуем определить характерные черты, отличающие партократию как от известных до сих пор форм автократии, так и от так называемых «тоталитарных государств». Подведение коммунистической, национал-социалистической и фашистской систем под одну общую рубрику, к одной общей тоталитарной форме правления является вопиющим недоразумением. Тут соблазнительная мысль обобщения однотипных явлений заслонила собой не только сущность каждой из этих систем, но и гигантскую разницу между ними... Начнем с определения «тоталитаризма». Что такое вообще тоталитаризм?

Вот советское определение:

«Тоталитарное государство — разновидность буржуазного государства с открытой террористической диктатурой наиболее реакционных империалистических элементов. Тоталитарными государствами были гитлеровская Германия и фашистская Италия» *.

Вот английское определение:

«Тоталитарное государство, выражение, используемое по отношению к нацистскому правительству в Германии, к фашистскому в Италии и к коммунистическому в России, в которых существует полная централизация контроля. В тоталитарных государствах политические партии уничтожены или «координированы» в составе одной партии и конфликт между классами скрывается подчеркиванием органического единства в государстве» (Encyclopedia Britanica, vol. 22, p. 313, 1947).

Вот немецкое определение:

«Тоталитаризм представляет крайнюю форму возвышения тенденции к централизации, унификации и одностороннему регламентированию всей политической, общественной и духовной жизни» (Das Fischer Lexikon, «Staat und Politik», S. 294).

К тоталитарным государствам Фишер лексикон также относит национал-социалистическую Германию, фашистскую Италию и СССР.

Таким образом, получается, что цитированные советские и западные источники единодушны в признании национал-социалистического и фашистского государства тоталитарным государством. Они согласны между собой и в том, что главным содержанием тоталитарной системы является ее диктаторская, террористическая, античеловеческая сущность... Но на этом и кончаются совпадения между ними...

Надо заметить, что в основу определения тоталитаризма в западной литературе легла не только практика правления тоталитарных государств, но и доктрина, даже терминология основоположника фашизма Муссолини. Больше того. То, что у Муссолини было лишь целью, идеалом, исследователи признали фактом, то есть долженствующее быть было признано существующим. Отсюда и произошло смешение коммунистической действительности с фашистской мечтой. Это лучше всего видно, если мы обратимся к самой доктрине фашизма по данному вопросу. Так, в статье «Доктрина фашизма» * Муссолини говорит, что для этой доктрины «все — в государстве, ничто человеческое и духовное не существует вне государства... В этом смысле государство тоталитарно и фашистское господство синтезирует и объединяет все ценности, истолковывает, развивает и воплощает всю жизнь народа. Вне государства нет ни индивидов, ни групп...

Фашизм хочет изменить не формы человеческой жизни, а ее содержание, человека, его характер, верование».

Легко заметить, что Муссолини противопоставляет государство народу, ставит государство над народом, он как бы перефразирует и переворачивает известную формулу Линкольна **, чтобы выдвинуть диаметрально противоположную идею «народ от государства, для государства и через государство». Примат государства над правом («Этатическая теория») признавался абсолютным постулатом, тогда как правовое государство (примат права над государством) считалось продуктом слабости и разложения демократии. Но такое всемогущее и вездесущее государство было скорее идеалом, чем действительностью как раз в самой верующей католической, все еще тогда официально монархической Италии. Гитлер преуспел в этом направлении больше, чем Муссолини, но и он был далек от достижения идеала как раз в двух важнейших областях — в духовной жизни и в создании тоталитарной, то есть национализированной, экономической системы. То, в чем преуспели и Гитлер (в большей степени), и Муссолини (в меньшей степени),— это установление монопартийной диктатуры над органами государственного управления, но без уничтожения старой государственной машины. Со временем эта монопартийная диктатура установила свой тотальный контроль над обществом, но тотальным был лишь контроль, а не руководство. Тотального руководства добились только коммунисты.

Суммируя западные определения тоталитаризма, можно сказать, что в его состав входят по крайней мере следующие элементы:

1) тотальный государственный контроль над обществом;

2) система полицейского террористического контроля над гражданами;

3) единственная правящая партия;

4) унификация и регламентация политической, общественной и духовной жизни;

5) ставка на обновление общества;

6) ставка на свою расу (расовая теория и практика нацистов, геноцид большевиками кавказских народов, крымских татар, немцев Поволжья и калмыков во время войны, доктрина «советского патриотизма», антисемитизм под маской антисионизма).

Коммунистическому режиму принадлежит оригинальное право на все эти элементы, кроме последнего («нацизм» Сталин заимствовал у Гитлера). Однако сами по себе они не делают еще тоталитарную форму правления исключительной — ибо в той или иной степени такие черты носят или носили все известные нам из истории автократические или тиранические режимы. То, что коммунистическую власть делает особой, новой формой (или типом) правления — партократией,— заложено в самом источнике и природе этой власти: в воле одной партии. Отсюда — органы партии делаются законодательными и распорядительными органами над государством. Сама воля партии, «воля к власти» и власть воли почти по кантовскому «категорическому императиву» (но без его моральной субстанции!) объявляется абсолютным законом государства и закономерностью общественного развития.

Если бы мы хотели продемонстрировать разницу между ленинской партократией, демократическим правлением и фашистской системой, то можно было бы сказать, что если для Линкольна «правительство народа существует через народ и для народа», если для Муссолини народ существует «через государство и для государства», то для Ленина и правительсво, и народ, и государство существуют через партию, от имени партии и для партии. Отсюда везде и во всем — «культ партии» (Ленин: «Партия — ум, честь и совесть нашей эпохи»).

Сама эта партия не есть обычная партия. Она — «партия нового типа», по справедливому определению самих коммунистов. Новизна ее заключается опять-таки в уникальности ее исторической миссии как заменителя государства и госаппарата, так и в своеобразности ее внутренней структуры. С одной стороны, она закрытая иерархическая организация с кадровым аппаратом, с другой стороны, она открытая массовая партия с многомиллионным членским составом. Поэтому элита партии, актив, как бы представляет собой «партию в партии».

Коммунистическая партия не просто единственная правящая государственная партия, она даже не государство в государстве, она — само государство, но «государство нового типа»... Новизна его заключается в том, что иерархия официальных государственных законодательных органов является лишь исполнительно-административным аппаратом по проведению в жизнь решений и указаний параллельной иерархии формально исполнительных партийных органов. Современное коммунистическое государство может существовать без его официального государственного аппарата, но оно не может существовать без партийного аппарата. Отношения между партаппаратом и госаппаратом являются отношениями не координации, а субординации, этим самым устранен дуализм в правлении.

Параллельное существование заново созданной формальной государственной машины в лице Советов служило технически для помощи партаппарату по управлению государством, политически — для создания «народного» фасада партократическому режиму.

Полицейский характер западных тоталитарных режимов сводится главным образом к установлению общего политического сыска при ликвидации всех гражданских свобод, к надгосударственной роли политической полиции и к праву произвола ее карательных органов против инакомыслящих граждан страны. Словом, политическая полиция как аппарат разведки и контрразведки, суда и экзекуции была обособлена от государства и существовала как самодовлеющая сила. Наоборот, в партократическом государстве вся машина, каждый ее винтик, все ее «приводы», ее идеология и технология власти органически пропитаны всеобнимающим и вездесущим духом чекизма.

* ВСЭ, т. 43, стр. 67, 2-е издание.

* «Итальянская энциклопедия», т. 14, цитируем в переводе М. Вишняка. «Социалистический вестник», 1956, № 9, стр. 169.

** «Government of the people, for the people and by the people».

Поэтому здесь политическая полиция является лишь функциональной величиной, исполняющей профессионально-административные функции одного из винтиков партократической машины. Да, западные тоталитарные режимы унифицировали, регламентировали и контролировали политическую, общественную и духовную жизнь. Но в партократическом государстве никакая жизнь не существует не только вне контроля и регламентации, но и вне руководства. То, что у западных тоталитаристов было идеалом тотального контроля, у коммунистов стало фактом тотального руководства. Даже исходные позиции у них разные — западные тоталитаристы сохранили, как указывалось, старую государственную машину, соответственно фашизировав ее, коммунисты ее уничтожили и создали свою собственную надгосударственную партийную машину; западные тоталитаристы сохранили имущие старые классы, а коммунисты их целиком уничтожили не только экономически, но и физически; западные тоталитаристы запретили политические партии и распустили их, коммунисты их ликвидировали не только политически, но и физически.

Однако главной отличительной чертой коммунизма от западного тоталитаризма явилась, конечно, коренная социальная революция — уничтожение старого общества с его экономической структурой и экономическими принципами и создание нового социального общежития на основе новой экономики, новых господствующих классов и новых экономических принципов. Эта социальная революция, начатая еще Лениным, прерванная вынужденным нэпом, продолженная Сталиным в конце двадцатых годов, сделала коммунистическую партию монопольным хозяином всей русской национальной экономики. Национализация промышленности и земли, национализация рабочего и крестьянского труда как следствие национализации экономики, монополия внешней и внутренней торговли, национализация средств коммуникации, национализация духовной жизни и ее институтов — все это было тоже национализацией «нового типа». Ее новизна заключалась в том, что была легализована беспрецедентная в истории партийная монополия на владение народным хозяйством, при которой не народ, не государство вообще, а маленькая часть народа, то есть партия, монопольно планирует, контролирует, управляет и распределяет богатство страны. Из этого вытекали исключительно важные последствия.

Положив в основу своей экономической политики марксово «бытие определяет сознание», ленинское — «политика есть концентрированная экономика» и сталинское — «каковы условия материальной жизни общества, таковы его идеи», коммунисты приступили к своему эксперименту всемирно-исторического значения. Главная цель эксперимента — переделка социальной, духовной и нравственной природы человека. Партийная монополия на богатства страны самой партией рассматривается не как самоцель, не как источник благополучия и обогащения отдельных членов партии, а как инструмент, как фабрика добровольной или принудительной переделки старых и создания новых, коммунистических людей. Принцип распределения материальных благ советского общества, который гласит, что каждый член общества награждается по труду, затраченному им на пользу общества, на практике применяется так, чтобы способствовать успеху нового эксперимента. При прочих равных условиях компенсация труда и высшее место в социальной иерархии общества зависят от вашего отношения к коммунистической идеологии и от эффективности ваших личных усилий в деле ее претворения в жизнь.

Главный марксистский тезис — «базис» определяет «надстройку», экономика определяет политику, «способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни вообще» * — кладется в основу не только техники властвования, но и в основу коммунистической доктрины о создании нового, коммунистического человека. Однако эта доктрина опирается не только на партийную монополию экономики, но и на партийную монополию политики. Ленин даже подчеркивает в отличие от Маркса примат политики над экономикой, утверждая, что политика не может не иметь первенства над экономикой **. Это значит применительно к доктрине создания «нового человека», что в то время, когда экономика в руках партии является более или менее пассивным фактором косвенного воздействия, политика, то есть власть, является активным фактором прямого воздействия. Поэтому вполне прав советский юрист, который пишет по данному вопросу, что в советском обществе партийное право (политика) «обладает такой огромной силой воздействия на жизнь, на процесс общественного развития, на отношения людей, какой не могло быть во всей предыдущей истории» ***, и что «государство при социализме не ограничивается внешним, формальным регулированием, оно непосредственно организует хозяйственную и культурную жизнь общества, вникает в самое существо жизни, в ее глубинные процессы» ****.

Вот в результате такой роли политических учреждений партии и ее подсобных государственных органов режим партократии добился того, что он не просто контролирует, хотя бы тотально, политическую, общественную и духовную жизнь, как это делали западные тоталитарные режимы. Он идет дальше — он непосредственно управляет политикой, экономикой, культурой, мыслью, вкусом и чувствами людей. Здесь нет возможности рассмотреть интересную проблему — насколько органически и глубоко новый режим владеет своим народом в плане психологическом, но в плане организационном можно сказать, что он владеет им только при помощи гигантской машины физического и духовного террора. В этом-то и тайна крепости, и долголетия партократии...

* К. Маркс. К практике политической экономии. М., 1949, стр. 7.

** В. И. Ленин, т. 32, 4-е издание, стр. 62.

*** М. А. Аржанов. Государство и право в их соотношении. М., 1960, стр. 12.

**** Там же, стр. 14.

Мы сказали, что режим управляет не только политикой и экономикой, но управляет также мыслью и чувствами советских людей. Это вовсе не означает, что он духовно овладел народом. Он овладел аппаратом духовного управления народом...

Таким образом, контроль западного тоталитаризма над обществом являлся тотальным лишь в области политической и условно тотальным — в духовной жизни, тогда как партократия осуществляет не только абсолютный тотальный контроль, но и абсолютное тотальное руководство во всех областях политической, экономической, духовной жизни и деятельности советского человека...

Уникальность этой машины не позволяет ставить ее в один ряд с ее слабыми и далеко не полными копиями. Партократия есть иерархическая система абсолютной политической, экономической и идеологической власти и властвования «партии в партии» — аппарата КПСС, при которой законодательная, судебно-контрольная, распорядительно-собственническая функции слиты воедино и сосредоточены в центральном аппарате партии, а органы управления и распределения дуалистичны: руководящие органы находятся в иерархии партаппарата, исполнительные органы — в иерархии государственного аппарата. Для тех и других органов Конституция СССР имеет формальную, а меняющаяся воля аппарата абсолютную силу.

Даже сама «конституция партии» — устав партии — тоже имеет для них лишь формальное значение. Режим такой тирании, как партократия, не может опираться на какие-либо писаные законы.

История происхождения партократии есть история ленинского ЦК...

До самой Октябрьской революции Ленин возглавлял крайне левое крыло большевизма (правда, бывали исключения), а после прихода к власти он возглавил его крайне правое крыло. В революции Ленин боролся с людьми, которых он презрительно называл «старыми большевиками», подчеркивая этим их консерватизм, а будучи у власти, Ленин борется с «левым ребячеством», с теми, кто заболел «детской болезнью «левизны» в коммунизме». Даже духовный и физический наследник Ленина — Сталин продолжал ту же правобольшевистскую ленинскую линию, пока боролся с «левой оппозицией» Троцкого, с «новой оппозицией» Зиновьева и Каменева в союзе с «правой» группой Бухарина.

Из всех конфликтов с ЦК Ленин в конечном счете выходил победителем, ибо он был не просто большевиком, а необыкновенным большевиком, который в одной руке держал Маркса, в другой — Ницше, а в голове — Макиавелли.

Однако сама ленинская партия и ее ЦК ненадолго пережили своего основателя. Прикованный больше года тяжкой болезнью к постели, но продолжая живо интересоваться состоянием и будущей судьбой партии, Ленин был свидетелем начала ожесточенной борьбы своих учеников и соратников за его политическое наследство — за власть. Каким-то безошибочным внутренним чутьем проницательного политика он пророчески предугадал в этой борьбе и будущего могильщика своей партии — Сталина. Отсюда «Завещание» — письмо Ленина к XII съезду (1923) о снятии Сталина с поста «генсека» и личное письмо к самому Сталину о разрыве отношений с ним. Однако «гвардия Ленина» на свою же голову предпочла умирающему учителю здравствующего «генсека».

История не знает ни одной другой революционной партии, которая прямо-таки по собственному «расписанию» («Что делать?», «Апрельские тезисы», «Марксизм и восстание» Ленина) и с таким блистательным триумфом достигла бы своей стратегической цели — захвата власти, — как большевистская партия, но она не знает также и другой политической партии, которая, утвердившись у власти, так беззаботно и трагически кончила бы свою жизнь, как большевистская партия. Родил ее Ленин, убил Сталин, но убил при помощи оружия, унаследованного у Ленина. Как тактик и стратег революции Сталин не идет ни в какое сравнение не только с Лениным, но и с Троцким, однако как мастер власти он превосходит их обоих, вместе взятых. Разгадку изумительных успехов Сталина на путях к его личной диктатуре я нахожу, кроме всего прочего, в том, что он хирургическими инструментами ленинизма владел лучше, чем их изобретатель. К ленинскому арсеналу оружия Сталин не добавил ни одного нового, но в усовершенствовании и использовании ленинских орудий он открыл новую эпоху в истории большевизма тем, что в «технологию власти» большевиков ввел действительно новый компонент: криминальный метод восхождения к личной власти и криминальный режим управления ею. Ленинская диктатура партийной олигархии, контролируемой Центральным Комитетом как высшей инстанцией, стоявшей и над Лениным, сменилась сталинской тиранией, контролирующей и управляющей самим ЦК. Это произошло через политическое убийство ленинского ЦК и за относительно короткий исторический срок после смерти Ленина — за

пять лет (1924—1929). Собственно, его даже нельзя назвать убийством, это скорее было самоубийство... Но управлял «самоубийцами» Сталин...

Воздавая дань историческим фактам, надо признать, что в «гибридизации» уголовного искусства с политикой Сталин достиг как раз в этот период таких выдающихся успехов, которые делали его претензии на ленинское наследство вполне естественными, тем более что к этому наследству он шел под ортодоксальным ленинским знаменем. Конечно, психологически Ленин — потомственный русский дворянин и дитя западной политической культуры — был сделан из другого материала, чем Сталин — сын опустившегося сапожника и дитя азиатчины,— но тот же Ленин преступления, на которые он не был лично способен, всегда перепоручал Сталину как до революции на Кавказе («эксы»), так и в гражданской войне (руководство групповыми убийствами, например, в Царицыне в 1918 г.).

Ленин, хотя и отрицал в политической борьбе всякую общечеловеческую «внеклассовую» мораль, но в силу своего происхождения («бытие определяет сознание»!) лично не был свободен от значительного груза «буржуазно-дворянских предрассудков», таких, как понятия личной чести, долга и лояльности, иногда даже по отношению к своим политическим врагам (Мартов, Плеханов, князь Кропоткин). У Сталина же коварная аморальность в политике была абсолютна по отношению ко всем, начиная от соратников по партии и кончая его собственными учениками. Ленин, который восхищался аморальностью Сталина, пока Сталин расстреливал «врагов народа» на фронтах гражданской войны, начал призадумываться над его действиями, когда Сталин начал применять ленинскую «классовую мораль» во внутрипартийных делах. Ленин, по словам Крупской, сказал однажды: Сталин «лишен самой элементарной, самой простой человеческой честности» (L. Trotsky, Stalin, p. 375),— и он не только сказал, но и сделал отсюда свои выводы («Завещание», статья «Об автономизации», письмо Ленина Сталину в марте 1923 г. о разрыве личных отношений).

Вот эта абсолютная бесчестность Сталина и обусловила его победу над Лениным, пользуясь его же «моральным кодексом» (невыполнение ленинским ЦК воли своего учителя о снятии Сталина как «нелояльного» с поста генсека), и над его честными соперниками... Если бы даже в распоряжении историка больше не было ничего, достаточно одних официальных документов XX и XXII съездов КПСС, чтобы сказать, что Сталин был гениальный уголовник от политики, государственные преступления которого узаконивало само государство. Из амальгамы уголовщины с политикой и родился уникум: сталинизм... Как бы партийные историки и теоретики ни изощрялись в своих усилиях доказать, что Сталин и сталинская инквизиция не выросли из самой монопартийной системы и что практика «культа личности» Сталина якобы результат «извращения» «ленинских норм», внимательное изучение теории ленинизма и практики Сталина привело меня к заключению: истоки сталинизма надо искать, во-первых, в тоталитарной «философии власти» Ленина в виде его учения о «диктатуре пролетариата» как «новом типе» государства; во-вторых, в тиранической системе организации этой диктатуры, которую, по Ленину, может осуществлять непосредственно не сам «пролетариат», а только его «авангард» — аппарат ЦК большевиков, в-третьих, в криминальном происхождении сталинского крыла большевизма (знаменитая кавказская «боевая дружина» «эксов» — террористов для убийства «врагов» и ограбления банков, магазинов, почт во главе с Кобой — Сталиным и Камо — Тер-Петросяном); и, наконец, в-четвертых, в криминальном образе мышления самого Сталина. Ленин учил, и Сталин хорошо усвоил следующий ведущий принцип ленинской «философии власти»:

«Научное понятие диктатуры означает не что иное, как ничем не ограниченную, никакими законами, никакими абсолютно правилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающуюся власть» (Ленин, т. 25, 3-е изд., стр. 441).

Даже диктатуру одного человека, одного «вождя» подсказал Сталину Ленин. Когда немецкие левые коммунисты начали критиковать свое официальное партийное руководство за то, что оно вместо «диктатуры масс» мечтает установить «диктатуру вождей», Ленин ответил: «Договориться... до противоположения вообще диктатуры масс диктатуре вождей есть смехотворная нелепость и глупость» (там же, стр. 189). Оба эти принципа Ленина Сталин положил в основу своей интерпретации ленинизма еще в 1924 году (см. «Вопросы ленинизма», стр. 116, 128). Очень характерно, что третий ведущий принцип ленинизма, сформулированный Лениным в 1920 году, Сталин обходил во всех своих писаниях полным молчанием, чтобы не выдать своего сокровенного замысла. Вот что гласит этот принцип:

«Советский социалистический централизм единоличию и диктатуре нисколько не противоречит, что волю класса иногда осуществляет диктатор, который иногда один более сделает и часто более необходим» (Ленин, там же, стр. 119).

Через того же Ленина Сталин заимствовал идею Маркса о разгроме старой государственной машины и применил ее как раз к ленинской партийно-государственной машине — к разгрому ленинского ЦК. Сталин правильно рассчитал, что путь к указанному Лениным единоличному правлению, к диктатуре одного вождя, лежит через ликвидацию думающей идейной части партии...

В деле осуществления этой цели исключительную роль в руках Сталина сыграла резолюция Ленина на X съезде о введении в партии «осадного положения», названного «единством партии». Но и здесь Сталин, выступая за точное выполнение «ленинских норм», запрещающих инакомыслие в партии, все же превзошел учителя по методам действия и масштабу произвола...

Инакомыслие надо было предупредить еще до того, как оно оформилось или даже выявилось. Отсюда концепция Сталина о росте армии потенциальных «врагов народа» при «победоносном» восхождении к коммунизму, отсюда же и его превентивный террор против этих потенциальных «врагов народа».

Вот здесь-то Гитлер подал Сталину предметный урок и подсказал неоценимую идею убийства не только оппозиционных деятелей (ген. Шлейхер), но и своих близких соратников во главе с Ремом за «заговор», который, разумеется, никогда и никем не был задуман. Через пять месяцев после этого убийством своего близкого друга и старого большевика Кирова Сталин приступил к организации целой серии «заговоров» старых большевиков и полководцев гражданской войны для их физического уничтожения. Но Сталин и здесь превзошел Гитлера тем, что сумел заставить свои жертвы клеветать на самих себя, сознаваться в организации ими мнимых заговоров, убийств, в шпионаже, вредительстве, саботаже, с такими фантастическими подробностями, что должно было оправдать в глазах внешнего мира расправу Сталина с партией Ленина как партией заговорщиков, убийц и шпионов...

Политика есть уравнение со множеством неизвестных. Если бы эти неизвестные можно было наперед расшифровать, то человеческая история, хотя и гармоническая, но лишенная внутреннего драматизма, была бы невероятно скучна: тысячи королей, правителей, тиранов, чтобы умереть своей смертью, отказались бы от трона еще до того, как они взошли на него, сотни войн остались бы необъявленными, десятки организованных революций вообще не состоялись бы, дабы они не «сожрали своих детей». Я осмеливаюсь утверждать, что и Октябрьская революция тоже не состоялась бы, если бы ее организаторам было дано знать, что их ждет в результате победы. В самом деле, бросим беглый взгляд на судьбы «отцов и детей» Октября:

Из 29 членов и кандидатов ЦК, руководивших Октябрьской революцией, три человека убито врагами (Джапаридзе, Урицкий, Шаумян), пять человек умерли своей смертью до сталинской диктатуры (Ленин, Дзержинский, Ногин, Свердлов, Сергеев — Артем), двое покончили жизнь самоубийством из-за Сталина (Иоффе, Скрипник), трое оказались в опале (Муранов, Стасова, Коллонтай), 15 человек расстреляны Сталиным (Берзин, Бухарин, Бубнов, Зиновьев, Каменев, Киселев, Крестинский, Ломов, Милютин, Преображенский, Рыков, Смилга, Сокольников, Троцкий (убит агентом Сталина), В. Н. Яковлева, двадцать девятым был сам Сталин.

Из 30 руководителей Военно-революционного Комитета при Петроградском Совете (кроме членов ЦК) — этого высшего органа военного руководства октябрьским восстанием — семь человек умерли или убиты до диктатуры Сталина (Аванесов, Гусев, Еремеев, Лазимир, Садовский, Склянский, Чудновский), один покончил жизнь самоубийством из-за Сталина (Лашевич), двое оказались в опале (Подвойский, Самойлов), 18 человек были расстреляны Сталиным (Антонов-Овсеенко, Анцелович, Бокий, Голощекин, Дыбенко, Залуцкий, Карахан, Кедров, Крыленко, Лацис, Мехоношин, Невский, Павлуновский, Петерс, Позерн, Уншлихт, Чубарь, Юренев), в живых были оставлены двое (Мануильский, Молотов).

Из 16 членов первого советского правительства четверо умерли до диктатуры Сталина (Ленин, Ногин, Луначарский, Скворцов-Степанов), а 12 человек уничтожены Сталиным (Авилов, Дыбенко, Каменев — предс. ВЦИК, П. А. Кобозев, Крыленко, Ломов, Милютин, Овсеенко, Рыков, Теодорович, Троцкий, Шляпников).

Из 16 командующих фронтами Красной Армии в гражданской войне — трое умерли своей смертью (Егорьев, Лебедев, Самойло), один убит большевиками (левый эсер М. А. Муравьев), судьба одного неизвестна (В. В. Яковлев), один умер от операции, которую Сталин предложил сделать против воли больного (Фрунзе), а десять человек расстреляны Сталиным (Антонов-Овсеенко, Берзин, Гиттис, Егоров, Петин, Свечников, Сытин, Тухачевский, Шорин, Якир).

Из трех главнокомандующих всеми вооруженными силами советской России — два расстреляны Сталиным (Крыленко, Вацетис), а третий объявлен «врагом народа» посмертно (Каменев).

Даже из трижды вычищенного ЦК в 1934 году Сталин расстрелял 98 старых большевиков (70 процентов всего членского и кандидатского состава ЦК).

Вот если всем этим организаторам Октябрьской революции и полководцам Красной Армии в гражданской войне заранее было бы известно, что в результате их победы не только они сами будут убиты ими же созданным режимом, но и режим этот выродится в беспрецедентную тиранию одного из них, то просто нелепо думать, что они вообще стали бы на путь революции. Против данного утверждения можно привести веский яркий пример: Троцкий в своем «Завещании» в феврале 1940 года писал, что если бы ему пришлось еще раз заново начинать свою жизнь, то он ее повторил бы так, как у него сложилась настоящая жизнь, присовокупляя, что он был и умрет революционером марксистом, коммунистом...

Конечно, такой человек, как Троцкий, не мог не только иначе писать, но иначе и думать, тем более что он не знал, какая судьба его ожидает впереди. Но если можно было бы поставить перед Троцким 24 октября 1917 года вопрос: власть, которую ты захватишь, перейдет к твоему палачу из твоей же партии, он установит в стране режим перманентной инквизиции, убьет твоих сыновей, расстреляет всех твоих единомышленников вместе со всей «ленинской гвардией», наконец размозжит и тебе голову альпийской киркой в заокеанском изгнании,— согласен ли ты даже при таких условиях совершить революцию и взять эту власть? Думать, что Троцкий дал бы положительный ответ на такой вопрос 24 октября 1917 года,— значит допустить, что он был явно ненормальным...

«Эксы»

Чтобы лучше понять развитие большевизма — от триумфа ленинского ЦК в Октябрьской революции и до его гибели после смерти Ленина,— чтобы документально проследить генеалогию будущего сталинского большевизма, надо остановиться на истории зарождения криминального течения в большевистской партии — на истории кавказских «экспроприаторов», которых на партийном языке называли сокращенно «эксами». Здесь впервые в истории политической мысли и политических движений мы присутствуем при рождении политико-уголовного «гибрида», когда для осуществления политической цели программы (захват власти) проповедуются и применяются чисто уголовные методы (убийства, грабежи, поджоги, фальшивомонетничество). Вот этот гибрид и родился в революции 1905 года в качестве «боевых дружин» рабочей самообороны. Однако Ленин решил сохранить их и после поражения революции для двух целей: 1) добывать для партии деньги путем «экспроприации экспроприаторов» и 2) убивать шпионов, «черносотенцев» и «начальствующих лиц полиции, армии и флота».

Формулу Маркса, что во время пролетарской революции происходит лишь «экспроприация экспроприаторов», Ленин перевел на понятный русский язык — «грабь награбленное» (через год после установления большевистской власти Ленин суть большевизма как раз и свел к этому. Он сказал:

«Прав был старый большевик, объяснивший казаку, в чем заключается большевизм. На вопрос казака: а правда ли, что вы, большевики, грабите? — старик ответил: «Да, мы грабим награбленное» (Ленин. Собр. соч., т. 22, стр. 251).

Оправдывает ли цель любые средства, допустимо ли в борьбе против самодержавия применение метода политического бандитизма, чтобы «грабить награбленное» в пользу партии и убивать противников для развязывания новой революции? На эти вопросы обе фракции РСДРП отвечали по-разному.

Мартов и меньшевики отвергали всякие уголовные и аморальные средства в борьбе с врагом, не отрицая в принципе организованное насилие от имени партии и рабочего класса, если страна находится в полосе революции.

Напротив, Ленин и некоторые из большевиков считали уже одну постановку вопроса о средствах моральных и аморальных, о методах и формах, допустимых и недопустимых в политике, не только «оппортунистической», но и преступной. Ленин впоследствии обобщил свой взгляд на этот счет.

«Революционный класс для осуществления своей задачи должен уметь овладеть всеми, без малейшего исключения формами и сторонами общественной деятельности... Всякий согласится, что неразумно или даже преступно будет поведение той армии, которая не готовится овладеть всеми видами оружия, всеми средствами и приемами борьбы... К политике это еще более относится, чем к военному делу» (Ленин. Собр. соч. т. 25, 3-е изд., стр. 232).

Вопрос о «боевых дружинах», о «партизанской войне» (то есть об «эксах») обсуждался на двух совместных съездах большевиков и меньшевиков. Разбор позиции на этих съездах по данному вопросу проливает свет не только на дальнейшую эволюцию уголовного крыла в самой большевистской партии, но и на глубокую пропасть, которая образовалась между большевизмом и меньшевизмом как раз в области «моральной философии» самой революции. По существу, обе фракции в политической борьбе исходили из диаметрально противоположных этических принципов. Ничто так ярко и в то же время так документально не характеризует две этики двух фракций РСДРП, как сравнение проектов резолюций большевиков и меньшевиков «О партизанских выступлениях» на IV съезде, решение самого съезда по данному вопросу против Ленина, а также борьба Ленина с неугодным ему решением.

Ленин представил съезду проект, который, исходя из того, что революция в России продолжается в виде «партизанских нападений на неприятеля», предлагал: во-первых, «партия должна признать партизанские боевые выступления дружин, входящих в нее и примыкающих к ней, принципиально допустимыми», во-вторых, «допустимы также боевые выступления для захвата денежных средств» («Четвертый (объединительный) съезд РСДРП. Протоколы», 1959, стр. 481, 482).

Меньшевики внесли проект резолюции, в котором говорилось:

«Принимая во внимание, что деклас-

сированные слои общества, уголовные преступники и подонки городского населения всегда пользовались революционными волнениями для своих антисоциальных целей и революционному народу приходилось принимать суровые меры против вакханалии воровства и разбоя; наконец, что важнейшая сила революции заключается в ее морально-политическом влиянии на революционные массы, на общество и на всю армию, что дезорганизуя государственную власть, она ставит целью не общественную анархию, а организацию общественных сил,— съезд постановляет:

а) бороться против выступлений отдельных лиц или групп с целью захвата денег под именем или девизом с.-д. партии;

б) избегать нарушения личной безопасности или частной собственности мирных граждан;

в) разрушение и порчу казенных зданий, железных дорог и других сооружений, казенных и частных, производить только в тех случаях, когда с этим сопряжена непосредственная боевая цель;

г) капиталы Государственного банка, казначейства и других правительственных учреждений не захватывать, кроме как в случае образования органов революционной власти и по их указанию; при этом конфискация народных денег, собранных в казенных учреждениях, должна происходить гласно и при полной отчетности. Оружие и боевые снаряды, принадлежащие правительству, захватывать при всех представляющихся возможностях» (там же, стр. 528).

Сначала оба проекта обсуждались на комиссии съезда. К немалому огорчению Ленина, большинство его фракции на комиссии отвергло резолюцию «о партизанских выступлениях» и присоединилось к проекту меньшевиков. Об этом докладывал съезду меньшевик Н. Череванин:

«Представляя съезду проект резолюции по поводу партизанских действий, я должен заявить, что работа комиссии по этому вопросу весьма упростилась, так как товарищи из большинства (то есть из большевистской фракции.— **А. А.**) пришли к соглашению с нами» (там же, стр. 401).

Тяжесть поражения Ленина и его собственной фракции выявилась при голосовании. На съезде присутствовало 62 меньшевистских и 46 большевистских делегатов. Первая важнейшая часть меньшевистской резолюции до пункта «г» была принята 68 голосами против четырех большевиков, в том числе и Ленина, 20 человек воздержались при голосовании (там же, стр. 462).

Однако Ленин и не думал подчиниться этому решению верховного органа партии, несмотря на то, что в данном вопросе его дезавуировала его собственная фракция. Через пять месяцев после съезда Ленин писал в «Пролетарии»:

«Когда я вижу социал-демократов, горделиво и самодовольно заявляющих: мы не анархисты, не воры, не грабители, мы выше этого, мы отвергаем партизанскую войну, тогда я спрашиваю себя: понимают ли эти люди, что они говорят?..» (Ленин. Собр. соч., т. 10, стр. 86).

Ленин определенно этого не «понимал». Он добавлял:

«Говорят: партизанская война приближает сознательный пролетариат к опустившимся пропойцам, босякам. Это верно. Но отсюда следует только то, что никогда партия пролетариата не может считать партизанскую войну единственным или даже главным средством борьбы» (там же, стр. 86).

Кончая статью, Ленин как бы нечаянно обмолвился, что спор тут идет, собственно, о возникновении нового направления в большевистской фракции, хотя факт такого направления он отрицает. Вот слова Ленина: «Мы далеки от мысли видеть в конкретной оценке тех или иных партизанских выступлений вопрос *направления* в социал-демократии» (там же, стр. 88, выделено Лениным.— **А. А.**).

В том-то и суть спора, что под духовным водительством Ленина в самой фракции большевиков начало зарождаться новое политико-уголовное направление, над которым он скоро, находясь за границей, потеряет всякий контроль.

Когда 15 августа 1906 года по решению Польской партии социалистов в ряде городов Польши (в Варшаве, Лодзи, Радоме и Плоцке) была совершена серия террористических актов и убиты десятки городовых и русских солдат, что вызвало протест ЦК РСДРП против действий польских социалистов, Ленин выступил по этому вопросу со специальной статьей «К событиям дня». В ней Ленин писал:

«Безусловно, ошибается и глубоко ошибается ЦК нашей партии, заявляя: «Само собой разумеется, что так называемые «партизанские» боевые выступления, по-прежнему отвергаются партией. Это неверно... Мы советуем всем многочисленным боевым группам нашей партии прекратить свою бездеятельность и предпринять ряд партизанских действий на точном основании решений съезда... с наименьшим «нарушением личной безопасности» мирных граждан, с наибольшим нарушением личной безопасности шпионов, активных черносотенцев, начальствующих лиц полиции, войска, флота *и так далее и тому подобное*» (Ленин. Собр. соч., 3-е изд., т. 10, стр. 45—47, последние слова выделены Лениным.— **А. А.**).

Между прочим, эти слова Ленина решительно опровергают содержащуюся во всех учебниках легенду, что Ленин и большевики в отличие от народников и эсеров якобы выступали против индивидуального террора. Депутат Второй Государственной думы от большевиков, в то время близкий соратник Ленина — Григорий Алексинский — сообщает историю возникновения «экспроприаторов»:

«В период времени 1906—1910 годов большевистская фракция управлялась

малым комитетом, существование которого было скрыто не только от глаз полиции, но также и от членов партии. Этот малый комитет, в который входили Ленин, Красин и еще одно лицо, которое держится теперь в стороне от политики (написано в 1921 г., третьим лицом был А. Богданов.— А. А.), особенно занимался финансами партии. В постоянных поисках денежных ресурсов комитет избрал простое средство пополнения кассы. Это средство то самое, которое много позже употреблял Бонио... но Бонно оперировал лично, тогда как большевистская троица ограничивалась общим руководством... Грабили почтовые отделения, вокзальные кассы, поезда, устраивая предварительно крушения» (LeMatin, 9 Septembre, 1921 г.).

На пятом съезде партии (апрель—май 1907 г.), где фракция большевиков имела большинство делегатов, виовь обсуждался вопрос об «эксах». Докладчик ЦК Мартов доложил съезду:

«Так называемый партизанский террор и экспроприации разлились широкой рекой... Усиливая репрессии правительства, терроризируя буржуазное населенне и тем толкая его в сторону реакции, террор и экспроприации в то же время дезорганизовывали революционные элементы пролетариата и примыкающей к иему молодежи, внося зачастую крайнюю деморализацию в их ряды...» («Лондонский съезд РСДРП. Полный текст протоколов», 1909, стр. 71).

После революции большевистский историк Ем. Ярославский авторитетно засвидетельствовал по этому поводу:

«Отношение к экспроприациям в партии было различное. В то время, как большевики признавали частичную экспроприацию, меньшевики лицемерно заявляли, что они против экспроприации... Была опасность, что экспроприации могут выродиться и иногда вырождались в анархистские выступления и даже бандитизм, когда группа эксов тратила добытые экспроприацией средства на свои личные нужды...» (Ем. Ярославский, «Очерки по истории ВКП (б)». Москва, 1938, стр. 194).

По этим причинам пробольшевистский съезд, который принял все резолюции в духе Ленина, одиу резолюцию «О партизанских выступлениях» принял и против Ленина. По даиному вопросу съезд решил: «В настоящий момент сравнительного затишья партизанские выступления неизбежно вырождаются в чисто анархистские приемы борьбы.... Боевые дружины, существующие при партийиых комитетах... неизбежно превращаются в замкнутые заговорщические кружки, деморализуясь, вносят дезорганизацию в ряды партии,— принимая все это во внимание, съезд признает партизанские выступления нежелательными и съезд рекомендует идейную борьбу с ними» («КПСС в резолюциях», 1953, стр. 162).

Лении не посчитался и с этим решением большинства V съезда. Сейчас же после съезда ои приступил к подготовке новой «экспроприации», наиболее знаменнтой из всех большевнстских «экспроприаций» до революции. Проведение даниой «экспроприации» Ленин поручил неизвестному делегату V съезда, но весьма известному в Тифлисе «боевику» и «экспроприатору» Сосо Джугашвили, который в результате выполнения этого ленинского задания, собственно, и стал Сталииым...

Первая личная встреча Сталина с Леииным пронзошла в декабре 1905 года иа конференции в Таммерфорсе. Второй и третий раз Сталин видел и слушал Ленина на IV и V съездах партии, где Сталин присутствовал как делегат с совещательиым голосом от Тифлиса. На V съезде Сталин присутствует под кличкой «Иванович», но на Кавказе он известеи под кличкой «Коба» (Сталин взял эту кличку из повести «Отцеубийца» грузинского классика князя Казбеги, главный герой которой — Коба — воплощает в себе ие только бесстрашный личный героизм, но и беспримерную верность идеалам гуманизма и дружбы!).

Однако самая важная встреча, которая в конечном счете привела Сталина на верхний этаж партии, произошла у него с Лениным в 1907 году в Берлине. Об этой встрече пишет Анри Барбюс в своей книге «Сталин». После беседы с Лениым Коба уехал в Тифлис, но в том же году еще раз приезжал в Берлин, чтобы вновь встретиться с Лениным. Сам Сталин упомянул однажды в интервью с иемецким писателем Людвигом, что он бывал в Берлине, однако в официальной биографии Сталина никогда не разрешалось писать о столь важнейших его двух встречах с Лениным, хотя сообщения об этих встречах Барбюс приводит со слов грузинских старых большевиков и с ведома Сталина. В чем же тогда дело? Если свидание Сталина с Лениным в Берлине накануне или сейчас же после V съезда (съезд закрылся 19 мая 1907 г.) можно считать фактом достоверным, то содержание беседы между ними навсегда осталось секретным. Это можно объяснить только тем, что предметом беседы был как раз вопрос об организации «экспроприации», которую запретил V съезд. Хорошо информированный Троцкий писал:

«Если Ленин совершил специальное путешествие в немецкую столицу для такой встречи, то во всяком случае не ради теоретических «бесед». Встреча могла состояться либо до или, еще более вероятно, сейчас же после съезда партии, и почти несомненно, что она была посвящена предстоящей экспроприации, добыче денег и т. д.».

Почему же встреча произошла не в Лондоне, а в Берлине? — спрашивает Троцкий. Отвечая на этот вопрос, Троцкий говорит, что весьма вероятно, что Ленин не хотел встречаться с «Ивановичем» на глазах царских и других шпионов, присутствовавших на съезде в Лондоне, к тому же, возможио, что на встрече присутствовало и третье лицо, не имевшее никакого отношения к съезду партии (L. Trotsky, Stalin, p. 108). Троцкий не иазывает его имени. Но мы знаем, что это «третье лицо» — Камо — черев месяц прославится на весь мир как руководитель самого дерзкого в истории царской России бандитского налета.

Встреча между Леииным, Кобой и Камо произошла, по всей вероятности, после 19 мая. Через месяц — 26 июня 1907 г.— произошла и зиаменитая тифлисская «экспроприация».

Прежде всего, кто такой Камо? Настоящая его фамилия Тер-Петросян. Ои, как и Сталин, родился в Гори, почти его ровесник (Камо моложе Сталиа только на два года). В официальной биографии, которая вышла в БСЭ в 1937 году, сказаио: «Камо — большевик, активнейший кавказский боевик. Герой партизанских выступлеиий. Камо — ученик Сталина... Камо организовал ряд крупных экспроприаций... В 1907 г. приинял участие в известной экспроприации в Тифлисе на Эриванской площади. В связи с этой экспроприацией был арестован 22.11. 1907 г. в Берлине...» (БСЭ, т. 31, 1 е изд. 1937, стр. 133).

Однако во втором издаиии БСЭ, которое было подготовлено еще при жизни Сталина и вышло в 1953 г., в биографии Камо нет ни одного слова об «экспроприациях», в том числе и о такой знаменитой, как тифлисская, хотя самой биографии Камо уделено в два раза больше места чем в первом издании.

Наиболее опасной экспроприацией из всех «эксов» 1906 года было ограблеиие в Чиатури группой Кобы — Камо почтового поезда в ноябре 1906 года; из награбленных 21 тысячи рублей «эксы» направили большевистскому центру 15 тысяч рублей. Значительные деньги к Ленину пошли и от других «экспроприаций» — на корабле «Николай I» и в Бакинском порту.

Разрабатывая доктриму о «партизаиской войне», о «боевых дружинах» и об «экспроприациях», Ленин недаром обратил свои взоры именно на Кавказ, а среди своих кавказских учеников особо выделил для этой цели двух «боевиков» — Кобу и Камо. На это были исторические и персональные причины. На одну из исторических причии указывал еще Троцкий:

«На Кавказе, с его ромаитической традицией грабежей и кровавой междоусобицей, которая все еще живуча и сейчас, партизаиская войиа находила любое число бесстрашных практиков. Более тысячи террористических актов всех видов было совершено в Закавказье только за время первой русской революции 1905—1907 гг.» (L. Trotsky, Stalin, p. 96).

Персональные причины были не менее важные. Из всех кавказских большевиков Коба и Камо не только беспрекословио поддержали доктрину Ленина об «эксах», ио и сама эта доктрииа родилась в голове Леиина как результат практического опыта по проведению «ряда экспроприаций» иа Кавказе «боевой дружиной» Камо под иепосредственным руководством Кобы. Тифлисская «экспроприация» 1907 года и явилась прямым результатом берлинской встречи...

Ученик Сталина — Камо — являл органическую смесь социального бунтаря, выдающегося авантюриста и героического бандита с уму непостижимой силой воли. Все эти его качества сказались как раз в тифлисской «экспроприации». Вкратце история следующая.

Вернувшись в Тифлис после свидания с Лениным в Берлине, Коба создал из наиболее смелых «экспроприаторов» нечто вроде свободиой баиды числом, по показаниям свидетелей, около пятидесяти человек. Цель банды — вооружеиные нападеиия и «экспроприации» денег Государствеиного банка в Тифлисе во время их перевозки. Руководителем Коба назиачил Камо, переодев его в форму бравого офицера, ему была придана «разведка», в которой участвовали и две грузинки-большевички. Банда была разбита на мелкие группы и «расквартирована» вокруг Эриванской площади, на которой было намечено нападение. Явился ли сам Коба на площадь, чтобы лично руководить «операцией»? Троцкий пишет, что в партийных кругах личное участие Кобы в тифлисской экспроприации считалось бесспорным, и добавляет, что и он был этого мнеиия до 1932 года, но что дополнительное изучение вопроса убеждает его, что лично сам Сталин не участвовал в «экспроприации», а только был «советииком» Камо. Аргумеитация? Можио сослаться на ряд советских книг, в которых иет иикаких указаний на личное участие Сталииа, плюс молчаиие самого Сталина. «Убеждеиие» Троцкого иеубедительно.

Об участии Сталина в тифлисской «экспроприации» никогда не писали в СССР только потому, что сам Сталин это запретил. Став во главе великого государства, Сталин не хотел выглядеть «кавказским бандитом», хотя бы и героическим (бывший американский посол в Москве Буллит: «Рузвельт думал, что в Кремле сидит джентльмеи, но там сидел бывший кавказский бандит). Есть у Троцкого тут и некая личиая «корысть» — он ие хочет признать в Сталине героя, хотя бы и уголовного.

Вериемся к тифлисской «экспроприации». Оиа произошла около 11 часов дия 26 июня 1907 г., когда Эриванская площадь была полиа людей. В это время иа площадь в сопровождении эскорта казаков въехали два экипажа, которые везли большую сумму денег. Немиого ранее на площади были замечены два фаэтона: в одном сидели две женщины, в другом — мужчина в офицерской форме. Как только экипажи с деньгами показались на площади, лицо в офицерской форме подало команду — и словно из-под земли выросло около полусотни людей, иа экипажи и на казачий эскорт посыпались бомбы, в том числе из той подводы, на которой сидели женщины. Результат: три

человека убито, более 50 ранено. Бандиты, захватив, по одним сведениям 340, по другим — 250 тысяч рублей исчезли с такой же молниеносной быстротой, с какой и появились.

Описывая эти подробности грабежа, газета «Новое время» свою корреспонденцию «Герои бомб и револьверов» кончила восклицанием: «Только дьявол знает, как этот грабеж неслыханной дерзости был совершен!»

Тотальная мобилизация всех войск, полицейских сил, агентурной сети, повальные обыски, закрытие границ, сотни арестов, но ни одного бандита не поймали ни в тот день, ни после него, ни копейки тоже не нашли.

Куда же бандиты делись? Они вернулись к «мирной» работе, которую так великолепно сочетали со своей основной профессией (ленинское сочетание легальной работы с нелегальной), а деньги очутились под диваном бюро директора Тифлисской обсерватории, где Коба—Сосо Джугашвили — тоже занимался «мирным трудом» в качестве счетчика наблюдателя. Через непродолжительное время деньги оказались в руках Ленина.

Вот этой «экспроприацией» и руководил Коба. Его обвиняли также, что он принял косвенное участие в убийстве тифлисского губернатора генерала Грязнова, князя Чавчавадзе, даже одного своего сотоварища в бакинской тюрьме. После тифлисской «экспроприации» оба — Коба и Камо — сумели пробраться за границу, где встретились с Лениным, надо полагать, для доклада о проведенной операции. Тем временем поставленные в известность русским правительством заграничные органы уголовной полиции начали аресты среди большевиков-эмигрантов, когда те пытались обменивать украденные рубли на иностранную валюту. Такие аресты были проведены в Париже, Мюнхене, Стокгольме и Женеве. Среди арестованных были будущие наркомы Литвинов и Семашко. Только после этих арестов партия, в том числе и ее большевистская фракция, узнала, что вооруженный тифлисский грабеж — дело рук учеников Ленина. Поскольку каждая попытка обменять рубли на валюту кончалась арестами, ЦК постановил сжечь оставшуюся сумму денег.

По требованию меньшевиков ЦК, в котором после V съезда преобладали большевики, вынужден был обсудить вопрос и о самой тифлисской «экспроприации». Создается комиссия во главе с будущим наркомом иностранных дел Чичериным (тогда меньшевик), которая должна была произвести подробное расследование. Комиссия Чичерина очень скоро установила, что ученики Ленина не только организовали кровопролитное ограбление в Тифлисе, но что Камо подготавливает взрыв известного банка Мендельсона в Берлине, чтобы экспроприировать на этот раз иностранную валюту. Комиссия Чичерина установила также, что большевики дали указания своим агентам приобрести специальную бумагу для производства фальшивых банкнот. Некоторое количество такой бумаги уже было направлено через экспедицию германской социал-демократической газеты «Форвертс» (о чем, конечно, руководство газеты ничего не знало) в Куоккала (Финляндия), где тогда нелегально жили Ленин и Зиновьев. Курьер вручил бумагу председателю «Технического бюро ЦК» Красину (члену «триумвирата»), которого он узнал по фотографии, предъявленной ему.

Ленин, пользуясь своим большинством в ЦК, сумел положить конец этим разоблачениям, предложив Центральному Комитету передать дело на доследование «Бюро иностранных сношений» (Троцкий потребовал, чтобы всем этим делом занялся II Интернационал, но это предложение не было принято). Кроме того, изучением и расследованием дела об «экспроприации» в Тифлисе занялся и Кавказский союзный комитет РСДРП. Установив, что «экспроприацию» провели в нарушение решений IV и V съездов Коба и Камо, Кавказский комитет постановил исключить их из партии, как и всех остальных ее участников — социал-демократов. Имена не были названы публично, чтобы не выдать их полиции (Souvarine. Stalin. P. 99—100).

Уже в Советской России в своей «Рабочей газете» от 18 марта 1918 года Мартов напомнил Ленину, что в состав его правительства входит «некий гражданин Сталин», хорошо известный из-за своего участия во всяких сомнительных предприятиях и исключенный из партии за тифлисскую «экспроприацию». Скоро «Бюро иностранных сношений» ЦК «законсервировало» свое расследование, так как главный исполнитель тифлисской «экспроприации» Камо был арестован берлинской полицией по доносу видного большевика Житомирского, оказавшегося агентом русской полиции...

Вернемся к биографии Сталина после тифлисского грабежа. Исключенный из партии в Тифлисе, где преобладали меньшевики, Коба решил пробраться в Баку. Он быстро вошел в контакт с Бакинским комитетом партии, в котором большевики имели куда больше влияния, чем в Тифлисе. Коба приехал сюда не без претензии на руководящее положение в местном комитете, но «экс» и недоучившийся семинарист застал здесь сильнейшего конкурента на лидерство — это бывший студент философского факультета Берлинского университета Степан Шаумян (Орджоникидзе: «Шаумян — тяжелая артиллерия теоретического марксизма»). Поэтому с первых же дней между Кобой и Шаумяном разыгралась открытая борьба за руководство, в разгаре которой Шаумян был арестован. Люди, знающие характер Кобы, заподозрили его в доносе на Шаумяна, чтобы убрать конкурента. Разговоры в партийных кругах об этом получили такое широкое распространение, что одна

грузинская газета осмелилась открыто обвинить Кобу в предательстве (газета «Брозолнс Кха»), а Бакинский комитет РСДРП даже завел дело на него. Когда в марте 1908 года арестовали самого Кобу, дело на него прекратили (Souvarine, там же, стр. 110). Имеются очень интересные воспоминания сокамерника Кобы в Баиловской тюрьме в Баку Семена Верещака о пребывании Кобы-Сталина в тюрьме. Они были напечатаны в газете Керенского «Дни» 22 и 24 января 1928 года в Париже...

Газета «Правда» 20 декабря 1929 года напечатала статью о воспоминаниях Верещака, как воспоминаниях правдивых. Впрочем, газета цитирует только те места из воспоминаний Верещака, которые ей импонируют, но игнорирует места, которые нам показались очень интересными. Приведем и те, и другие. Цитата из «Правды»:

«Я был еще совсем молодым, когда в 1908 г. Бакинское жандармское управление посадило меня в Баиловскую тюрьму... Тюрьма, рассчитанная на 400 человек, содержала 1500 человек... Однажды в камере большевиков появился новичок. И когда я спросил, кто этот товарищ, мне таинственно сообщили: «Это — Коба...» Коба под фамилией Сосо Джугашвили как член РСДРП (большевиков) был принят в коммуну. Среди руководителей собраний и кружков (в тюрьме. — А. А.) выделялся и Коба как марксист. В синей сатиновой косоворотке, с открытым воротом, без пояса и головного убора, с перекинутым через плечо башлыком, всегда с книжкой... В личных спорах и дебатах Коба участия не принимал и всегда вызывал каждого на «организованную дискуссию». Эти «организованные дискуссии» носили перманентный характер. Аграрный вопрос, тактика, философия чередовались почти ежедневно Особенно аграрный вопрос вызывал жаркие споры, доходившие иногда до рукопашных схваток. Никогда не забуду одной «аграрной дискуссии» Кобы, когда его сотоварищ Серго Орджоникидзе, защищая положение Кобы (известно, что на IV съезде 1906 г. Коба был и оставался «разделистом» и выступал как против ленинской «национализации», так и против плехановской «муниципализации».— А. А.), в заключение схватил за физиономию содокладчика эсера Илью Карцевадзе, за что был жестоко эсерами избит... Марксизм был его стихией, в нем он был непобедим. Не было такой силы, которая бы выбила его из раз занятого положения. Под всякое явление он умел подвести соответствующую формулу Маркса. На не просвещенных в политике молодых партийцев такой человек производил сильное впечатление. Вообще же в Закавказье Коба слыл как второй Ленин. Отсюда его совершенно особенная ненависть к меньшевизму (вероятно, за позицию меньшевиков в отношении «эксов».— А. А.)... Он всегда активно поддерживал зачинщиков. Это делало его в глазах тюремной публики хорошим товарищем. Когда в 1909 г. на первый день Пасхи 1-я рота Сальянского полка пропускала через строй, избивая, весь политический корпус (тюрьмы), Коба шел, не сгибая головы, под ударами прикладов, с книжкой в руках» (скоро в стихах советских поэтов эта книжка превратилась в «Капитал» Карла Маркса.— А. А.).

Демьян Бедный даже написал восторженную оду:

«Разве сталинское прохождение не сюжет для героической картины. Обращаюсь к писателям — Вы не имеете героических тем? Нате!!.. Но скромна большевистская братва... Строгий большевик о себе ни гу-гу, но не станем же мы шикать врагу за то, что сказал он правду случайно» («Правда», 20. 12. 1929 г. Д. Бедный «С подлинным верно»).

Однако даже в цитированных ею местах «Правда», как было сказано, делает серьезные пропуски, которые совершенно искажают портрет Кобы, нарисованный Верещаком. Восстановим эти места в пересказе. Верещак сидел с Кобой восемь месяцев, время вполне достаточное, чтобы изучить характер человека, который резко и точно проявляется как раз в тюремной обстановке. Все революционеры помнили, что, когда в 1899 году Сталина исключили из Тифлисской духовной семинарии за участие в подпольном марксистском кружке, он потащил за собою и всех остальных членов кружка, сделав на них донос администрации семинарии. Верещак пишет, что, когда возмущенные семинаристы начали стыдить за это Сталина, тот оправдывался: потеряв право быть священниками, семинаристы сделаются «хорошими революционерами». В тюрьме существовал неписаный закон революционеров не общаться с уголовными преступниками, но Кобу всегда можно было видеть в компании убийц, разбойников, шантажистов. На него производили впечатление только люди «дела», требующего ловкости. Грубость в спорах и непрезентабельная личность делали его несимпатичным спорщиком. Его речам недоставало остроумия, они были сухие, но его механическая память была удивительная. Отсутствие принципов и природная хитрость делали его мастером тактики. Против врагов «все средства хороши»,— говорил он. Бывало, что, когда вся тюрьма начинала нервничать в ночь приведения в исполнение очередных смертных приговоров во дворе тюрьмы, Коба спокойно спал или изучал эсперанто, который, по его мнению, явится будущим языком Интернационала. Он никогда не протестовал против несправедливых порядков в тюрьме, не подстрекал к бунту, но поддерживал подстрекателей. Почему Коба так долго оставался неизвестным в партии, объясняется его способностью, «секретно подстрекая других, самому оставаться в стороне». Эту свою

способность Коба успел продемонстрировать и в тюрьме. Верещак приводит некоторые примеры. Однажды одного молодого грузина избили до полусмерти за то, что он «агент-провокатор». Никто ничего не знал ни о нем, ни о причинах обвинения против него. Потом выяснилось, что «дело» это было сфабриковано Кобой. Другой раз большевик Г. Митка убил молодого рабочего по обвинению в шпионаже. Долгое время это дело оставалось невыясненным. Во всех революционных партиях существовало правило, в силу которого шпионы могут быть убиты только по решению группы или суда чести, а не по приказу одного человека. Впоследствии Митка признался в своей ошибке: он убил этого рабочего по подстрекательству Кобы. Верещак сообщает, что во многих делах на воле — в известных грабежах государственных денег («экспроприациях»), в фабрикации фальшивых денег — всегда чувствовалась рука Кобы, а теперь он сидел в тюрьме вместе с этими грабителями («эксами») и фальшивомонетчиками, но следственным органам никак не удавалось найти нити к нему. И это неудивительно. Коба был не только искусным конспиратором, но и сама его осторожность была «активной» осторожностью. Это явствует из замечания Верещака: руководя сам террором и «экспроприациями», Коба громко обвинял эсеров в том и другом!

Анализируя историю карьеры раннего Кобы, Суварин находит, что в характере Сталина еще тогда преобладали следующие ярко бросающиеся в глаза черты: «воля к власти», узкий реализм, вульгарный марксизм, воспринятый Сталиным как катехизис элементарных формул, восточная ловкость в интриге, недобросовестность, отсутствие чувствительности в личных отношениях, презрение к людям и к человеческой жизни. (Souvarine, Stalin, p. 115).

Тем не менее Суварин, как и Троцкий, думает, что Сталин того периода — «профессиональный революционер», тогда как он был с самого начала своего появления на кавказской арене человеком, в котором «профессиональный революционер» органически уживался с профессиональным бандитом-«эксом» и бесчувственным убийцей-террористом.

Как таковой Сталин был основоположником уголовного течения в самом большевизме.

Хотя духовным отцом «эксов» надо считать Ленина, как мы это видели, но он предоставлял «эксам»-партизанам широкую «автономию». Он писал в уже цитированной нами статье «Партизанская война»:

«Мы не имеем ни малейших претензий на то, чтобы навязывать практикам какую-нибудь сочиненную форму борьбы или даже на то, чтобы решать из кабинета о роли тех или иных форм партизанской войны». (Ленин. Собр. соч., т. 10, стр 88).

Ленину были важны не «формы борьбы», а деньги, которые Коба и Камо доставляли ему для дела революции... Ленин нес полную политическую и моральную ответственность за кавказские «эксы», о чем он публично заявлял. Он нес личную ответственность за все действия — уголовные и террористические — Кобы и Камо тем, что благословляя их на «подвиги», предоставлял им «автономию». Но самая большая ответственность Ленина перед историей и перед его собственной партией заключается не столько в том, что он добывал деньги через бандитов, сколько в том, что самого верховного «экса» он ввел именно за эти вооруженные грабежи в состав законодательного органа партии — в ЦК. Провокатор Малиновский, который сидел рядом со Сталиным в ЦК 1912 г., отправил в вольную ссылку только какой-нибудь десяток большевиков, а «экс» Сталин убил впоследствии всю партию Ленина и методами «эксов» превратил советскую Россию в страну перманентной инквизиции.

Семена перерождения ленинского политического большевизма в сталинский уголовный большевизм после смерти Ленина посеял сам Ленин именно в годы «экспроприаций».

ЦК в первой мировой войне

Чтобы понять политику большевизма в таком судьбоносном для России вопросе, как победа или поражение ее в первой мировой войне, необходимо ясно себе представить «философию власти» Ленина. Ленин на все явления жизни — национальные или интернациональные — смотрел с одной-единственной точки зрения: насколько данное явление приближает или удаляет его от власти. Эпидемия ли, голод, экономическая ли забастовка, война ли между государствами или даже стихийные бедствия, вроде наводнения или землетрясения,— на каждое из таких явлений Ленин смотрел через призму власти, а именно: как использовать данное явление или бедствие в интересах завоевания власти... Нация существует для власти, ибо нация есть лишь сумма личностей, а личность — это ничто. Если власть над нацией может быть завоевана только ценой всеобщей национально-государственной катастрофы (например, поражение в войне), то и такой путь к власти не только является дозволенным, но и самым кратким и надежным путем.

И вот с первых же дней войны Ленин и его ЦК ведут «систематическую, настойчивую, неуклонную работу», чтобы использовать ужасы войны и тяжелое положение России в интересах открытия «второго фронта» войны — войны гражданской в тылу России.

Накануне и в начале войны члены ЦК, члены Русского бюро ЦК почти все оказались арестованными (Спандарян, Белостоцкий, Шварцман, Сталин, Орджоникидзе, Свердлов, Голощекин). Арестованы и сосланы были многие из агентов ЦК. Сам Ленин в начале войны был арестован в Австрии как русский «шпион», но вмешательством вождей австрийских с-д. (с которыми Ленин столь жестоко воевал) был освобожден, после чего переехал в Швейцарию. Здесь он окончательно обосновался до возвращения в Россию после февраля 1917 года.

Хотя не только большевистский ЦК, но и меньшевистский Организационный комитет стояли на точке зрения «пораженчества» России и интернационализма против патриотизма, все же нового объединения между большевиками и меньшевиками не произошло. Группа Плеханова (Плеханов, Дейч, Засулич и др.) стала на оборонческую точку зрения (оборона России в войне против Германии). К «оборонцам» примкнул и один из руководителей большевистской, но антиленинской группы «Вперед» — Алексинский.

14—19 февраля (27 февраля — 4 марта) 1915 года в Берне происходила созванная ЦК и ЦО («Социал-демократ») конференция всех заграничных большевистских организаций и групп. В конференции участвовали 16 человек, в том числе Ленин, Крупская, Каменев, Бухарин, Трояновский, его жена Е. Розмирович и др. Главной темой конференции был тот же вопрос о войне и о задачах с.-д. В резолюции конференции подтверждались установки «Манифеста ЦК» на поражение России в войне. В ней говорилось:

«В каждой стране борьба со своим правительством не должна останавливаться перед возможностью в результате революционной агитации поражения своей страны... В применении к России это положение особенно верно. Победа России влечет за собой усиление мировой реакции... В силу этого поражение России при всех условиях представляется наименьшим злом» (там же, стр. 329).

Совещание вынесло осуждение всем меньшевистским течениям, обвиняя их в русском шовинизме и патриотизме. Осуждалась группа «ликвидаторов» («Новая заря»), включая и плехановцев. Осуждались даже интернационалисты из Оргкомитета — Мартов, Троцкий, Аксельрод. В резолюции по этому поводу говорилось:

«Фактически на стороне шовинизма стоят и ОК... и Бунд, у которого преобладает шовинизм германофильский. А элементы колеблются между платоническим сочувствием интернационализму и стремлением единства с «Нашей зарей» и Оргкомитетом... Также колеблется и с.-д. фракция Чхеидзе...» (там же, стр. 329).

Резолюция добавляла: «Временные соглашения допустимы только с теми с.-д., которые стоят за решительный организационный разрыв с ОК, «Нашей зарей» и Бундом» (там же, стр. 330).

Специальную резолюцию совещание посвятило «оппортунизму и краху II Интернационала». Она отмечала, что «губительное влияние оппортунизма особенно ярко проявлялось в политике большинства официальных с.-д. партий II Интернационала во время войны. Голосование кредитов, вхождение в министерства, политика «гражданского мира», отказ от нелегальной организации в то время, когда легальность отнята, означает срыв важнейших решений Интернационала и прямую измену социализму... РСДРП должна поддерживать всяческие интернациональные и революционные массовые выступления пролетариата, стремясь к сближению всех антишовинистских элементов Интернационала» (там же, стр. 328).

Совещание избрало Комитет заграничных организаций (КЗО) как заграничный подсобный орган ЦК.

Вскоре Ленин и его ЦК приняли участие в первой интернациональной конференции социалистов 9—12 октября 1915 года в Циммервальде (Швейцария). Ленин проповедовал на этой конференции принципы, изложенные в «Манифесте ЦК РСДРП», обосновывал и настаивал на принятии его лозунга «превращение империалистической войны в войну гражданскую». Когда немецкий делегат Ледебур упрекнул Ленина, что легко проповедовать гражданскую войну в России, находясь в безопасной Швейцарии, Ленин ответил, что, «когда придет время, он сумеет быть на своем посту и не уклонится от тяжелой обязанности взять власть при победе в гражданской войне» («Ко дню 50-летия Ульянова (Ленина)». Москва, 1920, стр. 32).

Ввиду провала почти всех членов ЦК и многих из его агентов («доверенные лица») заграничная часть комитета решила еще в апреле 1914 года перестроить свою конспиративную сеть. Роль Русского бюро ЦК была возложена на большевистскую фракцию IV Государственной думы.

Реакция большевистской фракции думы на войну, в общем, была аналогичной ленинской. Член большевистской фракции IV думы Бадаев сделал в Петербурге перед журналистами заявление, в котором говорилось, что «война войне — вот наш лозунг, за этот лозунг мы, действительные представители рабочего класса, и будем бороться» (А. Е. Бадаев. «Большевики в государственной думе». 1954, стр. 344).

26 июля 1914 года вся с.-д. фракция — большевики и меньшевики вместе — приняли общую декларацию, в которой они осуждали войну и протестовали против нее. Во время голосования военных кредитов вся с.-д. фракция отказалась голосовать за кредиты и в знак протеста покинула зал заседания думы. Советский историк замечает:

«Это совместное выступление фракции было первым и последним. Поведение меньшевиков объяснялось лишь боязнью окончательно потерять доверие масс» («История КПСС», т. 2, стр. 490).

Но члены большевистской части фракции, действуя одновременно и как нелегальное Русское бюро ЦК, разворачивали антивоенную кампанию на заводах и фабриках, открыто выступая на революционных митингах. Царская полиция была бессильна сделать против них что-нибудь ввиду их неприкосновенности как депутатов думы. Вскоре правительство положило этому конец.

На конференции большевиков 4 ноября 1914 года, под Петроградом, на которой обсуждали вопрос об отношении с.-д. к войне, пять с.-д. большевистских депутатов и еще шесть большевистских функционеров, в том числе член редакции ЦО и уполномоченный ЦК Розенфельд (Каменев), были арестованы.

10 (23) февраля 1915 года над ними состоялся суд. Главным обвинительным материалом служили найденные при их аресте тезисы Ленина «Задачи революционной социал-демократии в европейской войне» и Манифест ЦК РСДРП «Война и российская социал-демократия». Подсудимым грозила смертная казнь, но они во главе с Каменевым так искусно повели свою защиту, что убедили суд в своей непричастности к антипатриотическим акциям ЦК и его нелегальной работе вообще. Подсудимые отрицали, что они стоят на точке зрения поражения России. Ленин не был доволен поведением на суде своих единомышленников, особенно Каменева.

В статье «Что доказал суд над РСДР Фракцией?» Ленин писал: «Он показал недостаточную твердость на суде данного передового отряда революционной социал-демократии России... Стараться доказать свою солидарность с социал-патриотом г. Иорданским, как делал тов. Розенфельд, или свое несогласие с ЦК, есть прием неправильный и с точки зрения революционного социал-демократа недопустимый». (Ленин. ПСС, т. 26, стр. 168).

Если бы подсудимые поступили иначе, то, по признанию самого же Ленина, «в первой стадии дела депутатам угрожали военным судом и смертной казнью» (там же, стр. 171). Суд приговорил подсудимых к вечному поселению в Сибирь.

После закрытия легальной газеты «Правда» 8 (21) июля 1914 года ликвидация большевистской фракции в думе была наиболее тяжелым ударом по доктрине и практике Ленина о сочетании легальной работы с нелегальной.

После этих арестов весь аппарат ЦК в России был разрушен. Оставалась лишь заграничная его часть — Ленин, Зиновьев и с осени 1915 года введенный в состав ЦК А. Шляпников, который являлся новым уполномоченным ЦК по России. Секретарем ЦК была Н. Крупская («История КПСС», т. 2, стр. 543). Лишь осенью 1915 года удалось воссоздать Русское бюро ЦК.

Численность партии в обеих столицах была невелика. В ноябре 1914 года в Петрограде было 100—120 социал-демократов. Но по мере продолжения войны и роста трудностей в стране росло и недовольство среди рабочих. Это сказалось и на росте членов партии. Так, к началу 1917 года петроградская организация насчитывала две тысячи человек. Эти две тысячи и есть тот костяк, который через десять месяцев совершит Октябрьский переворот в столице. В Москве летом 1915 года было 200 большевиков, а к осени — около 500. В Харькове весной 1915 года было 15 членов партии, к осени — 85, а осенью 1916 года — 200, к началу 1917 года — 400 («История КПСС», т. 2, стр. 547—548)...

Большевистские группы в России действовали и в различных легальных организациях — в профсоюзах, страховых обществах, больничных кассах, кооперативах. «Часто легальные организации служили прикрытием нелегальной деятельности»,— пишет официальный историк (там же, стр. 556).

С самого начала войны большевики всеми доступными им средствами старались проникнуть в армию, на фронт. «Большевики знали, что без привлечения солдатских масс на сторону борющегося пролетариата нельзя рассчитывать на победу революции»,— пишет тот же историк (там же, стр. 559).

Большевики создавали партийные группы в армии, снабжали их нелегальной литературой. Успехи такой работы оказались настолько очевидными, что в середине 1916 года Департамент полиции сообщал: «Издаваемые Петроградским Комитетом РСДРП революционные воззвания получили весьма широкое распространение за пределами Петрограда и в значительном количестве попадают в действующую армию и флот» (там же, стр. 559).

Почти каждый партийный комитет имел свой военный отдел, который вел работу среди тыловых частей, рассылал литературу на фронт, организовывал агитационные поездки своих членов в части, создавал в этих частях новые партийные группы. На Северном фронте и на кораблях Балтийского флота было создано 80, а на Западном фронте 30 военных партийных организаций (там же, стр. 560).

Дела в меньшевистских организациях обстояли гораздо хуже, чем у большевиков. В январе 1916 года Мартов в письме к Аксельроду вполне законно опасался, когда писал: «В России наши дела плохи... Дан боится, что все живое уйдет к ленинцам» («Письма П. Б. Аксельрода и Ю. О. Мартова, 1901—1916 гг.». Берлин, 1924, стр. 355).

Так оно на самом деле и было. Ленинская доктрина сочетания легальной работы с нелегальной блестяще выдержала испытание как раз в условиях войны. Ликвидаторов-легалистов легко ловила царская полиция, ибо у них не было нелегального аппарата. Уцелевшие из них, по иронии судьбы, находили теперь убежище в нелегальных организациях у ленинцев, которых они раньше так жестоко критиковали, как заговорщические организации.

Таково было положение партии, когда началась Февральская революция. На участие политических партий в Февральской революции 1917 года в литературе существуют различные точки зрения. Участник событий и первый историк русской революции 1917 года левый меньшевик Н. Суханов, который называл себя «полуленинцем», пишет: «Ни одна партия не готовилась к великому перевороту. Все мечтали, раздумывали, предчувствовали, ощущали»... (Н. Суханов, Записки о революции, кн. I, Берлин — Петроград — Москва, 1922, стр. 19).

Это скорее эмоциональная оценка, чем реальный анализ. Нет никакого сомнения, что Февральская революция была величайшая из стихийных народных революций. Так же мало сомнения, что она не произошла по расписаниям политических партий. Однако, будучи актом стихийного взрыва народного возмущения, Февральская революция вовсе не была случайностью. Она была подготовлена всем предшествующим историческим развитием России. В этой ее исторической подготовке левые политические партии России — от кадетов до большевиков — сыграли свою роль. Систематическая критика бездарности царского правительства лидерами кадетской партии с трибуны Государственной думы, откровенные разоблачения всего существующего строя с угрозами революцией с той же трибуны лидерами эсеров (Керенский) и меньшевиков (Скобелев, Чхеидзе), революционно-разлагательная работа вне думы со стороны большевиков, саморазоблачения династии из-за пройдохи Распутина и министерской чехарды плюс повсеместное возрастающее недовольство войной — все это создало ту накаленную атмосферу, в которой нужен был лишь повод, чтобы произошел февральский взрыв.

Советские историки приписывают большевистской партии в Февральской революции такую выдающуюся роль, которая не подтверждается ни документами, ни свидетельствами современников. В «Истории гражданской войны в СССР» сказано:

«В авангарде баррикадных бойцов шли большевики, а в Советах очутились в подавляющем большинстве меньшевики и эсеры» (т. 1, стр. 84).

Авторы шеститомной «Истории КПСС» пишут: «Петроградские большевики использовали отмечавшийся 23 февраля Международный день работницы для проведения собраний и митингов... 23 февраля, когда боевое настроение масс вылилось в мощные демонстрации, заполнившие улицы и площади столицы, явилось первым днем революции... Бюро ЦК и Петербургский комитет дали директиву максимально развивать начавшееся движение» (т. 2, стр. 659, 660).

Выходит, Февральская революция началась по директиве Бюро ЦК и Петроградского комитета, хотя самой этой директивы авторы не приводят. Зато они приводят листовки обоих этих комитетов к рабочим, призывающие их продолжать борьбу. Однако эти листовки выпущены уже в разгар революции — 25 февраля. Начиная с этого дня, Бюро ЦК и Петербургский комитет принимают энергичное участие в событиях. Но уже утром 26 февраля почти весь Петербургский комитет арестован, его функции переходят к Выборгскому районному комитету (там же, стр. 667).

На вопрос, кто же руководил Февральской революцией, Троцкий отвечает — сознательные рабочие, воспитанные партией Ленина, но тут же добавляет: «Это руководство оказалось достаточным, чтобы обеспечить победу восстания, но недостаточным, чтобы передать руководство революцией в руки пролетарского авангарда», т. е. в руки большевиков» (L. Trotzki, Geschichte der russishen Revolution, Frankfurt/M., Fisher Verlag, 1967, s. 139).

Почему власть не взяли большевистские силы, Ленин объяснил очень просто: «Не взяли власть потому, что неорганизованы и бессознательны» (Ленин. ПСС, т. 31, стр. 106). Самое интересное своеобразие Февральской революции заключалось, по Ленину, в том, что возникла не одна, а сразу две власти, конкурирующие между собою: Временное правительство и Совет рабочих и солдатских депутатов, знаменитое «двоевластие».

Первый председатель Совета Министров Временного правительства князь Г. Е. Львов писал впоследствии, что «Временное правительство было властью без силы, тогда как Совет рабочих депутатов был силой без власти» («История КПСС», т. 3, кн. I, стр. 4).

Переворот Ленина в ЦК

Общий анализ исторических событий и исторических документов от 23 февраля до 4 апреля 1917 года показывает следующую общую закономерность развития партии в революции: чем выше по ступеням иерархии большевизма, тем меньше революционной ярости, тем больше оппортунистической лояльности к Временному правительству.

В то же время сама база революции, ячейки на заводах, фабриках, казармах, на которые опиралась партийная иерар-

хия, «толкает налево» не только Временное правительство, но и свой штаб — ЦК партии.

К этому времени и партия тоже выросла: к январю 1917 года в партии было 23 тысячи человек, а уже к апрелю в нее вступило почти 60 тысяч новых членов. Это была часть того революционного авангарда, который заставил царя отречься от престола, а думу (Временный думский комитет) — создать Временное правительство. Ни на минуту нельзя сомневаться, что большевистская революция произошла бы уже в конце февраля, если бы в те дни Ленин был в Петрограде. Этому авангарду недоставало именно Ленина. Возражения того порядка, что Ленину после своего возвращения из-за границы для новой революции понадобилось все-таки семь месяцев, отпадают потому, что ему приходилось теперь создавать новую революционную ситуацию, которая была упущена ЦК партии во время Февральской революции из-за физической ограниченности сил старого руководства в феврале (Шляпников — Залуцкий — Молотов), а в марте — из-за оппортунизма нового руководства (Каменев — Сталин — Свердлов).

Поэтому, прежде чем подготовить новую революцию против Временного правительства, Ленин должен был провести революцию на верхах своей партии. «Апрельские тезисы» Ленина — это одновременное объявление войны на три фронта: против ЦК собственной партии, с одной стороны, против Временного правительства, с другой, против меньшевиков и эсеров с третьей.

Л. Троцкий был прав, когда писал: «Апрельское столкновение Ленина с Генеральным штабом партии не было единственным. Во всей истории большевизма за исключением отдельных эпизодов, которые только подтверждают правило, все лидеры партии во все время развития стояли правее Ленина... Против старых большевиков Ленин нашел поддержку в другом, уже закаленном, но с массой связанном партийном слое. В Февральской революции большевистские рабочие сыграли решающую роль. Они считали само собою разумеющимся, что тот класс должен взять власть, который добился победы. Эти рабочие бурно протестовали против курса Каменева — Сталина, а Выборгский райком партии даже угрожал исключением «лидеров» из партии. То же самое наблюдалось и в провинции... На этих рабочих ориентировался Ленин...» (L. Trotzki, Geschichte dev russischen Revolution, Fisher Verlag, 1967, S. 359—360).

Нельзя думать, что ЦК собирался легко сдаться. Он был в курсе политики и тактики «Апрельских тезисов» уже из пяти «Писем из далека» Ленина, из которых «Правда» опубликовала в марте только одно, и то с сокращениями, Бюро ЦК, редакция «Правды» и Петроградский Комитет партии думали, что не они должны стать на точку зрения Ленина (по их мнению — эмигрантскую, отсталую и даже немарксистскую), а Ленин должен подчиниться ЦК и поддержать решение Бюро ЦК и только что окончившегося Всероссийского совещания партийных работников. К тому же авторитет Ленина в партии не был абсолютным. Троцкий замечает: «Фактическое влияние Ленина в партии было, несомненно, очень велико, однако оно ни в коем случае не являлось неограниченным. Оно не сделалось и позднее, после Октября, неограниченным» (там же, стр. 257).

Соратники Ленина, основатели большевизма, часто расходились с Лениным. В большинстве случаев побеждал Ленин, но бывали случаи, когда побеждали и они. Правда, еще не было такого случая, чтобы весь Генеральный штаб большевизма восстал против Ленина, как сейчас. Тем большее основание было у восставших рассчитывать на победу. Хотя Ленин и собирался воевать «1 против 110», но он был слишком реальным политиком, чтобы не видеть, что один без своей уже существующей армии и ее штаба он не может добиться поставленной цели — захвата власти в ближайшее время. Тут взаимозависимость была полная: партия без Ленина — это машина без руля, а Ленин без партии — это руль без машины. Суханов, свидетель и участник событий, которого Ленин называл «лучшим представителем мелкобуржуазной демократии», писал:

«Остаться без Ленина — не значит ли вырвать из организма сердце, оторвать голову?.. Кроме Ленина, в партии не было никого и ничего. Несколько крупных генералов — без Ленина ничто, как несколько необъятных планет без солнца» (Н. Суханов. Записки о революции, кн. III. Берлин — Петербург — Москва. 1922, стр. 54—55). Конечно, и без Ленина партия существовала бы, как она существовала в марте, но она была бы обыкновенной левой революционно-демократической партией, немножко левее меньшевизма, но куда ближе к Мартову, чем к Ленину. Такая партия исчерпала бы себя, дав парламентской республике двух-трех левых министров.

Но не для парламента Ленин создавал свою партию. Партию свою Ленин задумал как инструмент уничтожения всякого парламентаризма. Спор между Лениным и ЦК кажется тактическим, но на деле речь идет о том, что Ленин обвиняет свою партию: находясь в плену догматических схем, она проморгала власть в феврале — марте.

Автором догматических схем, правда, был сам Ленин, когда в «Двух тактиках» (1905) доказывал, что, согласно марксизму, сначала бывают «буржуазно-демократическая революция и демократическая республика («демократическая диктатура»), а потом — пролетарская революция и диктатура пролетариата. За эту схему и цеплялся русский ЦК. Но как раз в связи с войной Ленин ее пересмотрел, выдвинув новую доктрину о победе социализма в «слабом звене» империализма.

Этот пересмотр прошел мимо ушей его учеников, потому что Ленин намеренно не был конкретным, чтобы не быть обвиненным в открытой ревизии марксизма в этом кардинальном вопросе. В «Апрельских тезисах» Ленин был уже конкретным, там он, во-первых, объяснил причину, почему партия не захватила власть, во-вторых, поставил задачу захвата этой власти, хотя бы и с опозданием. Вот соответствующее место «тезисов»:

«Своеобразие текущего момента в России состоит в переходе от первого этапа революции, **давшего власть буржуазии в силу недостаточной сознательности и организованности пролетариата** (выделено мной.— А. А.),— ко второму ее этапу, который должен дать власть в руки пролетариата и беднейших слоев крестьянства» (Ленин. Соч., 4-е изд., т. 24, стр. 4).

Значит, вы, лидеры ЦК большевиков в России, в силу «несознательности» и «неорганизованности» не взяли власти в феврале — марте, но вы обязаны ее взять теперь, вы даже находитесь на пути к ней. Это значит далее, что «диктатура пролетариата» в России могла быть и ее нужно было установить сейчас же после свержения царя, точь-в-точь по знаменитому лозунгу Троцкого в 1905 году: «Без царя, а правительство рабочее». Троцкий замечает по поводу реакции большевистских лидеров на «Апрельские тезисы»: «Перспектива непосредственного перехода к диктатуре пролетариата пришла совершенно неожиданно, противореча традиции. Она просто не умещалась в голову...»

На второй день после возвращения в Петроград, 4 апреля, Ленин выступил в Таврическом дворце на собрании большевиков — участников Всероссийского совещания рабочих и солдатских депутатов со своими «Тезисами». Это выступление в тот же день он повторил на совместном собрании большевиков и меньшевиков, участников того же Всероссийского совещания. В этих тезисах дан ответ на вопрос, как теперь, наконец, большевики могут и обязаны взять власть в свои руки. То, что Ленин говорил, не укладывалось не только в меньшевистские, но и в большевистские головы.

Ленин, по существу, объявил три войны: Временному правительству, мелкобуржуазным оппортунистическим партиям меньшевиков и эсеров, всему руководству большевистской партии.

Как реагировали на это меньшевистские и большевистские лидеры?

О реакции группы Плеханова Ленин сам писал так: «Г. Плеханов в своей газете назвал мою речь бредовой. Очень хорошо, г. Плеханов. Но посмотрите, как вы неуклюжи, неловки и недогадливы в своей полемике. Если я два часа говорил бредовую речь, как же терпели бред сотни слушателей? Далее. Зачем ваша газета целый столбец посвящает изложению бреда?» (там же, стр. 7).

Суханов рассказывает, как лидер меньшевиков в думе, будущий министр Скобелев, отзывался о речи Ленина: «Разговор перешел вообще на Ленина. Скобелев рассказывал о его бредовых идеях, оценивая Ленина, как совершенно отпетого человека, стоящего вне движения. Я, в общем, присоединился к оценке ленинских идей и говорил, что Ленин в настоящем его виде до такой степени ни для кого не приемлем, что сейчас он совершенно не опасен для моего собеседника Милюкова» (Суханов. Записки революционера, кн. III, стр. 48).

Тот же Суханов приводит и реакцию большевистских лидеров: «Через пять дней по приезде Ленин созвал совещание старых большевистских генералов... Ленин призвал своих маршалов не для того, чтобы убеждать их и спорить с ними: он хотел только узнать, верят ли они в его новые истины... Маршалы произнесли по речи. Ни один не высказал ни малейшего сочувствия» (там же, стр. 50).

7 апреля «Тезисы» Ленина были опубликованы в «Правде». 8 апреля «Правда» — центральный орган партии, редактируемый Каменевым и Сталиным,— сделала к ним следующее редакционное примечание: «Что же касается общей схемы т. Ленина, то она представляется нам неприемлемой, поскольку она исходит от признания буржуазно-демократической революции законченной и рассчитывает на немедленное перерождение этой революции в революцию социалистическую».

Сам Ленин замечал: «Тезисы и доклад мой вызвали разногласия в среде самих большевиков и самой редакции «Правда» (Ленин, там же, стр. 23). Это было скромно сказано: в ЦК, ПК и редакции не раздалось ни одного голоса в пользу Ленина. Неясна была позиция даже Зиновьева, который приехал вместе с Лениным. Ленина поддержали только три близкие ему женщины — Коллонтай, Инесса Арманд и его жена Н. Крупская.

Своим взбунтовавшимся партийным «маршалам» Ленин предложил провести в партии открытую дискуссию — кто прав: ЦК или Ленин? «Правда» или Ленин?

«После ряда совещаний мы единогласно пришли к выводу, что всего целесообразнее открыто продискутировать эти разногласия» (Ленин, там же, стр. 23).

Но это уже предрешило тотальную победу Ленина. В «Апрельских тезисах» была удачно сформулирована только идея захвата власти, которая смутно владела низовой большевистской массой. Эта идея уже была однажды сформулирована в Манифесте ЦК от 26 февраля в виде лозунга о переходе власти к «Временному революционному правительст-

ву», но Каменев, Сталин, Свердлов, заменив в руководстве ЦК Шляпникова, Залуцкого и Молотова, отвергли эту идею. Начиная с 8 апреля в главнейших комитетах партии и районных организациях начинается дискуссия «за» и «против» тезисов Ленина. Чем ниже по лестнице иерархии партии, тем больше поддержки Ленину. Партийные комитеты Петрограда и Москвы раскалываются: верхи против, рядовые члены — за Ленина. Районные организации в большинстве за Ленина, местные ячейки — все «за». Некоторые местные рабочие и солдатские собрания даже требуют немедленного перехода власти к Советам («История КПСС», т. 3, кн. I, стр. 63). Официальный историк замечает: «Именно среди рабочих тезисы нашли горячий отклик» (там же, стр. 60). Ленину ничего больше и не надо было.

Пользуясь военной терминологией Суханова, можно сказать, что создалось положение, когда на верху партийной пирамиды стал полководец, решивший дать генеральное сражение, под ним — Генеральный штаб, саботирующий планы сражения, а в основании пирамиды — большевистская армия, готовая в любое время по приказу полководца двинуться в бой. К этой-то армии, минуя Генеральный штаб, и начал апеллировать полководец Ленин с первого же дня своего возвращения.

Еще в 1890 году Ленин говорил, что газета не только коллективный пропагандист, но и коллективный организатор. Поэтому первое дело, о котором он заботится после возвращения, — это редактирование «Правды»: вытеснить из ее редакции Сталина (посадить в ЦК работать над национальным вопросом) и Каменева (переключить на работу председателя большевистской фракции в Совете рабочих и солдатских депутатов).

Через «Правду» Ленин устанавливает прямой контакт с рядовой массой партии. Для завоевания на свою сторону «офицерского корпуса» партии он пишет в течение пяти дней (с 8-го по 13 апреля) три работы исключительно тактического значения: «О двоевластии», «Письма о тактике» и «Задачи пролетариата в нашей революции». В них Ленин окончательно хоронит платформу и тактику старого Бюро ЦК, ПК и редакции «Правды», дает теоретическое обоснование «переориентировки», «перевооружения» партии — провозглашает ревизию старого классического ленинизма 1903—1905 годов. Корень ревизии: пересмотр того пункта действующей программы партии, который говорит об установлении после свержения царизма «демократической республики» в России, пересмотра того пункта работы «Две тактики» (1905), который говорит о демократической республике как о неизбежном строе на путях к социализму.

Ленин, что называется, берет быка за рога: «Коренной вопрос всякой революции есть вопрос о власти» (Ленин. Соч., т. 24, стр. 19).

Так вопрос и стоял в феврале—марте, но большевики в силу ряда условий упустили эту власть. Как быть теперь, в апреле, надо ли тотчас свергнуть Временное правительство? Ленин: «Отвечаю: 1) его надо свергнуть, ибо оно олигархическое, буржуазное... 2) его нельзя сейчас свергнуть, ибо оно держится прямым и косвенным... соглашением с Советами... 3) его вообще нельзя «свергнуть» обычным способом» (Ленин, там же, стр. 21).

Как быть? Большевикам надо завоевать большинство в Советах, оттеснив оттуда меньшевиков и эсеров, и, как только эта цель будет достигнута, свергнуть Временное правительство не «обычным» путем, а восстанием (так и случилось в октябре 1917 года). Ленин вновь и вновь ставит все тот же вопрос о власти: вы, рабочие и солдаты, свергли царя, поэтому вам, рабочим и солдатам, и должна принадлежать власть. «Вся власть Советам», — говорит Ленин. Он не только имеет успех в низах, в партийной массе, но теперь, чем ближе к Всероссийской партийной конференции, назначенной на конец апреля, тем больше склоняет на свою сторону «офицерство партии». Это, в свою очередь, влияет и на генералитет партии. Вот что писал об этом процессе Суханов:

«Разудалая левизна Ленина, бесшабашный радикализм его, примитивная демагогия, не сдерживаемая ни наукой, ни здравым смыслом, — впоследствии обеспечили ему успех среди самых широких пролетарско-мужицких масс, не знавших иной выучки, кроме царской нагайки. Но эти же свойства ленинской пропаганды подкупали и более отсталые элементы самой партии... Позиция же этой массы не могла не оказать решающего действия и на вполне сознательные большевистские элементы, на большевистский генералитет. Ведь после завоевания Лениным «партийного офицерства», люди, подобные, например, Каменеву, оказывались совершенно изолированными... И Ленин одерживал победу за победой»

Период от Петроградской общегородской конференции (14 апреля) до начала Всероссийской партийной конференции (24 апреля) есть серия побед Ленина над старым ЦК. Главный доклад «О текущем моменте» на Петроградской общегородской конференции сделал сам Ленин. Там он еще раз обосновал свою ревизию старого ленинизма. Говоря о «двоевластии» как феноменальном факте, Ленин заметил: «Тут и нужен пересмотр старого большевизма... Буржуазная революция в России закончена, поскольку власть оказалась в руках буржуазии. Здесь старые большевики опровергают: она не закончена — нет диктатуры пролетариата. Но Совет рабочих и солдатских депутатов и есть эта диктатура» (Ленин. Соч., т. 24, стр. 116). Ленин говорит, что теперь как раз и надо бороться за единовластие этого Совета, что будет означать переход власти в руки пролетариата и беднейшего крестьянства, то есть установление диктатуры пролетариата.

На фронте штыки тоже не надо бросать, их надо только повернуть вовнутрь страны. «Долой войну — не значит бросанье штыка. Это значит переход власти к другому классу» (там же, стр. 119).

Что это значит? Это значит — «Правительство должно быть свергнуто.., завоевав большинство в Советах» (там же, стр. 120). Словом: «Старый большевизм должен быть оставлен» (там же, стр. 122).

Ленин решительно осудил и всю революционную фразеологию мартовских решений Бюро ЦК о войне и Временном правительстве:

«Революционная демократия никуда не годится, это — фраза... Кончить войну пацифистски — утопия... Контролировать (Временное правительство.— **А. А.**) без власти нельзя... объединение с партиями, как целыми, проводящими политику поддержки Временного правительства... безусловно невозможно» (Ленин, там же, стр. 123, 124, 131).

Все резолюции конференции были приняты в этом, новоленинском духе. Петроград задал тон провинции. Из провинции начали поступать резолюции с одобрением «Апрельских тезисов». Ленин их аккуратно печатал в «Правде». Умело использовал он и первый кризис Временного правительства, связанный с нотой министра иностранных дел Милюкова правительствам Англии и Франции (18 апреля). В этой ноте Милюков писал, что Россия будет соблюдать свои обязательства в войне до ее победоносного окончания. Это вызвало взрыв возмущения рабочих и солдат Петрограда. Произошла вооруженная демонстрация и митинг солдат (15 тысяч человек) перед резиденцией Временного правительства — перед Мариинским дворцом. Выделялись лозунги: «Долой Милюкова», «Долой Временное правительство». Меньшевистско-эсеровским лидерам удалось мирно ликвидировать инцидент обещанием обсудить вопрос в Совете. Большевики воспользовались кризисом, чтобы еще раз заявить, что войну кончить удастся только взятием власти Советом (резолюция ЦК РСДРП(б) от 21 апреля). Часть руководителей Петроградского комитета (группа Богдатьева) даже выдвинула лозунг о немедленном свержении Временного правительства. Однако ЦК по предложению Ленина осудил такой лозунг...

ЦК указал членам своей партии, что сейчас он против всяких вооруженных демонстраций. Поэтому ЦК считает правильным постановление Совета рабочих и солдатских депутатов против таких демонстраций и что оно «подлежит безусловному выполнению» (там же, стр. 320).

Тем самым Ленин объявил во всеуслышание, что он играет не втемную, а идет к бою, создавая прочные предпосылки победы. В эти дни он много раз повторяет: мы не бланкисты и не авантюристы. Он готов на решительный бой только тогда, когда на его стороне «большинство», имея в виду большинство не во всей стране и не во всей армии, даже не в столице, а только большинство на петроградских заводах, в казармах, на улицах.

Таким образом, только за две недели работа Ленина вызвала такое полевение в партии, что партийная масса в Петрограде и часть Петроградского комитета сделали, по выражению Ленина, «попытки взять чуточку полевее нашего ЦК» (там же, стр. 337); но Ленин призвал партию к дисциплине и к тому, чтобы от каждой местной организации были «прямые нити к центру, к ЦК»; нити эти должны быть «постоянные, ежедневно, ежечасно укрепляемые и проверяемые», «чтобы враг не мог застать нас врасплох» (там же, стр. 338). Другими словами, к захвату власти готовиться надо, но когда это произойдет, на этот раз будет определять не масса снизу, а ЦК партии — сверху.

ЦК между апрелем и июлем 1917 года

На VII партийной конференции (24—29 апреля 1917 г.), на которой собралась вся элита партии, обсуждались вопросы, поставленные в «Апрельских тезисах».

Все главные доклады делал Ленин. Кроме того, он выступил по разным вопросам повестки дня около 30 раз. Содоклад сделал Каменев, в котором он отстаивал известную нам уже линию старого ЦК.

Каменев заявил: «На мой взгляд, неправ тов. Ленин, когда он говорит, что буржуазно-демократическая революция закончилась. Я думаю, что она не закончилась, и в этом наше расхождение... Рано говорить, что буржуазная демократия исчерпала все свои возможности» («Седьмая (Апрельская) конференция РСДРП(б)... Апрель 1917 г. Протоколы» Москва, 1958, стр. 80).

Каменев предлагал по-прежнему давление на Временное правительство и контроль Совета рабочих и солдатских депутатов над его действиями. Кроме того, он думал, что не надо порывать с блоком меньшевиков и эсеров в Советах (там же, стр. 81). В разной степени и по разным мотивам к нему склонялись Рыков, Бубнов, Смидович, Богдатьев, Милютин. В отличие от Каменева Сталин на конференцию явился уже в качестве капитулянта. Очень разумно и своевременно (имея в виду дальнейшую карьеру) Сталин по всем вопросам ста-

рой политики ЦК капитулировал перед «Апрельскими тезисами», которые он еще три недели тому назад называл «голой схемой», и сдался безоговорочно на милость Ленина. Если критик сдавался, то Ленин щадил его. Так случилось и со Сталиным. Ленин поручил ему сделать на конференции доклад по национальному вопросу. Главные тезисы доклада, правда, принадлежали Ленину в виде проекта резолюции конференции, но их Сталин и защищал вполне квалифицированно (Сталин считался экспертом партии по национальному вопросу с 1913 г., когда он написал известную работу «Марксизм и национальный вопрос»)...

Ленин победил, но часть старого ЦК во главе с Каменевым продолжала на конференции борьбу против «Тезисов» почти по всем вопросам.

В конце конференции состоялись выборы ЦК, впервые после Пражской конференции 1912 года. В члены ЦК было избрано 9 человек: В. И. Ленин, Г. Е. Зиновьев, Л. Б. Каменев, В. П. Милютин, В. П. Ногин, Я. М. Свердлов, И. Т. Смилга, И. В. Сталин, Г. Ф. Федоров («История КПСС», т. 3, кн. I, стр. 80).

Кроме Смилги и самого Ленина, все другие принадлежали к старому оппортунистическому бюро ЦК (позиция Зиновьева была неопределенной). Согласие Ленина руководить таким ЦК показывало, что после решений конференции по всем спорным вопросам в пользу Ленина генералитет партии сдался.

В чем секрет победы Ленина?

Три выдающихся современника Ленина дают три разных ответа. Суханов говорит: «Гениальный Ленин был историческим авторитетом, это одна сторона дела. Другая та, что кроме Ленина в партии не было никого и ничего» (Суханов. Записки о революции, кн. 3, стр. 55).

Троцкий с этим не согласен: «Фактически авторитет Ленина в партии, несомненно, был большой, ни в коем случае он не был неограниченным. Он не был и позже, после Октября, неограниченным».

Троцкий думает, что к истине ближе старый большевик Ольминский, который писал: «Мы держали бессознательный курс на пролетарскую революцию, когда мы думали, что держим курс на буржуазно-демократическую революцию. Другими словами, мы готовили Октябрь, тогда как мы думали, что подготовляем Февральскую революцию». Троцкий добавляет, что «старые большевики» были «обречены на поражение из-за того, что они защищали как раз тот элемент партийной традиции, который не выдержал исторической проверки», Сталин подчеркивал всепобеждающую силу логики Ленина как оратора.

Субъективные качества вождя, как и его исторический авторитет, конечно, имеют большое значение. Однако при прочих равных условиях решающее значение имеет влияние объективного фактора — действие иерархического принципа субординации в такой уникальной организации, как большевистская партия. В этой партии право на свое мнение относительно, обязанность послушания — абсолютна. Ленинский демократический централизм, по словам самого же Ленина, означает централизацию руководства и децентрализацию ответственности. К тому же большевистская партия была политической фирмой, созданной и изобретенной Лениным, в которой он был полным хозяином. Если случалось, что «рабочие» бунтовали («впередовцы»), то он их просто выкидывал прочь. На резких поворотах истории только тот вождь имеет шансы на успех, кто обладает даром политического предвидения, только тот овладевает своей партией, кто предлагает ей наиболее убедительную альтернативу на путях к власти. Ленин был таким. Ко всему этому Ленин был фанатик власти. Постепенно движущей силой его идей, как и идей созданной им партии, сделалась жажда власти. Власть — это «либидо» всех социальных страстей большевизма. Дорога Ленина к государственной власти лежала через победу над собственной партией. В апреле Ленин и одержал эту победу. Меньшевистская «Рабочая газета» (2 мая 1917 г.), подводя итоги Апрельской конференции, писала:

«Знаменитые ленинские «тезисы» перестали быть продуктом личного творчества Ленина, товаром, привезенным из-за границы... 140 делегатов большевистской конференции, почти как один человек, приняли резолюции, которые в развернутом виде излагают основные мысли тех же тезисов».

Взяв бразды правления партии в свои руки, Ленин развивает исключительную активность по распространению и популяризации в народе решений Апрельской конференции. С апреля до 4 июля 1917 года в 69 печатных органах партии было опубликовано 175 статей и заметок Ленина («История КПСС», т. 3, кн. I, стр. 85—86). Все они бьют в одну цель: ни один вопрос жизни России не может быть разрешен без перехода власти к большевикам. Печать партии — 50 газет и журналов с тиражом более 500 тысяч экземпляров — проповедует ту же идею. В первую очередь и главным образом Ленин внушает партийному активу, ее «офицерскому корпусу», что идея захвата власти — не утопия и не мечта, а действительность буквально дней, недель, максимум месяцев, но не года.

Публикуя решения Апрельской конференции, Ленин сопроводил их таким объяснением: «Для взятия власти... для удержания ее... необходима организация, организация и организация» (Ленин, ПСС, т. 31, стр. 456)...

И. Г. Церетели пишет в своих «Воспоминаниях о Февральской революции», что уже начиная с мая Ленин, собственно, и готовит своих учеников к насильственному захвату власти: «В кругу своих сотрудников, на закрытых собраниях большевистского ЦК Ленин уже с мая усердно вдалбливал своим сторонникам эти взгляды и именно этим соображением обосновывал необходимость немедленного перехода от пропаганды к вооруженной борьбе за власть» (И. Г. Церетели. Воспоминания о Февральской революции, кн. II, Париж, 1963, стр. 168).

Речь Ленина на I Всероссийском съезде Советов в июне 1917 года была оглашением нового поворота в тактике большевиков — перехода от тактики мирного завоевания власти через советское большинство («Апрельские тезисы») к тактике насильственного захвата власти еще до завоевания названного большинства. Такая установка была утверждена на секретном заседании ЦК. Был назначен и день восстания — 10 июня 1917 г. В этот день предполагалась вооруженная демонстрация, которая должна была кончиться восстанием и свержением Временного правительства. Если силы и обстановка позволят, то следовало перевести выступление в восстание, если же обстоятельства сложатся неблагоприятно, то ограничиться вооруженной, но «мирной» демонстрацией. Однако этот план сорвал I Всероссийский съезд Советов, который категорически запретил любого вида демонстрации.

Под массивным давлением I съезда Совета, Исполкома Крестьянских Советов и собственной фракции I съезда ЦК большевиков Ленин 9 июня капитулировал: он отменил выступление. Когда I съезд назначил мирную демонстрацию на 18 июня, ЦК большевиков присоединился к ней под теми же лозунгами, какие он приготовил было на 10 июня: «Долой 10 министров-капиталистов!» (другие 6 были социалистами), «Вся власть Советам!».

Так сорвалась первая попытка большевиков свергнуть Временное правительство и захватить власть.

Если смотреть со стороны, то, кажется, центральный лозунг большевиков «Вся власть Советам!» означает не что иное, как «Вся власть меньшевикам и эсерам!». В самом деле, даже после I съезда Советов большевики составляли маловлиятельное меньшинство как в столичном, так и в провинциальных Советах. Так, в высшем советском органе — в ЦИКе, избранном на I съезде, партии были представлены следующим образом: всего депутатов — 256, среди них 104 меньшевика, 99 эсеров, 18 близких к ним представителей мелких групп и только 35 большевиков («История КПСС», т. 3, кн. I, стр. 142).

Поэтому переход власти в руки Советов должен был означать создание правительства меньшевиков и эсеров без участия буржуазных партий. Ленин обещал условную поддержку советскому правительству, но обещал он, будучи убежден, что власть перейдет не в руки данных Советов, а в руки большевистских Советов, которые будут созданы и переизбраны в ходе победоносного восстания. Уже на Апрельской конференции был выдвинут лозунг отзыва меньшевистско-эсеровских депутатов из Советов и замены их новыми депутатами.

События после I съезда Советов — провал наступления на фронте и новый кризис Временного правительства — привели к еще большему обострению обстановки. Катастрофически разлагается армия. После первоначального успеха июньское наступление русской армии начало выдыхаться. Во время этого наступления на Юго-Западном фронте с 18 июня по 6 июля армия потеряла 56 тысяч человек убитыми и ранеными. Но катастрофа заключалась в другом: на приказ идти в наступление роты, полки, дивизии отвечали отказом. Главнокомандующий фронтом Брусилов объяснял провал наступления тем, что никто, начиная от командира роты и кончая главнокомандующим, не пользуется властью над солдатами. Другой генерал — Клембовский безнадежно спрашивал самого себя: что делать? «Ввести смертную казнь? Но возможно ли казнить целые дивизии? Судебное преследование? Но тогда сидела бы половина армии в Сибири... (L. Trotzki. Geschichte der russischen Revolution Fischer Verlag, 1967, S. 379).

Таков был результат работы солдатских комитетов в армии. В этих условиях происходит новый кризис Временного правительства: 3 июля министры-кадеты А. А. Мануилов, В. Н. Шаховской и А. И. Шингарев заявили о своем выходе из правительства. Поводом послужило признание делегацией Временного правительства (Керенский, Церетели, Некрасов), ездившей в Киев, внутренней автономии Украины («Второй Универсал» Украинской Рады).

Новый кризис правительства и провал нового наступления на фронте явились для большевистского ЦК желанными условиями попытаться еще раз поднять восстание под лозунгом «Вся власть Советам!» По-прежнему тактика ЦК следующая: организовать вооруженную демонстрацию солдат, красной гвардии и рабочих. Демонстрация должна направиться не к Мариинскому дворцу (резиденции Временного правительства), как в апреле, а к Таврическому дворцу (резиденции Советов), как в феврале 1917 года, когда там находилась дума. Демонстранты предложат Советам — Петроградскому и Всероссийскому ЦИК Советов — взять всю власть теперь в свои руки. Если в ходе демонстрации выяснится, что соотношение сил сложилось в пользу большевиков, а Советы капитулируют перед ультиматумом демонстрантов, то есть повстанцев, то большевики берут власть. Если же Советы и Временное правительство окажутся хозяевами положения, то большевики распустят демонстрацию. Но при всех условиях демонстрация

должна именоваться неорганизованной, стихийной; большевики, по словам сталинского учебника, решили ее только аозглавить, чтобы «придать ей мирный и организованный характер» (История ВКП (б). Кратккй курс, 1946, стр. 186).

Что демонстрация не была стихийной и что большевики собирались, если удастся, захватить власть, доказывает и само «обращение» ЦК и ПК в ночъ с 3 на 4 июля:

«Товарищи рабочие и солдаты Петрограда!.. Пусть Всероссийский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатоа возьмет всю власть в свои руки. Такова воля революционного населения Петрограда... Вчера революционный гарнизон Петрограда и рабочие выступили, чтобы провозгласить этот лозунг: вся власть Советам. Это движение, вспыхнувшее в полках и на заводах, мы зовем превратить в мирное, организованное выступление всего рабочего, солдатского и крестьянского Петрограда» (И. Церетели. Воспоминания о Февральской революции, кн. II, стр. 289).

Это воззвание с раннего утра большевики распространяли по полкам и заводам. Оно находило широкий отклик.

Как Советы, так и Временное правительство были хорошо осведомлены, что готовится не стихийная демонстрация, а проба сил и, если удастся, захват власти ЦК партии большевиков. Чем больше большевики подчеркивали мирный характер демонстрации, тем меньше им верили. Очень интересен эпизод, который в связи с этим рассказывал И. Церетели: на одно из заседаний Совета явился Сталин, чтобы сообщить: массы солдат и рабочих Петрограда рвутся на улицу, но большевистская партия разослала своих агитаторов в полки и на заaоды, чтобы удержать их от выхода на улицу. Потом Сталин обратился к председателю с просьбой внести в протокол это его заявление и вместе со своими тоaарищами покинул заседание... Чхеидзе сказал мне с усмешкой: «Теперь положение довольно ясно». Я его спросил, а каком смысле он считает положение ясным. «В том смысле,— ответил Чхеидзе,— что мирным людям незачем заносить в протокол заявления об их мирных намерениях» (И. Церетели, там же, стр. 267).

4 июля началась вооруженная демонстрация рабочих, солдат и кронштадтских матросов. Советские историки называют 500 тысяч участников, И. Церетели говорит лишь о нескольких десятках тысяч. Как бы там ни было, демонстрация оказалась довольно внушительной. Сначала она направилась к зданию ЦК, который находился в особняке артистки Кшесинской. Там демонстранты потребовали выступления Ленина, но Ленин предложил выступить Луначарскому. Его неопределенным выступлением толпа осталась недовольна. Тогда вышел сам Ленин. Но и он был нарочито даусмысленным, говорил толпе, что она должна проявить «выдержку», ио в то же время требовал от нее «стойкости», подчеркивал, что при всех условиях должен победить и победит лозунг «Вся власть Советам!».

После этого толпа во главе с членами ЦК направилась к Таврическому дворцу (резидеиция Советов) с требованием к Советам немедленно взять власть в свои руки. Однако и тут большевистские лидеры проявляют двоедушие. Церетели аспоминает:

«Когда ожесточенные толпы манифестантов, собравшихся перед Тааричеським дворцом, пытались переходить от слов к действиям и арестовать министроа-социалистов, в которых они усматривали главных протиаников установления советской власти, то они видели, что больше всего такие действия пугали их признаниых лидеров, представителей большевистской партии» (Церетели, там же, стр. 306).

Министра земледелия эсера Чернова, который вышел, чтобы успокоить толпу, матросы арестоаали и усадили в автомобиль, намереваясь увезти его. Тогда по предложению Чхеидзе представители левых в Советах — Троцкий, Каменев, Луначарский и Мартов — вышли к толпе, чтобы освободить Чернова.

С самого начала стало ясно, что ЦК большевиков рассчитывал именно на капитуляцию советских лидеров под влиянием анушительной вооруженной демонстрации. Вопреки ожиданиям большевиков лидеры Советов не только не ударились в паику, а, наоборот, проявили решимость подавить восстание.

Силами верных Совету и Временному правительству частей Петроградского гарнизона восстание было подавлено. С обеих сторон было много убитых и раненых. Когда же большевистскому ЦК стало известно, что к Петрограду движется сводный отряд с фронта для наведения порядка, то по поручению ЦК Зиновьев выступил ночью 4 июля со следующим заявлением:

«Наша партия сделала все, чтобы сообщить стихийному движению организованный характер, и в настоящий момент наша партия редактнрует воззвание к рабочим и солдатам Петрограда: не выходить на улицу, прекратить демонстрации (возгласы: после гор трупов!)» (Церетели, там же, стр. 330).

Этим заявлением ЦК признал свое фиаско при попытке захватить власть. ЦК, однако, не признал своего окончательного поражения и не терял надежды в будущем повторить эту попытку. В упомянутом Зиновьевым воззвании рабочим и солдатам предложили очистить улицы, ио одновременно указали: «Цель демонстрации достигнута. Лозунги передоаого отряда рабочего класса и армии показаны внушительно и достойио... Будем продолжать готовить свои силы...» («История КПСС», т. 3, кн. I, стр. 152). Троцкий вспоминает о настроении Ленина после июльского восстания:

«5 июля утром я виделся с Лениным. Наступление масс уже было отбито. Они

теперь нас перестреляют,— говорнл Ленин,— самый подходящий момент для них. Но Ленин переоценял протианика...— не его злобу, а его решимость и способность к действию» (Л. Троцкий. Моя жизнь, ч. II. Берлин, 1930, стр. 34).

Впоследствии Сталин признавал, что выступление 3—4 кюля было «пробой сил», рассчитанной как «первый удар» восстания, если противник окажется слабее восставших. «Делая пробу сил, партия должна быть готова ко всему» (И. Сталин, Соч., т. 5, стр. 75—76).

Временное правительство закрыло большевистские газеты, дало приказ об аресте лидероа ЦК за государственную измену и за организацию вооруженного восстания. Ленин и Зиновьев были обвинены в шпионаже в пользу Германии. 12 нюля была введена смертная казнь на фронте за дезертнрстао. 5 июля фракция большевиков ЦИК Советов попросила создать советскую комнссию по расследованию обвннения Ленина и Зиновьева. 7 июля сам Ленин направил письмо в ЦИК Советов, в котором дал согласие на свой арест, если прнказ правительства будет утвержден ЦИКом.

Письмо это было хорошо придуманным и правдоподобным маневром. Ленину нужно было время, чтобы скрыться. Он его и получил.

В полном согласни с заявлением большевистской фракцни Бюро ЦИК Советов постановило: «В связи с распространившимися по городу и проникшими в печать обвинениями Н. Ленина и других политнческих деятелей в получении декег из темного немецкого источника исполком доводит до всеобщего сведення, что им, по просьбе представителей большевнстской фракции, образована комиссия для расследования дела. Ввнду этого до окончання работ комиссии исполком предлагает воздержаться от распространения позорных обвнненнй и от выражения своего отношення к ним и считает всякого рода выступления по этому поводу недопустимыми».

Это постановление было опубликовано в органе Советов — в «Известиях» от 6 июля 1917 г. (И. Церетели, там же, стр. 341).

Надо заметить, что советское большинство, его лидеры (Чхеидзе, Церетели, Дан, Гоц и др.) сделали все, что в их силах, чтобы в печать не попало сообщение миннстра юстиции Переверзева о связях Ленина с германским генеральным штабом. В этом сообщекии говорилось, что Ленин через доверенных лиц получал крупные суммы денег от немцев. Доверенными лицами являлнсь в Стокгольме большевик Ганецкий (Фюрстенберг), старый друг и ученнк Ленина, Парвус (доктор Гельфанд), учитель и старый друг Троцкого, а в Петрограде адвокат большевик Козловский и родственница Ганецкого — Суменсон. В сообщенин говорилось: «Военной цензурой установлен непрерывный обмен телеграммами политического и денежного характера между германскнми агентами и большевистскимн лидерамн» (Церетели, там же, стр. 333).

ЦК большевикоа направил Сталина к председателю Исполкома Советов Чхеидзе, чтобы он и министр-социалист Церетели приняли меры протиа публикации этого сообщения газетами. Результат визита Сталина Церетели описывает так:

«От именн ЦК Сталин просил Чхеидзе, чтобы он, от своего нмени, как председатель Совета, и от имени Церетели, как члена правительства, обратился ко всем газетам с просьбой не опубликовывать этот документ. Чхеидзе спросил меня, согласен ли я на это, и когда я ему ответил утвердительно, сейчас же передал по телефону эту просьбу» (Церетели, там же, стр. 334).

Все-таки одна правая газета, «Живое Слово», опубликовала это сообщение, переданное ей большевистским членом II думы Алексинским и бывшим политкаторжанином Панкратовым. 22 июля газеты опубликовали сообщение прокурора о расследовании дела Ленина. В первой реакцин Ленина на зто содержались два заведомо неверных утверждения, которые опровергаются документами самого Ленина. Они следующие. В письме в редакцию «Новой Жизни» от 11 июля Лекин, говоря о том, что его «впутывают в коммерческие дела Ганецкого и Козловского», заявляет, что «мы вообще ни копейки денег нн от одного из названных товарищей ни на себя лично, нн на партию не получали» (Ленин, ПСС, т. 34, стр. 7). В другом месте, в статье «Ответ» (22—26 июля 1917 г.), Ленин пнсал: «Прокурор играет на том, что Парвус связан с Ганецким, а Ганецкий связан с Леннным! Но это прямо мошеннический прием, ибо все знают, что у Ганецкого были денежные дела с Парвусом, а у нас с Ганецким никаких» (Ленин, ПСС, т. 34, стр. 31). Таким образом, Ленин утверждал, что у него «никаких дел» с Ганецким не было... Когда Ленин писал свою статью (газета «Рабочий и Солдат» от 26 и 27 нюля 1917 года), конечно, никто ничего не знал о большой и регулярной переписке между ним и Ганецким. Это стало известно только после прихода Ленина и Ганецкого к власти. Ганецкий был близким сотрудником и даже другом Ленина. От польскнх большевиков при поддержке Ленина он был включен в состав пробольшевистского ЦК на V съезде РСДРП. Уезжая в апреле в Россию, Ленин создал в Стокгольме Заграничное бюро ЦК РСДРП(б), во главе которого был поставлен Ганецкий как агент ЦК, за которого Ленин заступался открыто (Ленин, там же, т. 49, стр. 441). Кроме того, в Сочинениях Ленина, в томе 49, опубликовано восемь личных пнсем и семь телеграмм к Ганецкому. В этих письмах Ганецкий иначе, как «дорогой друг», «дорогой товарнщ» и один раз даже по-немецки: «Werter Genosse», не назывался. Их содержание интересно и по существу. Они не оставляют сомнения, что Ганецкий был с февраля 1917

года главным снабженцем Ленина деньгами, предназначенными не лично для Ленина, а для партии. Вот некоторые выдержки этих писем.

В начале войны Я. С. Ганецкий, сам не имея денег, просил их у Ленина. Ленин ответил 28 сентября 1914 г.:

«Дорогой друг! Я мог бы дать Вам взаймы, если бы была какая бы то ни было возможность... Виктор твердо обещал мне прислать денег: я немедленно вышлю и Вам...» (Ленин, ПСС, т. 49, стр. 7—8).

Собираясь выезжать через Германию и Скандинавию в Россию 1 апреля 1917 года, Ленин телеграфирует Ганецкому:

«Выделить две тысячи, лучше три тысячи, крон для нашей поездки» (там же, стр. 425).

После возвращения в Россию 12 апреля Ленин пишет в Стокгольм Ганецкому и Радеку:

«Дорогие друзья! До сих пор ничего, ровно ничего: ни писем, ни пакетов, ни денег от вас не получил... Будьте архиаккуратны и осторожны в сношениях» (там же, стр. 437).

21 апреля 1917 г. Ленин пишет Ганецкому:

«Деньги две тысячи от Козловского получены... В общем выходит около 15-ти большевистских газет» (там же, стр. 438) *.

Вопрос вовсе не в том, получал ли большевистский ЦК за границей в лице его руководителей Ленина и Зиновьева через агентов ЦК Ганецкого, Карла Радека и Козловского деньги из германских источников (фонды министерства иностранных дел и Генерального штаба). Вопрос не стоит даже и так — знал ли лично Ленин, откуда в его кассу текут огромные суммы на организацию революции. Невыясненными надо считать другие вопросы, а именно:

1. Во сколько обошлась германскому правительству организация в России антигосударственной и антивоенной пропаганды?

2. Было ли в курсе дела Русское Бюро ЦК?

3. Какие другие революционные организации в России, кроме большевиков, субсидировало германское правительство?

Что касается разгрома демократической России, организации внутри России гражданской войны, выхода России из войны, захвата власти антивоенной и антипатриотической революционной партией, интересы кайзера и Ленина шли рука об руку. Ленин не был бы успешным большевиком, а был бы жалким проповедником секты социалистических фанатиков, если бы он отказался от принятия германской помощи по каким-либо моральным соображениям. Еще Макиавелли учил, что политика и мораль противопоказаны друг другу и что для достижения цели все средства хороши. К тому же сам Ленин говорил: «Всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия, мы отрицаем... Мы говорим, что наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата» (Ленин, ПСС, т. 41, стр. 309).

Из всех важных разоблачений о немецких деньгах при жизни Ленина надо выделить выступление известного деятеля немецких социал-демократов Эдуарда Бернштейна в центральном органе СПД «Vorwärts» от 14 января 1921 г. Бернштейн писал: «Ленин и его товарищи действительно получили от императорской Германии огромные суммы. Я узнал об этом в конце декабря 1917 г. ...Речь идет о почти невероятных суммах, во всяком случае свыше 50 миллионов золотых марок,— иными словами, о столь крупных суммах, что у Ленина и его товарищей не могло остаться места для сомнения, из каких источников они притекали. Я, конечно, знаю, какое большое значение с точки зрения военной политики тройственного союза придавалось финансированию большевистской акции. Тот самый военный, который первый сообщил мне об этом деле, передал мне также слова, сказанные ему видным членом парламента одной из союзных (с Германией) страны: что это финансирование — «мастерский ход Германии»... Одним из последствий их действий в этой области был Брест-Литовск, презрительно высокомерное поведение там представителей германского военного командования, вероятно, еще не изгладилось из памяти Троцкого и Радека. Ведший с ними переговоры генерал Гофман, у которого они были в руках в двояком смысле, давал это им сильно чувствовать... Если верна моя информация, Ленин на обвинения, выдвинутые в свое время против него Антантой, будто бы ответил, что никому нет дела до того, откуда он брал деньги. Совершенно неважно, какие цели преследовали деньгодаватели,— он, Ленин, прибывшие к нему деньги употребил на социальную революцию, и этого достаточно» (цитирую по Церетели, там же, стр. 338—339).

Ни Ленин, ни ЦК большевиков никогда не давали опровержения этого обвинения, оставаясь неизменно при утверждении, что все это клевета.

Ленин предпочитал отвечать вне досягаемости суда, прокурора и даже комиссии ЦИК, которая была создана по его же предложению.

На VI съезде партии (июль—август 1917 г.) специально обсуждался вопрос о явке Ленина и Зиновьева на суд. Группа делегатов (Володарский, Мануильский, Лашевич) внесла на съезд проект резолюции, в которой говорилось, что съезд разрешает Ленину и Зиновьеву «отдать себя в руки власти», если будет дана гарантия их личной безопасности («История КПСС», т. 3, кн. I, стр. 179). Но съезд по требованию Орджоникидзе, Дзержинского, Скрыпника, Шлихтера отверг эту резолюцию.

* Эти последние два письма Ленина, разоблачающие его связь с немцами через сотрудника Парвуса, Ганецкого, Сталин предложил опубликовать без ведома больного Ленина еще в 1923 году, когда он узнал, что Ленин его хочет политически похоронить («Завещание» Ленина). Поскольку Ленин и после прихода к власти продолжал отрицать свою связь с Парвусом и немцами через Ганецкого, то опубликование этих писем (журнал «Пролетарская революция», 1923, № 9) произвело на партию впечатление взорвавшейся бомбы.

Современники, как и историки из враждебного Ленину лагеря, слишком упрощенно ставили вопрос о Ленине как об «агенте Германского генерального штаба». Ленин не из тех людей, которых вербуют разведки, он из тех, которые сами вербуют вражескую разведку. Поэтому в широком политическом смысле не Ленин был агентом германского правительства, а, наоборот, германское правительство сделалось финансовым агентом Ленина для организации революции в России. Поэтому не германское правительство, а ЦК большевиков в лице Ленина ставил и условия получения денег, а именно: Ленин делает с деньгами что хочет, как хочет и где хочет и отвечает только перед самим собою. Поэтому-то Ленин организует пропаганду на немецкие деньги не только против русского правительства, но и против немецкого! Организацию коммунистической революции в России Ленин органически связывает с такой же организацией коммунистической революции в Германии. Деньгодатели это знают точно, но думают перехитрить Ленина. Однако хитрость не удалась. Ленин в России победил. Под влиянием русской революции германская революция смела германскую монархию... «Николай II такой же разбойник, как и кайзер Вильгельм», «Временное правительство в Петрограде такое же разбойничье империалистическое правительство, как и кайзерское правительство в Берлине» — эти лозунги постоянно присутствуют в выступлениях Ленина и большевиков. Что касается юридической стороны дела о «немецких деньгах», то вопрос этот в принципе уже выяснен. В Лондоне в 1958 году в издательстве «Oxford university press» вышел сборник документов, изданных Z. A. B. Zemann. Сборник называется «Germany and the Revolution in Russia 1915—1918» (документы из архива германского министерства иностранных дел). Здесь приведем только две выдержки из этих документов:

1. Государственный секретарь министерства иностранных дел Германии Kühlmann пишет 29 сентября 1917 года:

«Большевистское движение никогда бы не достигло того масштаба или влияния, какое оно имеет сегодня, без нашей продолжительной поддержки» (стр. 70, документ № 71).

2. Тот же Kühlmann пишет 3 декабря 1917 года:

«Россия казалась слабейшим звеном во вражеской цепи. Поэтому задача заключалась в том, чтобы постепенно отвязать его (звено) и, если возможно, оторвать его. Такова была цель диверсионной деятельности, которую мы организовали в тылу России,— в первую очередь в виде поощрения сепаратистских тенденций и поддержки большевиков. Этого не случилось, пока большевики не получили от нас постоянно возрастающих фондов через различные каналы и под различными ярлыками. Таким путем они оказались в состоянии развернуть свой главный орган «Правду», организовать энергичную пропаганду и ощутимо расширить первоначально узкий базис своей партии» (стр. 44, док. № 94).

Удивительнее всего, что большевики даже после прихода к власти продолжали брать деньги у немцев — так, 10 ноября 1917 года большевики получили на политическую пропаганду 15 миллионов марок, а после подписания сепаратного Брестского мира германский посол в Москве г. Мирбах 13 мая 1918 года предложил своему правительству поддерживать большевиков и дальше; Берлин ответил Мирбаху полномочием использовать для этой поддержки 40 миллионов марок (там же, документы №№ 75, 92, 124, 128, 129, 131, 132, 133, 135).

В свете всего этого становится ясным, что Ленин не мог явиться на суд Временного правительства. Вполне прав поэтому и официальный историк, который писал «о серьезнейшей ошибке Сталина по вопросу о явке Ленина на реакционный суд»... Цитируя тогдашнего секретаря ЦК КПСС, он пишет: «Секретарь ЦК КПСС Л. Ф. Ильичев отмечал, что в период культа личности считалось недопустимым писать о серьезнейшей ошибке Сталина по вопросу о явке Ленина на реакционный суд в 1917 г. В «Кратком курсе» необоснованно утверждалось, что на VI съезде Сталин «решительно высказывался против явки Ленина на суд». Любопытно заключение автора: «На съезде (VI съезд) были делегаты, которые, поддавшись атмосфере Советов, конституционным иллюзиям, наивно полагали, будто суд над Лениным превратится в разоблачение Алексинских, Церетели и компании, что партия выйдет победителем из этого процесса» («Вопросы истории КПСС», 1962, № 4, стр. 46, 48).

Что верно, то верно. Партия действительно не могла выйти победителем из этого процесса, ибо факты были против нее.

Подготовка текста и публикация
С. НИКОЛАЕВА

(Окончание следует.)

Г. ПОМЕРАНЦ

Семеро против течения

«ВЕХИ» В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ

1. У истоков национальной мысли

Долгое время «Вехи» делили судьбу Чаадаева: все знали это слово и никто — что оно значит. Слово торчало в советском словаре как колышек, к которому была привязана за веревочный ошейник одна-единственная фраза — из тех фраз, которые выдираются, чтобы отбить охоту к чтению и заменить личное знакомство с текстом всенародным побиением: «Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом,— бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной» (впрочем, цитировалась или пересказывалась даже не вся эта фраза, а только вторая ее половина). Ничего более интересного за «Вехами» не числилось. И называлось все это бердяевщиной (хотя злополучная фраза принадлежала Михаилу Осиповичу Гершензону).

Некоторое время я верил Ленину на слово; потом прочел Достоевского и не согласился с оценкой архискверного романа архискверного писателя. Авторитет был поколеблен. Но Бердяева, Булгакова, «Вех» в каталоге не было. Пришлось подождать четверть века. За это время я многое успел передумать и не удивился, что текст «Вех» оказался совсем не про то. И скандальная фраза Гершензона в контексте зазвучала совсем не скандально; слышится в ней скорее боль за оторванность от народа и еще — неожиданный, почти бессознательный вопль человека, для которого «ярость народная» (то есть погром) страшнее правительственных репрессий. Нечто подобное я слышал от европеянки из Душанбе, на глазах у которой растерзали соседку...

Гершензон глубоко проникся идеями Достоевского и смотрел на народ его глазами; но он сознавал, что погромщики этого не поймут и будут бить не по «творческому самосознанию», а по роже. Отсюда вырвавшийся вопль. Но вопль — междометие, всплеск. Статья же Гершензона о другом: что прежде любого общественного дела надо стать человеком, личностью, и для этого углубиться, взглянуть внутрь: «нельзя человеку жить вечно снаружи» («Вехи», 2-е изд., М. 1909, с. 71)[1]. Я прочел и вздохнул. Как трудно было открыть это заново и как от меня шарахались сверстники, когда в свои 17 лет я пытался доказать, что Николай Островский опровергает самого себя, что Павка Корчагин, прикованный к постели, сделал больше, чем на строительстве узкоколейки.

«Вехи» сейчас стали престижными, все на них ссылаются. По большей части — выхватывая отдельные полемические фразы против сегодняшних объектов ненависти,— чтобы повернуть свой бронепоезд в обратную сторону, но по той же политической колее. А «Вехи» сходят с рельс. «Вехи» все политические цели и правила, как жить, передвигают пониже и всеми своими семью голосами говорят о другом, высшем: о значении внутренней жизни, о значении творчества (научного, художественного, религиозного) и об опасности потери иерархии: творчества — и распределения его плодов; творчества — и разрушения препятствий на его пути.

«Вехи» впервые осознали то, что я потом назвал «пеной на губах» (дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое и правое дело): «Психологическим побуждением и спутником разрушения всегда является ненависть... Основным действенным аффектом народника-революционера служит ненависть к врагам народа» (с. 195), и «из великой любви к грядущему человечеству рождается великая ненависть к людям» (с. 193).

[1] См. также издания: «Литературное обозрение», 1990, № 7—12; «Новости». М., 1990 (Репринт. 1-е изд.).

Я выписал эти строки из статьи С. Л. Франка «Этика нигилизма». Они невыносимо актуальны и относятся, конечно, не только к революционным народникам. Но «Вехи» ни в коем случае не сводятся к одному голосу, к одной идее. Даже такой важной, как попытка остановить лавину ненависти... Это концерт свободных умов, ни один из которых не претендует на самодержавие истины. В этом структурное отличие «Вех» от сборника «Из-под глыб» (Париж, 1974), где один решающий голос. И в то же время «Вехи» — стихийно сложившееся единство. «Вехи» достойны изучения как образец высокого плюрализма, подобного плюрализму европейской культуры, где каждая нация по-своему развивает одну и ту же традицию древнего Средиземноморья, один и тот же дух Европы, часто в споре друг с другом — и все же в неком единстве, которое выражено в словах «европеец», «веховец».

«Вехи» нетрудно расщепить на кусочки и печатать во враждебных журналах. Например, дается фундаментальная критика марксизма у Франка, а Бердяев отмечает положительное влияние марксизма, углубившего умственные интересы интеллигенции в 90-е годы. Если у Гершензона преобладает славянофильская традиция, то статья Б. А. Кистяковского «В защиту права» укоренена в традициях западничества. Его блестящий разбор протоколов II съезда РСДРП мог бы быть опубликован 50 лет спустя, в сахаровском сборнике. Поражает точная оценка рокового значения плехановского тезиса: «благо революции — высший закон» (правовая идея, из которой родилась ленинская этика: «нравственно то, что полезно для революции»).

Позиция большинства веховцев не укладывается ни в одно традиционное русло — ни западническое, ни почвенническое. Статья С. Н. Булгакова «Героизм и подвижничество» подчеркивает «решающее значение того или иного высшего критерия, идеала для личности: дается ли этот критерий самопроверки образом совершенной Божественной личности, воплотившейся во Христе, или же самообожествившимся человеком в той или иной его земной ограниченной оболочке (человечество, народ, пролетариат, сверхчеловек), то есть в конце концов своим же собственным «я», но вставшим перед самим собой в героическую позу» (с. 50). Это близко к почвенничеству; однако все кумиры стоят в одном ряду и народопоклонство осуждено вместе с пролетаропоклонством.

Частные суждения Булгакова об интеллигенции совершенно взламывают славянофильскую схему. Интеллигенция, по его словам, «есть то прорубленное Петром окно в Европу, через которое входит к нам западный воздух, одновременно и живительный, и ядовитый. Ей, этой горсти, принадлежит монополия европейской образованности и просвещения в России.., и если Россия не может обойтись без этого просвещения под угрозой политической и национальной смерти, то как высоко и значительно это историческое призвание интеллигенции...» (с. 25—26). А потому ответственность интеллигенции огромна: «Даже и отрицательные учения на своей родине, в ряду других могучих духовных течений, им противоборствующих, имеют совершенно другое психологическое и историческое значение, нежели когда они появляются в культурной пустыне и притязают стать единственным фундаментом русского просвещения и цивилизации» (с. 33). «В ...отборе, который произвела сама интеллигенция, в сущности даже и не повинна западная цивилизация в ее органическом целом» (с. 35).

Здесь настолько сильно чувство ответственности и чувство собственной, а не чужой вины, что повтори это сегодня — и тебя запишут в русофобы. Примерно так же не укладывается в славянофильские шаблоны и статья другого религиозного мыслителя, С. Л. Франка,— «Этика нигилизма». Акцент на справедливом распределении богатств в ущерб производству, в ущерб творчеству Франк считает общей чертой интеллигенции и народа, связанной с добуржуазным характером России: «Иванушка-дурачок, «блаженненький», своей сердечной простотой и святой наивностью побеждающий всех сильных, богатых и умных,— этот общерусский национальный герой есть и герой русской интеллигенции» (с. 203).

«Вся русская история обнаруживает слабость самостоятельных умозрительных интересов»,— пишет Бердяев (с. 7), открывая тему, развитую впоследствии Г. П. Федотовым. «Исключительное, деспотическое господство утилитарно-морального критерия, давящее господство народолюбия и пролеталюбия, поклонение «народу».., все это вело к тому, что уровень философской культуры оказался у нас очень низким» (с. 2). Бердяев мимоходом признает «давление казенщины внешней, реакционной власти», но основное внимание его — к «казенщине внутренней» (с. 1), к собственной вине интеллигенции: «любовь к уравнительной справедливости, к общественному добру, к народному благу парализовала любовь к истине, почти что уничтожила интерес к истине» (с. 8). «Кто любит истину или красоту, того подозревают в равнодушии к народному благу» (с. 180),— вторит Бердяеву Франк. Тема эта вновь прозвучала в последнем слове А. Д. Синявского на суде (1966 г.).

Некоторая гиперболичность обвинений, брошенных интеллигенции,— призыв к ее собственным внутренним силам. «Мы освободимся от внешнего рабства лишь тогда, когда освободимся от внутреннего рабства, то есть возложим на себя ответственность и перестанем во всем ви-

нить внешние силы. Тогда народится новая душа интеллигенции»,— писал Бердяев (с. 22).

Во многих случаях авторы «Вех» чувствуют себя нераздельной частью интеллигенции; в других — критика ведется как бы извне. Это связано не только с несходством личных позиций или с авторской непоследовательностью, но с неоднозначностью, с внутренней противоречивостью самого объекта мысли — интеллигенции.

2. Интеллигенция. Границы термина. Экскурс в историю и культурологию

Слово «интеллигенция» получило свой современный смысл в России в конце XIX века. Появилась особая группа «понимающих», отличная и от аристократии, и от буржуазии (часто совершенно не образованной). Учитель, врач, адвокат не хотели отождествлять себя ни с кем другим (как отождествляли себя со средними классами интеллектуалы Запада). Слово «интеллигенция» немедленно приобрело популярность и быстро укоренилось. Победоносцев считал его манерным и ненужным неологизмом и возражал против употребления в официальных бумагах. Плеве, однако, ответил, что обойтись без нового термина нельзя. «Интеллигенция,— писал он,— это тот слой нашего образованного общества, который с восторгом подхватывает всякую новость или даже слух, клонящийся к дискредитированию правительственной или духовно православной власти; ко всему же остальному относится с равнодушием».

Западногерманская энциклопедия Брокгауза до сих пор рассматривает интеллигенцию как явление по преимуществу русское. «Интеллигенция — в России с середины XIX века — общественная группа образованных людей, не принадлежащих к духовенству; впоследствии только ангажированные, по большей части враждебные государству интеллектуалы»[1]. В словаре Вебстера (если сопоставить его издания за разные годы) акцент на русском происхождении термина постепенно смягчается. Слово по традиции пишется курсивом, как языково чуждое, но фактически оно входит в домашний обиход со всеми определениями, которые давались интеллигенции разными течениями русской общественной мысли в XIX веке[2].

Понятие «интеллиджентсиа» (как оно произносится по-английски) широко распространено в востоковедении, но реже применяется в анализе социальной структуры развитых стран. Это связано со взглядом на интеллигенцию как явление социальной слаборазвитости: «интеллигенция чувствует себя заброшенным в мир странником, мечущимся от судорожной деятельности к отрешенности, от реформаторских порывов к апатии и эскапизму»[3]. Однако чувство кризиса, охватившее Запад, привело к возникновению мятущегося, неустойчивого слоя образованных людей и на Западе. П. Баран называет этих людей привычным английским словом «интеллектуалы», но, по существу, он повторяет традиционное русское противопоставление интеллигента специалисту: «Чтобы избежать возможных затруднений в понимании нашей концепции, условимся: работники умственного труда могут быть (и временами бывают) интеллектуалами, а интеллектуалы, как правило,— работники умственного труда. Я говорю «как правило», ибо многие из числа промышленных рабочих, ремесленников или крестьян могут быть (и в определенных исторических условиях часто бывают) интеллектуалами, не будучи работниками умственного труда». Такого интеллектуала характеризует «приверженность гуманизму, приверженность тому принципу, что борьба за прогресс человечества не требует никаких научных или логических обоснований», ибо она опирается на непосредственное чувство: «жажду говорить истину». «По сути своей интеллектуал есть социальный критик»[4]. Это очень близко к концепции «критически мыслящей личности», разработанной Ивановым-Разумником за полвека до того.

На первый взгляд интеллигент — это европейски образованный человек в неевропейской стране, усвоивший европейские представления о прогрессе и возмущенный порядками в своем отечестве. Так это было в России и повторилось во всех вестернизированных странах, от Японии до Нигерии. Всюду возникал феномен, определенный Г. П. Федотовым как «идейность задач и беспочвенность идей». Мировой характер этого явления позволяет снять оттенок самобичевания, ощутимый в федотовской «Трагедии интеллигенции», и признать болезнь интеллигентности пандемией, не зависящей от конституции субъекта, русского или китайца. Но остается известная неполноценность интеллигента с его «детскими болезнями левизны» сравнительно с уравновешенным западным интеллектуалом. Духовный кризис Запада расшатал и это противопоставление. Возникло понимание интеллигента как интеллектуала, захваченного кризисом, который может случиться на любом уровне развития.

Учитывая современные сдвиги, ниге-

[1] Brockhaus. Enzyklopädie in 20 Bd., Wiesbaden, 1970, Bd. 9, S. 164.
[2] Webster, 1966.
[3] Riggs F. Administration in developing countries. Boston, 1964, p. 151.
[4] Baran P. A. The commitment of the intellectual. «Monthly rew.», 1961, vol. 13, № 1, p. 9—10.

рийский социолог С. Анози противопоставляет два универсальных типа носителей культуры: «проблематического» (обращенного внутрь) и «непроблематического» (обращенного на объективные социальные задачи). «Проблематическая личность» сознает себя чужой и в традиционном, и в современном мире. Это человек одинокий, занятый поисками самого себя и неспособный показать себя на деле (вспоминается подпольный человек Достоевского). Напротив, герой с экстравертной установкой легко усваивает ценности дня и с надеждой смотрит в будущее. В романах он всегда с чем-то борется: с колониализмом, трибализмом и т. п.[1]

Анози называет мир, в котором живет интровертный герой, «экзистенциалистским». Следуя по этому адресу, можно найти глубоко разработанную дихотомию «проблематического» и «непроблематического» в лекциях М. Бубера «Что такое человек»[2].

Согласно Буберу, есть два типа носителей интеллектуальной культуры, попеременно выдвигающиеся на авансцену истории. «Непроблематический» тип воплощает в себе культуру как нормально функционирующую систему; «проблематический», напротив,— носитель кризиса культуры, обветшания, разрушения и смены ее форм. Мыслитель первого типа, даже занимаясь философией, превращает ее в специальную систематическую науку (Аристотель, Гегель). Мыслитель второго типа ищет, подобно Гамлету, восстановления «расшатавшегося», «вышедшего из пазов» мира (Паскаль, Кьеркегор). Разница между эпохами только в **степени влиятельности** того или другого типа. (Можно добавить, что такова же разница между регионами; было бы ошибкой рассматривать преобладающий тип как единственный.)

«Устойчивое» и «кризисное» сознание противостоят друг другу и в древней Элладе, и в азиатской древности. На одной стороне книжники (шеньши, пандит, улем); на другой — отшельники и юродивые (даосы, дзэнцы, саньясины, суфии). Однако предшественники интеллигенции не оторваны ни от религиозной традиции, ни от народного сознания. Их духовные кризисы разворачивались внутри культуры, не потерявшей своего религиозного измерения. «Вертикальная» ось (духовных взлетов и падений) еще не была разрушена наукой, и кризис одной веры находил выход в другой вере. Не было и проблемы народа как чуждого и непонятного слоя. Народ уважал ученых правдоискателей и прислушивался к ним. Сама образованность была более целостной, гармоничной. Знание еще не раздробилось на тысячи специальных наук; протоинтеллигент часто был и врачом, и поэтом, и государственным (или религиозным) деятелем. Ему не приходило в голову, что «гений, прикованный к чиновничьему столу, сойдет с ума или погибнет» (Лермонтов).

Важно и то, что единого типа протоинтеллигента не было, как не было и единой мировой науки, по происхождению западной, с которой неразрывно связан современный интеллигент (даже если он почвенник, иррационалист и враг науки). Совершенно невозможно представить себе утечку умов из китайских академий живописи в Багдад или из багдадских медресе в Кайфын. Культура распространялась в рамках крупного региона вместе с господствующими религиями. Диалог между культурными коалициями был спорадичным и не размывал границ христианского мира, мира ислама, индуистско-буддийского мира Южной Азии, конфуцианско-буддийского мира Дальнего Востока.

Таким образом, можно провести границу во времени между интеллигентом и протоинтеллигентом. Первый образ интеллигента — Гамлет. Первый философ-интеллигент — Паскаль. До Возрождения интеллигентов, в строгом смысле слова, не было. Были протоинтеллигенты. Они появились вместе с философией, очень быстро расколовшейся на «проблематичную» (Сократ) и «непроблематичную» (Аристотель). В относительно секуляризованной Аттике софисты и Сократ довольно близки к современным интеллигентам. Сократ и Платон — веховцы Аттики.

До философии ничего подобного не было. Писец (в отличие от специалиста более поздних времен) не мог стать интеллигентом. У него нет орудия перехода — логики, разработанной как самостоятельная наука; логики, с помощью которой можно создать личное мировоззрение и изменить его. Частные знания писца включены в традицию, скорее заученную, чем осознанную, и опирающуюся на нерасчлененность обычного со священным и вечным. Еще менее «интеллигентны» хранители предания в бесписьменном обществе, обязанные прежде всего удерживать в голове все, что тогда еще нельзя было передать библиотекам и музеям. Хранение и критика — две вещи столь же мало совместимые, как гений и злодейство. Но по мере развития цивилизации единый тип носителя культуры дифференцируется и возникает несколько подтипов, для обозначения которых сплошь и рядом не хватает слов. Веховцы были интровертированные интеллигенты, продолжатели той линии, которую в Европе начали Паскаль и Кьеркегор (а в России — Достоевский и Толстой). Революционные интеллигенты, охваченные «нетерпением сердца», видели проблемы только во внешнем, во «внешней казенщине», как выражался Бердяев, и не

[1] Anosie S. O. Sociologie du roman africain. P., 1970.
[2] Buber M. Between man and man. L., 1961, p. 148—248.

замечали казенщины внутренней, своей собственной, своей захваченности идеологической схемой.

Самый способ мышления веховцев был новым, непривычным. Как правило, интеллигенты спорили, какая схема, какая система правильная. Сталкивались идеология с идеологией (народничество с марксизмом). У веховцев нет никакой общей схемы. Они деидеологизированы и опираются каждый на свою личную интуицию. Этот способ мышления для России был нов, непривычен и не сразу понят. Россия вошла в Европу, когда новое время уже сложилось и отлилось в уме как ряд философских систем. Система казалась обязательным признаком мыслящего человека. Бессистемность воспринималась как порок. Но это далеко не всегда верно.

3. Рождение жанра

В эпохи, когда все принципы расшатаны, сильно развитая личность находит опору в самой себе. На переломе к средним векам написана «Исповедь» Августина; на переломе к новому времени — «Опыты» Монтеня. В исповеди и в эссе утверждались начала, на которых впоследствии были построены здания философских систем; но сами по себе ни «Исповедь», ни «Опыты» — не система. Они насквозь личностны.

В России это личностное мышление мощно заявило о себе в прозе Достоевского и Толстого, но воспринималось (и, может быть, до сих пор воспринимается) как художественный принцип, даже как художественный прием. В мышлении веховцев, отказавшихся от марксистской системы и еще не пришедших ни к какой другой, личность впервые в России выступила как принцип и прием исследования истины. Личность, повернувшаяся в глубь себя самой, находит там свои принципы. Одновременно началось становление формы такого исследования: философской исповеди, философского эссе.

Я сам эссеист и много думал о содержательности формы эссе. В ней есть что-то общее с незавершенностью в пластических искусствах. Кажется, что вот эту линию можно продолжить, закруглить... И до какой-то степени действительно можно. Но вдруг мера нарушена, и изображение становится мертвым. Так и в размышлениях о чем-то текучем, неуловимом или целом, не поддающемся анализу. Слишком большая упорядоченность в мысли разрывает с жизнью. Можно вычленить какой-то аспект действительности, проследить его логику и выстроить ее как систему научных терминов. Но чем ближе мы подходим к глубине бытия, тем менее это возможно. В сложившейся культуре возникает иллюзия, что жизнь целиком умещается в систему. Но ни Христос, ни Будда не сочинили «Сумму теологии» или «Науку логики». Есть притча об этом у Кришнамурти. Некий человек нашел кусок истины. Дьявол, услышав, огорчился. Но потом он сказал: ничего, человек попытается привести истину в систему, и ложь опять возьмет свое.

Не только глубина блаженства, но и глубина страдания не укладываются в систему. Систематически мыслили друзья Иова. Иов только задавал вопросы Богу.

Когда целая культура оказывается в положении Иова, возможности системного философствования резко падают. Какая система мысли вместила Освенцим? А если вместила, если оправдала Освенцим или Колыму — куда эта система годится? Можно ли ее считать духовно значимой? Всякая боль культуры, всякий надлом — даже первые признаки надлома, угаданные в прошлом веке Кьеркегором или Достоевским,— разрушительны для системы. Незавершенность эссе, незавершенность безответного вопроса — очевидное несовершенство. Но в этом несовершенстве есть своя истина. Незавершенное, вопрошающее мышление Иова живет две с половиной тысячи лет, а системы одна за другой попадают в некрополь.

Философия «серебряного века» подходила к форме исповедального опыта (уже найденной Достоевским в «Записках из подполья») на ощупь, без понимания, к чему она идет. Для части веховцев «Вехи» были только этапом на пути от одной системы к другой. Чувство жизненной тревоги сохраняется у них и позже, но только в интонации. Лирический, исповедальный тон возможен и в догматическом богословии; эссе и догма — парадоксальная пара. Если она иногда встречается (у Честертона), то там, где жанр эссе глубоко укоренен, нашел опору в английском эксцентрическом характере, и форма (эссе) до некоторой степени подчиняет себе содержание.

Честертон — католик и апологет католицизма, но прежде всего он Честертон, а не анонимный (или псевдонимный) средневековый автор. Его ни с кем не спутаешь, и, хотя он отстаивает канон и догму, мысль его в своих оттенках и переходах следует неповторимому складу личности. В каких-то оттенках мысли эссеист всегда еретик, то есть следует личному выбору. Русской религиозности это мало свойственно. Соборность в исторически сложившемся ее понимании допускает личное покаяние, но не личностное мышление. Эссе — скорее разрыв с патриархальной соборностью. И русские авторы, даже имея дело со сложившимся эссе, пытаются его назвать как-то иначе. В статье «Бердяев-мыслитель», написанной уже после смерти старшего друга (1948) и незадолго до собственной кончины (1951), Федотов говорит о жанре «философской публицистики, всегда пронизанной злободневностью, но sub specie aeternitatis»[1] (Г. П. Федотов. «Новый град». Нью-Йорк, 1952, с. 309). Ю. П. Иваск во вступлении к «Новому граду» называет творчество Федотова «высокой публицистикой» (с. 5). И только в скобках по-английски добавляет: essay.

Эссе граничит с публицистикой и часто попадает в одну с ней рубрику. Отличить его от публицистики трудно. Философская тема сама по себе еще не делает погоды. Решающее отличие — внутреннее: в степени своеобразия автора, в господстве личности над темой. Мы читаем публициста, потому что нас интересует сюжет, событие, тема. Мы перечитываем Честертона, или Розанова, или Бердяева, или Федотова, потому что нас захватывает неповторимо личностный склад ума. Даже когда автор не играет им и не подчеркивает его. Хотя и это возможно и эссе Розанова можно иногда определить как стихотворение в прозе.

Блистательные примеры эссе мы найдем у Бердяева (например, «Духи русской революции», написанные в едином порыве гнева). Но установки на эссе у него не было. Пожалуй, только В. В. Розанов сознательно выбрал отрывочную форму «Уединенного» и «Опавших листьев». Это связано у него, однако, с упадком интереса к истине (печать декадентского времени). Принципы теряют всякое значение, Розанов ставит их ниже калош и бездумно играет противочувствиями.

Мне лично ближе федотовская мера принципиальности и системности, возможных в наш текучий век. У Федотова есть принципы, но он способен и отказаться от них (например, от идеала единой и неделимой России — после второй мировой войны). В каждом своем большом эссе Федотов заново формулирует основные понятия и в рамках эссе строго им следует; но у него хватает вкуса не строить больших, всеобъемлющих систем.

Бердяев тяготел к свободному потоку мысли, не ограниченному не только принципами, но и формой. Замечательную характеристику дал ему Федотов (в названной уже статье):

«У Бердяева в молодости было много учителей, таких далеких и несхожих. Из западных «отцов» достаточно назвать Якова Бёме и Канта, Маркса и Ницше. Самое сочетание этих несовместимых имен исключает мысль об эклектическом синтезе. Их невозможно примирить, но можно перелить, расплавив в личном опыте, в совершенно новое и оригинальное мировоззрение. Такова была философия Бердяева, враждебная всякой систематике, необычайно радикальная и в выражении и по существу, но вытекающая из единства жизненного и нравственного опыта» (с. 302—303).

«...Пренебрежение к совершенству объясняет и писательский стиль... Бердяева. Враг всякой системы, не верящий в возможность мысли, свободной от противоречий, Бердяев хочет сохранить в своих писаниях возможно полную свободу своей кипящей, взволнованной мысли. Нечего и говорить, что он не унижается до доказательств. Подобно французскому поэту Пеги, он стремится все к новому выражению одной и той же мысли, не зачеркивая уже найденных, бросает нить и снова возвращается к ней. Он мастер удачных, образных определений, но они часто тонут среди черновых набросков. Мы лишь предчувствуем блестящий писательский дар, запущенный как старый русский сад, поросший сорными травами» (там же, с. 308).

Эссеизм утверждает свое право на непоследовательность, на противоречие. Противоречие недопустимо в системе. Но каждый абзац Бердяева, каждый из опавших листьев Розанова может быть написан с новой, неожиданной точки зрения. Так фиксируется жизнь, полная противоречий, когда «все переворотилось» и скорее разваливается, чем «укладывается» (читатель, наверное, вспомнит фразу Л. Толстого). Розанов нашел для этого особую форму, Федотов — другую, а Бердяев пишет обо всем сразу, на каждом шагу противореча самому себе. Его крупным сочинениям не хватает членения на новеллы, в рамках которых можно сохранить логику. Критиковать Бердяева очень легко, но отчасти это значит ломиться в открытые двери. Бердяев дает нам «поток (философского) сознания». Это тоже форма. И я думаю, что мы должны рассматривать ее как форму, а не простой беспорядок (или переход от чего-то к чему-то в духе эволюционной теории).

4. Сопротивление интеллектуальных привычек

Сознание, тяготеющее к системе, склонно подчеркивать итог «Вех»: приход Булгакова и Франка к догматическому богословию. При этом выпадает Гершензон (инициатор сборника) и очень мешает Бердяев. Обойти его молчанием невозможно, принять — еще менее возможно. Надо отдать должное смелости Ренаты Гальцевой: она вступает в открытую борьбу с Бердяевым. Комментируя его статью «Философская истина и интеллигентская правда» («Литературное обозрение», 1990, № 7), Гальцева пишет, что там есть вещи, «которые своей противоречивостью и несистемной экспрессией бросают вызов систематическому продумыванью центрального а сборнике «проклятого вопроса» о поли-

[1] С точки зрения вечности (лат.).

тизацни сознания русской интеллигенции». И далее излагает Бердяева, почти пародируя его: «Откуда же явнлась такая перекошенность ее (интеллигенции.— **Г. П.**), оторвавшаяся от столбовой дороги человеческой культуры н от «общественной жизни»? Объяснения этому явлению Бердяев находит многочисленные. Это и сектантская русская психологня, и культ общественной пользы, и застарелое народническое «мракобесие», и нелюбовь к творчеству и мысли, и русская история с ее «злом деспотизма и рабства», и «малокультурность», и тяготение к крайностям и т. д. Но тут же, параллельно, Бердяев обнаруживает, что Россия отлнчалась своим глубоким увлечением немецкой классической философией (Когда? Сравнимы ли несколько десятилетий с нсторией европейской философии за тысячу лет? — **Г. П.**) н более того — развивала собственную «серьезную философскую культуру, универсальную и вместе с тем национальную» (в даином случае ей почему-то не мешало «зло деспотизма и рабства»)...»

Прерываю цитату, чтобы спросить: как же не мешало, когда преподавание философии при Николае I было запрещено. Но продолжим цитату:

«Выходнт, пснхология у русских разная: однн третнруют фнлософию, «этот орган самопознания человеческого духа», лелея вместо нее убогие сектантские схемы, другие — создали традицию, которая способна возродить Россию. Далее, после выявления целого набора национальных корней русской кружковой мысли автор вдруг называет ее «космополитической»!..

Опять прерываю цитату, чтобы спросить: ну н что же? Почему Бердяев не вправе отметить то, что Федотов впоследствии назвал «идейностью задач и беспочвенностью идей»? Чем кружковый характер русской мысли противоречнт космополитическому характеру идей некоторых кружков?

Шедевр полемики Гальцевой — следующий абзац:

«Не нужно обладать особо нзощренной мыслью, чтобы догадаться, что отказ от бескорыстных поисков истины и от свободной любви к ней заложен в основаниях той идеологии, которую наш мыслитель, не так еще давно связанный с ней «легальнымн» узами (изящный намек на период легального марксизма.— **Г. П.**), все-таки пытается вывести из-под удара, придать ей более или менее респектабельный вид и обрядить в импозантные одежды «европензма»,— на подрыв которого н был направлен ее мощный заряд» (с. 100—101).

Признаюсь, я не могу понять, как это можно в таком тоне прорабатывать Бердяева. Именно прорабатывать, со всеми языковыми особенностями проработочных кампаний. Стнль еще больше поражает, чем мысль, достаточно бедная: что все зло в России от марксизма и только от марксизма. Я слишком уважаю Р. Гальцеву, чтобы напоминать ей нмена Бакунина, Нечаева, Ткачева. Или «Трагедию интеллигенции» Г. П. Федотова, где истоки революции прослеживаются на протяженни нескольких веков до рождения Маркса.

Бердяев распростился с марксизмом как фнлософ, спокойно преодолев ограниченность мысли Маркса, н воздавал должное тем элементам истины, которые у Маркса были. Нет, это не по-нашему. Но разве спокойствие и умеренность в критике говорят о ее слабости? Напротив — о силе!

Красным карандашом учительницы Гальцева подчеркивает логико-стилистические ошибки Коли Бердяева и не замечает, в какое смешное положение она себя ставнт. Бердяев иногда действительно противоречив, недопустимо противоречив для систематика. Пренебрежение к логическнм противоречиям — часть уважения Бердиева к жизни, которая в логику не укладывается. Это его открытый прием, способ избежать длиннот, неизбежных при постоянных перестройках системы. Или — или. Илн на первом месте логика, и тогда неудобные факты отодвигаются в сторону. Или мысль не отрывается от жизни, но тогда непрерывно трещит система. Каждый мыслитель выпутывается из этого положения по-своему, и я не утверждаю, что способ Бердяева самый лучший. Но мысль его остается жнвой, она не обветшала, она нужна нам, и нелепо упрекать Бердяева за то, что он Бердяев, а не Флоренский нли Франк.

То, что у более осторожных авторов на уме, у Гальцевой на языке. Ее не устраивает не только Бердяев. Не годится общий веховский поворот внутрь, в глубину личности. Можно простить его как роскошь, допустимую в спокойное время, но иам, в наш век, это ни к чему:

«Если в традиционном, органически развивающемся обществе либерал, ндеолог «Вех», находящийся в гармонии с принципами такого, эволюционного устройства, делает ударение на углубленную работу «внутреннего человека», на «спрос с себя», то в революционном обществе, сменившем свон естественные основания на утопические идеи радикальной переделки человека и человеческого общежития, такой принципиальный эволюционист парадоксальным образом становится революционером (революционером без пролития крови, конечно). Ведь для возвращения человека и человеческого сообщества на нормальные эволюционные рельсы совершенно необходим аналогичный по радикальности, но обратный по направленности переворот в основах социального строя, который собой реализует и беспрерывно воспроизводит бесплодный утопический радикализм, закрывая дорогу плодотворному развитию. Здесь при неизменном, неотменяемом ориентире на «спрос с себя» выступает на первый план и «спрос с системы». Таким образом, в ответ на требования времени в программу «Вех» должна бы теперь входить придуманная социальная доктрина (которые впоследствии авторы сборника по отдельности начали обдумывать)... Всякие же упования на переустройство сознания как на исключительное средство восстановления нормальной жизнн в нашем социуме, якобы не требующее прямых перемен в его структуре,— это сегодня или отпетый анахронизм, либо лицемерное благодушие, не имеющее ничего общего с возвращением к человеческому существованию и хотя и часто ссылающиеся на букву «Вех», но совершенно чуждые ответственному духу семн русских мыслителей» (с. 100). Из которых по крайней мере одного, Бердяева, Гальцева постоянно ловит на безответственности.

Во всем этом отрывке речь идет не собственно о «Вехах», а о том, к чему следовало прнйти, начав с «Вех». Авторы «Вех» рассматриваются как авторы сборника «Из-под глыб», еще не совсем понявшие свою задачу, и Гальцева разъясняет ее им. Одна натяжка следует за другой. Веховцы вовсе не чувствовали себя «в гармонии» с Россией, эволюциоиизировавшей от Ходынки к кишиневскому погрому и от 9 января к столыпинским галстукам. Современница «Вех» — статья Толстого «Не могу молчать». Масштабы столыпннских казней — ничто сравнительно с красным и сталинским террором... Но нашего масштаба в 1909 году еще не было, не было привычки к массовым государственным убийствам. И именно в этой обстановке, когда внимание всей интеллигенции было обращено на «спрос с системы», веховцы настаивали на пути реформ (а не революцни, но без пролития крови: такие революцин бывают только в царстве утопии). Настаивали на том, что никакие политические страстн не оправдывают зацнкленности на политике. «Вехн» исходили из хитрости дьявола, вовсе не положившего все зло в одном месте, и из долга присматриваться к росту зла в самих себе, в борцах со злом, в змееборцах — как бы в ожесточении битвы не превратиться в нового змея. «Вехи» были манифестом творческого сознания, а не программой, как обустроить Россию. «Вехн» провозгласили, что для писателя, художника, философа нет эпохи, когда стремление к истине и красоте должно уступить место заботе о народном благе (что, по-моему, и для народного блага небесполезно. Как бы мы жили в 30-е годы, среди тогдашней злобы, если бы Достоевский нли Толстой совершенно увлеклись злобой своего дня?).

Чем больше напряжение политических страстей, тем важнее противостояние им и стремление к внутренней тишине. Это есть у Солженицына («В круге первом» Нержин и еще кое-где). Но достаточно близок к «Вехам» и А. Д. Синявский, писавший из лагеря письма — не о страданиях заключенных, а о Пушкине и Гоголе. И, конечно, неотделим от «Вех» один из семи мыслителей «ответственного духа». Николай Александрович Бердяев. Со всем каскадом его не всегда согласованных идей.

5. Духи русской революции и джайнский слон

Выволочка, которая досталась Коле Бердяеву за «Философскую истину»,— ничто сравнительно с разносом за «Духов русской революции» по случаю публикации фрагмента замечательного эссе («Гоголь в русской революции», «Знание — сила», 1990, № 5). Комментарий Гальцевой напоминает постановление ЦК: «Именно предлагаемым выше отрывком Бердяев впервые запустил в мировой интеллектуальный обиход одно из самых пагубных заблуждений насчет характера происшедшей в России Октябрьской революции, а вместе с тем русского характера как творца коммунистического общества XX века. Великая Октябрьская социалистическаи революция объявлялась по сути своей порождением старых иациональиых свойств, которые, довольно иеожиданно со стороны Бердяева, сводятся нм к сочетанию из хамства, леии, бесчестия, безобразия, пошлости, мошенничества...» (с. 76—77). И Рената Гальцева объясняет, что зто неверно, что русский народ был только пассивной почвой, в которую брошены были семена революционной идеи: «семена тотальиой переделки мирового порядка заводятся, а точнее разводятся в голове... «бездомного радикала», критическн мыслящего аутсайдера, не отождествляющего себя ни с каким местом в общественной структуре, но глядящего на текущую жизнь извне, или «человека воздуха», чуждого традиционно-почвенному укладу» (с. 78).

Я много раз слышал в разговорах метафору о семени и почве, н каждый раз хотелось возразить, что национальная культура — зто не почва, принимающая в себя рожь и овес и рождающая рожь и овес; скорее — женское лоно, в котором есть своя наследственность; а генетика — дело капрнзное. Если отбросить метафоры и обратиться к истории, то можно вспомнить, как распространялись христианство, Просвещение. На новой «почве», в новой культуре они иногда сильно менялись. Говоря о Просвещении, мы вспоминаем Вольтера, Руссо, Дидро:

> Это все революции плод,
> Это ее доктрина.
> Во всем виноват Жаи-Жак Руссо,
> Вольтер и гильотина,—

писал Генрих Гейне (перевод Тынянова). Никто не вспоминает лорда Шефтсбери. А между тем любой историк подтвердит вам, что Просвещение родилось в Англии; учителями Вольтера были англичане. Буддизм родился а Индии — и в Ин-

дии исчез, а укоренился в других странах. Христианство родилось среди евреев, но продержалось в этой среде века четыре, а потом исчезло и укоренилось среди неевреев. Марксизм родился в Германии, но укоренился в России и в Китае. Каждая идея имеет не только место рождения, но и место прописки и фактического проживания. Почему это так, я разбирал на частном примере в статье «О причинах упадка буддизма в средневековой Индии», напечатанкой в «Ученых записках Тартуского Гос. университета» (1973, вып. 313) н в журнале «Diogène» (№ 96, Париж). Здесь достаточно заметить, что в Европе марксизм постепенно терял свою революционность, а в России наращивал ее.

Мне кажется, читатель журнала «Знание — сила» вправе был получить примерно такой комментарий: эссе — жанр, допускающий гиперболу, гротеск и другие формы разрастания одной какой-то черты реальности, поразившей автора. Но несколько лет спустя в «Истоках и смысле русского коммунизма» Бердяев развил свою точку зрения более уравновешенно. В генезисе революции он подчеркивает русские корни и русскую ответственность. Таких же взглядов придерживался Г. П. Федотов. Эта точка зрения не бесспорна. Есть авторы, акцентирующие роль международной революционной среды, «людей воздуха» и т. п. Один из этих авторов — А. И. Солженицын. Но прежде всего комментарий должен разъяснить то, что комментируется. К сожалению, Гальцева ведет себя по-советски: она с ходу излагает «истинную» точку зрения, отбрасывая автора в сторону.

Между тем не только основная идея — сама форма «Духов русской революции» глубоко содержательна. Это первая попытка описать революционный процесс не в терминах классов и классовой борьбы, не в терминах этносов (и почти что иностранкого завоевания), а как наплыв и выход на авансцену группы типажей, обрисованных Гоголем н Достоевским (метод, применимый в любой стране, где социологии предшествовала богатая литературная традиция). Журнал «Знание — сила» опубликовал только фрагмент о Гоголе. Но вот что пишет Бердяев во вступительной части эссе: «Те, которые были внизу, возносятся на самую вершину, а те, которые были на вершине, упали вниз... рабы стали безграничио свободными, а свободные духом подвергаются насилию. Но попробуйте проникнуть за поверхностные покровы революционной России в глубину. Там узнаете вы старую Россию, встретите старые, знакомые лица. Бессмертные образы Хлестакова, Петра Верховенского и Смердякова на каждом шагу встречаются в революционной России и играют в ней немалую роль, они подобрались к самым вершинам власти... Толстой, как художник, для нашей цели не интересен. Россия, раскрывавшаяся его великому художеству, в русской революции разлагается и умирает. Он был художником статики русского быта»,— а в динамике, в революции на авансцену вылезли Хлестаковы и Ноздревы, Верховенские н Смердяковы («Из глубины». Париж, 1967, т. 72, 73). Совершенно очевидно, что Бердяев говорит не о метафизической сущности русского народа. И бессмысленно упрекать свидетеля Октября за то, что годом раньше он писал иначе. Сам народ обернулся «своею азиатской рожей», так его и Блок увидел: в «Скифах» и в «Двенадцати» он не менее правдив, чем в стихах «На поле Куликовом».

Вот этой исторической динамики Гальцева просто не видит. Русский народ для нее не совокупность типов, чередующихся на авансцене то в одном, то в другом сочетании, а неподвижная сущность. Бердяев взглянул на жизнь мимо абстракций «народа», «нации», «класса», «партии» и увидел наступление хамов, шариковых, как их позже назвал М. Булгаков, а Гальцева обиделась за абстракцию народа. Она настаивает, что по сути своей народ остается иеизменным. Попробуй сохрани свой облик, когда Болконские и Безуховы эмигрировали, Савеличей и Каратаевых раскулачили...

Почти через полвека после «Духов русской революции», ничего о них не зная, в 1962—1963 гг., я стал вглядываться в тех, кто делал нашу историю, и в тех, кто был этим недоволен, и увидел знакомые лица. Подтолкнули меня беседы Н. С. Хрущева с писателями и художниками. Я попробовал изобразить Хрущева в виде поручика Пирогова: его на Кубе высекли, а он съел слоеный пирожок и утешился. Неожиданно замысел увлек меня гораздо дальше памфлета. Я увидел возможность описать все активные силы общества как совокупность типажей. Толстого — как и Бердяев — отвел: его герои стали реликтами. Современны типы Гоголя и Достоевского. Кое-какие пришлось дорисовать. Так появились бернары, только намеченные в речевом потоке Митн Карамазова. Я посвятил им несколько страниц. Вышел групповой портрет эпохи: хрущевские рыла, сталинские гады, ракитины, бернары, карамазовы...

Примерно в 1968 году один из моих читателей рассказал мне, что самое главное уже было найдено Бердяевым. Только у меня Иван Никифорович и Пирогов, а у него Ноздрев и Хлестаков. Гоголевские герои все вместе отнесены мною к группе рыл (в противоположность сталинским гадам), различие имен показалось мне несущественным, и я просто ввел в свой текст еще два: Хлестаков н Ноздрев. В таком виде «Квадрильон» вошел в мою книгу «Неопубликованное» (Мюнхен, 1972. Первоначальный текст в «Гранях», 1967).

Прошло еще лет десять, пока я смог прочесть «Духов» своими глазами. С этих пор я стал подумывать над несовпадениями. Почему я не заметил Хлестакова? Да потому, что он в 1963-м исчез с авансцены. Хлестаковщина ассоциируется скорее с первыми годами революции. С другой стороны, Бердяев не мог увидеть Ракитиных. Семинаристы-карьеристы еще не примкнули к большевикам. И просто еще не сложился тип Бернара, интеллектуала, для которого родным языком стала математика. Из этих размышлений родилась в конце концов моя статья «Смена типажей ка авансцене истории и этнические сдвиги» (ж-л «Общественные науки и современность», 1990, № 1). Бердяев открыл новый метод. Можно возражать против его преувеличенной оценки, критиковать его неудачное применение мною, но прежде всего надо заметить метод. Изобретен новый инструмент в интеллектуальном инструментарии. Гальцева этого не видит. Ее проблема — только «одно из самых пагубных заблуждений». Применение метода расшатывает Авторитет, поэтому все a priori ложно.

Достается Бердяеву и за его оценку Гоголя: «Не понятый, не поставленный в связь с художественно близкими ему явлениями прошлого — средневеково-ренессансной эпохи — комизм Гоголя и оказывается под пером Бердяева какимто довременным «кубизмом». А те гоголевские «чудовища», о которых вслед за Розановым и Мережковским с мистическим ужасом говорит Бердяев, выглядят, если учесть комическую перспективу, за одним-двумя исключениями, скорее недоразвитыми «байбаками» и «тюрюками», застывшими на стадии животиой души, чем духами-соблазнителями из адской бездны» («Знание — сила», 1990, № 5, с. 79).

А что если Гоголь неповторим и никакие средневеково-ренессансные аналогии его не разъясняют? А что если читатель, получив адрес, пойдет по нему и доберется до книги Мережковского «Гоголь и черт»?

Полвека с лишним тому назад я вздумал перечитать смешной рассказ «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», и вдруг меня охватил метафизический ужас. Я почувствовал себя в безвыходной тесноте (вроде свидригайловского кошмара)—и так на целую вечность... Для многих жестокий талант — Достоевский, и никакими аргументами их не переубедить. Для меня жестокий талант — Гоголь, а из текстов Достоевского идет свет; идет и идет, несмотря на все темные бездны. Не пугает меня бездна, напротив, зовет к себе; пугает теснота. В бездне сами собой разворачиваются крылья, в тесноте их не развернешь. Как с этим быть? Можно ли закрыть Америку, то есть мое неправильное восприятие, и заменить правильным восприятием Ренаты Гальцевой?

Есть джайнская притча о четырех слепых, ощупавших слона. Один взял в руки хобот и сказал: слон похож на змею; другой — бивень, и слон вышел похожим на копье; третий — ногу, и слон оказался столбом; четвертый — брюхо, и опыт неопровержимо доказывал сходство слона с мешком. Все опирались на опыт, но опыт был разным. Одни н тот же текст иному смешон, а другому страшен. Целого же слона не видит почти никто. Гения не так просто понять, не так просто свести к модным категориям, средневеково-ренессансным или еще каким-то. В гении есть что-то мистическое, не укладывающееся в логику. «Мистики правы,— писал Людвиг Витгенштейн в своем «Логико-философском трактате»,— но правота их не может быть высказана: она противоречит грамматике» (оттого мистика так часто дружит с поэзией и высказывает себя странными метафорами). Всякое же доказательное рассуждение, всякая теория творчества могут быть дополнены или уравновешены другой, столь же доказательной и столь же недоказуемой.

Когда я учился в ИФЛИ, Леонид Ефимович Пинский прочел нам лекцию о Дон Кихоте, в которой он не опровергал прежних оценок, а только выстроил их в иерархический ряд. На самом глубоком уровне «Дон Кихот» — ирония человеческого духа над самим собой, над своими неосуществимыми порывами. Но современники не ошиблись, считая книгу пародией на рыцарский роман, развлечением для кучеров (своего рода «массовой культурой»), и можно трактовать роман как сатиру на уходящее рыцарство и еще чтото открыть в нем: смысл творчества безграничен...

Построение иерархии иногда мешает самостоятельному новому суждению, мешает творческой субъективности. Но как раз творческой субъективности в «средневеково-ренессансном» шаблоне нет. Есть, напротив, стремление погасить творческую субъективность Бердяева, Мережковского н Розанова; а хочется не зачеркивать ее, сохранить как одно из возможных чтений Гоголя, один из мыслимых срезов целостного дара художника.

Ни одно читательское впечатление не может быть опровергнуто. Личность художника ищет встречи с личностью читателя, зрителя, слушателя, а не с концепцией, и критический анализ не должен предохранять личность от непосредственного, субъективного опыта и от знакомства с яркими впечатлениями других людей, какими бы они ни были. Предоставим читателю самому окончательный суд. «Пусть личность не больше, чем глаз муравья, но личность есть личность,— так думаю я».

6. Анафема плюрализму

Притча о слоне — индийская формулировка того, что в Европе называют плюрализмом. А плюрализм, оказывается, одно из великих зол современности: «Нигилистический морализм, — пишет Гальцева,— предстал сегодня в продвинувшемся виде прямого аморализма.., воинствующий идеологизм пополнился воинствующим гедонизмом, доктрина моральной относительности и абсолютности классовой борьбы перелилась в жизненное равнодушие к добру и злу, во взаимоотчуждение и ксенофобию, нехватка правового сознания — в психологию социального эгоизма, увлеченность «социальной правдой» при незаинтересованности в «философской истине» дошла до безразличия к истине как таковой и даже до ее отрицания в мировоззренческом плюрализме, «беспочвенная интеллигенция» с ее «народопоклонством» в большинстве своем переродилась в довольно своекорыстную «образованщину» с чувством брезгливости к низам» («Литературное обозрение», 1990, № 7, с. 99).

Проследить, каким образом одно здесь перерождается или переливается в другое (и притом именно в э т о другое), вряд ли возможно. Чувствуется только захваченность статьями А. И. Солженицына «Образованщина» и «Наши плюралисты». Хотя выглядит современное зло иначе, но по сути оно то же самое, что и в начале века, и борьба Солженицына с вялостью и пассивностью интеллигенции есть продолжение борьбы «Вех» с излишком политической активности, а борьба Солженицына с плюрализмом есть продолжение борьбы «Вех» за ценностный плюрализм, за признание самостоятельной ценности искусства и философии.

Статьи Солженицына лучше разбирать в изложении Солженицына, а не в пересказе Гальцевой. Я это уже сделал (Ср. в особенности «Сны земли». Париж. 1984 (фактически 1985). Повторять здесь мои аргументы и контраргументы Александра Исаевича вряд ли возможно. Главное различие между нами — в с т р у к т у р е мысли. Это спор между принципиальной незавершенностью и бесспорными решениями, между философскими опытами и пророческим знанием «как надо».

Остановлюсь только на вопросе о плюрализме. Солженицын считает этот философский принцип ошибкой человечества (длящейся две с половиной тысячи лет). «Во всех науках строгих, то есть опертых на математику, истина одна» («Наши плюралисты», «Вестник РХД» № 137). Я с этим не согласен, отчасти потому, что иначе понимаю плюрализм. В притче о слоне предполагается реальность слона, то есть истины. И философский плюрализм означает всего только признание односторонности человеческих попыток втиснуть истину в слова. Это не отрицание философской интуиции и религиозного откровения. Однако интуиция (или откровение) и слово, в котором они отлились, не одно и то же. Великий православный святой нашего века Силуан Афонский сказал: «То, что написано Святым Духом, может быть прочитано только Святым Духом». Слово само по себе, даже продиктованное Святым Духом, может быть источником соблазна,— если нет непосредственного присутствия Святого Духа при чтении. Откровение познается только откровением (хотя бы в слабой степени, хотя бы зарницей откровения); интуиция познается интуицией. Слова же — не более чем иконы истины. И разные иконы могут помочь сосредоточиться на одной и той же святыне. А одна и та же икона вовсе не гарантирует родства духа.

Это трудно понять многим неофитам, схватившимся за катехизис, за сборник «Из-под глыб» или другие системы слов. Опоры на собственную личность, на собственное зеркало, отражающее все как есть, без шор, им не хватает, и поэтому необходима кем-то другим выговоренная истина, выговоренная категорически, однозначно. Гальцева тут не одна. Миллионам людей нужна уверенность, что путь, на который они встали,— это единственный путь, а все другие ведут прямиком в ад. Само сомнение — ад для непривычного, не закаленного в сомнениях ума. А когда ему было закалиться?

Я сомневался с отроческих лет, по крайней мере— с 16-ти. Для меня сомнение — воздух, которым я дышу. И чем ближе я подходил к чувству единой истины, тем больше сомневался во всех словах об истине. Но школы сомнения на моем веку не было. Разве только в лагере.

На Западе уже в Средние века допускался известный, ограниченный плюрализм. В Сорбонне спорили богословы разных школ, спор был общественным учреждением. Веками складывался и политический плюрализм. В Новое время он так укоренился, что претензии Маркса на окончательную истину как-то сами собой отпали. Напротив, на русской почве они разрослись. Когда культуролог Яковенко указал на это, Гальцева возмутилась и ушла с «круглого стола» в ИНИОН летом 1989 г., где обсуждалась проблема фашистских групп в России. Никто не утверждал, что несовместимость православия с плюрализмом — единственный фактор русской культуры. Но смахнуть этот фактор, хлопнув дверью, тоже нельзя. Культура — это система, обладающая подобием воли, и отдельные идеи, попадающие в эту систему, подчиняются ее общему духу — или отбрасываются.

Этот вопрос серьезно продумал Юрий Пивоваров в своих комментариях к статьям двух веховцев — Изгоева и Кистяковского («Литературное обозрение», 1990, № 10). Пивоваров указывает на тревогу, которую у самого Маркса вызывали перспективы русского марксизма: «Настанет русский 1793 год, господство террора этих полуазиатских крепостных будет невиданным в истории» (Соч., 2-е изд., т. 12. с. 701). Цитирует Пивоваров и другого классика европейской социологии, Макса Вебера. Помимо слоя петровской и допетровской культуры, Вебер находил в России еще «патриархальный коммунистический консерватизм» (в моем сознании эта странно выраженная мысль перекликается с мнением Г. П. Федотова, что победа пугачевцев дала бы возрождение деспотизма). Развивая мысль Вебера[1], Пивоваров пишет:

«В ходе революции архаические структуры не только сумели сохранить себя, но и овладеть ситуацией. Возникла патриархальная система, являющаяся квинтэссенцией архаического.., поставленного в новые условия. Вообще тоталитаризм определяют по-разному. Не в последнюю очередь это попытка (в конечном счете обреченная на неудачу) выживания старого в современном мире». И далее: «А. С. Изгоев сразу же разгадал в большевизме ту силу, которая оседлает и поведет за собой разбушевавшуюся многомиллионную массу, ту самую стихию мятежей, о которой предупреждал еще Пушкин. Он прекрасно понимал, что большевики опираются и используют столетиями складывавшийся комплекс «патриархального коммунистического консерватизма»», то есть добуржуазные традиции, сопротивляющиеся модернизации.

Изгоев особо подчеркнул важность «партии нового типа», сумевшей овладеть положением. Эта политическая структура, сыгравшая неслыханную роль, не выводится впрямую ни из далекого прошлого России, ни из Маркса (Маркс и Энгельс никакой склонности к партийному строительству не имели). Какой-то каприз генетики: ни в мать, ни в отца... Можно указать на пример Нечаева, которого Ленин очень уважал, но как из такого маленького ручейка (нечаевщина) вытекла целая Волга? Историки, вероятно, многие годы будут изучать притоки, наполнившие ее русло.

Речь идет не об оправдании Маркса, но о более глубоком понимании условий, в которых родился ленинизм. В марксистском понятии «диктатура», слепленном по древнеримскому образцу, не были оговорены условия, препятствующие превращению республиканского института (чрезвычайных полномочий) в деспотизм. Римская диктатура, начиная с Суллы, деградировала и превратилась в деспотизм чистейшей воды. И вряд ли марксова идея диктатуры пролетариата в своем практическом воплощении могла миновать эту опасность, хотя бы в Германии или во Франции, если бы коммунисты захватили там власть. Но так как идея диктатуры пролетариата укоренилась только в странах с солидными местными традициями деспотизма, в России и в Китае (мы выносим за скобки народы, которым «народная демократия» была навязана), то нет ничего недопустимого в предположении, что традиции играли в этом процессе известную роль.

Это не чисто академическая проблема. Если все зло в Идее, то достаточно искоренить идею, и все будет хорошо. Если же один из факторов, породивших зло,— непривычка России к плюрализму, то нужна более коренная перестройка, и без этой перестройки мы все время будем попадать из огня в полымя. Замечательны в этом отношении полемические заметки А. В. Гулыги в «Книжном обозрении» (1990, № 46): «Фашизм у нас не впереди, а позади, мы пережили его, и был он (если говорить о национальной его окраске) еврейско-русско-грузинским: Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Сталин...[2] Такой альянс указывает на возможность интернационального фашизма, каковой ныне в Европе только и существует... а национальные движения, даже самые консервативные, носят антифашистский характер» (с. 4). Это написано после осуждения Смирнова-Осташвили, после убийства о. Александра Меня (видимо, сионистами, как предположил близкий к «Памяти» о. Гермоген). Кого боги хотят погубить, того они лишают разума.

7. Двойной стандарт анализа

Комментарии Ирины Роднянской к статье С. Н. Булгакова написаны мягко, вдумчиво, с желанием понять, а не опровергнуть мыслителя. Отчасти это связано с характером Булгакова: он не такой «ужасный ребенок», как Бердяев. Однако чувствуется и добрая воля комментатора: она вводит в читательский обиход страницы, которые ей же, с ее точки зрения, трудно объяснить. Но это факты, а факты достойны уважения: «Религиозно-революционное апокалиптическое ощущение «прерывности»,— писал состарившийся Булгаков, оглядываясь назад,— роднит меня неразрывно с революцией, даже — horribile dictu[3],— с русским большевизмом...» («Литературное обозрение», 1990, № 8, с. 103).

Роднянская ставит вопросы, роковые для модели «семя—почва»: «Почему, по собственному... слову Булгакова, на Западе «отрицательное направление» оказывается в конечном счете «ручным», а в России — буйным и разрушительным?»

[1] Ср. Кустарев А. Начало русской революции: версия Макса Вебера.— «Вопросы философии», 1990, № 8.

[2] Любопытно, что Ленин в этом списке пропущен. Перечислены только помощники, которых он подобрал в Политбюро и которых Сталин заменил другими. Таков стиль полемики.

[3] Страшно сказать (лат.).

(там же, с. 102). И отвечает: «Булгаков с большой проницательностью разглядел в русской культурной истории опасный обрыв. Россия не прошла через реформацию и контрреформацию — через эти великие эпохи-трансформаторы, преобразующие религиозную энергию в энергию гражданского строительства, при ослаблении, но, однако, без утраты трансцендентного идеала (позже на ту же самую брешь в русской истории укажет наш замечательный культурфилософ Г. П. Федотов). «Порождение Петрово», интеллигенция,— это русские люди, вчера еще питавшие душу традиционной, не подверженной рефлексии верой во Всевышнего, а сегодня, будучи выбиты из колеи, направившие освободившуюся энергию веры с абсолютного на относительное, не научившиеся отличать одно от другого, готовые возвести частную и преходящую идею в абсолют и поклониться ей. Именно поэтому ни для кого не обязательные на Западе гипотезы, мелькающие там в череде прочих, в России так легко обращались в эпидемические идеи — «трихины» (образ из Достоевского) в идеологии; вот почему квазирелигиозная мощь тоталитарных идеологий, оставляя не слишком разрушительный след в западном мире, душой российского интеллигента овладевает безраздельно» (с. 102).

Это очень верно передает в нескольких фразах взгляды Булгакова и Федотова, и здесь мне решительно нечего прибавить. Согласен я и с замечанием, что этика Булгакова «во многом походит на православный вариант «протестантской этики» (с. 101; имеется в виду концепция Макса Вебера о роли протестантской этики в генезисе капитализма),— и с сочувствием читаю, что «сейчас нам нечто подобное грезится» (там же). Но мне хочется спросить: каким образом могут осуществиться эти грезы? Программа изложена в интервью о. Александра Меня, посмертно опубликованном в «Московском комсомольце» 18 октября 1990 г. Однако жизнь и смерть о. Александра показывают, что осуществить эту программу реформы православия не просто.

И. Роднянской кажется, что нас выведет Солженицын. Она напрямую связывает его с традицией «Вех»: «На пути, им (Булгаковым.— **Г. П.**) предложенном, окажется и молодая религиозная общественность, завязавшаяся в России 10-х годов, и отчасти та новая научная и техническая интеллигенция, о которой Солженицын заметит, что к ней отрицательные характеристики из «Вех» могут быть отнесены лишь в малой мере (а положительные — еще меньше.— **Г. П.**). Будет ли преувеличением сказать, что «Вехи» откололи от интеллигентского «ордена» его творческую и духовную часть и перенаправили ее? Этот процесс был физически сломлен революцией 1917 года. Но в «Трагедии интеллигенции» Г. П. Федотова, в «Образованщине» А. И. Солженицына — в этих важных вехах российской пореволюционной публицистики — прорастут те же мысли, сходные диалоги, неумершие надежды» (с. 102).

Надежды в самом деле сходные (на возрождение России). Но диагнозы и мысли разные. Роднянская совершенно верно отмечает элементы полемики внутри «Вех» — здесь она исследователь; а отношения между Федотовым и Солженицыным рисует идеолог, создающий фикцию единства.

В известной статье Солженицына «Раскаяние и самоограничение» есть слегка замаскированная полемика с Федотовым: «Замечает Горский, что году в 1919-м границы Советской России примерно совпадали с границами Московского царства,— значит, большевизм в основном поддержали русские... Но ведь эту географию и так можно истолковать, что русские в основном вынуждены были **принять** его **на свои плечи**, и только? А разве знаем мы на Земле хоть один народ, который в XX веке был застигнут пришедшей волной коммунизма и устоял против него, встряхнулся?» («Из-под глыб». Париж, 1974).

Фамилия Горского, вероятно, ничего не говорит читателю. Но возьмем в руки «Вестник РХД» № 97 и увидим, что Горский пересказывает Федотова. Солженицыну было тактически удобнее обойти престижное имя и обрушиться на мальчика для битья. В публицистике такие приемы встречаются (хотя вряд ли они в стиле «Вех»). Тем не менее спор по сути с Федотовым:

«Для всех меньшинств отвращение от большевизма сопровождается отталкиванием от России, его породившей,— писал Федотов.— Великорус не может этого понять. Он мыслит: мы все ответственны, в равной мере, за большевизм, мы пожинаем плоды общих ошибок. Но, хотя и верно, что большевистская партия вобрала в себя революционно-разбойничьи элементы всех народов России, но не всех одинаково. Русскими преимущественно были идеологи и создатели партии. Большевизм без труда утвердился в Петербурге и Москве, Великороссия почти не знала гражданской войны; окраины оказали ему отчаянное сопротивление» («Новый град», Нью-Йорк, 1952, с. 195).

Для сравнения — еще несколько строк Солженицына: «Конечно, побеждая на русской почве, как движению не увлечь русских сил, не приобрести русских черт! Но вспомним же интернациональные силы революции! Все первые годы революции разве не было черт как бы иностранного нашествия?» (там же). Но продолжаю: эта точка зрения была достаточно развита в «Нашем современнике» (когда цензура ее разрешила). Исторически — трудно представить себе великую Россию, изнасилованную кучкой инородцев; но психологически — легче освободиться от прошлого, если считать, что оно чужое, навязанное. Восточная Европа стряхнула с себя иностранное иго. России хочется вообразить что-то подобное. Сила идей Солженицына — в их психологической обоснованности. Это идеи писателя, у которого эмоции сильнее разума. Федотов же — мыслитель, умевший додумывать до конца то, что ему было решительно неприятно...

Для читателя, мыслящего философски, духовно единый плюрализм «Вех» обаятельнее, чем жесткая прямолинейность идеологии (или антиидеологии).

Главное в «Вехах» — не отдельные мысли и решения, близкие современности, а другое, гораздо менее доступное: начатки нового способа мышления, выход из страстной односторонности, выход из зачарованности идеей. Любая идея, ставшая всемогущей,— смерть культуры. Эта мысль Роберта Музиля, когда-то прочитанная, мне очень близка. И мне кажется, что она органически вытекает из «Вех».

Веховский поворот внутрь, вглубь,— вовсе не эскапизм! Только внутри — тот покой, где тонет обида, смолкают страсти и становится ясно, где остановиться, чтобы в борьбе со старым злом из пены на губах не выросло новое зло. Без внутренней тишины никакое вероисповедание не спасет. И образ Георгия Победоносца может (как это предвидел Федотов!) испытать судьбу свастики (которая в индийском своем подлиннике не имела ничего общего с фашизмом). И уже становится чем-то вроде свастики на значках и знаменах «Памяти».

Страстная односторонность была оправдана в обличении ГУЛАГа, то есть совершенно созревшего, явного зла. Но она не помогает увидеть рождение нового зла. Она мешает увидеть, как борьба с коммунизмом становится коньком, на котором скакали и скачут фашисты,— итальянские, немецкие, русские и все прочие...

Чтобы пройти между Сциллой и Харибдой, надо освободиться от всякой идейной зацикленности. И здесь «Вехи» — наш поводырь. Которым, однако, не так просто воспользоваться: нужна обращенность внутрь, от которой советский человек, воспитанный на науке ненависти, совершенно отвык. Но только изнутри светит ясный свет, способный выявить зло до того, как оно разрастется в опухоль ГУЛАГа. Если бы меня попросили выразить смысл «Вех» одной фразой, я сказал бы: иди вглубь, ищи опоры в самом себе, в той глубине, где душа соприкасается с Духом.

Отклик

ПЕРВЫЙ НОМЕР АЛЬМАНАХА «ТЕПЛЫЙ СТАН» (1990) издан московскими литераторами при поддержке научно-технического центра «Прогресс». Не секрет, что немало у наших литераторов произведений, которые долго не могли пробиться к читателю, не находили издателя. Помочь таким авторам и стремились составители альманаха. Наряду с известными писателями старшего поколения, здесь опубликованы стихи и проза двадцати пяти авторов, нареченных критикой «тридцатилетними». Меньше всего к этим относительно молодым людям подходит титул «начинающие». Кое-кто из них работает в журналистике и литературе уже немало лет. И все же до сих пор нет собственных книг у такого интересного поэта, как Борис Евсеев, у оригинального прозаика Юрия Нечипоренко, у Ефима Бершина, знакомого читателям «Юности» и «Континента». Удивительно — у некоторых авторов «Теплого стана» зарубежных публикаций больше, чем на Родине,— возьмем, к примеру, хотя бы прозаика Леонида Шорохова или поэта Андрея Амлинского.

В центре сборника две крупные авторские публикации — книга прозы «Рынок» Ирины Полянской, выпустившей до сих пор лишь один сборник рассказов, и книга стихов «Правда. Русская сказка» тридцатилетнего Алексея Зайцева, названного Наумом Коржавиным самым интересным поэтом своего поколения. Складывая мозаику нашего литературного сегодня из произведений всех жанров, редколлегия альманаха не забыла о драматургии, нашла место и для произведений своих гостей — литераторов из Баку, Киева, Орла... Новый альманах только начинает свой путь к читателям. Возможно, второй выпуск будет построен по другому принципу. Хочется верить, что он будет более цельным и в то же время по-прежнему разнообразным.

Л. КОНОН

Саша СОКОЛОВ

Знак озаренья

ПОПЫТКА СЮЖЕТНОЙ ПРОЗЫ

> Я не пишу своей биографии. Я к ней обращаюсь, когда того требует чужая.
>
> Б. ПАСТЕРНАК. Охранная грамота.

Завязка. Один человек, не лишенный известных амбиций, а может, и совершенств, но в дальнейшем именуемый просто «ты»,— ты обнаруживаешь, что напрасен. Немало смятен, и, пытаясь хоть несколько объясниться, верней, уяснить себе, как же так, ты изнуряешь язык твой словами уныния — перебираешь их гроздь — снаряжаешь рой. Ты молвишь: напрасен — ненужен — негоден. И мыслишь: обманут по части перспектив, упований, причем, что особенно глупо, не ясно кем. Впрочем, если употребить умозрение в вашей мере, то, разумеется, ясно. Ведь стоит немного прищурить рассудок, насупить ли ум, как сразу черты нареченного образа делаются отчетливей, четче, существование оного более не нуждается в доказательствах, ибо становится аксиомой.

А заметят, что это все якобы вздор или призрак, то возрази, говоря. Если ты одинок, неустроен, горестен и кто-то тебе подставляет щеку, дабы прильнул ты к ней, если хочешь, своей, и приблизительно так вот — вот так — как заведено в лучших салонах мелонги — щека к щеке — коротал бы сам-друг пляс ли, сплин— то не имеет значения, призрак это или не призрак, тем паче что речь тут об образе крайне близком, ближайшем. Другое дело, что вы еще, может быть, не представлены, не знакомы формально. Тогда познакомьтесь: один человек, не лишенный известных амбиций,— Судьба такового; она же Участь и Мойра. Подумать, самая что ни на есть. Только не приступай к ней с расспросами, не нависай, теребя на предмет откровения; отчего, мол, она позволяет себе бестактности, едкости, злые ухмылки. Не надо. Будь выше. В смысле — смиренней. А что касается утешения, отыщи его в чем-либо отвлеченном, в какой-нибудь мозговой разминке вроде устного счета Или воспоминаний Известно, что если прошлое обременяет, гнетет, причиняет недуг ностальгии, сворачивает душу в бараний рог, то следует поставить его вне закона так называемой Мнемозины: забыть. Но прежде необходимо вспомнить, что представляет собой это прошлое, из чего состоит, вспомнить, как именно было дело. Не исключено, что это поможет, и степень смятения твоего прищуренного рассудка не будет больше такой высокой. Сколь можно судить по раскладу событий, полету стай, форме луж и амеб в них, однажды в пиру словоблудов, прилежных и записных, чьи галстуки полюбили брильянтовые заколки, однако в последнее время отведали общепитовских щей, речь как раз и зашла о превратностях такового. И ты, который по роду труда и тревог причастен был к этому кругу и пиру, заговорил горячась. Что вы, дескать, все цацкаетесь там с вашим временем, собственно говоря, тоже еще нашли категорию. Мало того, что оно есть гребная галера, орудье наживы и рабства. Вдобавок оно не обладает должным изяществом форм. И потом, есть в нем некая фельетонная пошлость, сиюминутность, как в наших творениях И говорил. Неужели оно вас не огорчает. Смотрите, если взять и сравнить его с той же вечностью, то получится полный конфуз. Ибо время настолько же непрезентабельнее последней, насколько реальность невзрачней искусства. Тебе оппонировали. Послышались выраженья: мальчишество, ницшеанство, элементарное неуважение к жизни. Что жизнь, возражал ты сображникам. Этот способ существования тел есть не более, нежели случай для мастера явить мастерство. А точней, много случаев, в том числе немало несчастных — вдребезги — как Пьеро. Ты забываешься, говорили тебе, разве можно людей обзывать телами, в иные дни за подобные оскорбления приглашали на

казнь. Или просто в вольер ко льву. Ведь люди — это все мы, а мы суть наше единственное достоянье, и ты — не один ли из нас. Из вас, ты ответил. И вместе с вами — на благо любезного человечества — работаю густопсовую борзопись Браво. Но как утверждал наиболее озаренный лирик, есть, знаете ли, искусство. Помимо и вопреки. И это — совсем не то, что вы думаете. Это — иное И есть мастера. И я бы хотел быть с ними, ибо они изображают людей лишь затем, чтобы примерить на них погоду, в на погоду — страсть. И в таком любомудрии нет ничего обидного. Ни для кого. Ибо искусство тем и отменно, что отменяет логии: идео-, физио-, пато-, и тем и заветно — кавычки открыть,— что интересуется не человеком, но образом человека. Образ же человека, как оказывается,— больше человека — закрыть. Но закрыть кавычки— не значит остановить развитье идеи, поскольку подспудный побег ее прорастет асфальт нашей косности бескомпромиссно, безудержно, без. Не стоит ломиться в отверстые двери насчет того, что и образ какой-нибудь араукарии, банданеллы или викуньи больше данных предметов как таковых, если только они действительно место имеют. Если же нет — то не стоит тем паче. Достаточно просто заметить, что хоть человек человеку — рознь, всяк из нас, пусть субъектов вполне захолустных, являет собой осколок чего-то нечеловеческого. И отзывается им. И мерцает — когда мерцается — во славу его. И звенит. И коль скоро образы наши больше, а по нашем перемещении в лучший мир — чище и лучше нас, облеченных в не слишком уклюжую плоть, то вот тут и выходит. Искусство, которое сплошь состоит из отдельных образов, которыми бредит и манит, кричит и молчит,— оно несравненно огромнее и прекрасней всех нас целокупно взятых: оно — наше светило есть. И буквально все мы вращаемся вкруг него, полагая наивно, что вовсе нет. Что это оно, искусство, вращается вокруг нас. И что стоит нам захотеть, и мы будем такими же. Как оно. Ан не будем. Нам бы лишь успевать вращаться. Цейтнот, цугцванг. Проливная нехватка времени, истинный дефицит циферблата. И резюмировал. Что говорить, время у нас — главбух, главбог, поганое идолище. Каковое, позируя мастеру,— дальше в кавычках — может вообразить, будто поднимает его до своего преходящего величия Кавычки замкнуть Экая наглость, однако. Знак восклицанья: восклик. А сображники рассуждали: нет, нет. И говорили: о, нет. Они говорили так, потому что считали, что время — их время — шито, отнюдь не лыком и ты не имеешь права уничижать его в их присутствии. И вообще, мол, откуда в тебе такое отчаяние. Ты отвечал им цитатой. Не столько начитан, сколько наслышан, ты не ручался за точность очередного заимствования и поэтому раскавычил его, расковал, раскупорил и дополнил своими соображениями. Получилась длинная фраза про то, что имеется круг явлений, вызывающих самоубийства, особенно в отрочестве, и что есть круг ошибок младенческого воображения, извращений, юношеских голодовок, круг Крейцеровых сонат, пишущихся против Крейцеровых сонат, и что есть, наконец,— ты приблизился к сути проблемы — есть круг замалчивания и забвения самого озаренного лирика века, поэта истинного экстаза, и некоторые из присутствующих обретались в этом кругу непростительно долго, иначе они бы не спрашивали: откуда — вопрос — и не говорили б: отчаянье. Ты кипятился, но был по-хорошему риторичен, и речь твоя — благодарение логопедам — звучала довольно членораздельно. Кто мог бы тут заподозрить, что на задворках детства приятели звали тебя Шепелявым Звали — а ты отзывался. Однако не потому, что тебе так уж нравилась эта кличка или что ты прочитал сочиненье Сенеки о том, что мудрец невосприимчив к несправедливости и униженью; а потому, что уже с гадких лет был отзывчив, был справедлив, объективен. И так как данное прозвище соответствовало положению дел, а конкретнее: положение языка относительно нёба и губ, не говоря о зубах, даже не заикаясь о них, ибо обычно львиную долю дней те числились в нетях,— то злоба не накипала на сердце твоем, принцип оказывался насущнее горечи, он довлел. Но с тех же лепечущих лет— справедливости ж ради — ты начал и сам называть и людей и вещи достойными их именами. Сам. Не упуская ни повода. Вот и теперь. Фарисеи, заметил ты оппонентам. Противник дрогнул. Чтобы закрепить успех, срочно требовалось проиллюстрировать мысль соответствующей цитатой: неточность: стаей цитат, целой стаей Но именно тут выясняется, что цитаты все вышли,— и выбежал вон, дабы пополнить запас их в хранилище мудрости, то бишь в библиотеке, каковая — в нее по пути — отчего-то все мнилась древнегреческой, с ударением на «о», и где — в силу сумерек, что — так говорилось на произвольной странице необходимого тома — были — снова кавычки.— словно оруженосцы роз,— кавычки — против чего ты нисколько не возражал, ибо сумерки суть бесспорно, суть истинно оруженосцы роз,— где — в их силу — можно было в два счета ослепнуть и обратиться: к гекзаметру, окулисту или в летучих гад. И поскольку библиотекарь посетовал, что, мол, пробки пере-, а свечи вы-, стало ясно, что корень зла извлечен, изыскан: он равен корню словесному гор-. Но даже и взятый отдельно, гор- не горит и не светит. Тогда — в силу обыкновенной необходимости, которая, если что, пересиливает и полную тьму,— перелистывать ты продолжал. Поясни: перелистывать книгу. И, пере

листывая ее, обратил виимаиье на строки, которых прежде не замечал. Причииа: их строй по сравнению со строем прочих — был редкостно прост. Они были кратки и при порядочном освещении не смотрелись. Следствие: не замечал, читал. А тут, в полумгле, скромность их процвела, просняла, и ты озарился; не правда ли. Впрочем, без ажитации. Потому что зачем же, ведь ие впервой. Что же касается содержания строк, то оказывалось, что кто-то кого-то любил, уезжал на Урал, презирал все нетворческое, сознавая себя полиой бездарностью, становился охотииком, возвращался в столицу. Вдобавок благоухала сирень, лето обещало быть жарким, кончался сентябрь, близился обеденный час, двигались и умозаключали краски, искусство называлось трагедией, трагедия называлась именем автора-футуриста, а из-за черной реки являлся его закадычник. А в вашем общем любимом городе было как встарь: трепетали огни, его засыпало снегом; и ничуть не герои, обычные служащие, покашливая и сморкаясь в платки, пощелкивали на счетах, похрустывали суставами и составами лязгали на путях. И ты озарился сиянием синтаксической скромности, как когда-то создатель строк, возвратившись в огромиость и грусть жилья, озарился огнями улиц. А иадо сказать, это был тот самый род озаренья, когда озаряемый озаряется изнутри иевечерним внутрениим светом и делается как бы светильником, правда, ие всякому явным, поскольку свет, наполняющий очи его, очевиден только ему и другим озаренным и только он и они могут видеть при этом свете в ночи и видят, чего не видели днем. Короче, ты был как фоиарщик, о ком говорят: блажен фонарщик, следующий заповеди отцов; фонарщику: гори сам, гори ясио. И, озарившись,— читал. И в ночи, что затмила оруженосцев роз, обнаружил, читая, то самое. Что напрасен. Зане живешь не своей, но чужою жизнью. Завязка, завязка, изображенье смятенья. Дескать, немало смятён, и, пытаясь хоть несколько объясниться, верней, уяснить себе суть случившегося, ты изиуряешь язык твой словами унынии, их перебором, выстраиваешь их ряд. Ты молвишь: напрасен — не — нужен — негоден. Ты шепчешь: невзыскаи — никчемен — нечаяи. И мыслишь. Смешно и кромешно. Годами быть почитателем лирика, прилежно и часто его перелистывать, полагать, что едва не все перебывают в кругу замалчивания его и забвеиья, почитывая каких-то не тех: нечутких да смутных, муторных да смурных. И все это для того, чтобы одиажды, взглянув на его труды невечерним взглядом, понять, что и ты — по крайности временами — обретаешься в том же кругу, сам же почитываешь иечутких. Ибо если бы это было не так, ты бы жил и мечтал по-иному, ие путая свои воображаемые тексты с текстами сáмого озареиного, точней, не питая амбиций своими варьяциями на темы его, и уж, во всяком случае, не выдавая эти варьяции самому себе за оригинальные сочинения. И ты бы не выдавал желаемое за факт, не уверял себя, будто знаком был с поэтом лично, и что еще немного — и ты набросаешь о нем мемуары на том основании, что вы оба захаживали в некий дом на Остоженке и оба же — вот совпадение — иногда. Ты бы не. Ибо последний раз он зашел туда до твоего рождения. Нет, ты не был знаком с поэтом. Но в некоторые из дней случай сводил тебя с некоторыми из тех, кто — без сомнения — знал его. Справедливо: иикто из них не промолвил об этом ни звука. Что было естественио, потому что ты не просил их тебе о ием рассказывать. Сказать как отрезать, ты ие просил у них ничего: совсем. Ты не обращался к иим совершенно. Но не из гордости лишь, не затем единственно, чтоб они ие имели каких-либо оснований думать, что ты — в отличье от них — не представлен, не вхож: а еще потому, что не знал их тоже. Ведь случай сводил вас на взмах ресниц — иа улице — в качестве встречных прохожих или в пролетке ближнего следования, где заговаривать с посторонними чуть ли не моветои; да и слякотно, блекло. Но если это и вправду так, если встречи те то есть оказывались столь кратки, что встреченные почти не отличались от встречных и были иемотны, то как же можно было понять, что они знают сáмого озаренного лирика. Вопросительный знак. Даже два. Так при разборе шахматной пвртии помечается очень слабый ход. Разница только в том; что тут ход не слабый, а сильиый, поскольку вопрос правомерен: как можно. Ответ исчерпывающ. Он блестящ. Очень просто. По лицам. Порядочный физиономист отличает чело человека, лично знавшего поэта экстаза, от чела человека, его не знавшего,— без проблем. Ты всегда был порядочным физиоиомистом, и совокупиость благоприобретенных черт, свойственную челу человекв знавшего, иазывал в размышленьях печатью причастиости. Ты дал и другой, сиионимический термин: знак озаренья. Но что же сулили тебе те встречн, то знание знавших, но замкиутых и мимолетных. Вопрос. Ничего. Ровным счетом. Восклик. Они, их молчаиье могли пригодиться в одном только случае. В случве, если бы ты решился писать мемуары о том, как ты не встречал озаренного, о ваших невстречах: воспоминания о непричастности, о незнаньи. Причем иачать следовало бы самым определенным образом. Нужно было бы сразу признаться, что ты не знал его очень долго. И, чтобы ни у кого не возникало сомнеиия, уточиить; дать жесткие сроки незнаиия; датировать этот провал; звявить, созиавая ответствениость перед историей: сáмого озаренного лирика века я не знавал никогда. Например, всю жнзиь. И сделав такое признание

было бы совершеино естествеино описать ее: жизнь без поэта экстаэа, беэ личной взаимоприязни, взаимоучастия в участях, без совместных прогулок, беэ дружеской критики, без поздравлений, без пожеланий то славиого сна, то года, то просто всего. Без. Особые главы составило б описание лет, когда ты даже не подозревал, что существуешь в его эпоху, в его измереньи. Как, впрочем, и в чьем бы то ни. Затем — годы именно подозреиий, догадок, что все это измереиье придумвно неспроста, не напрасио, что есть тут где-то неподалеку эпоха, оиа дана, и что в ией, у нее должеи быть кто-нибудь экстатичией, пронзительней и озаренней, чем все остальиые лирики. И что хотя остальные имеются налицо, а его как бы иет как нет, это лишь потому, что это только пока, до срока. А после предстояло бы рассказать, при каких обстоятельствах ты впервые прочел его лирику. Но поелику ты, вероятно, не помнишь тех обстоятельств, что совершенно естественно для лица, пребывающего в кругу забвения лирика, то пришлось бы прищурить рассудок сызиова. Или насупить ум. Прнзнаться, в отличие от коллеги Кольриджа, ты ие настаиваешь иа различии этих понятий, не противополагаешь их. Ум, разум, рассудок: что в лоб, что по лбу. Насупить, прищурить и следом немедленно разветвить молнию гипотетической мысли. И снарядить рой гипотез. И рассмотреть их. Одна из. Покупка какнх-либо ягод, плодов. Вкус ягод, их цвет, мвшинальиое чтение текста, опубликованного иа кульке. Неточиость. Не на кульке. На журнальной странице, из коей торговка свериула кулек. Неважно. Довольно придирок. Текст, опубликованиый на кульке, стихотворен, это — лирика лирика. Ты зачитался, забылся. И ягоды сыплются из кулька. Восклнк. Никогда иичего подобного. Не. Как выражается юность апокалипсиса, ты тащился. Но не с сумой, а душою — за строем созвучий — за красками страсти. Другая гипотеза отзывалась бы хмурым казенным эхом. Сокамерник, злостиый курильщик, сворачивал самокрутки из человеческих писем, читай — из посланий с воли. Однажды его увели на допрос посреди перекура, и, созерцая угасший его чинарь, ты обиаружил на ием поэму за подписью незнакомого лирика, переписаииую чьей-то вольной рукой. Чьей — осталось неясным, так как сокамерник ие возвратился. Ни за окурком. Ни за другими вещами. Ои не вериулся в принципе. Не возвратился вообще. И, когда ты спросил охрану, когда же ои наконец возвратится, охрана ответила: никогда. И когда никогда наступило, ты взял и выучил те стихи наизусть: иа долгую память. И докурил его козью ножку: за упокой. Помогло ль, упокоилась ли душа его. Знак вопроса. Поди пойми. Но твоя с той поры — тащилась — влеклась — влачилась за теми строчками и за другими — того же поэта, разысканными после на воле, в келейных углах. И рассмотрел бы иные гипотезы; однако иэ всех выбрал бы, видимо, самую натуральную. Именно здесь пригодилось бы зиание, в смысле — незнанье, иеведенье знавших. Но замкнутых. Но мимолетиых. Представив их в полиый рост, в полной мере — в качестве пешеходов н пассажиров, знаком отмечеиных озвреиия, или печатью причастности, ты мемуары о собственной непричастности продолжал бы следующими речами. Да, люди молчали, но наступили дни, когда вестью о нем и его стихами — стихия проникласъ. Стихия всего измереиья. По сути, оно было попросту ими пронизано, напоено, и не чувствовать этого и не слышать, что сказаио данным лириком, самым пронзительным и лиричиым, мог, казалось бы, только убогий, и то лишь — от небытия. Очнуться — восстать из бестрепетных — отречься от беженства в быт — от блаженства сует — увлечься хоть некоторым искусством, пусть невпопад — вот, пожалуй, и все, что требовалось, дабы проиикнуться тоже. И ты очнулся. Восстал. Отрекся. И в беспощвдном полюдье — в иесчастье и ликованье — в задрипанности и чистоплюйстве — повлекся душою за строем созвучий, за красками страсти. А лирик в те сроки прятался от молвы под городом и, бродя — тут, увы, предстоят кавычки, их надо открыть по причине положенности,— по кошачьим следам и по лисьим, по кошачьим и лисьим следам,— кавычки закрыть,— бродя, полагал свое место бедствеииым. Даже и ныне, при свете его простоты, жалобы мастера тебе не вполне понятны. Ты склонен усматривать в них некоторое лукавство. Неужто он в самом деле не знал, что поэту подобного ранга бедам подлежать не положено. Во всяком случае — не надлежит. Он должен быть выше их по определению. А вериее, в силу определений творчества, ремесла и души, данным им же самим летом семнадцатого. В коице концов он может, если захочет, пресечь наступлеиие зла так же, как гумилевский мальчик останавливал дождь: словом. Причем, вероятно, любым, взятым прямо из воздуха: словом кошачьим иль лисьим, птичьим иль песьим, чеховским или шекспировым. Правда, последнее требует перевода, который — по мысли поэта — должен давать впечатление жизни, а не словесиости. Что ж, переводы учителя именно таковы, и ты впечатляешься и Шекспиром его, и Шиллером. Но не иастолько, чтоб хоть на окурок зари ие нуждаться в нем собственно, в нем своем: довоенном и дачном, в дождевике, веющем паклей и керосином. Влюбленность наличествовала, и, чтоб обнаружить ревность, не требовалось и оглядки. Но, как и положено в литературных мечтаниях, ревность глядела размытой и анемичиой, как жертва импрессиониста, Ибо неясно было, к чему она или, вернее, к кому: к лирику, Музе или к обоим сразу. И было еще иетерпенье.

И часто оно возгоралось. Парадоксально: известия типа тех, что написаны Вертер и Валерик, Серебряный Голубь и Золотой Осел, Отелло и Лалла-Рук, нетерпения не вызывали. Оно возгоралось от новостей гораздо более скромных. К примеру, о том, что кого-то там мало и есть вероятность, что число этих лиц составляет три; а. на террасе спят дети; а под дождем все кипят их любимые тополя; что сначала мерещилось, будто кусты неких чащ перевиты плющом, а потом оказалось — хмелем; а сеновал ностальгически пах винной пробкой. Ведь дело было не столько в фактической стороне новостей, сколько в том, что — по мере вещанья — испытывал вестник. Испытывал и сообщал Он испытывал озаренье. Но полагать, будто он сообщал и о нем, помещая его тем самым в разряд известий, не надо. Он сообщал не о нем, а его самое, в качестве необычайного чувства, чистого, как у цыган и цыганок. И ты оживлялся этой эмоцией, и это она возжигала в тебе нетерпение. Если перевести твои обстоятельства в плоскость листа и представить тебя в виде текста, оттиснутого на нем, то можно заметить, что прежде оно опаляло поля — слева, у строчных, и справа, у рифм, а потом прожигало средину твою, средостенье со всеми его цезурами. И занималась вся плоскость. И, словно бы легкие у курильщиков, зеленели буквы твои. И сгорал. Так в обмен на исчезновение обретался покой. Но когда возникал ты на новом листе, нетерпение возвращалось. Тебе не терпелось каким-нибудь образом стать таким же пронзительным и экстатичным, как лирик из Книги о Непричастности, дабы путем письма сообщать необычайное чувство. Его недостаток в обществе остр, вопиющ. Судя по лицам альбомов и улиц, лиц озаренных истинно, то есть природно, к несчастью, почти что несть. Тебе не терпелось. Цель выявлена. Она благородна. Посредством простого стила взять и снова напомнить миру о позабытой эмоции, научить его ей, как песне. И тем-то его заодно и спасти. Не терпелось. Тревожил только вопрос о даре. Тревожил и отрезвлял. Достанет ли. Вопросительный знак. Хватит ли сил озариться настолько неистово, пламенно, чтобы эмоция сообщилась количеству лиц, достаточному по любому счету: всем, кто жив, всему измерению. Знак вопроса. Речь — пернатое самых почтовых качеств: куда ни отправь, непременно вернется в пенаты ума, на насесты мысли, в ущелье уст. О голубка твоя, забот о ней полон рот. Перифраз: от словесности, от голубки, и шепелявой, и дряхлой, нет спасу. Прием повтора: вопрос и тревожил и отрезвлял: достанет ли дара души, дара речи. Знак. Вопроса Ответ был довольно дежурен, однако столетней выдержки, из почтенного новоанглийского вертограда. Цитату начать. Не знаем, как велики мы: Откликнувшись на зов, Могли бы мы восстать из тьмы До самых облаков. Цитату закончить. Сюжет развить. Мысль, бьющаяся в оковах незримых кавычек, казалась тем более верной, что представлялась знакомой. Цитата, имевшая силу рецепта с пометой «цито», перекликалась со строфою немецкого лирика Рильке в интерпретации лирика русского; сей видел его, между прочим, в поезде, когда германец паломничал в Ясную. Помнишь ли, сколь незабываемо это было, насколько девятисото, каникулярно. Настолько, что Рильке в то утро надел тирольскую разлетайку. Цитата. Как мелки с жизнью наши споры, Как крупно то, что против нас. Когда б мы поддались напору Стихии, ищущей простора, Мы выросли бы во сто раз. Стоп, цитата. Тебе не терпелось тем пуще, что мыслимое имело возможность осуществиться, будущность обещала быть, следовало лишь поддаться, откликнуться. И конечно, использовать опыт предшественников, в частности, опыт самовнушения, самогипноза. Ведь прежде, нежели в художника поверят ценители, он должен сам поверить в себя. Но и на этом пути есть опасность. Вот: сколько их было, напористых, яснооких, вполне утвердившихся в частном мнении, что они-то и есть те самые тинторетто, сибелиусы, маодуни, которых тут столь заждались, так заждáлись. Естественно, это стоило им титанических экзерсисов. Но цель окупила все средства, все серые вещества Тем досаднее, что большинство талантов закончило как-то латентно, квело. Вот почему так ценен совет врачей-вялологов: пилюли от вялости требуйте у любого аптекаря. А меж тем терапевт из стихов твоего учителя о несчастной любви, каковая является сортом вялости,— рекомендует душ и гимнастику. Можно также лечиться голодом, холодом. Можно смертью. Клинической или простой. Чудодейственно, батенька, истинное воскресенье. Но это— потом, на досуге. А ныне — ныне лучше не умствовать: не творить, совершать поступки. Тебе не терпелось. Ты чаял духовного преображенья. Взяв озаренного лирика за идеал творца, в него-то как раз ты и мыслил преобразиться, то есть войти в его положение, в роль. встать на место его, пусть даже и вправду бедственное: не привыкать. Только не надо бы мимикрировать, есть в этой практике нечто ползучее, рабье. Не надо, достаточно просто вообразить, будто он и ты суть не то чтоб одно и то же лицо,— о нет, подобное противоречило бы здравому смыслу — а, впрочем, в известной мере — в той мере, в которой сие возможно и допустимо правилами хорошего тона — при некоторых ухищрениях и опущениях — даже вот и одно. Ибо что же Вопрос Нельзя ж постоянно печься о здравом смысле, дрожать над ним и кудахтать. При чем тут, ей-богу, смысл, если дело идет о таком высоком безумии, как искусство, которое есть пожизненная попытка мастера уве-

риться в существовании жизни, напрасная, но прекрасная. Да, пусть даже одно. Пусть все, что угодно. Лишь бы откликнуться и поддаться. А если грянет вопрос ребром: быть таким же, как лирик, или не быть,— то ответ прозвучит гениально в своей небывалости: быть и не быть. Одновре́менно. То есть, будучи как бы ему подобным и, осмыслив и полюбив бытие учителя как свое, оставаться не кем иным, как собою. Но оставаться так, чтобы — по слову его — некое совершеннейшее — кавычки — я — это ты — кавычки закрыть — связывало вас всеми мыслимыми на свете узами. Тебе не терпелось. Тогда ты откликнулся и поддался. Вхождение в роль упростилось за счет биографических совпадений, пусть и частичных. Неважно, пусть, чего там считаться, талантам подобного толка несвойственна щепетильность. Конечно, случались порывы слабости, налетали летучие мыши сомненья, но с верою во взаимность Вселенной их наподобие бабочек ночи по кличке «мертвая голова» следовало однозначно гнать, обрекать забвенью. Лишь бы откликнутся. Только б поддаться. Пусть не было у тебя до тех пор ни школы ваяния, ни ВХУТЕМАСа, и, где и когда бы не нанималась дача, во сколько б она ни вставала, соседом вашим ни разу не оказался Скрябин. Зато приглашала школа морзянки, маячил кружок джиу-джитсу, манило училище кролиководства. А Скрябина в качестве дачного компаньона ряд лет компенсировал отставной капельмейстер, что подшофе присваивал себе звание подпоручика подстоличья. И если у композитора русская тяга к чрезвычайности проявлялась в исканиях сверхчеловека, то капельмейстер был чрезвычайно бывал, исключительно балагур, изумительно бодр, баловался болотной охотой, холодной телятиной, и среди светозарных его приветствий сквозь перепончатый лай слышались: добрая утка; утка бодрая; бодрый же день; а на сон грядущий желал он спокойной ноты. Но нот ты не знал. Слух твой выдался абсолютно немузыкален, и ночи твои оборачивались не ноктюрнами, но натюрмортами мрака и немоты, но речами без слов, ибо их еще не было у тебя, потому что будущее еще не настало. И немузыкальными были пальцы твои, ни волосы, ни глаза, ни лоб, и, если бы композитор Скрябин все-таки оказался соседом, ты не сумел бы сыграть ему ничего — ни собственного, ни чужого, ни на каком инструменте: ни-на-ни-на́. И в итоге хвалить тебя композитору было бы не за что. Разве что просто так, по приятельски, из чисто человеческих соображений: за такт, за элементарное добрососедство. Мол, лето уже на исходе, а между тем вы не причинили мне никаких беспокойств, не сказали ни колкости, я, безусловно, благодарю вас, вы добрый содачник. Но сколь снисходительно, но какою подачкой звучала б подобная похвала. Нет, если на то пошло, то уж пусть капельмейстер, тот, право же, ободрительнее. И был капельмейстер. И он являлся соседом по даче. И все. А композитора в этом качестве не случилось. Зато композитором слыл один из соседей в городе, невиданный никем, нелюдим, что — по непроверенным слухам — все жил этажами выше и был по-бетховенски глух, что — по слухам же — совершенно не отражалось на творчестве, потому что он был композитором не обычным, а необычным, из тех набившихся маньяков, чьи лбы и этюды чреваты убийствами августейших и умыканием их коней и слонов, чьи морды не терпится уподобить противогазам. Особенно в сновиденьях. Особенно о войне зоопарков. Типичный цейлонец, ты на ветру Европы схватил африканский насморк. Тебе заложило хобот: его не продуть. Как грустно. И, стоя с открытым ртом посреди вольера, негромко дремлешь. И тут начинается. Белые у ворот. И, поскольку ты черен, как лебеди на пруду, надо придумать защиту. Цейтнот, цугцванг. И в знак уваженья к соседу сверху ты изобретаешь староиндийскую: ведь говорят, этот шахматный композитор немолод. И ничего, что по более точным сведениям он скорее был шашечным композитором, а по сведениям точным вполне — старым карточным шулером. Ничего, бывает: главное, что он был композитором в принципе, комбинатором в корне. И не за это ли ты прощал ему единственный недостаток его: недостаток присутствия в поле зрения, а вернее, хроническое отсутствие там, объективное небытие. Нет, все-таки не за это. А потому, что и ты был ущербен на свой манер: тебе не с чем было ходить к композитору — ты не имел соответствующих композиций. Что же касалось Скрябина в качестве не человека, а только фамилии человека, то тут не совпало. В том смысле, что ты не знал никого, кто носил бы такое имя. Не знал, но хотел бы. Стремился найти. Вел умозрительный поиск. Чаял. Отсутствие имени Скрябина в твоем кругозоре указывало на его присутствие вне. И поскольку жизнь, как ни бейся, а все — театр, имя это могло быть значащим. Словно у Грибоеда. Вполне вероятно, что драма творится не далее как на Моховой, и вся ирония драматурга пошла на то, что фамилию композитора носит консерваторский дворник. Покладист, с окладистой бородой, с неплохим окладом, он регулярно счищает наледь и с тротуаров, и с мостовой. Слегка вечереет. Скребешь — вопросительный знак — окликает работника созерцательный персонаж, вольноопределяющийся неудачник из скрипачей. Скребу, соглашается дворник. И вежливо добавляет: скребком-с. Что ж, скреби, говорит скрипач, зря ты, что ли, у нас тут Скрябин. И, вскрыв футляр, изымает скрипку. Настраивает. Отчетливо вечереет. Занавес. Полный ус-

пех. Одевшись, зритель покидает фойе и выходит на Моховую, мохнатую, всю в мехах. Вечер подан. Сюжет развивается окончательно. На фоне Чайковского дворник с бляхою на груди: дворник Скрябин — скребет тротуар, а изгнанный из заведенья скрипач-неудачник увечит Поэму Экстаза. А если все это и не так, думал ты, если фамилию Скрябин не носит даже консерваторский дворник, то вот уже наступили дни, когда появился некто по имени Оскар Рабин, и это созвучие можно было употребить взамен, тем паче что Рабин тоже: селялся в дачных местах; тоже уехал потом в Европу; тоже надолго; и равным же образом имел отношенье к искусствам. Он был художник, и все говорили друг другу: вы видели его Лианозовские Бараки. Вопрос. А. Сельдь-на-Газете. Вопрос. Как выпукло. Экий глаз. Он создал целое направленье. А между тем — пропитания ради — Рабин тоже работал то ли скребком, то ли сторожем. Много было их по России, Платоновых, Рабиных: сторожили, скребли. И ими — ими ведь тоже — стихия всего измеренья прониклась, стихия эпохи. И ты. Ты проникся — откликнулся — ты поддался — предался Орфею, гармонии — ты заиграл взахлеб. И много случилось других совпадений. Ибо игра в любимого лирика — разве она могла бы без них продолжаться. Пустое. И, чтобы не ждать подачек от Мойры, тебе приходилось заботиться о совпадениях самому, но, естественно, так, чтоб твое участие было не слишком заметно, в первую голову — зренью ума твоего, называемому умозреньем. Иначе ты получил бы все основания обвинить себя в определенной нечестности, пусть и неясно, по отношению к кому. Пусть неясно, ибо нечестность — подобно честности — может быть и безадресной, безотносительной, без. Короче, дабы не огорчать умозрения, о совпадениях следовало заботиться, будто не замечая забот своих, глядя на них сквозь пальцы. Заботиться, но — сомнамбулически, невзначай, заботиться безотчетно. И вместе с тем — вкрадчиво, тайновидно. Причем подобная тактика сочеталась со стратегией быть, но не быть — лучшим образом. Сочеталась и сослагалась. И несколько безотчетно — без — потек ты однажды в Марбург. И прибыл. И у подножия горы, на которой по-прежнему мшели: ратуша, замок, университет — заломил в подражание Ломоносову и учителю голову. Заломил и тем самым отпраздновал два юбилея — в кавычках: чужих шейных мышц. Речь, кстати и честно, сей жест в описании лирика показался чрезмерным. Он будто бы спутал марбургские крутизны с крутизнами Зурбагана. Сугубости свойственны странникам. Из аналогий достаточно вспомнить какую-нибудь гиперболу Миллера Генри, порнографа. Например, по его словам, пролив между Поросом и Галатами столь неширок, а дома на набережных стоят столь близко к воде, что носы любопытствующих домоседов едва не касаются рей проходящего судна. Но будет о Греции: вива Гессен. Восклик. Мысля сомнамбулически, идеально, в Марбурге следовало отыскать того кельнера, что накануне переоценки всех ценностей друзей был со всеми философами. И, когда в разгар испытаний к поэту пожаловал младший брат, ловко спас положенье, привадив последнего к выпивке и бильярду. Однако выяснилось, что, уйдя на первую мировую, кельнер не возвратился ни с первой, ни со второй. А, впрочем, в университетской таверне по-прежнему упражнялся брат, но только уже не поэтов, а кельнеров, и не младший, а старший. И тем старше он выглядел, чем более пил, и поэтому к вечеру, когда ты зашел туда поболтать на обрывках наречий, сем лаконическом эсперанто невежд, брат кельнера, тоже кельнер, смотрелся Мафусаилом и живо помнил, кого изволите. Ломоносова — так Ломоносова, Лютера — так его; а Гриммы — чего с них возьмешь: братья как братья, как мы, как все, что тот брат, что этот. Брат кельнера помнил и русского лирика, правда, столь смутно, что стало пора по домам. И хотя не через Венецию — через Вену с ее склеротической ностальгией в желтых гамашах и розовых редингтотах — отправился ты в пределы, где тебя помнили, если не лица — так улицы, не филармония — так гармоника, не газоны — так горизонт, не обстоятельства — так пространства. Пространства, где вас ожидала известность — цитата, — которой пользуются деревья и заборы и все вещи на земле, когда они не в голове, а на воздухе. Цитату пресечь. Невольной украдкой — украдкой свидетеля по делам изумленья сограждан — ты возвратился в ваш общий город и жил в нем почти безотчетно — по образу усыпительной жизни в разливе. И, следуя по стопам поэта, почти невзначай, стал студент, зачастил в те же самые аудитории знаний и коридоры чувств. И заездил в концертные залы, в музеи, еще — на катки. И, в сущности, вовсе не нарочито — спонтанно — пил горечь сентябрьского неба и туберoз, клейковину слякоти, кровоподтеки зорь, синей — нет, лучше — лиловой каплей вис на пере у Творца, а в качестве пассажира пик вис на поручнях транспортных средств, постигая всю прелесть пролеток, зубря расписание поездов или графики их движенья по веткам, Камышинской в том числе. И следил за движением гроз, низложением любовался зим и влюблялся. Любил приблизительно тех же — во всяком случае, с точки зрения близорукости — по крайности точно с такими же именами — женщин. И будто бы невзначай — бездумно — стелил им на траву плащ. А они — точно так же — бездумно — сомнамбулически, будто б как осень — лист, все роняли наряды. И ты загорался и гаснул, горел и мыслил стихами

И все это ненароком и безотчетно, без. И что было нужды, что в замшевой консерватории замшелые скрипки корябали слух не волшебней скребков; что кипя приобщиться к Шуберту, ты по рассеянности прикипел к оперетте и грешным делом увлекся другим, правда, тоже ведь австро-венгром, и то и знай напевал его искрометное: Сильва, давай блинов с огня. А что было нужды, что симпатии однокашников распределялись не между Бергсоном, Шпетом и Трубецким, а между тремя столовыми: у Никитских, против дома Румянцева и той, что в подвале исторического факультета, называемой обыкновенно трубой, а напоминающей морг. И не стоило горевать, что в которую и в какой прострации ни взойди — серебро приборов в засаленности своей глядело каким-то немилосердным оловом: тускло, в самую душу; образование продолжалось. Аналогичным взглядом взглянуть из окна Зоологической аудитории. Дать очерк погодных кондиций. Шаржировать профессуру. Представить декамерон общежития в натуральный размах. И не так уж и важно, что встреченный на катке матрос — клеши, ленточки, эники-беники, пили-на-брудершафт — вышел, в общем-то, не таким, как следовало по мастеру, ибо не было в нем самом ни черта романтического, ни единой звездной черты — чистосердечная низость, цинизм, дно. И то не морское: ибо служил не на флоте и даже не на флотилии, а являлся матросом-спасателем, тут, на данном пруду, был вылавливатель утопленников, ловец русалок, блюститель, мол, вод стоячих и сточных, алкоголический человек причала. Но все это летом, а зимами — просто так, не у дел, пьян — и баста, принял — и на коньки. Наконец, не имело значения, что матрос вышел и вправду маленький, как из считалки. Он походил на сюрреалиста Ива Танги с дагерротипии двадцать парижского года: мятежный гений в детской матроске, мудреный карлик, но не с большой, а с пугающе небольшой головой. Итого: не имело — не стоило — не было нужды — и ничего — и неважно. Так как, откликнувшись и поддавшись, нельзя то и дело оглядываться на отдельные нелады, недочеты, зацикливаться на них. Потому что бессмысленно. Так как ежели требуется достичь вдохновения, то бишь горения в полную силу, то надобно делать это не обинуясь, не плача по мелочам и не пробуя обмануть Фортуну. Во-первых, не выйдет. А во-вторых, сплошное везенье — удача, идущая косяком, без помарок, едва ли не мерзопакостна. Не напрасно учитель настаивал, что успех не цель. Цель — скорее утрата, отдача, возможно, даже падение, низвержение в грязь. Блажен, кто пил до дна чашу дней своих черных и бед. Пил и радовался. Тем паче что в целом-то обстоятельства складывались вполне терпимо. И достигая — Бог ведал, какой ценой, — неординарности ощущений, порывов, снов, а попутно и вдохновенья, ты постепенно входил в заветную роль; а войдя, начал в ней быть, пребывать, стал, насколько умел судить, поэтом. Хотя, насколько великим, — судить не умел, точно так же как был совершенно не в состоянии различить, где победа, а где неуспех. И думалось: что это: трепетность — робость — сорт аберрации — курослеп души. Знак вопроса. А может, то самое: самое драгоценное свойство ее, без которого поэт умирает и предается прозе, а вундеркинд моментально тупеет. Иными словами: не озаренность ли это? Знак, напоминающий крюк. Однако и это неясно. Но что бы то ни было, образ жизни, достойный ученика такого учителя, был заведен и велся. Он в принципе вышеописан. Штрихами. Осталось лишь подчеркнуть, что его отличала особая патетичность поступков и жестов, увеселений и творческих планов, разлук и встреч. И — личная окрыленность. И, замыкая сюжетный круг, нужно вспомнить, что внутреннее озаренье, положившее ей предел, постигло тебя в результате одной из. Продолжи: одной из встреч. Конкретней: встреч с кругом прилежных и записных. Срочно требуется признанье. Чистосердечно: встреч с кругом, к которому ты украдкой, келейно, прячась от взоров Музы и собственных устыжаясь фраз — почему-то — наверное, в силу слабости — принадлежал. Прискорбно: ты был сотрудником борзописцев. И то и дело — нет, нет, свеча ни при чем — деловые встречи происходили средь бела дня — то и дело перо поэта — образно речь — обмакивалось в общие с ними чернила, а галстуки — в общие щи. А сходки во имя безделья случались по вечерам. Кто знает, не оттого ли они называются вечеринками, раздумывал ты, когда течение сей основательной мысли прервано было какими-то криками. Ты прислушался. Шел спор о времени, напоминавший бой. И тогда, сознавая, что все это уж с тобою случалось, ты принял участье. И времени противоположил искусство и вечность, и, в частности, вечность искусства, оставив в резерве искусство вечности и другие божественные ремесла. Успешно развив основные фигуры речи, ты вскорости ощутил недостаток цитат и в поисках таковых ретировался в библиотечные сумерки; лампы пере-, а свечи вы-, объяснил служитель. Нестрашно, ему отвечал ты. И, обратившись к учителю, озарился весь скромностью строк его, строк и строф, не осознанной прежде. Ты озарился внезапно, спонтанно, почти что не отдавая себе отчета в том, что восточнее Чечжудо подобное состояние называют сатори, ударенье на «а», а фонарщики Фландрии шутят: фонарщику: фонарей. И читал. И, читая, определил, что погиб, ибо случилось нижеизложенное. Играя заветную роль, роль сáмого озаренного, ты играл ее беззаветно, без, всеми бликами. Не брани же себя, между прочим, за это ар-

го, дай волю голубке, горлице речи твоей картавой. Воркуй. Восклик. Ты играл, говорит, всеми гранями, до зари, фонарея на полное сатори. Было ярко, но, к сожалению, ты заигрался, офонарел, впал в путаницу. Ты озарился вплоть до того, что перестал отличать не только победу от поражения, но и себя от учителя, а Участь его — от своей. И не различал биографий ваших. Ты преступил запретную грань. И, вместо того чтобы быть им, оставаясь собой, быть не будучи, следовать за ним, не собственною дорогой,— пробовал быть им единственно. Ты забыл о себе, о своем и спустя невозвратную сумму зим обернулся кем-то безличным — напрасным никем — и за вычетом кошек да лис никому не понятным. Ведь: было бы что понимать: ведь случилось и нечто худшее, самого кульминационного толка. Мало того что ты оказался путаником и перепутал все перечисленное; ты оказался к тому же забывчив. Ты помнишь. Знак в форме крюка. Поэзия самого озаренного лирика вдохновляла тебя регулярно, однако твое вдохновение не находило выхода, не достигало итога. Оно все бродило в тебе в чистом виде, в виде неких абстракций: разрозненных ритмов и звуков, идей и просодий, но переложить их на язык языка — все как-то недоставало времени. Ибо ведь если время непрезентабельно, фельетонно, ничтожно, его как бы нет. Или есть, но ничтожно мало. И никакое там нетерпенье беде не поможет, гори не гори. Но было известно, что близится время другое, и в ожиданьи его ты строчил фельетоны, ел щи и копил в голове вдохновенные заготовки, планируя переложить их, как только. Но все твои упования и озаренья пошли вдруг прахом. Озарясь в полумгле библиотеки ясным сатори, ты увидел, что перекладывать чуть ли не нечего, потому что почти что все заготовки выветрились из памяти вон, в те, что каким-то образом в ней сохранились,— ни изложению, ни переложению не подлежат, так как излишне абстрактны. Недаром птица-библиотекарь, которое тысячелетье дремавшая в соседнем вольере, прокаркала раздраженно: какие абстрактные заготовки! Ибо она была вещей и видела сон о твоем озареньи. Тем лучше. Типичная кульминация. И — опять же — прием повтора: немало смятен и пытаясь хоть несколько объяснить-ся, верней, уяснить себе суть случившегося, ты изнуряешь язык твой словами уныния. Перебираешь их гроздь. Снаряжаешь рой. Ты молвишь: напрасен — никчемен — нечаян. Ты шепчешь: ненужен — негоден — невзыскан. И добавляешь: ненадобен — невостребован — непотребен. И, дабы немного украсить этот невзрачный ряд, приплюсовываешь французистое: мизерабелен. Говоря фигурально, как и положено на театре,— кавычки открыть.— Гул затих. Я вышел на подмостки,— закрыть. Хотелось творческой паузы. Желалось милого забытья, милосердия. Как дышал ты вечор в ухо Участи, теребя ее на предмет приязни, так ныне дышит тебе в лицо свидетель крушения: зритель. Он дышит, как стая. Как свора. Он черств и категоричен. Он мудр категориями буфета, семейного очага, конституций и примерно с такой же энергией, как поэт экстаза добивался свидания с неким графом,— дескать, пустите, пустите, мне надо его повидать,— зритель требует твоего финального монолога. Произнеси же его, оправдайся, найди себе в нем утешенье. Скажи о том, что если весь век сей пронизан эмоциями твоего кумира, то это не значит, что жизнь — каково б ни случилось ее отношенье к искусствам — сестра лишь ему, поэту; нет, нет, образ близкий, ближайший, она сестра и тебе. И нисколько не обязательно что-то творить, сочинять; достаточно просто жить и свидетельствовать, как сочиняет кто-то другой. Жить и быть его вдохновенным ценителем. Жить и знать, что у вас бездна общего, в частности, вечность и речь. И разве в этом одном нет известного рода величия. Хоть небольшого. И, разве играя в озаренного лирика, ты не вырос в ту самую — в ту, мечтаемую,— сотню раз. И не твоя ли душа озареньями его озарена стала. Твоя. И, встав, ты выходишь из библиотечной тьмы на свет коридора и лестниц. Лестниц и улиц. И делается превосходно видно, что ты один, и что все вокруг утопает в сплошном фарисействе, и вытерпеть бытие — несмотря на его неказистость — не поле, мол, перейти. И хотя, пролистав поэтовы книги, ты изрядно пополнил запас цитат, становится почему-то ясно: как тот сокамерник не пришел докурить чинарь, так — хотя по иной причине — ты уже не вернешься в круг борзописцев. Так. Ни в чуждые их пиры, ни в акакиевские кабинеты. Наверное, это становится ясно по жестам. Так. Ведь именно в них трепетала известная безвозвратность. Не так ли. Особенно в тех, каковыми ты на ходу развязал себе галстук. Так: в значении никогда. Развязка. Знак озаренья.

Век Мандельштама

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА

Сергей МАКОВСКИЙ

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

Конец 1909 года. Петербург. «Аполлон»,— редакция помещалась тогда на Мойке, около Певческого моста, в том доме, что и ресторан «Донон». Журнал только начинался[1], работы было много, целые дни просиживал я над рукописями и корректурами.

Как-то утром — отчетливо запомнился этот не совсем обычный эпизод — входит ко мне секретарь редакции Е. А. Зноско-Боровский[2], заявляет: некая особа по фамилии Мандельштам настойчиво требует редактора, ни с кем другим говорить не согласна...

Через минуту появилась дама, немолодая, довольно полная, бледное взволнованное лицо. Ее сопровождал невзрачный юноша лет семнадцати,— видимо, конфузился и льнул к ней вплотную, как маленький, чуть не держался «за ручку». Голова у юноши крупная, откинутая назад, на очень тонкой шее; мелко-мелко вьются пушистые рыжеватые волосы. В остром лице, во всей фигуре и в подпрыгивающей походке что-то птичье...

Вошедшая представила мне юношу:

— Мой сын. Из-за него и к вам. Надо же знать, наконец, как быть с ним. У нас торговое дело, кожей торгуем. А он все стихи да стихи! В его лета пора помогать родителям. Вырастили, воспитали, сколько на учение расходу! Ну что ж, если талант — пусть талант. Тогда и университет, и прочее. Но если одни выдумки и глупость — ни я, ни отец не позволим. Работай, как все, не марай зря бумаги... Так вот, господин редактор,— мы люди простые, небогатые, сделайте одолжение — скажите, скажите прямо: талант или нет! Как скажете, так и будет...

Она вынула из сумочки несколько исписанных листков почтовой бумаги в линейку и вручила мне:

— Вот!

— Хорошо, оставьте... на несколько дней. Прочту.

Но энергичная мамаша ни о какой отсрочке и слышать не хотела. Требовала: тут же прочесть и приговор вынести.

Я запротестовал:

— Нет, сейчас никак не могу... Стихам нужно внимание, вчитаться нужно...

Против новичков-поэтов в те дни я был достаточно предубежден,— сколько любительских виршей каждый день летело в редакционную корзину! Но меньше всего хотелось мне огорчить конфузливого юношу... Уж очень выжидательно-печальны были его глаза. От волнения он то закатывал их, то прикрывал воспаленными веками, то опять смотрел на меня с просящей покорностью.

Мамаша настаивала: прочти да прочти и резолюцию — немедленно!

Нехотя раскрыл я листки и стал разбирать бисерные строчки. Буквы паутинными петельками давались с трудом; кажется, ни одного стихотворения толком и не прочел я тогда. Помню, эти юношеские стихи Осипа Эмильевича (которым он сам не придавал значения впоследствии) ничем не пленили меня, и уж я готов был отделаться от мамаши и сынка неопределенно-поощрительной формулой редакторской вежливости, когда, взглянув опять на юношу, я прочел в его взоре такую напряженную, упорно-страдальческую мольбу, что сразу как-то сдался и перешел на его сторону: за поэзию, против торговли кожей.

Я сказал с убеждением, даже несколько торжественно:

— Да, сударыня, ваш сын — талант.

Юноша вспыхнул, просиял, вскочил с места и начал бормотать что-то, потом вдруг засмеялся громким, задыхающимся смехом и опять сел. Мамаша удивленно примолкла, видимо, она не ждала такого «приговора» с моей стороны. Но быстро нашлась:

— Отлично, я согласна. Значит — печатайте!

Дело оборачивалось не в мою пользу: новичок-то теперь не отстанет... Но делать было нечего,— прощаясь с ним, я попросил «приносить еще».

Новичок стал заходить в «Аполлон» чуть не ежедневно, всегда со стихами, которые теперь он читал вслух с одному ему свойственными подвываниями и придыханиями — почти что пел их, раскачиваясь в ритм всем своим щуплым телом. Так же читал он и чужие стихи. Если понравится — закроет глаза и зальется, повторяя строчку по нескольку раз.

И сочинял он вслух, словно выпевал словесную удачу. Никогда не встречал я стихотворца, для которого тембр слов, буквенное их качество, имело бы большее значение. Отсюда восторженная любовь Мандельштама к латыни и особенно к древнегреческому. Можно сказать, что античный мир он почувствовал до какого-то ясновидения через языковую стихию эллинства. Но и к России, к русской сути, к царской Москве и императорскому Петербургу он прикоснулся тоже, возлюбив превыше всего русскую речь, богатство ее словесных красот, полнозвучие ударных гласных, ритмическое дыхание строки.

Покойный К. Ю. Мочульский[3] рассказал по моей просьбе читателям «Встречи» (№ 2) о том, как он давал когда-то Осипу Эмильевичу уроки древнегреческого: «Он приходил на уроки с чудовищным опозданием, совершенно потрясенный открывавшимися ему тайнами греческой грамматики. Он взмахивал руками, бегал по комнате и декламировал нараспев склонения и спряжения. Чтение Гомера превращалось в сказочное событие; наречия, энклитики, местоимения преследовали его во сне, и он вступал с ними в загадочные личные отношения. Когда узнал, что причастие прошедшего времени от глагола «пайдево» (воспитывать) звучит «пепайдевкос», он задохнулся от восторга и в этот день не мог больше заниматься. На следующий урок пришел с виноватой улыбкой и сказал: «Я ничего не приготовил, но написал стихи». И, не снимая пальто, начал петь...

И глагольных окончаний колокол
Мне вдали указывает путь,
Чтобы в келье скромного филолога
От моих печалей отдохнуть.

Забываю тягости и горести,
И меня преследует вопрос:
Приращенье нужно ли в аористе
И какой залог «пепайдевкос»?

Стихи Мандельштама стали печататься «Аполлоном» очень скоро[4]. Одними из первых были, помнится, следующие строчки, ставшие известными:

Дано мне тело. Что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?

За радость тихую дышать и жить,
Кого, скажите, мне благодарить?

Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.

В редакции его полюбили сразу, он стал «своим». И с Гумилевым, и с Кузминым завязалась прочная дружба. На страницах «Аполлона» появлялись циклы его стихотворений.

Он стал «аполлоновцем» в полной мере, художником чистейшей воды, без уклонов в сторону от эстетической созерцательности. Впоследствии, в годы революции, которую он пережил очень болезненно (может быть, даже до потери умственного равновесия), он стал другим, иносказательно философствующим на социальные темы... Но сейчас я говорю о юном Мандельштаме, о годах «Аполлона». Тогда к поэзии сводилась для него вся жизнь, а поэзия представлялась ему преображением мира в красоту — и ничем больше. И добивался он этого преображения всеми силами души, с гениальным упорством, неделями, иногда месяцами вынскивая нужное сочетание слов и буквенных звучаний. Писал немного, но сочинял, можно сказать, непрерывно, только и дышал магией образов и музыкой слова. Эта магическая музыка сплошь да рядом так оригинально складывалась у него, что самый русский язык начинал звучать как-то по-новому. Объясняется это, вероятно, и тем отчасти, что он не ощущал русского языка наследственно своим, любовался им немного со стороны, открывал его красоты так же почти, как красоты греческого или латыни, неутомимо вслушиваясь в него и загораясь от таинственных побед над ним.

Вот хотя бы в следующих стихах (из первого сборника «Камень») о зимнем Петербурге с дворниками в «овчинных шубах», напоминающими поэту скифскую Россию, когда Овидий пел, «мешая Рим и снег», «арбу воловью», разве не гремит русский ямб с какой-то неслыханной силой?

О временах простых и грубых
Копыта конские твердят,
И дворники в овчинных шубах
На лавках у подъездов спят.

На стук в тяжелые ворота
Привратник, царственно-ленив,
Встал,— и звериная зевота
Напомнила твой образ, скиф.

Когда дряхлеющей любовью,
В стихах мешая Рим и снег,
Овидий пел арбу воловью
В походе варварских телег.

Здесь, помимо пушкинского урока («Еще усталые лакеи на шубах у подъезда спят»), «арба воловья», конечно, не совсем по-русски (мы не скажем «лошадиная карета» или «ослиная повозка»). Но в строке Мандельштама как будто и убедительно: древняя Овидиева «арба» тут неразрывно спаяна с образом волов в варварском походе и становится она воловьей, как, скажем, хомут (лошадиный).

Мандельштам трудился самоотверженно над «материалом» слов, создавая прекрасное из их «недоброй тяжести», но иногда и неточно понимал их[5] (например, «в простоволосых жалобах ночных», «простоволосая шумит трава»), и склонял их неверно («в песку зарылся амулет»), и выдумывал их произвольно («безъязыкий»), и, наконец, связывал одно слово с другим на основании слишком уж отдаленных ассоциаций:

И сумасшедших скал колючие соборы
Повисли в воздухе, где шерсть и тишина..

Вообще слова у Мандельштама часто не совпадают с прямым своим смыслом, а как бы «намагничены» изнутри и втягивают в себя побочные представления. Поэтому и к неправильностям и вычурам его словоупотребления иначе относишься, чем к неправильностям и вычурам у других поэтов, менее искренних, менее правдивых и вдохновенно ищущих.

Неутомимость творческого горения (откуда и сочинительская техника) чувствуется почти в каждой строке молодого Мандельштама. Дальше всего эти любовно выношенные строки — от импровизации и от поверхностного блеска. Их красноречие обдуманно-скупо, подчас до замысловатой краткости. Вот уж где «словам тесно»! Художественные длинноты, или поэтические клише, или сорвавшиеся с языка обычности исключаются при таком отношении к искусству: образ, как и мысль поэта, приобретает глубоко личный характер, оттого часто не до конца понятный, даже смутный, загадочный... Но разве не этим именно и отличается символизм как школа, как стихотворный стиль?

Началось во Франции, на смену описательной четкости парнасцев, со Стефана Малларме, углублявшего, насыщавшего скрытым содержанием стихи до того, что сплошь да рядом приходится их разгадывать, как ребусы. Сам он называл многоликие образы свои гиперболами. В русской «новой» поэзии последователями этого словесного герметизма сделались символисты: Блок, Анненский, Вячеслав Иванов. В этом смысле и Осип Мандельштам — символист прирожденный, хотя и не в том мистическом и даже эзотерическом духе, какой придавали этому понятию Андрей Белый и отчасти Блок.

Символизм — это прежде всего сжатость образного мышления, сжатость, доводимая иногда (например, у позднего Малларме) до криптограммы. Несколькими словами, одним словом-метафорой выражается сложная, ветвистая мысль или сложное ощущение и чаще всего такая мысль и такое ощущение, каких и не сказать иначе, разложив на составные части. Слово при этом теряет свое прямое значение или — даже не теряя его — как бы преображается от соприкосновения с другими словами, отвечая глубинным и подчас неясным для самого автора переживаниям.

Такими криптограммами «в зародыше» представляются мне у Мандельштама, например, образы в следующих «крымских» стихах (начинаю с четвертой строфы — выделено мною).

4

Я сказал: **виноград, как старинная битва, живет,**
Где кудрявые всадники бьются в кудрявом порядке.
В каменистой Тавриде наука Эллады — и вот
Золотых десятин благородные ржавые грядки.

5

Ну, а в комнате белой, **как прялка, стоит тишина,**
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме любимая всеми жена —
Не Елена — другая,— как долго она вышивала.

6

Золотое руно, где же ты, золотое руно —
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, **пространством и временем полный.**

Не менее характерны для Мандельштама такие строки: «И вчерашнее солнце на черных носилках несут», или — «И лес безлиственный прозрачных голосов», или — «Сюда влачится по ступеням широкопасмурным несчастья волчий след», или — «И в ветхом неводе генисаретский мрак»...

Не буду «объяснять» гиперболики этих образных определений. Полагаю, что всякий, кто чувствует новую поэзию, их почувствует, вчитавшись в стихотворения, из которых они взяты. Я говорю — **новую** поэзию, потому что, разумеется, такой прием, такую сжатость образного определения — «как прялка, стоит тишина» — невозможно представить себе, скажем, у Пушкина, у Лермонтова, вообще — в поэзии до-символической. Один Тютчев иногда доводит выраженное ощущение или мысль до этого *магического лаконизма*. Таковы его уподобления зарниц «демонам глухонемым» или брызнувшего грозового дождя пролитому Гебой «громокипящему кубку». Это еще не «гипербола» Малларме, но уже символика.

У Мандельштама она — сплошь. Подвергнуть эту «магию» логическому разбору подчас трудно и даже невозможно, но не кажется она искусственным, претенциозным, ничего в конце концов не выражающим словоизлишеством — как у многих символистов. Мандельштамовская магия согрета искренним чувством, может быть, это и есть в ней самое пленительное. От строф словно высеченных из мрамора или отлитых из бронзы, на самые величавые, самые далекие темы — никогда не веет холодом. Потому что эти далекие темы действительно **его** любовь, **его** страдание и **его** счастье, **его** душа, прижившая миры, созданные творческим

воображением. О чем бы он ни грезил: о прошлом возлюбленной средиземноморской земли, о легендарной Тавриде, о скифском варварстве, или о древней Москве с «пятиглавыми соборами», или о современном умирающем Петрополе с Исаакием, стоящим «седою голубятней», или о богослужебной торжественности полудня,— рассказ об этих видениях насыщен восторгом сердца. И больше того: живое, конкретное впечатление переходит в образ какой-то трансцендентной сущности. Мандельштам лучше, чем кто-нибудь, понял урок великих французских новаторов и связал русский стих с «сюрреалистическими» прозрениями века... Но и по темам, и по религиозному акценту эти стихи остаются русскими, в самой отвлеченности их таится великая любовь поэта и к русским судьбам, и к русской вере:

Вот дароносица, как солнце золотое,
Повисла в воздухе — великолепный миг.
Здесь должен прозвучать лишь греческий язык:
Взял в руки целый мир, как яблоко простое.

Богослужения торжественный зенит,
Свет в круглой храмине под куполом в июле,
Чтоб полной грудью мы вне времени вздохнули
О луговине той, где время не бежит.

И Евхаристия, как вечный полдень, длится —
Все причащаются, играют и поют,
И на виду у всех божественный сосуд
Неисчерпаемым весельем струится.

Религиозность этого «полудня» (или «вселенской литургии»?) не только восторженно-христианская, но русская, иконописная религиозность. Удивительно, как сумел проникнуться ею этот выросший в еврейской мелкомещанской среде юноша, набравшийся многосторонней образованности в Швейцарии и Гейдельберге!

Послушайте, с какой растроганной любовью говорит он о кремлевских церквах:

В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.

И с укрепленного архангелами вала
Я город озирал на чудной высоте.
В стенах Акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.

Не диво ль дивное, что вертоград нам снится,
Где реют голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное — Флоренция в Москве.

И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне — явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.

Мандельштам был одним из столпов провозглашенного Гумилевым акмеизма в «Цехе поэтов». Акмеизма — от **акмэ**, острие, заострение. Создалась эта «школа» в среде «Аполлона» как противодействие мистическому символизму, возглавляемому Вячеславом Ивановым. Гумилев требовал «заострения» словесной выразительности, независимо от каких бы то ни было туманных идеологий. Но и он в таких стихотворениях, как «Дракон», например, оставался верен языку символов. Хоть и далекий от Вяч. Иванова, Мандельштам становился символистом чистой воды каждый раз, когда «заострялось» до предельной выразительности его слово-звук и слово-образ. Не надо забывать, что словесную фонетику он называл «служанкой серафима».

В течение восьми лет (вплоть до моего отъезда из Петербурга весной 17-го года) я встречался с ним в редакции «Аполлона». Неизменно своим восторженно-задыхающимся голосом читал он мне стихи. Я любил его слушать. Вообще любил его. Но у него на дому ни разу не был. Даже не знал адреса. Да и не помню, чтобы он кого-нибудь звал к себе. Неприветно жилось Осипу Эмильевичу под родительским кровом. С отцом вечные ссоры. Самостоятельная жизнь оказалась еще труднее, из меблированных комнат выселили за невзнос платы. Одно время, где-то на Сергиевской, прикармливали его дядя с тетушкой. Беден был, очень беден, безысходно. Но, кроме стихов, ни на какую работу он не был годен. Жил впроголодь. Из всех тогдашних поэтов Петербурга ни один не нуждался до такой степени. Вообще все сложилось для него неудачно. И наружность непривлекательная, и здоровье слабое. Весь какой-то вызывавший насмешки, неприспособленный и обойденный на жизненном пиру.

Однако его творчество не отражало ни этой убогости, ни преследовавших его, отчасти и выдуманных им, житейских «катастроф». Ветер вдохновения проносил его поверх личных испытаний. В жизни чаще всего вспоминается мне Мандельштам смеющимся[6]. Смешлив он был чрезвычайно — рассказывает о какой-нибудь своей неудаче и задохнется от неудержимого хохота... А в стихах, благоговея перед «святыней красоты», о себе, о печалях своих, если и говорил, то заглушенно, со стыдливой сдержанностью. Никогда не жаловался на судьбу, не плакал над собой. Самые скорбно-лирические его строфы (может быть, о неудавшейся любви?) звучат отвлеченно-возвышенно, вот как эти белые стихи о мертвых пчелах:

Возьми на радость из моих ладоней
Немного солнца и немного меда,
Как нам велели пчелы Персефоны.

Не отвязать неприкрепленной лодки,
Не услыхать в меха обутой тени,
Не превозмочь в дремучей жизни страха.

Нам остаются только поцелуи,
Мохнатые, как маленькие пчелы,
Что умирают, вылетев из улья.

Они шуршат в прозрачных дебрях ночи,
Их родина — дремучий лес Тайгета,
Их пища — время, медуница, мята.

Возьми ж на радость дикий мой подарок,
Невзрачное сухое ожерелье
Их мертвых пчел, мед превративших в солнце.

Приведу еще одно «молодое» стихотворение Осипа Мандельштама, в котором звучит уже не личная грусть, а грусть как бы заклинательной отходной. По форме не в пример другим стихотворение чрезвычайно просто и даже бедно: повторяющиеся глагольные рифмы и целые строки, все тот же похоронный припев в конце каждой строфы, как вздох. Слова-символы неразборчивы, сбивчивы, полузаумны, но поют о самом важном, об отходящей навсегда России, приобщенной гением Петра к великолепию европейских веков, в которых скиталась душа поэта:

На страшной высоте блуждающий огонь,
Но разве так звезда мерцает?
Прозрачная звезда, блуждающий огонь,
Твой брат, Петрополь, умирает.

На страшной высоте земные сны горят,
Зеленая звезда летает.
О, если ты звезда,— воды и неба брат,
Твой брат, Петрополь, умирает.

Чудовищный корабль на страшной высоте
Несется, крылья расправляет.
Зеленая звезда, в прекрасной нищете
Твой брат, Петрополь, умирает.

Прозрачная весна над черною Невой
Сломалась. Воск бессмертья тает.
О, если ты звезда,— Петрополь, город твой,
Твой брат, Петрополь, умирает

Много лет это стихотворение было последним, оставшимся в моей памяти от «прежнего» Мандельштама. Оно вошло в сборник, выпущенный в 1922 году издательством «Petropolis» (в Берлине) — «Tristia». До того, десятью годами раньше, вышла его маленькая книжка стихов — «Камень». В «Tristia» — 45 стихотворений, большею частью «аполлоновских» еще по духу. Затем, в 1925 году, поэту удалось издать небольшой сборник чрезвычайно ярко написанных мемуарных отрывков «Шум времени», а в 1928 году — поэму ритмической прозой «Египетская марка», и, наконец, издан был Госиздатом томик поэта под заглавием «Стихотворения», куда вошли целиком и «Камень», и «Tristia», и стихи, не попавшие в прежние сборники, сочиненные между 21-м и 25-м годами.

Впервые об этом мало кому известном в эмиграции сборнике я узнал года три назад от проф. Г. П. Струве. Он писал мне: «Сейчас когда удушающий ждановский пресс выжал из советской литературной атмосферы последние остатки свежего воздуха, трудно поверить, что этот сборник Мандельштама был выпущен в 1928 году под фирмой Госиздата: что советские журналы могли серьезно — хотя и без всякого сочувствия — писать о нем: что Мандельштаму и после этого не был закрыт доступ в «Новый мир» и «Звезду»... Еще совсем недавно, уже после ждановских чисток, один советский критик в злосчастной «Звезде» вспоминал и даже цитировал вошедшие в сборник 1928 года стихи Мандельштама и говорил, что некоторые из них звучали как ребусы, были полны зашифрованных образов, и было очевидно, что «поэт не согласен с нашей революционной действительностью». Советский критик называл стихи Мандельштама «набором субъективных произвольных ассоциаций, противопоставленных реальной действительности», и цитировал в доказательство такие строки:

Я буду метаться по табору улицы темной
За веткой черемухи в черной рессорной карете,
За капором снега, за вечным, за мельничным шумом...

Несмотря на «несозвучность генеральной линии», Мандельштам и позже, хотя редко, печатался в советских журналах; насколько удалось установить Г. П. Струве — вплоть до 1933 года. О том, что было с поэтом позже, ничего достоверно неизвестно. «Еще до войны,— сообщал Струве,— в Лондоне я слышал, что был он арестован за какое-то неосторожное высказывание в связи с убийством Кирова. В советской печати имя его перестало упоминаться. Говорили упорно об его исключении из Союза советских писателей (но мы даже не знаем, входил ли он в него,— в Союз принимались только писатели, стоявшие на «советской платформе»). Позднее в России получил широкое распространение рассказ об эпиграмме, за которую Мандельштам пострадал, был арестован и сослан. Рассказ этот, проникший и за границу, я слышал от заслуживающего полного доверия лица, которое слышало его, в свою очередь, в Москве, почти из первых рук. Эпиграмма была на «самого» Сталина... Но об обстоятельствах смерти Мандельштама (в том, что он погиб, почти нет сомнений) мы до сих пор наверное не знаем. Даже год смерти неизвестен. Есть разные версии, разные даты, но можно ли верить хоть одной из этих версий?.. Большой, замечательный поэт погиб безвестной смертью. Где, кроме сталинской России, мыслим такой факт?»

Сейчас известно около сорока пяти стихотворений Осипа Мандельштама после «Tristia». Я прочел их сравнительно недавно, и мое отношение ко многим из них уже не то, что к его раннему творчеству.. Конечно, эти «советские» стихи Мандельштама дополняют его поэтический образ (между ними встречаются и совсем замечательные), но все-таки это уже куда менее «бесспорный» Мандельштам. Изменилась лирическая его настроенность, и в связи с этим изменилась и манера письма. Лучше сказать, не столько изменилась, сколько доведена до предельной «криптограммности»

и вовсе ие только из соображений эстетического порядка: многое в этом герметизме объясияется причинами, увы, иичего общего с поэзией не имеющими; поздние стихи Мандельштама написаны сплошь да рядом иа эзоповском языке — чтобы иевдомек было тем власть имущим, в которых метят их отравленные стрелы. Попадаются между ними криптограммы с определенно политическим содержанием (после того как разберешься в словесных нагромождениях, увлекающих звоном необычных метафор, рифм и ритмических удареиий).

Не надо забывать, конечио, и чисто литературных влияний, в частности — модного в те годы имажинизма поэзии, уступающей первое место эффектио звучащим уподоблеииям, описательным парадоксам и неожиданиым эпитетам, зачастую никак не оправданным лирической сутью. Имажииизм в значительной степени облегчил Мандельштаму задачу (такую опасную в советских условиях) — говорить о том, о чем говорнть не полагается. В самом деле, иначе как эзоповским стилем не объясиить строчек вроде:

Жестоких звезд соленые приказы.

или —

...Крутая соль торжествениых обид.

или —

Время — царственный подпасок.

или —

Здесь пншет страх, здесь пншет сдвиг
Свинцовой палочкой молочной...

и т. д.

При этом такие «непоиятные» строчки звучат у Мандельштама не рассудочио, не обнаруживают хитро созиательного приема, а выбрасываются им с оглядкой иа «врага» из сознания повышеиио-нервного, стрвстио иапряженного, отдающего дань «поэтическому безумию» (вероятно, его и опьяняла эта словесная эквилибристикв у «мрачной бездиы иа краю»). Несомиенно, так. Продолжая говорить правду, свою правду, он прятал обидный для ииакомыслящих смысл ее в метафорах иа первый взгляд только парадоксальиых, а на самом деле — изобличительных.

Вопрос тут ие только в писвтельской «эволюции», в глубоко трагически пережитой поэтом гибели всего, чему он верил прежде, что считал целью и оправданием жизии. Никто, вероятно, из писателей не был потрясеи «Октябрем» сильиее, чем Мандельштам, повторяю — может быть, даже до потери умственного равновесия. Недаром ходили слухи в России, что ои вовсе не погиб ни от немцев (в годы нашествия), ни от чекистов, а попал где-то на юго-востоке России в лечебницу для душевиобольных...

Когда внимательио вчитвешься в позднейшие его стихи, эти слухи не кажутся невероятными. Пугливый от природы, но в свои часы смелый до отчаяния из благородства, Мандельштам действительно обезумел от большевизма. Правда не сразу. Пробовал сначала «смеиить вехи», завязывал дружбу с влиятельными литературными кругами в качестве писателя — плебея по происхождению и вольнодумца без политических предубеждений. Осип Эмильевич попытался у жизни взять то, в чем оиа ему отказывала прежде. Даже — как это ии квжется невероятным — жеиился на молодой актрисе...[7] Словом, всеми силами хотел примириться с ревльиостью. Но с творческим духом как справиться? В строчках, написаиных им в это десятилетие, почти везде одна неотступная мысль об ужасе, об одииочестве, об обреченности и непримиримости по отиошению к новой безрелигиозной, бездуховиой большевистской ереси... Чтобы иметь возможность печатать такие стихи, нужна была словесная завеса и ие только из страха попасться в контрреволюциоиности, но также из какого-то опьяиения этими словесными фокусами и этой вдохиовенной одинокостью. Впрочем, прорываются и строки, довольно прозрачно указывающие на страстиый мятеж автора... Выписываю наудачу (выделено мною).

Нельзя дышать, и таердь кишит черaями,
И нн одиа звезда не говорит...

. . . .

Куда же ты? **На тризне милой тени**
В последний раз нам музыка звучит...
(1921).

...Тнхонько гладнть шерсть и ворошнть солому,
Как яблоня зимой в рогоже, голодать,
Тянуться с иежностью бессмыслеино к чужому,
И шарить в пустоте, и терпеливо ждать.
(1922).

...А ведь раньше лучше было,
И пожалуй, не сравнишь,
Как ты прежде шелестнла,
Кровь, как ныиче шелестишь.

...Ие своей чешуей шуршим,
Против шерсти мира поем.
Лиру строим, словно спешим
Обрасти косматым руном.

Но вот уж совсем «программиое» стихотворение (1923 года) — «Век». Начииается совсем иедвусмысленно и вообще поддается расшифровке. Сам поэт как будто еще только оглядывается и пытается прозреть будущее:

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Эвглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеить
Двух столетий позвонки?..

. . . .

Словно нежный хрящ ребенка,
Век младенческой земли —
Снова в жертву, как ягненка,
Темя жизни принесли...

Здесь «темя» я понимаю как высшие духовные ценности. Поэт хочет уверить себя, что задача поэзии увенчать эту жертву:

Чтобы вырвать век нз плена,
Чтобы новый мир начать,
Узловатых дней колена
Нужно флейтою связать...

И тем не менее в заключительных строках он опять признается в своей беспомощности:

И с бессмысленной улыбкой,
Вспять глядишь, **жесток и слаб,**
Словно зверь, когда-то гибкий,
На следы своих же лап.

В следующем длинном стихотворении — какое отчаяние в этом отожествлении мирового процесса с творческим бессилием:

...Все трещит и качается.
Воздух дрожит от сравнений.
Нн одио слово не лучше другого,
Земля гудит метафорой...

. . . .

Хрупкое летоисчисление нашей эры подходит к концу.
Спасибо за то, что было:
Я сам ошибся, я сбился, запутался в счете...

И в заключение:

То, что я сейчас говорю, говорю не я,
А вырыто нз земли, подобно зернам окаменелой пшеницы.
Одии иа монетах изображают льва,
Другие — голову.
Разнообразные медные, золотые и бронзовые лепешки
С одинаковой почестью лежат в земле.
Век, пробуя их перегрызть, оттиснул на них свои зубы.
Время срезает меня, как монету,
И мне уж не хватает меня самого
(1923).

В стихотворении, озаглавленном «1 Января 1924», поэт жалуется иа то, что ему отказано в праве на песню, нв поэтическое слово, на правду сердца:

Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
Еще иемного — оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.

О, глиняная жизнь! О, умиранье века!
Боюсь, лишь тот поймет тебя,
В ком беспомощная улыбка человека,
Который потерял себя.

. . . .

Мне хочется бежать от моего порога.
Куда? На улице темно,
И, словно сыплют соль мощеною дорогой,
Белеет совесть предо мной.

К этому времеии относятся, судя по стихам, последние колебания Мандельштама. Ои поиял после пяти лет революционного насилия, что с «диалектическим материализмом» ему не по пути:

Нет, никогда ничей я не был современник,
Мне не с руки почет такой.
О, как противен мие какой-то соплеменник,
То был не я, то был другой.

Но, может быть, всего недвусмысленнее выражен этот протест против бездуховного детермииизма в стихотвореиии, посвященном «пламеииому Ламарку»:

...Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

К кольчецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по изломам
Сокращусь, исчезну, как Протей.

. . . .

Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: «Природа вся в разломах,
Зренья нет,— ты зришь в последний раз».

Он сказал: «Довольно полнозвучья,
Ты напрасно Моцарта любил.
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил»

И от нас природа отступила
Так, как будто ей мы не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу в темные ножны...

(1932).

Как все это, пожалуй, «заумио»! Но никогда ие бессмыслеино. Надо знать Осипа Эмильевича, как я знал его, чтобы за этим гремящим обличительно иносказанием почувствовать его муку. Большевистский погром нашей духовной культуры так расшатал его обостреииую чувствительность, что ои с годами и вовсе «потерял себя». Весь его виутреиний мир, пронизаниый светом мировой гармонии, рухнул в уродливой тьме иародного и всемирного бедствия. И пусть прячет поэт мысли и чувства за образы и слова, переходящие сплошь в очень замысловатую «заумь» или логическую бессмыслицу, эта поэзия Мандельштама завораживает словесным мастерством и той подлинностью, которая чувствуется за словами и говорит о его возмущенном отчаяиии.

Антисоветскость «советских» стихов Осипа Мандельштама — явление очень исключительное. И сам он на фоне этих так часто зашифрованных стихов против вершителей русских судеб вырастает, если прислушаться, в яркую фигуру мученика за правду. Власти, видимо, долго не поимали, о чем, собствеиио, они, эти строфы, такие необычайно звучные и как бы лишениые человеческого смысла.. Но в коице концов этот смысл был разъяснен (не в связи лн с той эпиграммой на Сталина, о которой я упомянул?) и поэта «ликвидировали». Как? Это уже подробность. Верно то, что Мандельштам погиб благодаря своей Музе, ие пожелавшей смириться перед властью несвободы.

Мне квжется, что это звучит и в том стихотворении Осипа Эмильевича, которое привезла недавно из России одна из его почитательниц. Оно еще не появлялось в печати, насколько я знаю, ни в России, ни по сю сторону железного занавеса. Но в авторстве его сомневаться нельзя. Это — исповедь поэта, вероятио, сосланного куда-то в Сибирь — «в ночь, где течет Енисей»[8], и тут в каждом слове звучит драматический стон его голоса:

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.

Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по шкуре своей.
Запихни меня лучше, как шапку,
в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.—

Чтоб не видеть ни трусов, ни
мелкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе.
Унеси меня в ночь, где течет Енисей,
Где сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по шкуре своей
И неправдой искривлен мой рот.

Печатается по книге С. К. Маковского «Портреты современников» (Нью-Йорк, издательство имени Чехова, 1955, стр. 377—398). Сергей Константинович Маковский (1877—1962) — историк искусства, художественный критик, поэт, мемуарист, издатель, редактор, организатор художественных выставок. Как художественный критик впервые выступил в печати в 1898 г. В 1905 г. был издан его первый сборник стихотворений. В 1907 г. участвовал в создании журнала «Старые годы». В 1909 г. при ближайшем участии Н. С. Гумилева основал журнал «Аполлон». Маковский — автор восьми книг по искусству, девяти поэтических сборников и двух мемуарных книг.

[1] Первый номер «Аполлона» вышел 24 октября 1909 г.

[2] Е. А. Зноско-Боровский опубликовал несколько рецензий на стихи акмеистов, в том числе отзыв на «Камень» Мандельштама. Эта рецензия, написанная человеком, лично знавшим Мандельштама, Гумилева Ахматову и других акмеистов, осталась неизвестной составителям достаточно полной библиографии Мандельштама («Собрание сочинений» Мандельштама, тт. 2, 3, 4). Рецензия Зноско-Боровского (подписана З. Б.) была напечатана в «Литературных и популярно-научных приложениях «Нивы», 1916, № 1, стр. 13) «Издательство «Гиперборей»,— пишет Зноско-Боровский,— избрало своей специальностью труды «молодых» и подарило нас уже многими более или менее ценными и интересными сборниками. О. Мандельштам пользуется в кругу приверженцев школы «акмеистов» достаточной популярностью. Название для сборника выбрано автором весьма удачно. Холод и твердость преобладают в его творчестве. Со стороны формы — есть вещи очень красивые; но в стихах Мандельштама все подчинено мысли в ущерб чувству. Теплая, задушевная лирика вообще, за редкими исключениями, упразднена нашими «молодыми» и, может быть, именно поэтому молодости в их творениях меньше всего.

Рассудочность всегда вредит красоте художественного восприятия, и за неимением истинной философской глубины — именно в сухую, скучную рассудочность впадают многие и многие «молодые».

Все сказанное о «молодых» более или менее применимо к автору «Камня», но это не умаляет бесспорных эстетических достоинств сборника. В нем есть пьесы действительно художественные и по выражению и по форме («Раковина», «Петербургские строфы», заключительное стихотворение и некоторые другие). Но встречаются и черствые, явно надуманные стихи: «Я вздрагиваю от холода», «Образ твой» «Кинематограф», «Теннис».

[3] Константин Васильевич Мочульский (1892—1948) — историк литературы, критик, автор книг «Духовный путь Гоголя», «Владимир Соловьев», «Великие русские писатели 19-го века», «Достоевский; жизнь и творчество», «Александр Блок», «Андрей Белый», «Валерий Брюсов».

[4] Впервые стихи Мандельштама были опубликованы в «Аполлоне», 1910, № 9.

[5] Об этом же пуристе Маковский, обвинявший и Блока в стилистических промахах, писал в другой своей мемуарной книге — «На парнасе серебряного века»: «...не совсем русские, но какие властные речевые интонации Осипа Мандельштама».

[6] Именно «веселым и общительным» показывает Мандельштама в своих воспоминаниях Георгий Адамович. О том же писала Ирина Одоевцева: «Смешливость его стала легендарной... но под веселостью часто скрывал приступы неврастении, доходящей до отчаяния» («На берегах Невы». Вашингтон, 1967). Об этой же смешливости читаем и в воспоминаниях Г. Иванова: «Мандельштам сочинил и читает — так задыхаясь от смеха, что трудно его понять». (См. «Китайские тени» — «Последние новости», 22 февраля 1930). О том же и у Ахматовой «Смешили мы друг друга так, что падали на поющий всеми пружинами диван на «Тучке» и хохотали так до обморочного состояния...»

[7] Это одна из тех фраз, которые особенно сильно раздосадовали Надежду Мандельштам при чтении воспоминаний Маковского. Во «Второй книге» она говорит, что Маковский от начала до конца «выдумал нелепую сцену с торговкой-матерью» (стр. 34). В «Воспоминаниях» она писала, что О. Мандельштам «успел прочесть рассказ Маковского о приходе его матери в «Аполлон», и это его очень огорчило» (стр. 183). Непонятно, как Мандельштам, погибший в 1938 г., «успел прочитать воспоминания эмигрировавшего Маковского. Самые ранние известные нам воспоминания Маковского о Мандельштаме опубликованы в 1950 г. в «Новом русском слове».

[8] Это стихотворение написано в 1931 г., т. е. еще до первой ссылки Мандельштама. Однако С. Маковский оказался первым публикатором этого стихотворения.

Георгий АДАМОВИЧ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МАНДЕЛЬШТАМЕ

Есть небольшой, тесный круг людей, которые знают — не думают, не считают, а именно знают, что Осип Мандельштам — замечательный поэт. Дождется ли он, однако, когда-нибудь широкого признания, как дождался его в наше столетие Тютчев или хотя бы Анненский, о сколько-нибудь «широком» признании которого говорить, правда, не приходится, но к которому тянутся, и все настойчивее тянутся, идти какого-то особого, ревнивого восхищения, будто в

его прерывистом, «мучительном» шепоте иные любители поэзии уловили нечто именно к ним обращенное, им завещанное, такое, чего не нашли они у других русских лириков. Будущее Мандельштама неясно. Он может надолго и даже, пожалуй, навсегда остаться поэтом «для немногих» — хотя, надо надеяться, эти «немногие» не дадут себя смутить или переубедить скептическим недоумением так называемой «толпы».

Что в конце концов определяет общее значение и ценность поэтического творчества? Не только самый состав слов, органичность ритма, прелесть отдельных строк, острота или меткость образов, но и то целое, что творчество безотчетно выразило. Качество стихотворной ткани — на первом месте, при низком ее качестве все другое превращается в жалкие претензии, но не все им исчерпывается. В этом смысле два величайших русских поэтических имени — Пушкин и Блок, и как бы ни поблекло кое-что из блоковского наследия, казавшееся когда-то головокружительно-прекрасным,— в частности, «Двенадцать»,— Блок один в наш век Пушкину противостоит, и до известной степени ему отвечает, и его продолжает. Добавлю, что многие стихи Блока — из «Земли в снегу», из «Ночных часов», из «Седого утра» — дают ему на это и сами по себе, т. е. как стихи, неоспоримое право: поэта надо судить не по срывам и даже не по среднему его уровню, а по лучшему, что он дал,— и тут Блок за себя постоит. Несравненны у него интонации — в «Поздней осенью из гавани...», например! Блок был гением интонации, как до него Лермонтов, и незабываемы у него эти его вопросы, почти дословно повторяющиеся, «за сердце хватающие», будто проникнутые чувством круговой поруки перед тем, что может с человеком случиться. «В самом чистом, самом нежном саване сладко ль спать тебе, матрос?», «Анна, Анна, сладко ль спать в могиле?»...

Блок — это Россия, судьба и лицо России, как судьбой и лицом России был Пушкин. Именно в этом их особенность, то, что их обоих выделяет и возвышает. Можно ли сказать, что пушкинские стихи, насильственно выхваченные из общего понятия «Пушкин», лучше тютчевских? Нет, едва ли. Ответ самый правильный в том, что под непосредственным впечатлением некоторых пушкинских стихотворений кажется, что именно они в нашей литературе — лучшие, а под непосредственным впечатлением от Тютчева тоже кажется, что никто ни до, ни после него так по-русски не писал. «Эти бедные селенья...» — одна из самых удивительных и сияющих драгоценностей нашей поэзии, как и «Последняя любовь», как и другое у Тютчева,— но так же, как и «Жил на свете...».

...Есть блоковский мир, как есть пушкинский мир. Есть царство Блока, и сознают они это или нет, все новейшие русские поэты — его подданные, даже если иные среди них и становятся подданными-бунтовщиками и подданными-отступниками.

Но нет мира мандельштамовского... Невольно останавливаюсь и спрашиваю себя: что же есть? Мира нет — что же есть? Есть скорей «разные стихотворения», чем поэзия как образ бытия, как момент в истории народа и страны, есть только разные, разрозненные стихотворения, но такие, что при мысли о том, что их, может быть, удалось бы объединить и связать, кружится голова. Есть куски поэзии, осколки, тяжелые обломки ее, похожие на куски золота, есть отдельные строчки, но такие, каких в наш век не было ни у одного из русских поэтов, ни у Блока, ни у Анненского. «Бессонница, Гомер, тугие паруса...» — такой музыки не было ни у кого едва ли не со времени Тютчева, и, что ни вспомнишь, все рядом кажется жидковатым. Когда-то, помню, Ахматова говорила после одного из собраний «Цеха»: «Сидит человек десять — двенадцать, читают стихи, то хорошие, то заурядные, внимание рассеивается, слушаешь по обязанности, и вдруг будто какой-то лебедь взлетает над всеми — читает Осип Эмильевич!»

У меня лично был другой опыт, и я хочу им поделиться: может быть, кто-нибудь повторит и проверит его. Был в Париже литературный вечер, на котором мне пришлось говорить сначала о Мандельштаме, потом о Пастернаке с соответствующими иллюстрациями, т. е. чтением их стихов.

Не могу сказать по совести, чтобы я очень любил поэзию Пастернака, но что это поэт прирожденный, чрезвычайно даровитый и в своей даровитости, в своем творческом богатстве подкупающе-расточительный, этого отрицать нельзя (Вяч. Иванов заметил об Анненском или, точнее,— о его последователях: «скупая нищета» — жестоко, но верно. Но именно из этой «скупой нищеты» ведь и вышли все эти перебои, замедления, мерцания, скрипы, вздохи, все то, что создало единственный в своем роде, неповторимый «комплекс» поэзии Анненского: полная противоположность Крезу — Пастернаку, однако не только Крезу, а и дитяти — Пастернаку, «учащейся молодежи» — Пастернаку, «вечному студенту» — Пастернаку!).

Был в Париже литературный вечер, и после стихов Мандельштама пришлось мне читать стихи Пастернака. Признаюсь, я не ждал, что переход окажется настолько тягостен, и старался поскорее оборвать чтение: сухой, короткий, деревянный звук, удручающе-плоский после мандельштамовской виолончели, после царственно-величавого его бархата! Да, словесный напор у Пастернака гораздо сильнее, метафорическая его фантазия неистощима, он будто гонится за словами, а потом слова бегут и гонятся за ним, и не то он ими владеет, не то они им, да, все это взвивается и падает какими-то словесными фейерверками или фон

танами, рассыпается многоцветными, радужными брызгами, да, если мне скажут, что Пастернак талантливее Мандельштама, я отвечу: может быть, не знаю, может быть... Но в поэзии ждешь последнего, крайнего, незаменимого, иначе какой в ней толк? После таинственного, короткого счастья, промелькнувшего с Мандельштамом, на что мне блестящие метафоры? Маяковский назвал гениальным четверостишие Пастернака, где рифмуется «шекспирово» и «репетировал». Это действительно блестящее четверостишие, на редкость находчивое, и в этой плоскости Мандельштаму до Пастернака далеко. Но попробуйте прочесть вслух «Бессонницу» или «В Петербурге мы сойдемся снова», а вслед затем любое стихотворение Пастернака,— неужели не станет ошеломляюще ясно, что все эти фейерверки немножко «ни к чему», если из словосочетаний, сравнительно с ними простых, может возникнуть такая музыка, неужели люди, действительно понимающие поэзию, чувствующие стихи, не согласятся, что это так?

Поэтов не надо сравнивать: это верно. Каждый сам по себе, как в природе: тополь, дуб, ландыш, репейник, папоротник,— все живет по-своему, и нет никаких «лучше» и «хуже». Но это в теории, а на практике, пока стоит мир, люди сравнивать будут, пусть и сознавая, что сравнения никуда не ведут. Пушкин или Лермонтов? Об этом спорят гимназисты, но и Бунин в самые последние свои дни настойчиво говорил о том же — говорил и удивлялся, что начинает клониться к Лермонтову. «И корни мои омывает холодное море»,— все повторял он с каким-то чувственным наслаждением лермонтовскую строчку, особенно его прельстившую,— и как же было его не понять, даже с ним, может быть, и не соглашаясь? Нельзя жить беспристрастно, а тем более нельзя любить беспристрастно. Мое риторическое «неужели», только что в связи с Пастернаком и Мандельштамом у меня вырвавшееся, ничего другого не выражает, кроме стремления пристрастие свое оправдать.

Отдельные строчки, куски чистейшего золота... Едва ли правильно было бы отнести к лучшему в мандельштамовском наследии его стихи законченные, чуть-чуть ложно-классические, не без державинских и даже ломоносовских отзвуков. Некоторые из них, правда, очень хороши, как, например, пятистопный ямбический отрывок о театре Расина: «Вновь шелестят истлевшие афиши и слабо пахнет апельсинной коркой...» Но это исключение. Большей же частью его длинные, композиционно-стройные стихи напоминают громоздкие полотна, когда-то представлявшиеся вершинами искусства, вроде брюлловского «Последнего дня Помпеи». У него вместе с глубоким внутренним патетизмом было расположение к внешней торжественности, к звону, к «кимвалу бряцающему», ему нравился Расин, но нравился и Озеров, и, по-видимому, понятие творческого «совершенства» в противоположность тому, что безотчетно одушевляло его, казалось ему предпочтительнее понятия «чуда». Может быть, сказывалось влияние Гумилева. Мандельштам очень дружил с ним, любил его, прислушивался к его суждениям, хотя и не в силах был преодолеть безразличия к тому, что тот писал. Помню точно, дословно одно его замечание о стихах Гумилева: «Он пришел на такую опушку, где и леса больше не осталось». Гумилевское чисто пластическое и несколько пресное «совершенство», в лучшем случае восходящее к Теофилю Готье, явно казалось ему недостаточным, слишком легкой ценой купленным[1].

У Блока есть строчка, которая, пожалуй, вернее всего определяет самую сущность мандельштамовской поэзии, хотя у Блока она относится к женщине: «Бормотаний твоих жемчуга...». Мандельштам поднимается до высот своих именно там, где бормочет, будто чувствуя, что в логически-внятных стихах он сам себя обкрадывает и говорит не то, что сказать должен бы,— чувствуя это и в то же время не имея сил бормотание до логики довести.

Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет, не Соломинка, Лигейя, умиранье —
Я научился вам, блаженные слова.

И дальше:

Я научился вам, блаженные слова:
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита.
В огромной комнате тяжелая Нева,
И голубая кровь струится из гранита.

Декабрь торжественный сияет над Невой.
Двенадцать месяцев поют о смертном часе...

Это действительно «высокое косноязычие», по Гумилеву, да и можно ли было бы косноязычие это прояснить? Едва ли. Иногда случается думать, что человеческая душа была бы беднее, если бы не отзывалась она на то, что скорей смутно и сладостно ей что-то напоминает, чем ее чему-либо учит или что-то ей рассказывает. В конце концов это — «звуки небес», «по небу полуночи» — не объяснение, конечно, но верный ключ к тому, что такое поэзия, а что лишь беспомощно хочет поэзией стать.

А Есенин в Москве кричал Мандельштаму: «Вы не поэт, у вас глагольные рифмы!» Не могу и через сорок лет вспомнить об этом без неудержимо вздымающейся ярости — в сущности, даже не лично к Есенину относящейся, не к нему, «блудному сыну» русской поэзии, которому сидеть бы в своей тихой Рязани и слагать бы свои песни, порой пронзительно-прелестные, в особенности под конец, когда он сам себя оплакивал и сводил с жизнью счеты. В Москве, в каком-то богемно-революционном «Стойле», в чаду успехов и скандалов, в окружении всяческих имажинистов, конструктиви-

стов и орнаменталистов,— что с него было спрашивать? Но Есенин — Мандельштаму! Кольцов — Тютчеву! И о чем — о глагольных рифмах, не зная или забывая, какой выразительности можно иногда благодаря им достичь! (Вспомнил бы хотя бы:

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется...)

Думаю, незачем объяснять, почему мне хотелось бы поставить тут не один, а целых три или десять восклицательных знаков[2].

В течение нескольких лет, от 1912-го до 1918-го или 1919 года, когда он уехал из Петербурга, я довольно часто с ним встречался — в университете, где романо-германский семинарий еще оставался лабораторией и штаб-квартирой акмеизма, в «Бродячей собаке», в частных домах. Он бывал у меня, хотя никогда не звал меня к себе,— и, насколько помню, не бывал у него на дому никто. Вероятно, были условия, этому препятствовавшие[3].

Несмотря на сравнительно небольшую разницу в возрасте, я никак не могу сказать, что был действительно его «товарищем». Никогда я не перешел с ним на «ты». Он с первой встречи показался мне человеком настолько редким, да и престиж его как поэта был в нашей тогдашней среде настолько высок, что быть с ним «на дружеской ноге», как Хлестаков с Пушкиным, я не решался и, должен сказать откровенно, слегка стеснялся его, чуть-чуть робел в его присутствии, особенно в начале знакомства, хотя оснований к этому он не давал ни малейших: в самом деле, трудно было бы назвать человека, который менее «важничал» бы и держался бы с большей простотой, естественностью и непринужденностью.

Разговаривать с ним бывало не всегда легко, и разговор сколько-нибудь длительный превращался в своего рода умственное испытание — потому что следить за ходом его мысли нельзя было без усилия.

Обыкновенно люди говорят, соблюдая связь логических посылок с заключениями, обосновывая выводы, постепенно переходя от одного суждения к другому — и переводя за собой слушателя. Мандельштам в разговоре логику отнюдь не отбрасывал, но ему казалось, что звенья между высказываемыми положениями ясны собеседнику так же, как ему самому, и он их пропускал. Он оказывал собеседнику доверие, поднимая его до себя, считая, что всякого рода «значит», «ибо», «следовательно» лишь загромождают речь и что без них можно обойтись: не «**а** есть **б**, **б** есть **с**, следовательно, **а** есть **с**»,— а прямо «**а** есть **с**» как нечто самоочевидное. Но не всегда это бывало очевидно тому, к кому он обращался, во всяком случае, не так мгновенно очевидно, как ему самому, и потому разговор с Мандельштамом с глазу на глаз неизменно требовал напряжения — тем более, что шутки, остроты, пародии, экспромты, смешки, прочно в мандельштамовской посмертной «легенде» утвердившиеся,— все это расцветало пышным цветом лишь на людях или хотя бы в обществе двух-трех приятелей. Вдвоем, с глазу на глаз, шутить как-то неловко, даже глупо: всякий, вероятно, это испытал и знает это по опыту. И при встречах одиночных от Мандельштама, будто бы всегда «давившегося смехом», не оставалось ничего.

Не колеблясь, я скажу, что от этих встреч осталось у меня воспоминание неизгладимое, ослепительное, и что по умственному блеску и умственной оригинальности, по качеству, по уровню этой оригинальности Мандельштам был одним из двух самых исключительных поэтических натур, какие пришлось мне знать. Вторым был Борис Поплавский, метеор эмигрантской литературы, несчастный, гениально вдохновенный русский мальчик, наш Рембо. Одаренность Поплавского была, пожалуй, даже щедрее мандельштамовской, хотя у него отсутствовали мандельштамовская игольчатая острота и точность в суждениях. Она неслась потоком, захлестывала, увлекала, она то приводила к легковесным, наспех выдуманным декларациям, то к догадкам, которые действительно, взвешивая слова, хотелось определить как прозрения. Поплавский был противоречивее, сложнее Мандельштама, было в нем что-то порочное, было, кажется, и двуличие, которое порой от него отталкивало, но не оттолкнуло бы, нет, если бы предвидеть, как рано оборвется его жизнь! Он не дал и десятой доли того, что в силах был дать, и даже стихи его при всем их очаровании все-таки не совсем устоялись, не утряслись, как будто не «просохли». Но до чего это «Божией милостью стихи»! Да и проза тоже — помнит ли кто-нибудь, например, удивительный рассказ его «Бал», помещенный в «Числах»?

Двуличия в Мандельштаме не было и следа. Наоборот, он привлекал искренностью, непосредственностью. Одно воспоминание, с ним связанное, осталось мне дорого навсегда — и вовсе не в литературном, не в поэтическом плане, а гораздо шире и больше: в качестве примера, как надо жить, что такое человек.

Было это в первый год после октябрьской революции. Времена были трудные, голодные. У нескольких молодых литераторов явилась мысль о небольшой сделке — покупке и продаже каких-то книг, которая могла оказаться довольно прибыльной: подробности я забыл, да они и не имеют значения, помню только, что требовалось разрешение Луначарского. А к Луначарскому у нас был доступ через одного из его секретарей, общего милейшего нашего приятеля, поэта Рюрика Ивнева («Хорошо, что я не семейный, хорошо, что люблю я Русь...»)[4].

Хлопоты тянулись долго. В конце кон-

цов стало известно, что ничего добиться нельзя, Луначарский разрешения не дает. Не дает так не дает, проживем както-нибудь и без него!

Однажды, вскоре после этого, я пришел вечером в «Привал комедиантов», где собирались бывшие завсегдатаи «Бродячей собаки», в те годы уже закрытой. Пришел, очевидно, рано, потому что было пусто,— никого, кроме Мандельштама. Мы сели у огромного, но холодного, безнадежно черного камина, стали разговаривать — о стихах вообще, а потом о Пушкине. Разговор был восклицательный: помните это? а как хорошо то! — и так далее. Вдруг Мандельштам встал, нервно провел рукой по лбу и сказал:

— Нет, это невозможно... Мы с вами говорим о Пушкине, а я вас обманываю!.. Я должен вам это сказать: я вас обманываю!

Оказалось, Луначарский разрешение дал, дело давно сделано, доход — какие-то гроши — поделен. Но зачем делить на пять, если можно разделить на четыре? Этот убедительный арифметический расчет и был причиной того, что мне сообщили о неудаче предприятия.

Повторяю, для меня это осталось одним из самых дорогих воспоминаний о Мандельштаме. Обманывать, конечно, нехорошо, но кто из нас живет, делая только то, что хорошо? Проверяя себя, вполне допускаю, что если бы «в компанию» взяли меня, а исключили бы другого, я бы поддался уговорам и согласился бы. Но тогда не надо говорить о Пушкине, говорить в том тоне и духе, как говорили мы в тот вечер,— и, конечно, не о Пушкине только, а ни о чем, что любишь, чему ищешь ответного отклика: иначе — все ложь, лицемерие, мерзость, нет никакой поэзии, незачем быть поэзии, и Мандельштам это почувствовал! По Державину — «всякий человек есть ложь». Может быть. Но истинный образ человеческий проявляется в потребности преодоления лжи, и за одну минуту такого преодоления можно человеку простить обман в тысячу раз худший, чем тот, случайный и ничтожный, которого не вынес Мандельштам.

Перечитываю «Шум времени», «Египетскую марку» и тщетно стараюсь найти в прозе Мандельштама то, что так неотразимо в его стихах. Нет, книгу лучше отложить. Цветисто и чопорно.

Проза поэта? Едва ли существует определение более двусмысленное, легче поддающееся разным толкованиям. Если язык поэта должен быть строже и опрятнее того обезличенного, средне-интеллигентского языка, который процветает в газетных передовых статьях, то разве Толстой или Гоголь не дали образцов именно такого, подлинно творческого отношения к слову? Если язык поэта по сравнению с языком великих романистов должен оказаться несколько скуп, подсушен, сдержан, то разве восхитительная — согласно Гоголю, «благоуханная» — проза Лермонтова не растекается по страницам «Героя нашего времени» с совершенной свободой? Что значит «проза поэта» — неизвестно. Неизвестно даже, похвала это или упрек.

В прозе своей Мандельштам как будто теряется — теряется, потеряв музыку. Остается его ложноклассицизм, остается стремление к латыни, оснащенное модой 20-х годов, когда считалось — и с высоты студийных кафедр проповедовалось,— что метафорическая образность есть основное условие художественности и что тот, кто пишет «пошел дождь» или «взошло солнце», права на звание художника не имеет. К латыни же Мандельштам расположен был всегда, и порой в его «бормотания» она вклинивается с огромной силой (например, «Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить» — удивительная, действительно «тацитовская» строчка, где самое звуковое насилие над первым «чтобы», втиснутым в размер как слово ямбическое, увеличивает выразительность стиха, подчеркивает соответствие ритма смыслу: рабов заставляют молчать, рабы угрожают восстанием... Вот мастерство поэта, в данном случае, может быть, и безотчетное, как часто бывает у мастеров подлинных!). Но в прозе Мандельштам не дает передышки. Как мог он этого не почувствовать?

В качестве возможного объяснения по аналогии вспоминаю «Доктора Живаго». В конце своего романа Пастернак от имени героя говорит о литературе и говорит так верно, так проницательно и убедительно, что многим, многим нашим беллетристам следовало бы заучить эту страницу наизусть: именно о тщете картинности, образности, о необходимости стремиться к искусству, которое осталось бы искусством, неизвестно как и в силу чего. Но самый роман написан совсем по-другому: в назойливой своей «художественности» написан неизмеримо наивнее! С Мандельштамом случилось что-то довольно схожее. При своем уме и чутье он не мог не сознавать, что «Шум времени» увянет быстро и безвозвратно. Но какие-то посторонние соображения, какие-то посторонние воздействия отвлекли его от пренебрежения к тем «vains ornements», о которых говорит расиновская Федра в любимом его вступительном стихе, дважды им переложенном в строчки русские.

Каковы его последние стихи, до сих пор в печати не появлявшиеся? Кое-что из них я знаю и, судя по тому немногому, что знаю, уверен, что в поэзии он остался на прежнем своем уровне. Или даже вырос. Но как-то трудно и страшно представить его себе — практически и житейски всегда беспомощного, ни в малейшей степени не обладавшего даром «приспосабливаться» — в трагической, беспощадной обстановке тех лет. Отчего умер он на Дальнем Востоке? Как за-

бросило его туда, что ждало его там, останься он жив? Ничего, кроме смутных и противоречивых слухов, до нас не дошло.

В памяти моей образ Мандельштама неразрывно связан с воспоминанием об Анне Ахматовой. Их имена и должны бы войти рядом в историю русской поэзии. Он ценил ее не меньше, чем она его[5],— и если бы все это не было давним прошлым, я мог бы многое привести из его суждений и отзывов об ахматовских стихах. Помню собрание «Цеха», на котором Ахматова прочла только что ею написанное стихотворение «Бесшумно бродили по дому...», вызвав лихорадочно-восторженный монолог Мандельштама в ответ,— к удивлению Ахматовой, признавшейся потом, что вовсе не считает эти стихи особенно ей удавшимися. Помню обстоятельнее и тверже то, что он говорил о действительно чудесном ахматовском восьмистишии:

Когда о горькой гибели моей
Весть поздняя его коснется слуха...

Но это было не в «Цехе», а в бесконечном, верстой в длину, университетском коридоре. Он ходил взад и вперед, то и дело закидывал голову и все нараспев повторял эти строчки, особенно восхищаясь расстановкой слов, спондеической тяжестью словосочетания «весть поздняя»...

Все это было очень давно, «иных уж нет, а те далече». Но если бы Анне Андреевне попалось когда-нибудь на глаза то, что я сейчас пишу, надеюсь, она уловит между этими строками низкий поклон ей — издалека и без надежды на встречу.

Впервые опубликовано в сб. «Воздушные пути», 1961, № 2. Здесь печатается в сокращении.

Георгий Викторович Адамович (1892 – 1972) — поэт, журналист, критик, редактор. Был членом «Цеха поэтов», окончил историко-филологический факультет Петербургского университета, в 1923 г. эмигрировал.

С Мандельштамом Адамович был знаком с 1912 г. и позднее, в эмиграции, писал о нем многократно — либо ограничиваясь лишь упоминанием имени, либо описывая подробности запомнившейся ему встречи. Так, в книге «Одиночество и свобода» (1955) Г. Адамович, говоря о Б. Поплавском, вдруг вспоминает манеру разговора Мандельштама: «Врезался мне в память ослепительный, порой фантастический по быстроте скачков и смелости в разрывах логической связи разговор Осипа Мандельштама». Гораздо раньше фактически вскоре после эмиграции, в одной из своих «Литературных бесед», печатавшихся в «Звене», Адамович вспоминает о следующем характерном эпизоде: «Собралось несколько поэтов. Читались стихи, затем тут же обсуждались. Как всегда и везде в таких случаях, обсуждение шло мимо прочитанной вещи. Высказывались мнения сами по себе очень правильные и осторожные, но связь этих мнений со стихами, к которым они относились, была призрачна... Мандельштам и предложил: «Позвольте, я сам себя разберу...» Ему не дали этого сделать и почти что подняли на смех. Почему? Потому что «не принято», и только. Можно вообще не признавать критики и считать ее делом праздным. Это вопрос особый. Но тот, кто теоретические «умствования» признает, согласится, что «самообъяснения» поэта столь трудного и ума столь причудливо-острого, как Мандельштам, a priori были бы интереснее всего, что до сих пор о нем написано» («Звено», 1926, № 191).

[1] Хотя в житейском плане отношения Гумилева и Мандельштама были, по словам Г. Иванова, «ничем не омраченной дружбой», в творческом плане это была «дружба-вражда». Гумилев был щедрее в отношении восприятия и приятия поэзии Мандельштама. Его, придававшего столь серьезное значение культуре стиха, не смущали в мандельштамовском «Камне» ни «ошибки против языка», ни даже слабые, на его взгляд, стихотворения. «Об этом не хочется думать, ни говорить при чтении такой редкой по своей ценности книги»,— писал Гумилев. У Мандельштама мы, кажется, не найдем безоговорочного приятия творчества Гумилева.

Не менее противоречивым было отношение Мандельштама к Гумилеву — организатору литературного процесса. На первых порах существования «Цеха поэтов» Мандельштам был одним из активных членов этого кружка. Столь же активным, если не более, было его участие в укреплении позиций нарождавшегося акмеизма и в период «бури и натиска» этого литературного течения. Но уже весной 1914 г. «Цех поэтов» был приостановлен, причем инициатива закрытия исходила от Мандельштама. Его участие в пореволюционном «Цехе», возникшем в 1920 г., было не столь значительным. В предисловии к первому берлинскому выпуску альманаха «Цех поэтов» основателями кружка названы Гумилев, Лозинский, Адамович, Г. Иванов и Н. Оцуп. Мандельштама в этом списке нет. Об отношении Мандельштама к пореволюционному «Цеху» красочно рассказал В. Ходасевич: «Перед собранием я зашел к соседу своему, Мандельштаму, и спросил его, почему до сих пор он мне ничего не сказал о возобновлении Цеха. Мандельштам засмеялся:

— Да потому, что и нет никакого Цеха. Блок, Сологуб и Ахматова отказались. Гумилеву только бы председательствовать. Он же любит играть в солдатики. А вы попались. Там нет никого, кроме гумилят.

— Позвольте, а сами-то вы что же делаете в таком Цехе? — спросил я с досадой.

Мандельштам сделал очень серьезное лицо.

— Я пью чай с конфетами. («Николай Гумилев в воспоминаниях современников» изд. «Третья волна», 1989, стр. 207).

[2] Об этом же Адамович писал в одной из своих более ранних статей. (См. «Опыты» 1956, № 7, стр. 29).

[3] Пожалуй, единственный из мемуаристов, упоминавший, что бывал дома у Мандельштама в дореволюционное время,— Г. Иванов.

[4] Мандельштам был лично знаком с Рюриком Ивневым (Ковалевым). Имеется несколько свидетельств о встрече двух поэтов.

[5] Приведем здесь еще один из отзывов Ахматовой из числа менее известных: «Я расспрашивал Ахматову о русских поэтах начала XX века... Мандельштама она ставила очень высоко как поэта, выше Пастернака; упрекнула меня за то, что несколько дней до этого я поскупился уплатить 60 рублей (старыми деньгами) за издание «Tristia» 1922-го года. Она сказала, что, наверное, вскоре выйдут стихотворения Мандельштама в серии «Библиотека поэта», что якобы в его стихах не было ничего запретного» (Чарльз Мозер. «У Анны Ахматовой». «Грани», № 73).

Публикация и комментарий В. КРЕЙДА

г. Айова, США.

Посмертная судьба Бориса Слуцкого

•

Борис Слуцкий. Стихотворения. Сост. Ю. Болдырева и Е. Евтушенко. Вступ. статья Е. Евтушенко. М., «Художественная литература», 1989. **Судьба.** Стихи разных лет. Сост. Ю. Болдырева. М., «Современник», 1990. **Я историю излагаю...** Книга стихотворений. Сост. и вступ. статья Ю. Болдырева. М., «Правда», 1990.

•

Увы, в кампании против Бориса Пастернака участвовали не только заведомые негодяи, но и такие писатели, как Леонид Мартынов, Сергей Антонов, Илья Сельвинский, Виктор Шкловский, Николай Тихонов. И тем не менее самым неожиданным было, что в этом писательском хоре прозвучал голос Бориса Слуцкого. Евтушенко, который сидел рядом со Слуцким на том печальной памяти собрании в Доме кино, был уверен, что Слуцкий будет защищать Пастернака, и успел ему шепнуть:

— Борис, будь осторожен.

— Не беспокойся, все акценты будут расставлены правильно,— твердо ответил ему Слуцкий.

Ни до, ни после этого выступления Слуцкий не совершил ни одного гражданских нечистоплотного поступка. Он бы так и остался в истории нашей литературы совершенно не запятнанным человеком, если бы не его выступление против Пастернака. «Вы приговорили себя к гражданской смерти»,— сказал ему Яша Винньковецкий. Близкий его друг Ариадна Эфрон отвергла его запоздалое раскаяние, хотя оно последовало не три десятилетия спустя, когда покаяния вошли в моду, а спустя несколько дней после собрания в Доме кино. Участие в тогдашней травле Пастернака для одних было нормой поведения, для других отклонением от нормы, но только для Слуцкого это было глубочайшим нравственным падением, и сам он это сознавал не хуже, чем его критики. Мы познакомились с ним спустя несколько лет в Коктебеле, когда страсти вокруг «Доктора Живаго» отбушевали, и я спросил его о том злополучном выступлении. Он ничего не ответил, мы шли некоторое время молча по берегу моря, я решил, что он не расслышал вопроса, и повторять его не стал. Но Слуцкий вдруг остановился и прочел мне стихотворение, которое нигде напечатано не было, в нем были такие строчки:

Старух было много, стариков было мало.
То, что гнуло старух,— стариков ломало.

Это не был прямой ответ на мой вопрос, но это был рассказ о том, что произошло со Слуцким после его выступления против Пастернака. Я это знал и прежде, но тогда понял с какой-то особой остротой: мужественному, честному человеку малодушие обходится дороже всего. Я могу даже сказать, что героические поступки, пусть они стоят жизни, совершаются часто из инстинкта самосохранения. Из тех, кто выступил тогда против Пастернака, Слуцкий был единственным, кого это выступление сломало. И еще я понял, что на Слуцкого можно положиться,— он так дорого заплатил за свой поступок, что до конца своих дней будет честен и смел. Каждому человеку положена своя мера трусости и подлости — Слуцкий свою норму выполнил. Когда Володя Корнилов сказал мне, что я не знал настоящего Слуцкого,— он был совсем другим до своей речи о Пастернаке, я ответил, что согрешившему и покаявшемуся верю больше, чем девственнику. Известно — за одного битого двух небитых дают.

Это не апология предательства и даже не его оправдание, но какой смысл предъявлять счет человеку, который уже заплатил по нему по доброй воле. Я не хочу быть среди тех, кто бросает камни. Есть разница между поступком и поведением — первый бывает случаен, во втором проглядывает линия судьбы.

А судьба Бориса Слуцкого в современной русской поэзии совершенно особая.

Слава пришла к нему еще до того, как вышел первый сборник его стихов,— сразу же после статьи Ильи Эренбурга о его неопубликованных стихах. Статья эта была напечатана летом пятьдесят шестого года в «Литературке» и вызвала литературный скандал. Что тому было причиной: необычный, жесткий, непоэтический стих самого Слуцкого либо репутация его литературного покровителя? Ведь что бы Эренбург в то время ни говорил, все вызывало протест—даже когда речь шла о Франсуа Вийоне или Стендале. Спустя год вышла книга «Память» — Слуцкому было под сорок, печататься он начал еще до войны. Я не знаю ни одного сборника стихов в послевоенные десятилетия, который имел бы такое значение в судьбе нашей поэзии,— ни «Веселый барабанщик» Булата Окуджавы, ни «Треугольная груша» Андрея Вознесенского, ни «Струна» Беллы Ахмадулиной. О войне в этой книге было сказано с такой простотой и силой, как ни у кого до Слуцкого. Сам он много лет спустя, словно бы глядя на себя со стороны, с некоторым даже удивлением и несомненной объективностью написал стихотворение «О книге «Память»: «Как грибник, свои я знал места. Собственную жилу промывал. Личный штамп имел. Свое клеймо. Собственного почерка письмо». Даря мне книжку с этим стихотворением, Слуцкий вычеркнул последнюю строку и вписал новую, точнее, восстановил старую — какой она была до вмешательства редактора: «Еже ли дерьмо — мое дерьмо». И в самом деле, даже шлак, которого при таком стиховом методе, как у Слуцкого, оказывается неизбежно много, был узнаваем: плохие стихи Слуцкого не спутаешь с плохими стихами других поэтов.

Тем более — хорошие.

Позволю себе хронологический перескок — от литературного дебюта Слуцкого к его посмертной судьбе. Мы все знали, что из печатающихся поэтов ни у кого нет столько «недозволенных» стихов, как у Слуцкого,— сам он насчитывал 60 процентов. «Я пишу стишки — часто и публикую циклики — довольно редко»,— писал он мне летом семьдесят третьего года. Так вот, хотя мы знали, что Слуцкий пишет многое, что называется, «в стол», никто все-таки не подозревал, что у него накопилось столько ненапечатанных стихов,— сейчас едва ли не в каждом журнале его посмертные публикации.

Он вошел в поэзию в период хрущевской «оттепели», а умер, когда наступила горбачевская «гласность». И теперь, когда советские журналы и газеты стали печатать его старые стихи, мертвый Слуцкий оказался более современным и злободневным, чем суетливые стихоплеты, штампующие вирши на потребу дня, а то еще —для пущей убедительности — ставящие под ними даты времен застоя. А Слуцкий почти никогда под своими стихами дат не ставил — ни настоящих, ни тем более фиктивных. То ли потому, что год для него — слишком мелкая мера времени, которое он мыслил более монументальными и законченными кусками: лихое сталинское десятилетие от коллективизации до начала войны, четыре года войны, послевоенное средневековье, оттепель пятидесятых... А может быть, причиной этого пренебрежения хронологией была, напротив, верность Слуцкого Хроносу, богу времени, уверенность, что куда важнее время, которому стих посвящен, чем когда он написан. Пастернак в «Высокой болезни» ссылается на Гегеля, хотя на самом деле эта мысль принадлежит Шлегелю, который «однажды... ненароком и, вероятно, наугад назвал историка пророком, предсказывающим назад»*. А уж мы-то, тем более знаем, что для того, чтобы сказать правду о прошлом, нужен был не меньший талант, чем для того, чтобы угадать будущее. И еще труднее заметить в быстро или, наоборот, медленно текущих днях нашей жизни тавро века, дыхание истории. Слуцкий был наделен именно таким историческим зрением. Поэт, который не ставил под стихами дат, выбирал зато для своих книг названия, так или иначе связанные со Временем: «Память», «Время» «Сегодня и вчера», «Современные истории», снова «Память», «Сроки», «Годовая стрелка» — вот ведь, часы Слуцкого показывали не часы, а годы!

Связь между поэтом и читателем всегда драматична — у Слуцкого больше, чем у других. Нет пророка в своем отечестве — всеобщая популярность сопровождала скорее общедоступный стих Евтушенко, чем народную по сути поэзию Слуцкого, которая при его жизни имела квалифицированную, но все же весьма ограниченную по советским меркам аудиторию: говоря словами самого Слуцкого — «широко известен в узких кругах». Понятно поэтому его обращение: «Побудь с моими стихами, постой хоть час со мною. Дай мне твое дыханье почувствовать за спиною». И адресовано это обращение не другу и не женщине (у Слуцкого вообще нет любовной лирики), а народу. Слуцкий кровно заинтересован в читателе, конкретно — в народном читателе, герое своих стихов, который — вот парадокс! — любит совсем иную поэзию: менее всего о себе, а уж если о себе, то в каком-то преображенном, песенно-сказочном виде. Массовый читатель предпочитал сентиментальную гладкопись, а стих Слуцкого был ершист, неотесан и груб, как сама реальность. Своей поэтикой Слуцкий вызвал на себя огонь критики — понадобилось по крайней мере десятилетие, чтобы его стихи были ею приняты. Но критика — это все-таки передовой отряд читательской массы, к которой стих Слуцкого так и не пробился, несмотря на всю его народность. Точнее, именно эта народность и явилась главным препятствием на пути поэзии Слуцкого к народу. Схожий парадокс случился позднее с «деревенской» прозой, которую житель деревни читать, конечно же, не станет, отдав предпочтение развлекательному чтиву. Если перевести это в изобразительный ряд, то мы получим олеографию с парочкой серебряных лебедей над кроватью и уменьшающихся слонов на комоде.

О вкусах не спорят, и менее всего я хотел бы быть понятым в назидательном, императивном плане. Но и Слуцкого понять можно: он палец о палец не ударил, чтобы понравиться читателю, которого сделал своим героем, не отступился от своей программы ни на йоту. Поэтическая независимость далась ему нелегко. Он уже принес вполне сознательную жертву, освободив стих от классических обязательств и от лирических признаний, стал беспристрастным летописцем, суровым фактографом своего века.

* «Описка» Пастернака, конечно же, сознательная — братья Шлегели были под запретом, а Гегель как-никак числился предтечей марксизма...

Пожертвовав главным, Слуцкий не уступал в мелочах.

Слуцкий первым вступил в полемику со сталинским неоклассицизмом в поэзии и с привыкшим к нему читателем. То есть с читателем, который уже отвергал Лебедева-Кумача, но еще любил Маршака. Отталкиваясь от официальной поэтики, от благостной гладкописи, от бодряческого патриотизма, Слуцкий спорил с философией, стоящей за ними. Эта философия воспринималась им серьезно, так как обладала более убедительными доказательствами, чем стихи, взошедшие на ее почве. Идеалистическому толкованию действительности Борис Слуцкий противопоставил саму действительность: «Ежели увижу — опишу то, что вижу, так, как вижу. То, что не увижу, опущу. Домалевыванья ненавижу». Это — теоретическое высказывание из цикла, который Слуцкий сочинял до самой смерти и который можно было бы обозначить вслед за Гете — «Поэзия и правда». В бытовом плане эта антитеза наиболее четко выражена в знаменитой «Бане»:

Там ордена сдают вахтерам,
Зато приносят в мыльный зал
Рубцы и шрамы — те, которым
Я лично больше б доверял.
...Там по рисунку каждой травмы
Читаю каждый вторник я
Без лести и обмана драмы
Или романы без вранья.

В статье «О том, что такое слово» Гоголь писал: «Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними: иначе они вдруг обратятся в общие места, а общим местам уже не верят». В основе поэтической системы Слуцкого лежат именно «общие» места, к которым он прокладывает путь заново, связывая их с конкретными фактами, заземляя высокие слова, мотивируя их низкой прозой, разговорной интонацией, бытовой окраской. Сдвиг, произведенный Слуцким в русском стихе,— бытовой: в поэзии он «передвижник», и хотя «передвижнической» школы он не создал, но несомненно его влияние на таких разных поэтов, как Евгений Евтушенко, Станислав Куняев, Евгений Рейн. Слуцкий первым заговорил о трагическом в будничном — через будничное, в будничной интонации и будничными словами.

Проза не вытесняет в стихах Слуцкого поэзию, но сама становится поэзией. Точнее сказать — когда становится, а когда и нет. В экспериментальной поэзии Слуцкого неудачи даже более естественны, чем удачи,— и более часты. Однако эксперимент этот оправдан в глазах читателей удачами. Его знаменитые «Физики и лирики», открывшие длительную дискуссию по всей стране, позднее были переведены Слуцким из области публицистики в область поэтики: «Где-то на перекрестке меж музыкой и наукой, поэт, ищи поэзию, выкликай, аукай! Если этот поиск тобой серьезно начат, следующее правило следует заучить: стих не только звучит. Обязательно — з н а ч и т. Стих не только значит. Необходимо — з в у ч и т». Совет этот нельзя распространить на всю русскую поэзию, ибо, как писал Лермонтов, «есть речи, значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно», а с другой стороны, есть сугубо смысловая поэзия, игнорирующая «звуковую» и — шире — эстетическую сторону. Как и большинство литературных постулатов и манифестов, этот относится прежде всего к его автору.

Литературный спор Слуцкого вышел за пределы ближайших к нему лет, ибо вслед за Некрасовым, Маяковским, Хлебниковым он спорил с канонических отношением к классическим нормам русского стиха. Конечно, все это связано между собой — ощущение завершенности классической поэзии, стертость ее восприятия, активное распространение эпигонского неоклассицизма среди советских поэтов, в том числе талантливых. Поэтическая реформа Слуцкого двойная, но если бы она ограничилась только семантикой, то есть обновлением содержания, то существовала бы помимо поэзии, за ее пределами.

Вот ведь, помимо отсутствия любовной лирики, у Слуцкого нет также и пейзажной — ну, не уникум ли? Более того, его стих откровенно антипейзажен. «Пейзажи солдат заслонил»,— пишет он и разъясняет:

Солдатская наша порода
Здесь как на ладони видна.
Солдату нужна не природа.
Солдату погода нужна.

Созерцательному, зрительскому отношению к миру Слуцкий противопоставил его практическое, меркантильное, профессиональное освоение. Солдатский профессионализм и литературный рационализм Слуцкого сводят к минимуму необходимые человеку слова, чувства, мысли. Именно эту поэтическую аскезу и постулирует он собственному стиху:

Как к медсестринской гимнастерке брошка,
Метафора к моей строке нейдет.
Любитель порезвиться понарошку
Особого профиту не найдет.
Но все-таки высказываю кое-что,
Чем отличались наши времена.
В моем стихе, как на больничной коечке,
К примеру, долго корчилась война.

Так же пишет Слуцкий и о современности либо о недавнем прошлом: о простом солдате как о памятнике, о мытье в бане как об историческом событии. Ведь жизненные будни советского человека и в самом деле «на весы истории грузно упали», а потому время для Слуцкого, как говаривали в старину,— «далевой образ». Даже если описываемое им событие случилось вчера, Слуцкий все равно рассматривает его в перевернутый бинокль. Впрочем, никакой бинокль ему не нужен, это свойство его зрения — дальнозоркость: она ему помогает и мешает — когда как. Любой отрезок времени Слуцкий воспринимает не сам по себе, а в отблесках прошлого и будущего. Слуцкий словно бы нетерпеливо ждет, когда современность превратится в историю, ибо воспринимает не движение, а сгусток, не процесс, а результат.

Вот его удивительное стихотворение «Ровно неделя до Победы» — дневниковая запись превращена в исторический этюд; в пяти строчках о войне Слуцкий ухитрился дать заодно и абрис всей последующей агонии сталинской эпохи:

Блистает солнце на альпийских видах.
И месяц май.
В Берлине Гитлер сдох.
Я делаю свободы полный вдох.
Еще не скоро делать полный выдох.

Без этого исторического зрения Слуцкий не существовал бы как поэт. Ведь он и современность понимал как перекресток истории — иначе он ее просто не воспринимал, будучи дальнозорким и не видя вблизи.

Поэзия Бориса Слуцкого объемлет обе фазы времени — прошлое и настоящее — как некое единство. Время обладает для него цельностью, он не видит в его течении ни напрасных дней, ни пустых страниц, основное его занятие как поэта — обнаружить и наблюдать в мелькании будней, «как мчится вдаль всемирная история». Кто еще из «военных» поэтов с таким патетическим фатализмом принял судьбу, выпавшую на долю этого поколения:

Девятнадцатый год рожденья —
Двадцать два в сорок первом году —
Принимаю без возраженья
Как планиду и как судьбу.

А спустя еще несколько десятилетий он напишет:

Мой круг убывает. Как будто луна убывает.
Кто сам умирает, кого на войне убивают,
и в списке друзей моих те, кто навеки молчат,
куда многочисленней тех, кто шумят и кричат.
Я думаю, мне интересней и даже полезней
меж тех, кто погиб от атак, контратак и болезней
и памяти точной и цепкой на долю достался,
меж тех, кого нет, а совсем не меж тех, кто остался...

Сейчас, после смерти Слуцкого, я перечитываю это стихотворение с каким-то особым чувством. Я представляю себе, как приезжаю в Москву, листаю телефонную книжку и вычеркиваю тех, кого уже нет, в том числе Слуцкого. Это большая недостача — не только для меня лично, но и не только для поэзии.

Как бы это лучше пояснить?

Легко быть гласным в эпоху гласности, а поэзия Слуцкого была гласной в эпоху всеобщего безгласия, когда безмолвствовал не только народ, но и перепуганная муза.

В отличие от других «военных» поэтов Борис Слуцкий был в поэзии представителем не только своего поколения, но скорее своего времени. Его исторические стихи — послание в будущее, тому самому «читателю в потомстве», о котором мечтал Баратынский. Напряженно и чутко вглядывался он в людей много моложе его, пытаясь угадать по их лицам будущее, ибо прошлого и настоящего ему было уже недостаточно. Его поэтическая дальнозоркость сработала не только на вчерашний день, но и на завтрашний, который он угадал и предсказал в стихотворении «Последнее поколение»:

Войны у них в памяти нету, война у них только в крови,
в глубинах гемоглобинных, в составе костей нетвердых.
Их вытолкнули на свет божий, скомандовали: живи!
В сорок втором, в сорок третьем и даже в сорок четвертом.

Они собираются ныне дополучить сполна
Все то, что им при рожденьи недодала война.
Они ничего не помнят, но чувствуют недодачу.
Они ничего не знают, но чувствуют недобор.
Поэтому все им нужно: знание, правда, удача.
Поэтому жесток и краток отрывистый разговор.

Владимир СОЛОВЬЕВ

Нью-Йорк

Сосед

•

Сергей Голицын. Записки уцелевшего. «Дружба народов», 1990, № 3.

•

Он жил со мной в одном доме, правда, не с самого начала. Я лишь в последние годы обратил на него внимание: знакомое лицо. Но где я его видел? В Союзе писателей, что ли? Так мы с ним, сталкиваясь во дворе, все поглядывали друг на друга. Немолод, но не скажешь, что слишком стар, легок на ногу, и взгляд вострый. А как-то встретились в писательском клубе нос к носу, и он говорит нам с Инной: я из второго подъезда...

Это он к тому, что мы только что перебрались из третьего во второй, то есть совсем уже стали соседи. Потом я както подвез его на такси. Он спросил, есть ли у меня внуки. Сколько лет? Одиннадцать? Как раз годится. И вскоре занес и подарил Кате книгу о юных следопытах и искателях. Тут мы и поговорили. Он рассказал, что по нескольку месяцев в году проводит в селе Любце, под Ковровом. Там у него дом. Поинтересовался, знал ли я такого, Сашу Шаталина. Сашку? Ну как же, это мой однокашник, летчик, хороший парень, жаль, рано умер. Да, он вас часто вспоминал...

Я не представил своего собеседника. Это Сергей Михайлович Голицын. Все князья Голицыны — его родственники. На протяжении истории. Он написал книгу — главную книгу жизни — «Записки уцелевшего». Она еще не была издана. Уцелел! И, слава Богу, не он один. Несколько раз упоминал с гордостью своего племянника — художника Иллариона Голицына. И в Париже родственники. Собирается вскоре поехать, с билетами, правда, трудно. Там у него старшая сестра, девяносто лет. А ему восемьдесят.

Он еще ко мне заходил. Опять подарил книгу, уже мне — «Село Любец и его окрестности». Надписал: «Многоуважаемому Константину Яковлевичу Ваншенкину. Приезжайте ко мне в Любец. Автор...» И дата: 29.X. 89.

И я ему книжку подарил. И выпили мы по рюмочке коньяку, только по одной. От второй он отказался. Но поинтересовался: где вы коньяк достаете?..

Пригласил он меня не только в Любец, но и в Ясную Поляну, где работает («там у них») внештатным консультантом по генеалогическим связям. Во как! «Поедемте, они нам все покажут». Ну, и, конечно, домой пригласил заходить. «У меня кое-что висит. Немного, но висит...» Картины то есть.

Я раскрыл «Село...» и долго не мог оторваться от прелестных картин жизни и природы, от тамошних уходящих или уже ушедших стариков и старух. И, конечно, как это бывает, мечта: а хорошо бы, действительно, с ним выбраться... Такой симпатичный...

Вскоре я уехал за город, а вернувшись в середине месяца, перелистывал газеты. И вдруг — как ударило: «...с глубоким прискорбием... последовавшей 7 ноября 1989 года...»

В той подаренной мне книжке он пишет о гостившем у него в селе художнике Гурии Захарове: «Своей предельно лаконичной гравюрой — «Похороны в Любце» — он показал эту трагическую жизненную неизбежность». Посильней сказано, чем в официальном некрологе!

Мало я его знал, но как-то задел он меня своим появлением и уходом.

А потом вышли и «Записки уцелевшего».

Сергей Михайлович Голицын уцелел не в ГУЛАГе, не в ссылке, не в тюремной камере. Он просидел всего одиннадцать дней. Он уцелел просто в жизни, что оказалось тоже совсем нелегко.

Этот умный, интеллигентный, милый и отзывчивый молодой человек происходил из самой гущи российского дворянства, из славного голицынского рода (дедушка — московский городской голова), а его ближайшие родственники — сверстники, симпатичные девушки и юноши, с которыми он повседневно общался, носили такие фамилии: Урусовы, Трубецкие, Оболенские, Раевские, Осоргины, Шереметевы, Лопухины...

Дорого пришлось им за это платить. А за что, собственно? За то, что их предки, в большинстве своем блестящие люди, не жалея себя, служили Отечеству? Хотя там ведь было сказано: царю и Отечеству... Вот в чем фокус!

Все более набирала силу пресловутая бдительность («В народе говорили «бздительность»,— пишет Голицын). И они познали в полной мере, что такое беспрерывная травля, постоянное нахождение под прессом «ненависти, упорно и злобно насаждаемой сверху» (ну, а старшие, разумеется, испытали это все еще острее).

Регулярные вызовы, требование справок, чистки, увольнения, выселения, настоящее, но неправое следствие — на всю жизнь — по поводу родственников, друзей, самих себя. Конфискация семейных (национальных) реликвий. Полнейшее бесправие. Повседневные унижения. Они — лишенцы, загнанные «дети классовых врагов». Их заставляют испытывать и навязывают чувство собственной неполноценности, неуверенности, ненужности.

Бессмысленный, не раз возобновляющийся суд над матерью, не совершившей никаких преступлений. Или вот — чистка юного геолога Кирилла Урусова:

«Он вышел на трибуну, высокий породистый юноша со светлыми глазами и бархатными ресницами, и только сказал: «Да, мой отец — бывший князь. Он всю жизнь служил, никогда никакой собственности не имел, а я его сын и никакой другой вины за собой не знаю». В зале воцарилась тишина. Вдруг одна девушка вскрикнула, ей сделалось дурно, ее увели.

Кирилл прошел чистку благополучно. Несколько лет спустя он женился на некоей Волковой. ...при регистрации брака муж имел право менять свою фамилию на фамилию жены. Так князь Урусов стал гражданином Волковым и под этой фамилией благополучно прожил всю жизнь».

Оправдана была и мать автора.

И вот сквозь все повествование проходит у Голицына благодарность тем, кто помогал, выручал, стремился уберечь от беды. На первом месте здесь Екатерина Павловна Пешкова, «благодетельница Пешкова», возглавлявшая тогда Политический Красный Крест. К ней обращались Голицыны многократно. И не только она, но еще другие порядочные, бесстрашные люди: адвокаты, врачи, священники, служащие различных учреждений. Они добровольно подвергали себя смертельному риску. Сергей Михайлович перечисляет их скрупулезнейшим образом.

Но, конечно, и они были бессильны перед жестокостью могучей системы, работающей на уничтожение.

Среди сотен заключенных, расстрелянных на Соловках в конце октября 1929 года, был и Георгий Михайлович Осоргин. Буквально перед этим к нему приехала на свидание молодая жена (тетя С. М. Голицына — Лина). «Г. М. уже сидел в карцере, но его оттуда отпустили под честное слово, что он жене ничего не скажет. Слово свое он сдержал».

Сюжет шекспировской силы.

Правда голицынского сурового повествования и в том, что безжалостные его подробности порою сообщаются даже как бы бесстрастно, в манере летописцев былых времен, во всяком случае, достаточно сдержанно. События сами говорят за себя. Вопиют!

И на фоне этого безумия идет обыденная жизнь, и автор смотрит на мир с поразительным оптимизмом, не утрачивая природного чувства юмора.

«Всего мы прожили а Еропкинском переулке семь лет. За эти годы в нашей квартире было четыре свадьбы, пять арестов, родились трое детей, праздновалось множество дней рождений, именин и разных других торжеств. Это были годы молодости моих сестер и моей, годы усердного труда, годы радостей учения. Горе, слезы и несчастия тогда быстро забывались, хотя пишу я сейчас больше о плохом. Смертей вообще не было. Ведь наша бабушка умерла в Сергиевом посаде. И жили мы все в большой дружбе между собой».

Вот эти последние слова особенно дороги. Сквозь ужасающие испытания проходят невыдуманные персонажи Сергея Голицына, обнаруживая при этом достоинство, силу духа, сплоченность.

Как жалко, что не могу я поговорить с Сергеем Михайловичем, уже прочтя его воспоминания! Но что поделаешь...

Константин ВАНШЕНКИН

Любовь Евгеньевна

•

Л. Е. Белозерская-Булгакова. Воспоминания. М., Художественная литература, 1969.

•

«— Дай мне слово, что будешь все записывать. Это интересно и не должно пропасть. Иначе все развеется, бесследно сотрется.

Пока я говорила, он намечал план будущей книги, которую назвал «Записки эмигрантки». Но сесть за нее сразу мне не довелось».

Назовем участников диалога: Михаил Афанасьевич Булгаков и Любовь Евгеньевна Белозерская, в замужестве — Булгакова. Русская эмигрантка, возвратившаяся в Россию в конце 1923 года. Устные рассказы Любови Евгеньевны стали документальной основой булгаковской пьесы «Бег».

Она выполнила обещание, данное Булгакову. Написала книгу об эмигрантских скитаниях «У чужого порога». И другую книгу, названную есенинской строкой: «О, мед воспоминаний...» Это — повествование о 1924—1932 годах, булгаковских годах ее жизни. Теперь вся мемуарная проза Любови Евгеньевны объединена под обложкой долгожданных «Воспоминаний» — издания, которое автору увидеть не довелось.

Свои рукописи она предлагала многим журналам, но порой даже не удостаивалась ответа. Между тем без ее ведома воспоминания перепечатывались безвестными машинистками и копировались всеми другими способами, вливаясь в бездонное море «самиздата». Одна начинающая булгаковедка, побывав у Любови Евгеньевны на Большой Пироговской, взяла почитать, да так и не вернула чистовой экземпляр...

Рукопись «У чужого порога» попала к С. С. Наровчатову, тогдашнему главному редактору «Нового мира». Как рассказывала Любовь Евгеньевна автору этих строк, Наровчатов пригласил ее к себе в кабинет и сказал, что все, начиная с главы «Константинополь», прочитал не отрываясь. «Профессионально, по-настоящему художественно, но вот чтобы печатать... Если бы в центре повествования была общепризнанная литературная фигура, маститый писатель, скажем, Алексей Толстой, тогда бы пошло».

Неудивительно, что, потеряв веру в возможность публикации на родине, она приняла предложение американских издателей, и вскоре одна из книг вышла в «Ардисе». Несколько лет — доперестроечных — Любовь Евгеньевна ожидала «незваных гостей», полагая, что в покое ее не оставят. Вспоминала о том черном дне, когда пришли они с обыском в квартиру Булгаковых и забрали рукопись «Собачьего сердца», дневниковые записи Михаила Афанасьевича. Когда ее успокаивали, говорили, что, мол, сейчас «другое время», Любовь Евгеньевна не соглашалась, потому что знала о недавних арестах диссидентов, обысках на квартирах тех, кто осмелился напечататься за океаном. Но, слава Богу, обошлось...

Теперь мы впервые получили возможность убедиться в том, что Любови Евгеньевне, помимо завидной памяти и подлинной писательской наблюдательности, присущ необыкновенный дар перевоплощения... в себя же, только двадцатипятилетнюю, тридцатилетнюю... Прошлое возникает на страницах книги не в розовой дымке и как будто не сквозь толщу времени, а так, словно смотришь сквозь промытое стеклышко. Хочется даже сказать: сквозь булгаковский монокль, помня о том, кто был самым внимательным и требовательным слушателем рассказов Любови Евгеньевны.

С первой строки этой книги, с того самого момента, когда французский пароход «Дюмон Дюрвиль» покидает одес-

ский порт и берет курс на Константинополь, совершается «обыкновенное чудо» читательского сопереживания. Вот вы идете по константинопольским улицам к базару, а рядом надрывают горло продавцы каймака. На пароходе «Цесаревич Алексей» отправляетесь в Марсель. Попадаете в Париж времен президента Мильерана.

Вместе с первым мужем — известным журналистом И. М. Василевским (Не-Буквой) Любовь Евгеньевна работает сначала в парижской газете Милюкова «Последние новости», затем в другой русской газете — «Накануне», издававшейся «сменовеховцами» в Берлине.

Литературный и театральный мир Парижа начала 1920-х годов. В театре на Елисейских полях играет труппа Балиева «Летучая мышь», с большим успехом проходят спектакли Дягилева.

Силуэты Мережковского и Зинаиды Гиппиус, Бунина, Куприна, Алексея Ремизова, Есенина, Марка Алданова, Саши Черного... Бальмонта...

Работая в «Накануне», Белозерская сразу же обратила внимание на блестящие фельетоны Михаила Булгакова, поступавшие из Москвы. Правила корректуру, не подозревая, что через несколько месяцев, в самом начале 1924 года, она познакомится с автором. И это уже начало второй книги воспоминаний.

В их судьбах было немало таких же «странных сближений». В тревожные и страшные месяцы многовластья на Украине, описанные в «Белой гвардии», оба они жили в Киеве, но так и не встретились. Их знакомство произошло как раз в то время, когда Булгаков завершал работу над произведением, о котором он вскоре скажет: «Роман этот я люблю больше всех других моих вещей». Прислушиваясь к мнению Любови Евгеньевны, одного из первых читателей «Белой гвардии», писатель особенно ценил его как мнение очевидца описываемых событий. Киевские воспоминания сблизили их, и потом друзья шутили: летом 1924 года Булгакову удалось благополучно завершить два романа: писательский и личный.

«Белая гвардия» посвящена «Любови Евгеньевне Булгаковой». А на парижском издании романа 1927 года автор сделал такую дарственную надпись: «Жене моей дорогой Любаше экземпляр, напечатанный в моем недостижимом городе. 3 июля 1928 г.» К сожалению, не сохранилась рукопись комедии «Белая глина» — из французской жизни, которую они писали вместе в 1924 году и собирались предложить театру Корша.

В книге Белозерской-Булгаковой — россыпь ценнейших сведений для биографов, исследователей булгаковской прозы и драматургии, истории взаимоотношений писателя с МХАТом. Читатель узнает о крымских встречах Булгакова с М. Волошиным и А. Грином, а в московской его квартире встретит Замятина и Олешу, Ильфа и Петрова, Книппер-Чехову, Хмелева, Яншина, Станицына. Узнает о прототипах героев «Роковых яиц» и «Собачьего сердца», «Белой гвардии» и «Бега». И о мохнатых «прототипах» — собаках и кошках, живших в этом гостеприимном доме.

Помогая М. А. Булгакову, Любовь Евгеньевна переписывала и редактировала рукописи писателя, переводила французскоязычные материалы для пьесы и повести о Мольере. Михаил Афанасьевич диктовал ей главы повести «Консультант с копытом», которая легла в основу романа «Мастер и Маргарита». Этот опыт пригодился Белозерской в 30-е и последующие годы, когда она работала литературным редактором в различных издательствах, в «Литературной газете». В конце 20-х Любовь Евгеньевна была редактором и корректором 16-томного ПСС В. В. Вересаева, в в 30-е редактировала «Наполеон» и другие сочинения знаменитого историка Е. В. Тарле. Многолетней дружбе с ним и его семьей Любовь Евгеньевна посвятила очерк «Так было...», впервые публикуемый в книге воспоминаний.

Озорники Ильф и Петров некогда придумали ей шутливое прозвище «княжна Белорусско-Балтийская», намекая на родство Любови Евгеньевны с князьями Белосельскими-Белозерскими, рюриковичами. Однако среди близких и друзей — еще с булгаковской поры — она была совсем не «княжной», а человеком природного благородства, отзывчивости и большой душевной теплоты.

Она терпимо относилась к недостаткам и слабостям людей, бывавших в ее доме, но навсегда порывала с теми, у кого были серьезные нелады с правдой и нравственностью. Например, с В. П. Катаевым, поначалу дружившим с Булгаковым, а затем, когда началась травля писателя, заметно охладевшим к нему.

В книге Любови Евгеньевны так мало «сердитых» строк, но все-таки они есть. И нельзя не сказать в связи с этим о мемуарах С. А. Ермолинского, хорошо знавшего Булгакова в 1930-е годы. (Наиболее полный вариант — в однотомнике С. А. Ермолинского «Драматические сочинения». М., 1982.)

О близком к писателю человеке Ермолинский пишет с плохо скрываемой неприязнью. Он даже позволил себе допустить, что Любовь Евгеньевна до знакомства с Булгаковым вышла замуж «по расчету», так как брак «упрощал ее возвращение в Россию».

Пытаясь объяснить перемены в семейной жизни Булгакова, С. Ермолинский почему-то не искал их причину прежде всего в родившемся в нем необыкновенно сильном чувстве к Елене Сергеевне. Во всем виновата, оказывается, Л. Е. Белозерская. Она была, по словам мемуариста, с л и ш к о м доброй, чуткой, бескорыстной женщиной. «Может быть — чересчур?» — колеблется С. Ермолинский. Любовь Евгеньевна помогала решительно всем, и телефон в булгаковской

квартире «действовал с полной нагрузкой», дом был полон друзей. Как запомнилось С. Ермолинскому, это раздражало Булгакова, тосковавшего по тишине писательского кабинета. Не правда ли, Михаил Афанасьевич с легкой руки мемуариста приобрел весьма завидное качество характера — нетерпимость к человеческой доброте, отзывчивости?

Любовь Евгеньевна сохранила многие книги и документы, связанные с жизнью писателя, свидетельства его нежной любви к ней. Среди них — рукопись пьесы «Мольер» с авторским посвящением. Публикатор произведений Михаила Афанасьевича, составитель недавно вышедшего сборника пьес, неужели она — «случайность» в мире Булгакова?

Более чем неуместна фраза Ермолинского: «Появилась новая «вдова» Булгакова». Кто осмелится отказать Любови Евгеньевне в праве хотя бы ненадолго возвратиться в свою молодость, тем более что «годы их совместной жизни... едва ли не были самыми счастливыми в писательской биографии Булгакова» (С. Ермолинский)?

О точности фактической. Приведу всего лишь один пример. Говоря о вкладе Белозерской в работу Булгакова над «Бегом», С. Ермолинский пишет: «В рассказах Любови Евгеньевны оживал страшный Константинополь, жизнь бывших людей, похожая на жизнь «на дне». Жалкий генерал Чарнота, тараканьи бега...» А вот замечание Любови Евгеньевны: «Что касается «тараканьих бегов», то они с необыкновенным булгаковским блеском и фантазией родились из рассказа Аркадия Аверченко...»

Конечно, по поводу недостоверности многих страниц записок С. Ермолинского можно сказать традиционное: мемуарист так видит, и спорить с ним не следует. Но я приведу такие слова Любови Евгеньевны (записаны мною в 1979 году): «Мне пришлось видеть и слышать многих известных людей. Примечательно, что тон в такой встрече задает обычно не более знаменитый, не более пригретый славой, а тот, чей характер более тверд и целен, тот, кто выше нравственно». И добавлю: такая же закономерность прослеживается и в судьбах произведений мемуарного жанра.

Игорь ЛОСИЕВСКИЙ

г. Харьков

Отклик

СБОРНИК ПОВЕСТЕЙ ИЛЬИ КРУПНИКА «НАЧАЛО ХОРОШИХ ВРЕМЕН» вышел в издательстве «Советский писатель». Литературный дебют автора состоялся в начале 1960-х годов, с тех пор более двадцати лет его проза не печаталась. И то, что его книгу представляют И. Виноградов и А. Бочаров — критики, глубоко связанные с шестидесятыми годами,— закономерно.

«Я прочел книгу Ильи Крупника не только с большим неослабевающим интересом, но и с немалым удивлением: я увидел перед собой совсем другого писателя, чем тот, каким был когда-то Илья Крупник, автор остросюжетных и остроконфликтных, обращенных, как и теперь, к актуальной нравственной проблематике, но и «вполне», а не «почти» реалистических повестей. Конечно, изменения писательской манеры в ходе творческого развития не так уж редки, но столь разительные все-таки очень и очень нечасты»,— замечает Игорь Виноградов.

Повести, составившие эту книгу, отличаются «странностью»; они не то что фантастичны, а как бы «неправильны» — нарушена событийная канва, не прояснены мотивы поступков, совершаемых героями. Внимание автора обращено к внутреннему миру персонажей, пытающихся преодолеть собственную отчужденность. «Экзистенциальный» акцент в книге не случаен, он возникает из понимания того, что противоречия и ущербность человеческого существования не сводятся к чисто социальному конфликту, персонифицированному в действующих лицах. «Новая» проза И. Крупника не отрицает «социальности», но меняет угол зрения. Фантастический пласт рожден ощущением ограниченности повествования, традиционно называемого реалистическим. В ирреальной литературе запечатлено современное сознание, ставящее под сомнение безусловные ценности, в том числе и словесность. В построении разнообразных мифологем находит выход глубокая неудовлетворенность существования — не автора, а как бы самого времени. Естественность, не подстраивающаяся под официозные лозунги, сохраняется в глубине души героев. Писатель способен увидеть ее потому, что он живет в одном мире со своими героями, потому, что демократичен и доброжелателен к ним, хочет надеяться на лучшее. «Жизнь, она и есть любовь, а любовь — это действие»,— говорит старый художник Семен Худяков, персонаж повести «Легенда о художниках», завершающей книгу. Так возвращается значение словам и смысл их сочетанию — всегда чаемому — «Началу хороших времен».

Андрей РАНЧИН

«ЗАПИСАЛ КОНСТАНТИН СИМОНОВ» — так в пятой книжке журнала «Октябрь» за 1990 г. была названа беседа писателя с бывшим начальником штаба Западного фронта генералом Покровским, который, в частности, рассказывает о том, как в результате неудачных наступательных операций войска этого фронта понесли огромные неоправданные потери и как приехавшей из Москвы специальной комиссией ГКО во главе с Маленковым был смещен с должности командующий, тогда генерал, а впоследствии маршал Соколовский. «...Помню, как Маленков в спокойном тоне спросил Соколовского: «Как же получились все эти неудачи?.. Что вы можете на это сказать?..» Была долгая пауза. В ответ на вопрос Соколовский так и не сказал ни слова...»

Ни начальник штаба Западного фронта, ни сам командующий не могли тогда знать глубинных и замаскированных причин случившегося. Как можно понять из публикации, не нашел твердого ответа и писатель Симонов. Возьму на себя смелость ответить на мучительный вопрос — по прошествии многих лет. Теперь хорошо известно, что страх наших западных союзников перед вступлением советских войск на территорию европейских государств вызывал определенные трения в отношениях руководителей стран антигитлеровской коалиции. Не секрет, что Рузвельт и особенно Черчилль опасались насаждения в освобождаемых от фашизма странах коммунистических режимов правления и включения этих государств в так называемый «социалистический лагерь», что составляло, по сути, главную и тщательно скрываемую цель военно-политической стратегии Сталина. Приветствуя наступление Советской Армии, союзники одновременно испытывали опасения за быстрое продвижение «красных» на юго-западном направлении к границам Румынии, Чехословакии, Венгрии, Польши... усматривая в этом помеху осуществлению далеко идущих замыслов «Дядюшки Джо».

Чтобы отвлечь внимание союзников от пугавших их последствий успешного наступления советских войск на этом направлении и закамуфлировать свое стремление как можно быстрее водрузить красные флаги над ратушами столиц сопредельных государств, Сталин, в частности, наряду с другими средствами стратегической дезинформации приказывает наступать Западному фронту, не имевшему в то время для этого ни сил, ни средств, но зато самому отдаленному от государственной границы СССР.

При этом «выдающийся полководец всех времен и народов» отнюдь не стремился достигнуть военного успеха, зная заранее, что исход операций войск Западного фронта обречен на провал, но сам процесс наступления, завершаемый снятием с должности самого командующего, явится неплохой демонстрацией, маскирующей его истинные планы. А что касается потерь, так наш «вождь и учитель» никогда не щадил свой народ. И когда строил на человеческих костях социализм, и когда щедро жертвовал миллионы людских жизней молоху войны.

Будучи слушателем Военной академии имени Фрунзе в 1945—1948 годах, я учился в одной группе с майором Евгением Соколовским. Благодаря этому обстоятельству однажды, у него дома, мне довелось услышать из уст его отца маршала Василия Даниловича Соколовского следующее:

«Недавно мне разъяснили причину моего снятия с должности командующего Западным фронтом в 1943 году. Этот акт, как оказалось, был предопределен показушным, заранее обреченным на неудачу наступлением и венчал весь трагический фарс, предпринятый ради попытки ввести в заблуждение Черчилля относительно военно-политической стратегии Сталина. Обидно не за себя — за тысячи напрасно погубленных солдат».

В беседе с Константином Симоновым бывший начальник штаба Западного фронта задавался вопросом: «За что был снят командующий?» Правомернее было бы спросить: для чего.

Г. БРАИЛОВСКИЙ,
подполковник в отставке

г. Ленинград.

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ:

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.

Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции не рассматриваются.

Рукописи редакция не возвращает.

Рукопись может быть возвращена только при условии предварительной оплаты автором почтовых расходов редакции на ее пересылку.